

НОВЫЙ Журнал



НЬЮ-Йорк

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели М. Алданов и М. Цетлин – 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

С 1966 по 1975 редактор Роман Гуль

С 1975 по 1976 редакция: Р. Гуль (главный редактор)

Г. Андреев, Л. Ржевский

1976 – 1981 редактор Роман Гуль

1981 – 1983 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Е. Магеровский

1984 – 1986 редакция: Р. Гуль (главный редактор),

Ю. Кашкарров, Е. Магеровский

1986 – 1990 Редакционная коллегия

1990 – 1994 редактор Юрий Кашкарров

1994 – 2005 редактор Вадим Крейд

Восемьдесят третий год издания

Главный редактор – Марина Адамович

Редакционная коллегия:

Марина Гарбер, Ренэ Герра, Елена Дубровина, Мария Рубинс,
Александра Смит

Ответственный секретарь – Наталья Бернадская

Редакция: Владимир Гандельсман, Наталия Гастева, Рашель Миневич

The New Review, Inc.:

T.Chebotareva; G.Glinka; S.Kishkovskaya, P.Khlebnikov; G.Mesniaeff;
A.Neratoff; N.Sluchevsky, P.Tcherepnine; V.Torchilin, L.Vulfina,
Y.Vulfin, M.Adamovitch.

Обложка художника М. Добужинского

THE NEW REVIEW

№ 319, июнь 2025

© 2025 by THE NEW REVIEW

Рукописи не возвращаются

Перепечатка материалов «Нового Журнала» без письменного разрешения редакции запрещается. Размещение материалов «Нового Журнала» онлайн без письменного разрешения редакции запрещается.

Редакция не несет ответственность за содержание публикуемых материалов. Авторы несут ответственность за достоверность приводимых ими фактов и цитат.

THE NEW REVIEW (ISSN 0029–5337) is published quarterly
by The New Review, Inc., 1216 Broadway, 2nd floor, New York, N.Y.
10001. Periodical postage paid at New York, N.Y. Publication No. 596680.
POSTMASTER: send address changes to The New Review, 1216 Broadway,
2nd floor, New York, N.Y. 10001

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

<i>Ирина Пярт</i> – Бестселлер. Повесть	5
<i>Александр Бараиш</i> – Из цикла «Средиземноморская нота». Стихи	45
<i>Владимир Козлов</i> – Путь до второго лица. Стихи	48
<i>Елена Севрюгина</i> – «Мы встретимся в саду...» Стихи	53
<i>Наталья Явчуновская</i> – Перелет Чкалова через Альпы. Повесть	58
<i>Владимир Яськов</i> – Испытание боли. Стихи	134
<i>Владимир Батиев</i> – Белым по черному. Роман	139
<i>Нина Косман</i> – Стихи	198
<i>Ара Мусаян</i> – Плач Иеремии. Миниатюры	204
<i>Алексей Кудряков</i> – Из книги «Блошиная почта». Стихи	213
<i>Сергей Золотарев</i> – Стихи	216
<i>Александр Беляев</i> – Как покинуть мрак. Стихи	221

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

<i>Жорж Шерон</i> – История одной антологии	225
Письма Издательства им. Чехова к В.Ф. Маркову (Публ. – <i>Ж. Шерон</i>)	232
<i>Полина Брейтер</i> – «Мне никто не дарил таких подарков». О переписке Бориса Чичибабина	245
<i>Борис Чичибабин</i> – Из писем к Полине Брейтер. 1980-90 гг. (Публ. – <i>П. Брейтер</i>)	250

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

<i>Лариса Вульфина</i> – Художник Федор Рожанковский (1891–1970). Главы из книги	267
<i>Елена Дубровина</i> – Евразийский рыцарь	277

КНИГА И ЖИЗНЬ

<i>Людмила Оболенская-Флам</i> – Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении. Окончание	319

ОЧЕРКИ. ЭССЕ

<i>Владимир Торчинин</i> – Об автографах из моей библиотеки	356

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной:

Владимир Гандельсман. «В небе царит звезда». Избранные эссе	371
Эмиль Дрейцер. Чехов на Брайтон-Бич. Сборник прозы	375

БИБЛИОГРАФИЯ

* * *

<i>Марина Адамович</i> – Яков Клоц. Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху Холодной войны	382
<i>Надежда Ажгихина</i> – Литература и время: памяти Игоря Виноградова. Сборник статей	391

Уважаемые читатели!

Вы можете приобрести отдельные архивные номера журнала, начиная с 1953 года. Цена экземпляров определяется годом выпуска. Все подробности вы можете узнать в редакции НЖ, написав нам:

newreview@msn.com
newreviewinc@gmail.com

ПРОЗА. ПОЭЗИЯ

Ирина Пярт

Бестселлер

В мрачные месяцы жизнь моя сыпала искрами только тогда, когда мы с тобой предавались любви... Мы украдкой доили космос и поэтому выжили.

Тумас Транстрёмер*

ЧУЖОЕ ПРОШЛОЕ

Зимой 1991 года пространства делились на теплые и холодные. Тепло в метро – холодно, слишком холодно, на автобусной остановке. Тепло в автобусе, забитом хмурыми гражданами. Холодно – на проходной с милиционером, проверяющим документы. Тепло – в комнате общежития, узкой, как купе. Холодно – на балконе с видом на ночную Москву. Тепло с любимым под одним одеялом. Холодно расставаться, уходить темными переулками, увеличивая расстояние между ним и собой до космических миль. Холодно видеть глаза за линзами очков, слышать слова, окутанные дымом сигареты: «Понимаешь, я женат. Я думал, ты знаешь». Нет, я не знала, но в тот момент думала, что нашей любви будет достаточно, чтобы растопить льды Антарктики.

Наш роман начинался в промежутке между инаугурацией Горбачева в президенты и концом СССР, а с ним и этого президентства. В девяностые годы в воздухе носился веселящий газ свободы. Еще вчера мы цитировали Маркса и Ленина во введении к курсовой работе, а сегодня сами уже читали лекции по Бердяеву. Вчера собирали картофель на бескрайних колхозных полях под ухмылки подвыпивших с утра трактористов, сегодня могли купить целый колхоз и уволить этих пьянчуг к чертовой матери.

Казалось, всё стало возможным. Он мечтал, лежа в постели, передавая мне дымящуюся сигарету «Родопи», о том, как откроет свое дело (ну, издательство или частный колледж), которое когда-нибудь перейдет потомкам. И можно будет зажить как нормальные люди. А что? Талант ведь есть, и это главное. Я соглашалась и втайне надеялась, что действительно всё возможно, что он будет со мной, навсегда, а жена останется где-то там, на льдине, дрейфую к южному полюсу.

Ирина Пярт – лауреат Литературной премии имени Марка Алданова. 2024.

* Перевод А. Прокопьева.

Мы получили гласность, но боялись говорить правду. Я уже кожей чувствовала накатывающую неопределенность. Время как будто говорило: какой смысл в конференциях, книгах, аспирантуре, если граждане – даже те, что с высшим образованием, – скоро выйдут на улицу торговать всем, что только можно продать?..

В горле у Ильи вдруг пересохло. Он положил рукопись на стол. Взял сигарету, вышел на балкон, несколько раз попытался зажечь сигарету, но спичка гасла: то ли дрожали руки, то ли было ветрено. В доме напротив горело лишь три окна, образуя между собой неправильный треугольник.

Рукопись Илье всучила главред Марианна Альбертовна, посмотрев на него, прищурившись, поверх огромных оправ из монохромного пластика. «Только вам я могу это доверить», – сказала она с придыханием. А он так не хотел брать работу на выходные, мечтал провести время на даче с сыном. Но разве можно было сказать «нет» Марианне с ее буравящим, подобным рентгену взглядом? Что она имела в виду, говоря «только вам»?..

Мой приезд в Москву оказался отмечен историческим событием. В столице открылся первый «Макдональдс». Мама подруги отстояла в очереди пару часов и доложила, что булочка в бургере была вкусная и мягкая, а котлеты она делает лучше.

Мы встретились на площади Маяковского и пошли гулять по Москве. На мне турецкая джинсовая «вареная» куртка с искусственным мехом и поношенные рыжие сапоги, купленные на черном рынке. Мне двадцать один год, у меня всё впереди, но я еще об этом не думаю.

Он оставил адрес высотки на Воробьевых горах, сказав, что на вахте нужно предъявить паспорт. Я волновалась перед свиданием.

Сталинская мебель издавала кислый номенклатурный запах, комната аспиранта походила на купе поезда, но всё компенсировалось отдельным душем и неповторимым видом из окна на Москву с высоты птичьего полета.

Он приготовил коктейль (шампанское, водка, боржоми), от которого завертелась комната, а в качестве закуски – шпроты.

Мы чувствовали себя скованно. После страсти, разгоревшейся на бумаге и по телефону, наконец мы были вместе. Он медленно стянул с меня свитер, рубашку, джинсы, пока я не осталась в белье, и протянул удивленно: «Какая ты худенькая, по лицу не скажешь». Расстегнул застегивалку для волос – они темным водопадом упали на плечи. «Леди Годива», – проговорил он.

Я сняла с него очки, без которых близорукие темные глаза с густыми ресницами казались беззащитными, взяла его руку, провела ею по своим губам. Нас бросило, как разрядом тока, на узкую постель, которая раскачивалась, точно шлюпка в бурном море, и мне казалось, что меня накроет волной, тело дрожало, вибрировало и

звенело, будто колокол. «Ты моя Йоко Оно», – шепнул он без улыбки. Мне казалось, что это чувство полного физического и эмоционального слияния проистекало из внешней похожести. Но только позднее я поняла, что этого недостаточно, чтобы быть вместе.

Илья вдруг почувствовал приступ головокружения, руки были липкими от пота. Он расстегнул ворот рубашки, и ему показалось, что даже стакан с джином запотел от жаркого воздуха, исходящего от тела. Не может быть столько совпадений. Нет, он не называл ее Йоко Оно, но эти волосы, эти скачки на узкой общежитской кровати и рассматривание друг друга в зеркале душа – это всё было. Конечно, она изменила имена, детали, но в то же время вынесла на публику такие подробности, такие сцены, которые он не рассказывал даже в самой интимной компании, как иногда может поведать один давний друг другому за бутылкой коньяка. Нет, это уж слишком. Да как она смела!

Илья лихорадочно переворачивал страницы – эту историю он знал и не знал, помнил какими-то эпизодами, стертыми последующими насыщенными событиями. Время от времени он вскакивал с кресла и кружил по комнате, выходил снова на балкон, зажигал сигарету и смотрел в темный двор невидящими глазами.

Роман с Кэт, студенткой Тюменского филфака Катериной Макаровой, был проходным эпизодом в его аспирантской жизни, богатой похождениями. Ольга с малышом жила в балашихинской хрущевке, которую родители подарили ей, разменяв пятикомнатную квартиру в спальном районе Москвы, полагавшуюся папе-полковнику за службу в важных органах. Тесть считал, что Илья должен проявить себя как добытчик и улучшить жилищные условия. Илья, приехавший в Москву из Хакасии, продолжал по-холостяцки жить в аспирантской комнате на Воробьевых горах, на выходных сменяя Ольгу у плиты и коляски. Илье казалось, что Ольга дала ему молчаливое согласие на краткосрочные измены, потому что не устраивала скандалов, заметив помаду на вороте его рубашки, которую она яростно натирала пятновыводителем до того, как забросить в стиральную машину.

Он листал рукопись, пытаясь найти описание их первой встречи с Кэт, но ничего не нашел. Почему, интересно, она это упустила? Даже сейчас, по прошествии почти тридцати лет, Илья чувствовал, как сокращается сердечная мышца.

С Кэт он познакомился на филологической конференции в одном из прибалтийских университетских городков. После конференции все участники отправились в местный ночной клуб, разместившийся в подвальчике покосившегося особняка. Он увидел ее тогда в этом дрянном ночном клубе танцующей под музыку шлягеров 90-х и уже не мог забыть. Темные волосы, закрученные в тугой узел. Лицо с финно-угорскими высокими скулами и щелками глаз, почти без косметики, слегка приоткрытые губы, детский пушок над верхней губой.

Заккрытие конференции совпало с днем рождения Валериана

Бригадяна, однокурсника Ильи по прозвищу Бригадир. Бригадир напился и стал требовать стриптиз, потом снял ремень, пытался высечь кого-то из танцующих девушек. Кэт перебрала и упала на танцевальной площадке, ее подруга Света, пытаясь поднять ее, тоже упала; Бригадир вступил в перепалку с охранником, а Роза, староста курса, украла у диджея початую бутылку джина, которой Светка пыталась спить последнего.

Илья смотрел на эту девчонку в джинсах и майке и не узнавал. В руке Кэт был бокал шампанского. Волосы, выбившиеся из узла, падали на обнаженные плечи, она закидывала голову и покачивалась в ритм с музыкой, закрыв глаза. На нее бросали взгляды все мужчины на дискотеке, а во время медленного танца девушку подхватил угрожающего вида местный завсегдатай, которого Светка окрестила «киллером». От Кэт исходил запах нерастраченной сексуальности и женственности. Она наслаждалась мужским вниманием, требовала его. В ней не было ни капли страха; «киллер» что-то кричал ей в ухо, пытаясь переорать громкую музыку, а она, обдавая партнера волной распущенных волос, отвечала ему также в ухо. Женщины, которые пришли со своими кавалерами, страшно волновались и старались отвлечь внимание от Кэт. Илья пригласил ее на танец и прошептал: «Давай притворимся, что мы – пара, а то тебя засунут в мерсак и увезут бог знает куда», – и она обхватила его своими голыми руками. Бретельки майки сползали с плеч, волосы обдавали его ароматом свежести. Раскосые узкие глаза были расфокусированы от количества выпитого. Илья понял, что теряет голову.

Он вдыхал ее волосы, ее кожу и хотел, чтобы это не кончалось; игра, которую они придумали, стала его увлекать. Он притянул ее поближе к себе, Кэт покорно прильнула. Они шли через весь город до общежития, куда их поселили организаторы, восход заливал всё вокруг неуверенным майским светом; они трезвели, но продолжали целоваться у каждого перекрестка, а их фигуры озарялись янтарными перемигиваниями ночных светофоров.

Они простояли почти час, прильнув друг к другу, перед дверями общежития, и она засунула в карман его куртки обрывок конференционной программы со своим адресом и телефоном в Тюмени. В тот же день Илья уехал в Москву. Он был уверен, что воспоминание об этой ночи померкнет и исчезнет, как похмелье после пары таблеток аспирина, но в голове мелькало бесконечное кино, в котором она танцевала с закрытыми глазами, ее волосы развевались... Он крутил снова и снова в кассетном магнитофоне на общей кухне на Воробьевых горах «Lady in Red» Криса де Бурга, чувствуя, как томление охватывает тело. Работа над диссертацией стопорилась, и он решил отправить Кэт письмо. Переписка двух филологов была полна аллюзий к той ночи, к их игре во влюбленную пару; они цитировали поэтов Серебряного века и песни популярных тогда рок-групп. Желание, описанное на бумаге, полное недосказанности и намеков, упакован-

ных в остроумные эпистолярные тексты, поднималось, как тесто на дрожжах. Он стал считать, сколько дней письмо идет из Тюмени в Москву, и когда ответ запаздывал, начинал сходить с ума. Кэт умела писать. Какой он идиот, что не сохранил эти письма!

Илья искал в рукописи описания той ночи, их томления, проявления нежности и страсти. Конечно, она ловко построила сюжет, закрутила интригу. Ах, бедняжка не знала, что он женат! В филологических кругах все знали друг о друге всё, так что это ее утверждение было совершенно неправдоподобным! Светка и Бригадир наверняка же ей поведали. А он? А что он должен был сказать? Здрасьте, я вас хочу, но предупреждаю, что женат... Черт знает что! Феминистки, эти морализирующие стервы, конечно, читая, только и будут говорить о двойных стандартах, о неравном распределении гендерной власти. Она же была готова пойти с этим «киллером», на расписанном иероглифами пальце которого красовалось обручальное кольцо с бриллиантом. Подумаешь, какая пуританка! Комаровский разъяренно раздавил окурочек в пепельнице. Черт, он же бросил курить! Плеснул еще джину в стакан и решил утром сообщить Марианне, что рукопись они издавать не будут.

ПОГРЯЗНУТЬ В ПРОЗЕ

После бессонной ночи подташнивало, а к ногам словно были привязаны невидимые гири. Надевая куртку в коридоре, Илья услышал, что кто-то ходит за дверью. Ах, черт, уже полвосьмого. Комаровский обул ботинки, взял зонтик, положил в рюкзак пластиковую коробку с пловом. В подъезде едко пахло свежей краской. Неужели опять ремонт? Доставая ключи, он увидел, скорее почувствовал, как на него прыгнула с внешней стороны двери оранжевая Z, выведенная – коряво, размашисто, словно с ухмылкой – аэрозольной краской. Этажом выше послышались быстрые шаги, захлопнулась дверь. Вышел сосед по лестничной клетке. Кажется, Константин. Посмотрел на знак, потом на Илью.

– Мытищины?

Илья пожал плечами. Сосед исчез, потом вернулся с растворителем, они вместе с Ильей почистили дверь.

Илья плохо помнил, из-за чего они поссорились с Мытищинными (это было еще при жизни матери). Кажется, собирали на ремонт подъезда, а те отказывались платить взносы. Илья пообещал подать на них в суд. А мать, бывшая учительница, делала замечания младшим Мытищиным за мат и окурки в подъезде. С тех пор между Ильей и соседями сверху велась холодная война: то бросят ему на балкон горящий окурочек, то поцарапают ключом машину. Он бесился, но терпел, особенно после того, как сыну Севе стукнуло восемнадцать. Именно в 22-м году, черт возьми. Мытищины уже тогда ходили с георгиевскими ленточками, бросали в почтовый ящик газеты с недвусмысленными названиями и нагло ухмылялись при встрече.

Электробус нарочито медленно плыл в пробке, а потом еще и обдал его грязной водой, словно посмеиваясь над человеком и его

незадавшимся утром. А он-то надеялся пройти незаметно мимо кабинета главреда Марианны Альбертовны. Но нет, откуда-то сверху, как орган в храме, зазвучал ее высокий голос:

– Илья Петрович, наконец-то! Я уже думала, вы переметнулись к нашим конкурентам!

Двери кабинета были открыты, Марианна просматривала контрольные экземпляры. Она не глядела на Комаровского, но ему всё равно было стыдно за свои залитые грязью ботинки.

– Ну что вы, Марианна Альбертовна, разве можно найти работу с более выгодными условиями во всей Москве и области. Безусловно, мне стыдно за опоздание, но вы не представляете, что мне пришлось делать этим утром! – Он стоял у открытых дверей ее кабинета, рассматривая свои ботинки.

– Заметьте, я не спрашивала вас о ваших утренних занятиях. Я, например, каждое утро хожу в спортзал и прочитываю страниц сто рукописи. Но это не мешает мне быть на месте в восемь утра. – Она наконец-то посмотрела на собеседника. В этом взгляде не было специфического интереса к нему как к особи мужского пола, который иногда возникает у хорошо сохранившихся женщин среднего возраста к мужчинам-ровесникам.

– Вы считаете, мне нужно записаться в спортзал, чтобы не опаздывать?

– Я считаю, вы сами можете решить, как распределить свое время. Как, кстати, дела с рукописью? Отложите детективы и переводы, мы хотим успеть издать это к Рождеству. Наша ридер – знаете, Любочка, барометр читательских симпатий, – всю ночь проплакала над рукописью. Даже пришлось сушить страницы феном!

О да, для женского романа это главный критерий! Комаровский терпеть не мог, когда редакторки прибегали к нему с этим щенячьим восторгом в глазах (знаем, нам прислали «новую» Митчел или Элизабет Гилберт). Он задыхался под потоком почти одинаковых, написанных рубленным языком книг-близнецов, часто их приходилось дорабатывать, резать, штопать, вшивая в строчки литературные изыски. В ящике письменного стола в его офисе лежали пачка валидола и томик Басё. С валидолом под языком он переписывал, иногда увлекаясь, и однажды попался на том, что закончил внутренний монолог серийного киллера, расчленяющего своих жертв катаной. Это было ошибкой: Марианна едко спросила, не воображает ли он себя Фаулзом, и лишила бонуса.

– Так что вы думаете о рукописи, Илья Петрович?

Илья вздохнул, понимая, что аргументов у него не очень много. Потом набрал воздуха в легкие.

– Это нельзя печатать: перепутаны времена, лица повествования, эротические сцены затянuty. Простите меня, я не понимаю, что это за жанр. «Поэма конца» в прозе? Деревенские причитания?

– Это автофикшн, – отрезала Марианна. – Сейчас такая литература востребована. Интерес к личному, новая искренность.

– Но это же тривиально. Роман с женатым мужчиной, даже если он и был ее преподавателем.

– Вы вообще понимаете, что такое автофикшн?

– Марианна Альбертовна, хоть я и динозавр, но знаю, что это такое. Смеем заверить, современного читателя вы автофикшеном не зацепите, если в нем нет, ну, например, инцеста!

У Марианны заблестели глаза.

– Илья Петрович, вы совершенно не потеряли форму. Мы можем посоветовать автору ввести в повествование, например, детские воспоминания о семейном насилии. Точно, героиню привлекали старшие мужчины, так как ее в детстве соблазнил отец. – Она радостно застучала по клавишам гелевыми ногтями.

– Остановитесь! Какой отец, какие старшие мужчины? Ее возлюбленный всего на семь лет старше.

– Правда? Там так написано?

Илья стушевался; он не был уверен, что в рукописи назывался возраст персонажей.

– Да и потом, вспомните процесс из-за книги Анго, издательство судилось с ее отцом, который отрицал, что у него был инцест с дочерью.

– Но они же выиграли дело! Бестселлер номер один! Ну ладно, я сначала посоветуюсь с адвокатом издательства. Судебный процесс на тему инцеста, конечно, позволил бы сэкономить на рекламе, но мы не можем рассчитывать на суды. Есть репутационные риски. Возьмите рукопись домой до понедельника. И не забывайте про бонус. – Она многозначительно посмотрела на Илью.

Ты сидишь на подоконнике третьего этажа, свесив ноги на улицу, и смотришь на ночной трамвай, который со скрипом заворачивает по кольцу. Куришь одну за другой сигареты без фильтра. Рядом письмо, каждая строчка которого как приговор. Мне хочется дотронуться до твоего плеча, забрать сигарету, разорвать письмо на мелкие кусочки и потом смотреть вместе с тобой, как они летят вниз, будто хлопья снега.

Комаровский с досадой метнул рукопись на стол, смахнув фотографию сына в деревянной рамке. Сева, юноша с еще детским лицом, длинноносый, с пухлыми губами, в школьном костюме и галстукке, смотрел в объектив с недоуменным выражением: «Аттестат зрелости? Вы серьезно?» Комаровский аккуратно водрузил фотографию на прежнее место, взял рукопись и снова углубился в чтение. Какое-то загадочное «ты» мелькало среди строк. Почему эта доморощенная романистка переходит с первого лица на второе? Любочка, конечно, заливала рукопись слезами, ведь она не могла не поддаться столь явным попыткам вызвать жалость. Какое беспощадное время! Люди жертвовали всем, несли невообразимые потери в вихрях политиче-

ских бурь, а здесь – всего лишь несчастная любовь! Исторический фон служит рамкой для женских страданий.

На обеденный перерыв он не пошел, закусив бутербродом с ветчиной, принесенным из дома. Вздрыгнул телефон. Сообщение от Севы: «Привези сигарет и молока». Он продолжил читать, хотя с каждой страницей усиливалось тоскливое чувство в животе. Взяв еще одну таблетку валидола, закинул под язык, и успокоился.

* * *

На даче было темно. Неужели Сева уже лег спать? В доме скулила собака. Откуда она здесь? Илья покрылся потом. С опаской нажал на ручку, нащупал кнопку выключателя. Деревянная обшивка, мебель, которую не меняли уже лет сорок, клеенка с подсолнухами на обеденном столе, на ней раскрытая книга, кругом Севины снимки: деревья, дома, автопортреты. Сева увлекался фотографией, но делал только черно-белые фото, «Лейкой» или детским фотоаппаратом, из которого снимки выплевывались лентой, как в кассовом аппарате. Сева учился на архитектора, а подрабатывал в магазине фототехники. Он мечтал поехать в Лондон, Нью-Йорк, чтобы снимать уличных музыкантов, собак, крыши и переулки. Причем непременно в дождь. «Когда солнце, то все города похожи, а в непогоду можно поймать их настоящее лицо.»

Вислоухий черный пес терся о штанину, заглядывая в лицо Илье с подобострастным выражением. Севы нигде не было. Илья почувствовал, как внутри что-то оборвалось. Неужели забрали? Он сел на табуретку, начал дышать, как его учил на курсах по осознанности приезжий гуру. Вдох-выдох. Еще раз. Дверь отворилась, и ввалился разрумянившийся Сева с корзиной грибов в руках.

– Пап, всё в порядке?

– Я думал... – Илья не выдержал, слезы покатались по щекам.

– Пап, ну ты что, я же за грибами ходил. Смотри, сколько белых. Сигареты привез?

Они сидели за столом, чистили грибы, потом жарили их на старой чугунной сковородке, затем ели, запивая смородиновой наливкой. В доме было тихо, только ночная бабочка билась о стенки абажура. Пес, которого Сева подобрал недалеко от станции, лежал, уткнув морду в лапы, но иногда поднимал голову, когда кто-то выходил из-за стола, и начинал маниакально вилять хвостом.

– Мне сегодня утром наши патриоты Z на двери нарисовали, – сказал Илья.

– Мытищины?

– Ага. Старший спросил, почему тебя давно не видно. Мне кажется, они уже в военкомат позвонили. Ты удалил соцсети? – Илья снова ощутил тоскливое чувство в животе.

– Слушай, не паникуй. Без соцсетей я свихнусь. Ты останешься?

– Нет, мне надо ехать. – Илья старался не смотреть на Севу, боясь, что снова раскиснет.

– Я что, теперь здесь жить буду?

– Подожди, сынок, нужно залечь на дно. У матери на работе сотруднику повестку прямо в офис принесли. Он в туалете закрылся и сидел до конца рабочего дня.

– А потом?

– Потом уехал в Грузию.

– Ну и я уеду.

– Надо найти денег. В Грузии больше месяца на наши сбережения не проживешь. Я найду, не волнуйся.

Электричка была пустая, только одинокий алкаш с георгиевской ленточкой и наколками на руках настойчиво предлагал Илье выпить за победу.

– Я не пью.

– Врешь! Ты, сука, за победу не хочешь, по глазам вижу.

– Слушай, я зашился, выпью – у меня пена изо рта пойдет, а ты виноват будешь. Прости.

– Да из-за таких, как ты...

Комаровский отвернулся и до конца пути всматривался в темноту за окном электрички. Приближались огни многоэтажек и машин, стоящих в пробке. Он выскочил на перрон, втянул полной грудью загазованный воздух, потом еще раз, чтобы рассосалось напряжение в мышце где-то рядом с сердцем.

Когда Илья наконец добрался до дома, у него уже не было сил. Сердце так билось в тесноте грудной клетки и так страшно хотелось выпить! Он налил джина (тоника не было, разбавил минералкой), выпил залпом полбокала и открыл рукопись. Столько совпадений... Но мало ли было в девяностые женатых аспирантов, которые крутили романы со студентками из провинции?

РАСПАД СОЮЗА

Пляж в Крыму. Знойный август, толпа отдыхающих у приемника. Би-Би-Си вещает, что в Москве путч. Горбачев под домашним арестом в Форосе. Знакомые в водлазной части говорят, что войска в Севастополе приведены в полную боевую готовность. Я приехала в экспедицию в Крым, чтобы залечить душевные раны. Наверное, мне нужно было уделять больше внимания историческому моменту, но всё, о чем я могла думать, это о нем и нашем романе. Я видела, как БТР, проезжая по Севастополю, раздавил кошку, она лежала распластанная на улице, а кончик хвоста еще шевелился. Я просто разрыдалась там на месте, так мне было жалко эту котяру. Я не сочувствовала Горбачеву и даже не думала, что произойдет с нами, если победит ГКЧП.

Я узнала, что он в Москве, на Краснопресненской набережной, дежурил день и ночь со товарищи, защищал демократию, которая вдруг стала ему так дорога. А я даже не заметила, что произошло, сочувствовала только себе и несчастной кошке.

Путчисты проиграли, демократы победили, и перед нами замаячила надежда на новую жизнь, на благополучие и счастье. Каждый тогда чувствовал невероятную свободу, которая упала на нас внезапно. Всё происходило в ускоренном темпе: каждый день приносил что-то новое, можно было летать в Москву на самолете, ездить на такси, заказывать икру и шампанское в ресторанах. Нас убеждали, что если есть деньги, то нет неразрешимых вопросов.

В мужчинах просыпался первобытный человек, которого кормила физическая сила, а в женщинах рождалась тяга к очагу и сильному плечу. Перед молодыми и красивыми открывались двери мерседесов, модельных агентств и загородных домов нуворишей. Запах денег, азарт конкуренции и мечта о власти рождали в мальчиках мужественность. И меланхоличный интеллигент из провинции превращался в бесстрашного охотника за удачей.

Это было время, когда разваливалась огромная, невероятно огромная страна, откалывались народы, трещали по швам некогда стабильные институты, менялись границы, распадалась связи. Никто не заметил, что распались отношения двух людей.

Наш союз был и так довольно хрупким – это мне только казалось, что любовь невозможно сломать, разрушить. Мне было трудно представить, что после наших встреч он мог приходить домой и играть роль семьянина. Он уверял меня, что с женой его связывают лишь дружеские отношения. Ах, как самозабвенно он лгал, а я не хотела смотреть правде в лицо. Однажды, когда я не пришла на свидание и выдержала паузу в пару недель, он – мятущийся от отчаяния – сказал, что больше не может так, и первый бросил слово «развод» как спасательный круг. Он почти сам себе поверил, а я убедила себя, что мы сможем пройти через это вместе.

Илья вскочил. Какая наивная чушь! Неужели она действительно верила в это? Да, он женился слишком рано, слишком нелепо. Но был благодарен Ольге за ее понимание и умение закрывать глаза. Они были равны и молчаливо честны друг перед другом. Кэт отказывалась принять такую идею брака, и Илья стискивал челюсти, когда она, глядя на него широко раскрытыми глазами, вопрошала: «Но разве брак не должен быть продолжением страсти? Разве не счастье знать, что твой любимый принадлежит только тебе?» Когда Илья понял, что он только подыгрывал Кэт в ее стремлении сделать их отношения честными, открытыми, то почувствовал, как эта искренность и наивность начинают его тяготить. Она всё чаще впадала в истерические состояния, рыдала и устраивала сцены. Илья с облегчением вздохнул, когда Кэт уехала на зимние каникулы в Тюмень. Звонок из Тюмени прямо в канун Нового года, когда он ставил елку вместе с Ольгой, а Игорь ползал по полу, пытаясь дотянуться до елочной игрушки, не предвещал ничего хорошего. Она была беременна.

– Ты уверена? Как ты могла залететь?

– Я сама в шоке.

– Ну и что ты собираешься делать? – спросил он хладнокровно, хотя внутри всё кипело и переворачивалось.

– Ты хочешь сказать, это моя проблема?

– Милая. Конечно, это наша проблема, просто я немного растерялся.

Когда Кэт вернулась в Москву после каникул, всё было по-другому. Она стала рассеянной, часто замирала, зажав сигарету, пока та не догорала до самого фильтра; серебряная трубочка пепла сыпалась на постель, что бесило Илью. Он стал уставать от этого молчания, застывшего взгляда. Подумаешь, аборт. Ну, всё же обошлось, милая, ты здорова. Она смотрела на него непроницаемым иронично-удивленным взглядом. И только один раз в сумерках после невероятного секса вдруг спросила: «А ты никогда не думал, что у тебя мог бы быть еще сын или дочь? Не представлял, как бы выглядел твой ребенок?» Он попытался обратить всё в шутку: «Я согласен только на дочь, мне не нужны конкуренты мужского пола, претендующие на твою грудь», и притворился к ее соску. Внешне всё было так же, как и раньше. Кэт приходила в понедельник и оставалась до четверга. Они готовили скромную еду, смотрели фильмы, пили дешевое вино и занимались любовью. Но в воздухе повисла недосказанность. Кэт его изводила, он приезжал домой в Балашиху истерзанный и дерганый, называл Олю Катей, метался во сне, раздражался на сына, кричал на жену. Оля жаловалась отцу, спокойный глубокий баритон которого, распекавший его в телефонной трубке, вызывал у Ильи смешанное желание сказать: «Есть, товарищ полковник» – или наорать на тестя матом.

Кэт перестала ходить на лекции и не сдала сессию. В университете дали последний шанс пересдать.

Однажды вечером они жарили картошку на общежитской кухне. Илья рассказывал, как готовила жареную картошку мама, со шкварками, с лучком, чесночком и солеными огурчиками. «Ты рассуждаешь о жареной картошке как об изысканном блюде французской кухни.» Да неважно, *что* она сказала, важно, *как* это было сказано: с таким ядовитым сарказмом, что Илья сгреб сковородку и одним движением вытряхнул содержимое в мусорный бак. Они остались голодными и злыми. Часам к десяти вечера Кэт довела его до такого бешенства, что Илья заставил ее одеться и повел к метро, чтобы отправить в общагу на «Юго-Западной». Они шли молча, пока вдруг, не доходя до станции «Университет», она не потеряла сознание, упав на заснеженный тротуар. Илья решил, что Кэт притворяется, даже не стал ее поднимать, пока не понял, что та действительно в глубоком обмороке. Он растер ей щеки снегом, взял такси, дотащил девушку до комнаты и в ту ночь решил, что пора завязывать с этим романом.

Катя собралась домой в Тюмень на пару месяцев, надеясь потом разобраться с сессией, чтобы по-прежнему быть вместе. Илья пришел на вокзал проводить ее. Они расставались молча, сначала долго не могли разорвать объятия, потом Кэт стояла в тамбуре, пока про-

водница не заорала на нее, – и всё равно она не уходила, смотрела на него, не отрываясь, пока поезд не исчез в вечерних сумерках.

Когда поезд стал медленно отплывать от перрона, я продолжала смотреть на него, словно предчувствуя, что мы больше не увидимся. Наши руки выписывали в воздухе знаки, понятные только нам одним. Я думала, что расставание – это смерть, но моя любовь сильнее смерти. Так почему же этого оказалось недостаточно? Наверное, потому что моя любовь может преодолеть центробежную силу поезда, несущегося в Сибирь, но тот, кто остался на перроне, не готов отправиться навстречу этому потоку. Я уезжала, унося с собой часть его любви, предчувствуя, что «нас» уже никогда не будет.

Для Ильи ее отъезд был облегчением. Уже тогда на вокзале он мысленно слагал строки письма, которое отправит через пару дней. «Я не знаю, что такое любовь... Ты всегда будешь самым ярким воспоминанием...» Набор банальных, ничего не значащих слов. Он забудет это письмо, как и сцену на вокзале, потому что его захватит вихрь под названием «борьба за выживание». В университете стали задерживать стипендию. Четыре из пяти глав кандидатской диссертации лежали в ящике письменного стола. Было очевидно, что пятая глава так и останется ненаписанной. Илья перебивался репетиторством, готовя девочек из провинции к поступлению на филфак МГУ, но его заработка хватало только на пару закупочных дней в магазине. На семейном совете с участием родителей Оли Илью приперли к стенке: либо он идет работать в Академию ускоренного развития, основанную тестем, либо Оля уходит к родителям. Он уволился с кафедры и начал работать на тестя.

Успешное развитие Академии и ее печальный конец оттеснили на второй план отношения с Кэт. Илья продолжал думать о ней, но их роман словно растворился в прошлом – там же, где оказались мечты о преподавательской карьере, защита докторской диссертации и поездки на летние семиотические школы в Тарту. Кэт снилась ему по ночам, она стояла с распущенными волосами на рельсах и говорила: вот видишь, теперь обо мне напишут роман. Илья бросался к ней, пытался схватить, оттащить от рельсов, но они вместе попадали под поезд, и он просыпался в холодном поту.

С появлением соцсетей он иногда искал ее в «Одноклассниках», ВК и Фейсбуке, но безуспешно, словно поезд времени унес Кэт из пространства компьютерной сети. Он спрятал ее письма между страниц незаконченной диссертации, зная, что Оля не будет там рыться. Иногда перечитывал их, как перечитывают знакомые книги, слышал ее голос. Изредка ночью, когда Оля поворачивалась к нему в их просторной итальянской кровати, он вспоминал узкую койку в общежитии на Воробьевых горах и пряди длинных волос Катюши. Только это помогало ему спасать свой стремительно разрушающийся брак.

БЫТЬ ОТЦОМ

Илья сделал предложение Оле, когда она забеременела. Рождение Игоря не превратило его в отца. Он дописывал диссертацию, подрабатывал репетиторством, а плач ребенка по ночам раздражал. Илья переехал на Воробьевы горы, боясь, что не выдержат нервы. Игорь рос болезненным и капризным. Илья не знал, как держать, пеленать, отвлекать, смешить ребенка. Когда Оля объявила мужу, что уходит от него, тот не стал даже бороться за право общения с сыном после развода. С Игорем они виделись редко, и эти встречи не приносили радости ни одному, ни другому.

С Севой всё оказалось по-другому. У них с Игорем была разница в девять лет. Что-то произошло с Ильей за эти годы, и дело было даже не в женщинах, с которыми он пытался строить семью. Просто Илья родился отцом, когда родился Сева. Он держал на руках красноватого, липкого новорожденного младенца и плакал от душившего его благоговения перед свершившимся чудом и от тревоги за это незащитное существо. Он сам купал Севу в пластиковой ванне с нарисованными уточками по бордюру, закутывал его, размякшего, в полотенце, затыгивался запахом тонких, как пух, волос, по-идиотски курлыкал и кривлялся, радуясь каждому гульканью младенца, как стендапер, сорвавший смех публики.

Он познакомился с матерью Севы, когда подрабатывал редактированием для популярного в те времена женского журнала. Лина встретила Илью в редакции, когда тот пришел за зарплатой. Она вела несколько проектов, искала то фотографов, то копирайтеров. Фирмы, рекламирующиеся в журнале, снабжали ее бесплатной одеждой и косметикой – костюмы от Дольче и Габбана сидели на ее стройной фигуре просто отлично. Он стал водить Лину по богемным клубам, где кумиры столичных интеллектуалов играли джаз и фолк-рок, подавали дешевое пиво и можно было блеснуть знакомством с раскрученными драматургами и писателями. Она, как и Кэт, была из провинции, и Илья ей казался почти Сартром. Они не расписывались, просто съехались; в квартире Лины на Патриарших и родился Сева. Лина работала в двух журналах, приходила домой поздно, Илья гулял по Патриаршим с коляской; пока Сева спал, проглатывал книги по воспитанию, а когда тот просыпался, читал годовалому сыну стихи Пригова, вечером же укладывал его под Radiohead и Ника Кейва. Сева получил от Ильи всё, что должен был получить Игорь: раннюю школу английского, тренировки по дзюдо, последние модели самокатов и великов. Но самое главное – Сева получил огромную, невероятно огромную порцию отцовской любви, которая была принята с благодарностью: у Ильи сложились стабильно позитивные отношения с сыном, чего нельзя было сказать о Лине. Она объяснила Илье, что он не герой ее романа и попросила съехать. Сева приходил из школы к Илье на «Улицу 1905 года», там делал уроки, ел обед, приготовленный отцом, и к вечеру возвращался домой на Патриаршие. А

когда сын заканчивал девятый класс, Лина уехала на несколько месяцев в Штаты, Илья с Севой зажили вместе. Когда Лина вернулась, Сева отказался возвращаться к матери, и та вздохнула с облегчением.

Снова завибрировал телефон. Сообщение от Лины: «Ты проверил почтовый ящик? Повестки не было?» Защемило под ложечкой. Ну, блин, Сева же прописан у Лины, почему вдруг должны сюда принести? Он ответил коротко: «Пока не было». Выключил телефон. Было уже темно, и джин кончился. Комаровский перелистывал страницы рукописи, закапанной слезами ридера, при свете торшера.

«В комнате с белым потолком, с правом на надежду.» Я слушаю Nautilus Pompilius, лежа на полу в общежитии на улице Чкалова, я пропустила уже столько лекций, что отчисления не миновать. Болит спина, на кровати трудно поворачиваться. Лучше всего ходить, тогда он спит, а как только ложишься, начинается веселье. Ну чем он там лупит под печенью, и в почку, и в диафрагму? Кажется, я ношу детеныша осьминога, но еще месяц – и кончится этот бокс внутри моего тела. А что потом? Родители пока не знают, а девчонки в общежитии уже скинулись на коляску, выбирают имя: изучают церковный календарь и астрологические знаки, пишут варианты на бумажках, скручивают их в трубочки, вытягивают из фетровой шляпы. Родион или Роксана, Антон или Аманда, Мирон или Марта, Альберт или Авдотья, Матвей, Марибель, Кассандра, Клим, Федор, Фекла. Они убеждают меня написать ему, отцу ребенка, попросить поддержать материально, но я отказываюсь. Я заставляю себя забыть о расставании на вокзале, о ссорах и примирениях, о его беззащитных близоруких глазах за стеклами очков в толстой оправе, о жестоком письме, которое он прислал через месяц... Пусть он никогда не узнает, что стал отцом самой красивой, самой умной, самой уверенной в себе девчонки на свете. А она никогда не узнает, что ее отец совсем не тот, чью фамилию она носит. Добрый, благородный блондин с серыми глазами, гражданин Франции, которого я нажеслала себе, когда ждала Марту, а он взял и материализовался, как герой сентиментального романа, и увез меня подальше от экономических бурь и потрясений девяностых в свое château под Парижем.

Илья неподвижно сидел на диване, пытаясь дышать, как его учили на курсах по осознанности. Вот почему у нее не было аппетита после возвращения из Тюмени, когда она якобы сделала аборт; эти изменения настроения, раздражительность, обмороки, мокрые глаза. Ничего ему не сказала. А что бы это изменило? Он считал, что Кэт была совершенно не готова к тому, чтобы стать матерью. И не ее в том вина. Просто были девяностые, когда почти все вокруг думали о том, как выжить, а не о том, чтобы рожать и растить детей.

* * *

Комаровский жил в трешке на Пресне, в районе станции метро «Улица 1905 года», недалеко от московского зоопарка. Старый сталинский дом, высокие потолки, в комнатах всегда полутень из-за огромных раскидистых лип и кленов, посаженных одновременно с постройкой дома. Квартира досталась ему по наследству после смерти тетки.

Комаровский как раз развелся с Олей, съехал из кооператива в Балашихе и вложил все свои сбережения в переустройство квартиры, которая стала его логовом, лежбищем, где он зализывал раны, давал уроки невнимательным студентам, приводил из джаз-клубов подвыпивших поэтесс и журналисток с размазанной тушью. Под высокими потолками Илья построил стеллажи для библиотеки, которой гордился: здесь были полные собрания сочинений классиков, изданные еще до революции, редкие сборники акмеистов и обэриутов, самиздат поэтов «второй культуры», работы Лотмана и других семиотиков, история, философия, литературоведение. Поэтессы безуспешно выпрашивали почитать редчайшие самиздатовские сборники, обещая взамен месяцы бескорыстной любви и даже уборку квартиры. У книжной полки стояло кресло, покрытое настоящим шотландским килтом, рядом с ним на выгнутых ножках столик с лампой, найденной в антикварном магазине: веселый арап во фраке и парике держал над головой зонтик. Бог знает, как эта лампа, сделанная в колониальной Индии, попала на блошинный рынок на платформе Марк. У стены стоял низкий темно-зеленый бархатный диван, выдавший виды. На стене, покрытой обоями в английском стиле, – пейзажи и графика неизвестных художников, купленные на аукционах, постеры из фильмов Бунюэля и Годара, на полках, свободных от книг, – африканские скульптуры, маски и иконы.

На широких подоконниках – собрание кактусов, которые время от времени взрывались звездами и фейерверками ярких цветов. Комаровский коллекционировал кактусы уже давно. Ему нравились их причудливые формы и неприхотливость. На зеленом диване он читал рукописи, которые брал из издательства, рядом на столике стоял крепкий кофе и лежала плитка шоколада. В издательстве было заведено читать распечатанные рукописи, а не файлы на компьютере. Это дает ощущение живой книги, говорила Марианна. Комаровский отключал телефон или относил его в дальний угол спальни, закрывал ноутбук, чтобы не отвлекаться на чтение новостей и поиски информации в интернете. У Севы была своя комната – с пластинками, тренажером и постерами из фильмов Тарантино, с собственными черно-белыми фотографиями, сделанными «Лейкой»; в квартире была хорошая звукоизоляция, и отцу не мешала музыка, которую Сева с друзьями слушал по вечерам. Они встречались на кухне, где за круглым столом вместе пили чай и закусывали бутербродами. Комаровский не лез в жизнь сына, мало интересовался оценками и часто пропускал письма из школы или истерики из родительского чата. Он также не запрещал

сыну приглашать одноклассников, не спрашивал, что бренчит у них в рюкзаках, и не принохивался к запаху дыма, доносившемуся из комнаты сына. Илья выдерживал выговоры Лины, которой иногда звонили панически настроенные родители Севиных одноклассников, но не передавал их Севе, пожимая плечами и делая знак глазами, когда говорил с бывшей супругой по телефону в присутствии сына. Именно поэтому у Севы с отцом сложились прекрасные отношения, которыми Комаровский стал дорожить даже больше, чем репутацией самого опытного редактора в издательском холдинге.

В телефоне промелькнуло сообщение от Севы. «Не могу спать, кашель. Купи в аптеке что-нибудь. Привези меду, и еще ‘Принца полукровку’».

Внутри всё снова начало крутиться, как шарики в лотерейном барабане в советские времена. Кашель?! Что если ковид или воспаление легких? А вдруг придется к врачу? Нет, в поликлинику нельзя. Сразу заложат. В частную клинику, что ли? Надо позвонить Лине, пусть ищет врача. Ничего-ничего, успокаивал он себя, пока ведь ничего не ясно, может, простуда, пройдет... Он налил еще джина, чтобы успокоить нервы, вернулся на диван, открыл рукопись.

Я порвала письмо и сразу же пожалела. Что удержало меня броситься вслед за этими бумажными мотыльками? А после я стала жалеть, что не собрала, не склеила скомканные клочки. Что мне мешало? Гордость или тайная надежда, что теперь, когда все мосты сожжены, между нами больше ничего нет? Жалкая моя, как же это было наивно. Разорванное письмо продолжало жечь, жестокие фразы звучали в голове, как старая заезженная пластинка. Я представляла его с сигаретой у окна, спиной к себе, или на троне, повторяющего: «Я не знаю, что такое любовь!», – и себя, валяющуюся у подножия трона.

А тело помнило все прикосновения, всю нежность и боль. Неужели это было лишь моим воображением? Я вставала к окну, глядя в ночь, словно стараясь уловить его присутствие в этом мире, как Джейн Эйр, услышавшая однажды зов любимого мистера Рочестера. Невосполнимое желание мучило, как лихорадка. Зажимая во рту конец простыни, чтобы заглушить крик, я смотрела в потолок и не могла избавиться от вопросов, которые не имеют смысла, но которые задают себе все брошенные своими возлюбленными: что я сделала не так? Что было не так со мной?

Мне не приходило в голову, что его могла мучить совесть – запоздавшая гостья: он мог вспомнить, что у него есть жена и сын.

Что было более вероятно, и я только позднее поняла это, он просто увидел, что наступает момент, когда флирт, интрижка, игра «ноу стрингс» превращается в серьезную жизнь двух взрослых людей. Даже не зная о ребенке, которого я спасла, он уже увидел, как

вместо одной семьи, к которой он был не готов, у него появляется вторая. А на дворе девяносто второй год, время не для рождения детей – время проверки на отсутствие сентиментальности, время доить золотых коров, вить веревки из воздуха (кто был никем, тот станет всем), возвыситься над своей униженностью, занять место, которое будет основанием династии в будущем. Ах, эти возможности и химеры. Кто-то из наших однокурсников уже плавал холодным трупом под мостом, кто-то сидел на зоне, кто-то принял выгодное, но рискованное предложение и не пожалел об этом, кто-то просто выживал, помогая родным и друзьям не умереть с голоду. Я бросила институт, чтобы успеть заработать на декрет, и пошла преподавать в школу. Сорок подростков смотрели на меня и мои схемы на доске замутненными взглядами. Они курили траву на переменах и резали вены в туалете. Девочки присматривались к профессии валютных проституток, мальчики уже начинали инвестировать деньги, украденные из раздевалки в спортзале. Я получила зарплату скомканными рублями, которых хватило на один поход за продуктами. Ах, мама, только ты помогла мне не сделать шаг с подоконника на улицу, где кольцо трамвая. Подруга пригласила работать в свою парфюмерную лавку. Меня мучило от тяжелого запаха французских духов, сделанных в Польше, но токсикоз прошел уже через месяц, и я стала копить деньги на частный роддом.

Рыжеволосая однокурсница Таня покупала в этой лавке средства для депиляции и пену для бритья. У нее был роман с Жаном, представителем франко-русской компании, которая вошла на энергетический рынок одной из первых. Таня ждала его каждый день, готовилась к встрече, но тот часто не приходил, пропадал неделями. Она в отчаянии прибегала в магазин, и ее желание наслаивалось на мою боль. Я не хотела признаться себе, что стремилась быть в курсе всех подробностей их любви, я уже знала, чем старается привлечь женщину, изнемогающая от страсти: гладкая кожа, маникюр, кружевное белье. Я продолжала поощрять Таню, которой только и нужно было получить слушательницу. Беременность еще не изменила тело, и мало кто догадывался о моей тайне. Однажды Таня пригласила меня в загородный дом, где она встречалась со своим любовником. Я согласилась. Таня напилась и рано отключилась, а я до утра беседовала с Жаном о музыке и литературе. Я тогда совершенно не говорила по-французски, но его русский – язык эмигранта в третьем поколении (его предки участвовали в заговоре против Распутина, воевали с большевиками, умирали от нищеты в дешевых пансионах Парижа) – был более сносным, чем мой французский. Мы не могли наговориться, а потом целовались, как школьники, опасаясь быть застуканными.

Боль не проходила, она просто становилась терпимой. Жан звонил каждый день, говорил, что потерял голову, и просил о встрече, Таня грозилась нанять бандитов, если я не оставлю ее мужчину в покое.

У Красовской был день рождения, девятиник. Мы продолжали называть себя «115-я» по номеру комнаты в общежитии, где провели сотни бессонных ночей под гитару, звонили друг другу каждый день, продолжали встречаться. Внучка ссыльных поляков в Сибири, Красовская, закончившая два вуза с отличием, еврейка Лендер из Молдовы, приехавшая в Сибирь, так как в Кишиневе она могла поступить только за взятку, русская красавица Прохорова с толстой копной соломённых волос, мягкая, как кошечка, немногословная, готовая всегда пожалеть (ах, сколько однокурсников рыдали у нее на плече), и я, романтическая искательница приключений, вечно попадающая в истории. Мы были неразлучны, кроме того года, когда я прожила в Москве.

Мы встречались с Жаном уже почти две недели. А под сердцем рос ребенок Ильи. Я запуталась. И после пары рюмок решилась. Кому как не девочкам, моей истинной семье, рассказать о своей беде. Про ребенка они уже знали, коляска была куплена и стояла на балконе, но история с Жаном оказалась для них неожиданностью. Таня была нашей общей подругой. У нее умерла мама, остались две сестры школьницы, дядя отжал дом, и Таня жила у знакомых, зарабатывая тем, что проводила экскурсии для иностранцев. Так она и познакомилась с Жаном. Этот француз с голубыми глазами и комическим акцентом был счастливым лотерейным билетом для Тани и ее сестер. А я украла у нее этот билет. Я рыдала, размазывая тушь, оправдывалась. Девчонки сидели молча. Прохорова сказала лаконично: «Что ж, времена теперь такие, каждый должен зубами рвать свое счастье». Лендер ушла на кухню и красноречиво разбила две тарелки. Только Красовская живо интересовалась, какой Жан в постели и знает ли он о ребенке. Лендер с кухни прокричала, что у Таниной сестры нашли диабет, а Красовская иронично предложила приискать Тане с сестрами женихов из окружения Жана...

С каждой минутой я чувствовала, как между мной и подругами вырастает стена отторжения. Гормоны в сочетании с водкой выстрелили в голову.

– Спасибо за праздник. Я пойду домой, нужно переварить информацию, поработать над своими моральными принципами.

– Ты что? Уже поздно, оставайся ночевать, – Лендер пыталась отговорить меня.

– Ничего, возьму такси. – Меня так разочаровали подруги, нужно было показать, как я обижена.

Район Зарудный – мрачные новостройки с темными глазницами окон – после полуночи спал мертвецким сном, С раннего утра его жители отправлялись на поиски пропитания себя и близких. Я пыталась поймать машину, это и называлось такси. Остановилась побитая белая тойота. В машине было двое. Запах алкоголя и беды.

– Нет, спасибо.

– Давай садись.

И удар по лицу, четкий, мокрый, от которого сразу течет кровь из носа и вышибает сознание. Меня затащили в машину и повезли куда-то, где нет свидетелей и человеческого жилья. О чем я думала когда очнулась? В голове были слова единственной молитвы, которую я знала. В машине стояло молчание. Двое мужчин общались между собой взглядами. Они понимали друг друга без слов.

Тогда животным чутьем я поняла, что дальше будет очень скверно. Они, так же без слов, посмотрели на меня. Два самца, изучающие свою жертву. Я переводила взгляд с одного на другого. Пустые лица, ни тени мысли. Один толкнул меня так, что лицо оказалось на уровне его ширинки: «Давай, шлюха». Запах немытого тела. Я еле сдержала приступ рвоты. Потом удар, и еще... Когда я очнулась на пустыре, то удивилась только тому, что жива...

Впоследствии я уверяла себя, что в тот момент заключила пакт с Богом. Он спасет меня, а я сделаю всё, чтобы мой ребенок вырос в другом мире, где я смогу защитить его от судьбы, которая ждет его здесь, в этой стране. Я вспомнила единственную молитву, которую знала, – возможно, неточно: «Отче наш, который на небе. Отче наш...»

В переходе метро Илья заметил знакомую фигуру. Бывший студент, полысевший (Господи, а я сам-то!), полинявший, он был похож на отца того юноши, который, захлебываясь, читал Бродского наизусть, сочинял верлибром. И неплохо сочинял. Но так и не окончил филфак, женился, завел детей, пошел работать. «Что, как жизнь?» В глазах застыла печаль, они словно зрачками отвернулись от мира и только смотрели на него изредка, нехотя. Бывший приятель рассказал, что у жены онкология, уточнил даже, в каком месте, да Илья невнимательно слушал. И тут новая беда: она столько лет получала французские препараты, а теперь ей выписывают какие-то биосимиляры, которые не помогают, опухоль растет. Страшно, ведь младшему сыну всего десять. Приятель продолжал рассказывать в подробностях о своих спорах с врачами, поисках фондов, денежных тратах, так, что Илью затошнило. «Как сам?» – «Ну как, издательство, бизнес как бизнес, авторов хватает, хотя некоторые и ушли. Вот переводим книги одной французской романистки». Собеседник крутил головой, потом признался, что с того момента, как родился третий ребенок, он перестал читать, а стихи... Эх, какие уж тут стихи.

Когда по вечерам Комаровский добирался до постели, то вспоминал, что только минуту назад он вылез из нее – и вот уже прошел день. Рутинa засасывала, не предвиделось ничего нового. «А с нами ничего не происходит...», – вспоминал он слова песни, – хотя нет, происходило как раз то, что не должно было происходить. Он жил с ощущением схлопнутого мира, знакомым с позднесоветского времени. К этому добавлялось то, что случилось и с бывшим его однокурсником. Вот еще недавно он сам был подающим надежды молодым

филологом, а теперь жизнь почти прошла, и где теперь эти надежды?

Раздевшись, Комаровский нырял в постель, как в колодец, и вдруг оказывался один на один с собой, словно обнаженный младенец на столе у врача: все замеры сделаны – вес, рост, пульс; он наг, он один в этом холодном мире, но он существует. Как существует? Как эта муха, которая время от времени жужжит на стекле? Как странная ночная птица, распевшаяся вдруг в осеннюю ночь? Как фонарный столб, который светит в окно, точно прожектор в киностудии? Как книга на тумбочке?

ПУТЬ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ

Брахман был странствующим проповедником, миссионером и называл себя сперматозоидом Господа, воплотившимся в человеческое тело. Он был невысокого роста, на лице выделялись широкий рот, готовый всегда растянуться в улыбке, и умные светло-голубые глаза. В любую погоду Брахман ходил в одном или двух свитерах, рваных джинсах, которые сердобольные мамы его знакомых девушек предлагали зашить, чтобы не простудить коленки, и горных ботинок. В рюкзаке лежала пара книг, которые он иногда давал для просвещения незачерствелым душам, – Гурджиев или Кастанеда, или «Некрополь» Ходасевича. Когда-то Брахман учился в горном институте и даже возглавлял экспедиции альпинистского клуба на Домбае, но после гибели одной из связок что-то сломалось у него внутри. Он бросил институт и стал вести бродяжническую жизнь.

Я познакомилась с ним случайно. Он ходил просвещать девушек в общежитии филфака. Брахман появлялся во время вечеринок и устраивал проповеди, часто вызывавшие недоумение, а то и жуткую злость. Люди собирались хорошо провести время, а человек в рваных джинсах утверждал, что они живут неправильно. Он сам рассчитывал больше на женскую аудиторию, так как был уверен, что мужчины неспособны к пониманию его проповеди по причине тщеславия, поскольку с детства им внушали мысль о принадлежности к сильной части человечества, что повышало – по его мнению – иммунитет к восприятию новых идей. «Именно поэтому мужики требовали от Христа чудес, тогда как женщины просто велись на силу, заключенную в его словах и внешности», – говорил он без тени улыбки. До отъезда в Москву я попала под влияние Брахмана настолько, что все считали нас парой. Я обвешалась фенечками, стала носить рваные джинсы, слушать «Комитет Охраны Тепла» и «Гражданскую оборону», ездила с Брахманом и его друзьями в походы в разные мистические места, куда не разрешалось брать с собой соль, часы и паспорт, что однажды довольно плохо кончилось, так как в Казахстане отсутствие паспортов привело всю компанию в отделение милиции. Брахман уверял, что их отпустили, потому что он повторял мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ, ОМ МАНИ ПАДМЕ»,

которая позволила казахским ментам увидеть, что перед ними не просто беспаспортные бродяги, а представители Высшей Силы. Но я была уверена, что угроза-вранье позвонить «папе, полковнику КГБ» сыграла более весомую роль в их освобождении.

Из чего состояла проповедь Брахмана? Кастанеда, Лазарев, Елена Рерих, Гурджиев, ченнелинг, рэйки. Он приходил к своим ученицам домой. Когда не заставал их дома, оставлял записки, подписанные «Иисус Христос». Он брал этих девчонок, своих учениц, в трипы, обещающая встречу с их настоящим «я». Однажды Брахман с группой из дюжины последователей отправился в лес на трип с мексиканскими грибами. Среди последователей возник спор, не являются ли псилоциды параллельной людям цивилизацией, призванной помочь в установлении истины. Брахман решил, что это можно проверить только эмпирическим методом. Они собрались на лесной поляне, на аптекарских весах отмерили каждому участнику полагающуюся ему порцию, закусили грибы медом и шоколадом, запили минералкой. То, что произошло потом, восстанавливали по разным источникам. Один стонал, другой разделся догола и кричал, что он посланец из космоса, а Брахман видел оранжевое небо, синие деревья, при этом восклицая: «Так вот для чего эти перламутровые одеяния и храмы до неба!» Хуже всего было, что одна из участниц, Настя из Москвы, по рассказам очевидцев, кричала и плакала: «У меня ничего не получается, как мне от этого избавиться», на что Брахман пообещал принести ее в жертву неведомому божеству, храмы которому ему виделись в его приходе. Кончилось всё довольно печально, и Настя потом долго лечилась в психушке.

Зимой того года Брахман с последователями обосновался в коммуне на Сортировке, где они варили «молоко» из конопли, читали Гурджиева и рисовали гуашью психоделические картины на старых обоях.

После инцидента в белой «тойоте» мне некуда было идти, так как братство из 115-й меня отвергло; оставалась только коммуна. Всё было точно в густом тумане. Невыносимо болело лицо, а про тело я старалась не думать.

Когда я появилась на пороге старого дома, построенного для работников железной дороги во время Второй мировой войны, даже бывалый Брахман, которого неоднократно избивали менты и просто скучающие граждане, присвистнул: «Однако видок у тебя...» В мутном зеркале уборной я увидела свое лицо и легла на тахту, проспавшись только через сутки.

Когда я проснулась, был вечер, горели свечи, кто-то играл на гитаре. Собрание оказалось пестрым: студенты университета, такие же бамжи, как Брахман, свободные художники. Передавая по кругу косяк, они вели разговор о Сартре. Брахман утверждал, что Сартр принял часть за целое, что он так и не понял, что прозябание в лоне устоявшейся идеологии есть самый опасный грех и что знакомство с умными книгами может вызвать иллюзию понимания у кого

удобно и нужно разогнать все гуманитарные факультеты. Я сползла с тахты и попыталась незаметно пройти на кухню; Настя, оказавшаяся там же, вскрикнула и заохала, увидев мое изувеченное лицо. Началась суета с поисками крема из бодяги, помогающего от синяков. Разговор перескочил с темы Сартра на тему физического насилия. Брахман предложил мне повторять мантру «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», чтобы избавиться от болящейся части, и просить Высший Разум простить убождков, которые на меня напали. Он утверждал, что прощение принесет мне положительные кармические последствия. Настя пустилась в спор с Брахманом, призывая меня написать заявление в полицию и по ходу дела изрыгая неимоверное количество изоциренных ругательств в адрес напавших на меня бандюг. Брахман сбегал на кухню с тетрадью, в которой без остановки в течение нескольких часов писал «ОМ МАНИ ПАДМЕ ХУМ», и вечер был испорчен.

На следующее утро я застала его сидящим у моей постели, неподвижно глядящим на меня. Он объяснил, что сидел так всю ночь, усилием воли представляя меня с лицом без синяков и в состоянии блаженного всепрощения. Брахман пояснил, что такая практика называется «активное сострадание», и у него есть доказательства ее действенности. Однажды он добился положительных результатов с другом, которого увезли на «скорой» с подозрением на камни в почках. Тогда Брахман собрал группу доверчивых девиц, с которыми пришел в больницу к другу, где они всем хором активно настроились воображать его совершенно выздоровевшим. И рентген показал, что камень в почке мистическим образом рассосался. Причем это произошло через сутки.

Мне было до такой степени всё равно, что я не возражала, пока Брахман проводил со мной разные манипуляции: читал мантры, обкуривал ладаном, наносил на синяки отвар из тибетских трав, декламировал стихи обэриутов, играл на гитаре регги, варил овсянку и скручивал косяк. Возможно, благодаря этим манипуляциям, через неделю синяки почти исчезли, и я была готова выходить «в свет».

Мантры Брахмана оказали на меня своеобразное воздействие. Я стала думать о молитве, которую повторяла на пустыре между улицами в Зарудном районе. Тогда в чреве белой «тойоты» с двумя бандюгами я уже видела себя трупом и шептала единственную молитву, которую знала: «ОТЧЕ НАШ, ИЖЕ ЕСИ НА НЕБЕСЕХ...» Слова появились словно сами по себе, я даже не знала, что помнила эту молитву. Брахман верил в мистическую силу слов и звуков, слогов, произносимых человеческим языком, способных растворить камни в почках или гнев и горечь в сердце. Но он также был убежден, что не имеет значения, чье имя призываешь в молитве: Шивы, Рама Кришны, Будды или Иисуса – всё это имена одного и того же божества, или эманации... Но в моем случае смысл был не в словах и не в имени, а в самом акте обращения к тому, кто имел силу изменить

физический ход вещей. Я была уверена тогда, что факт моего физического самосохранения и стал результатом этого обращения.

Уже потом во Франции, когда Жан привез меня в маленький православный монастырь в деревушке Бюсси в Бургундии, основанный его предками (его бабушка стала одной из первых монахинь в нем), я увидела лики святых на иконах и услышала их голоса. В наклонах их голов и жестах рук, протянутых к небу, словно в зеркале, отражалось то, как я видела себя: наклон головы «да будет воля твоя», жест руки «доколе, доколе, Господи...» Пасхальная полуночная служба перевернула всё внутри. «Как катком проехал по мне Господь», – записала я тогда в дневнике. Проехал, а потом снова собрал заново, вдохнул жизнь.

Мне казалось иронией, что Брахман с нарисованной киноварью точкой во лбу поет мантры и медитирует среди бескрайних полей, лугов и огородов, пьяных мужиков и ослабяннившихся городских хип-рей в деревне Окунево Омской области, а я молюсь русским святым под жужжание пчел, трели жаворонков и заунывное пение монахинь среди бескрайних виноградников Бургундии.

Жан был одним из тех людей, которых Брахман считал кем-то вроде Нео, выбравшим синюю таблетку: работа в фирме на шестидневке, отпуска, кредиты, банковские счета, ужины с коллегами. Да, он не был духовным проповедником или «сперматозоидом Господа», которым считал себя Брахман, или просто ищущим духовного просвещения, но для меня этот человек стал Иваном-Царевичем, который увез меня на сером волке от Кащея Бессмертного. Мое обращение в небесную канцелярию было услышано, Иван-Царевич с волком оказались лишь транспортным средством, которое выбрал Господь, чтобы вырвать меня из мира, где пути превращались в тупики, а вокруг поджидали ловушки, как в фильме «Сталкер», где у меня не имелось проводника. Во всяком случае, это была моя интерпретация.

Брахман тем временем отправился в Омск автостопом, то ли чтобы познакомиться с Егором Летовым, то ли потому, что в названии города звучало священное «ОМ». Но в результате сошелся с дочерью местного художника, завел с ней детей. Затем отправился за просвещением в очередной трип, из которого несколько человек не вернулись, а сам он долго был между жизнью и смертью, и возвратили его в этот мир уже с парализованными ногами и инвалидностью второй степени.

* * *

Сева, в наушниках, лежал на диване. Он не слышал, как вошел отец. В доме пахло чем-то прокисшим. Комаровский позвал сына, тот не отозвался. Длинные ноги в дырявых носках свешивались с дивана. Небритое лицо, вклоченные волосы. Бедный мальчик, сколько он уже в изоляции? Сидит в интернете, в соцсетях. Комаровский пошел на кухню, где освободил холодильник от прокисшего молока, заплесневелого сыра, поставил свежие продукты, вымыл посуду, вытряхнул

полную пепельницу в мусорное ведро. Заварил себе кофе. Сколько же он здесь? Почти месяц? Дни, недели слились в один липкий комок, к которому цеплялись новые дни и недели. Исчезали люди: однокурсники, коллеги; уволилось несколько редакторов из издательства. Вокруг образовывалась пустота, заполняемая только новостями... Пока Сева спал, он вынул рукопись, открыл страницу, на которой остановился прошлой ночью.

Я ходила по вечерним улицам маленького городка, всего в получасе езды на машине от Парижа: Жан отпускал меня погулять, когда сам сидел с Мартой. Я всё ещё вздрагивала и обмирала, когда сзади слышала скрип тормозов, и машины, останавливающиеся невдалеке, продолжали внушать ужас. Я часто заходила в подворотни или магазины и оттуда, затаившись, смотрела, кто выходит из дверей этих «рено» или «пежо». Постепенно я привыкла к тому, что сумерки не означали опасности, что одинокая женщина на городских вечерних улицах не воспринималась как проститутка или легкая добыча, невзирая на длину юбки или вырез блузки. Мужчины провозжали меня одобрительными взглядами, некоторые пытались познакомиться, но я никогда не сталкивалась с животной агрессией. Жан познакомил меня с подругой, практикующим аналитиком, он это сделал деликатно, хотя имел полное право подозревать, что вскрикивания по ночам и внезапные приступы неконтролируемых слез были не просто признаком постнатальной депрессии. Клэр посоветовала вести дневник, только для себя. Я писала на двух языках, мне нравилось ворочать новые слова во рту, точно леденцы, смотреть, как они ложатся на бумагу. О том, что заставляло просыпаться по ночам, я написала по-французски, потом Клэр посоветовала рассказать об этом от второго лица, как разговор меня нынешней с собой из прошлой жизни. Я сделала это, прочитала ей. Она ничего не сказала, только выписала сновидение. Через несколько недель Клэр позвала меня в кафе. Как друг, не как терапевт. Я пришла с коляской. Клэр была задумчива. «То, что ты пишешь, очень важно прочитать другим. У тебя талант. Если ты решишь свои записи опубликовать, под псевдонимом, как угодно, я знаю человека, который это издаст.» Так я познакомилась с Мишель, владелицей маленького феминистского издательства, которая начала публиковать мои книги. Цель счастливых случаев? Изабель Хупперт нашла мою книгу в магазине, написала о ней в своем блоге, и мой телефон стали обрывать «Галлимар» и «Ашет». Я отказалась от туров, от выступлений на телевидении. Одним из условий контракта являлась анонимность: на сайтах издательств и в базах данных нельзя было найти ни снимков, ни биографии.

Марта не знала о моей славе: книги издавались под псевдонимом, мама «работала над диссертацией». Я действительно защитила диссертацию в Сорбонне по поэтике эмигрантской литературы. Диссертация, пять романов. Я прекратила принимать таблетки, а

визиты к Клэр превратились просто в разговоры двух друзей, правда, ставшие даже несколько большим, так как часто мы оказывались вместе в постели... Она спрашивала, работает ли ее метод: выплескивание переживаний на страницы книг – я отвечала, да, мон амур. Но что-то продолжало ныть, как зубная боль. Сны, от которых я просыпалась в слезах: его близорукие глаза без очков, голос в трубке, прикосновение рук... Я говорила мужу, что работаю, пока сама прочесывала интернет в поисках его, его жены и сына. «Фейсбук», «Одноклассники», ВК, ЖЖ, «Твиттер». Мне во что бы то ни стало нужно было знать о нем всё: где он живет, с кем, где работает, счастливы ли. Я должна выяснить, говорила я Лендер по телефону, чтобы дочь знала, кто ее отец. Но он был неуловим: уволился из университета, не вел соцсетей. Я не могла следить за ним (ах, ужасно он скрывается от меня?). Клэр была неправа: переданная бумага боль не излечивает от ран. Я долго думала, что мешает мне избавиться от мыслей о нем (что бы он сказал, узнав, что...), и поняла, что это отсутствие завершения, как стало модно говорить, «незакрытый геистальт». Его письмо было односторонним разрывом отношений, мое решение сохранить ребенка было несогласием с его решением. А что дальше?

ДОМ

Мой дом прячет меня от бури, продолжает меня в пространстве и времени. Он будет, когда меня не станет. В нем семья моей семьи, поколений, живших здесь раньше. Я, как Сара, принимаю чужестранцев в этом доме, украшаю его вазами с пионами, только что срезанными в саду, стелю на стол скатерти из голубого льна. Я люблю бродить по дому, когда он пуст, когда его обитатели унеслись на свои жизненно важные занятия. Я варю себе кофе в турке и закрываю окна, если на улице шквал. Мой дом – это корабль: скрипят мачты, палуба белесая от морской воды. Иногда мне кажется, что если я открою окна и двери, то хлынут тонны соленой воды. Мне часто снится, что я на корабле или в лодке и не могу пристать к берегу. Жан говорит, что это страх жизни, страх людей. Только в доме мне не страшно. Я сажусь за стол на террасе, откуда виден кусочек улицы, но стена, окружающая сад, защищает меня от внешнего мира. Вокруг терракотовые вазы с гортензиями, стол покрыт кружевной скатертью.

Я пишу в дневнике, не зная, что останется на странице. Что быстрее – мысль или рука? Рука начинает танец с мыслью, мысли текут свободно и просто. Как это странно... Мне не скучно, у меня столько собеседников. Кэтрин-мечтательница, Кэтрин-философ, Кэтрин-писательница. Кэтрин-деятель стоит с секундомером и напоминает о долге. Как они, интересно, договариваются между собой? Кэтрин-деятель пишет в свой дневник обо всем, что не сделано вчера, а значит, это нужно сделать сегодня. Кэтрин-писатель торгуется: можно ведь и завтра...

Вот только вчера я написала в дневнике: «Личная пустота. Моя

пустота. Пустоцвет. Всё тупо, всё бездарно. Я как больной, который выходит из комы. Нужно просто поднять руку, сжать пальцы. Я живу. Я еще здесь. Я могу. Написать. Помогите мне, Господи, продраться через эту стену».

Какой контраст между вчера и сегодня. Сегодня я слышу зов. Глубокое «я», готовность к тому, чтобы не сдаваться. Нежность, легкое прикосновение крыльев ангела к душе. Я хочу быть более деликатной, не мучать себя и других.

МАРТА

Неужели эта длинноногая, вечно спешащая молодая женщина с каннами в ушах – моя дочь? Она постоянно на связи со своими единомышленниками по всей Франции и даже всему миру: они спасают китов, тюленей, пишут письма и петиции, вступают в стычки с полицией на экопикетах. Я восхищаюсь ею. Она смелая, гораздо более смелая, чем я. Она знает, чего хочет. Ее преследуют журналисты и парни со степенями Сорбонны и Йеля, которые в нее влюблены. «Нет, мама, я еще не готова settle down», – отвечает она мне. А ведь ей уже за тридцать. Подумать только, пятнадцать лет назад я обзванивала всех знакомых психологов Парижа, рыдала в кабинете у Клэр. Мне казалось, что это существо с синими волосами, с колечками в носу и ушах, с татуированной ласточкой на предплечье, которое было моей дочерью, доведет меня до психушки. Она закатывала глаза, сидела за обедом в наушниках, захлопывала дверь с таким шумом, что с потолка сыпалась штукатурка. Когда Марте было пятнадцать, ей казалось, что она знает всё. Что мы могли поведать ей о мире? У нее был интернет, друзья – они открывали ей глаза на правду, которую от нее тщательно прятали родители. Она перестала ходить с нами в церковь и днями лежала в своей комнате.

Мне казалось, что это несправедливо: нам приходилось всего добиваться самим, а ей приносят на тарелочке – лучшая частная школа (отличное образование и мягкий подход), студия живописи на Монмартре, тренер по верховой езде в Булонском лесу, зимние каникулы в Куршевеле, летние – на яхте в Средиземном море. У нее имелся свой счет в банке, квартира на Монмартре, но она была так несчастна, что мир ограничивался только пространством одной комнаты и экраном компьютера.

Родина матери представлялась ей чем-то далеким и почти сказочным – местом на фотографиях в альбоме (datcha, babouchka, kulitch), театральными декорациями к любимым книгам («Война и мир», «Доктор Живаго»), предметом то гордости, то стыда перед французскими одноклассниками и иногда тайной мечтой. Парижские друзья воспитывали детей, взятых из детских домов в Ханое или Шанхае, учили их китайскому, готовили к тому, что в один прекрасный день они встретят своих родителей. Но я ни с кем не могла разделить тайну происхождения, которая связывала моего ребенка с человеком,

имя которого я старалась забыть в вихре новой жизни. Я знала, что однажды придет время раскрыть эту тайну, но пока что предпочитала оставить случившееся там, где оно и должно быть: в прошлом.

* * *

– Пап?

Сева потянулся, встал с дивана. Запах нестиранной одежды.

– Привез сигарет?

Они пьют чай.

– Сколько еще мне здесь торчать?

– Я ищу деньги, сын. Ты не сможешь прожить и месяца, если мы не найдем тысяч пять, а лучше десять, переведем в крипту; нужно жилье, чтобы получить разрешение на работу, потом... работу сразу не найти... Ты бы сходил в душ, сынок, побрился. Давай я постираю джинсы.

Его нужно вывозить, еще месяц – и начнется депрессия. Ему необходимы друзья, общение.

Сева поплелся в душ. Комаровский налил себе чая, случайно плеснул на рукопись: на странице расплзлось коричневое пятно. Нет, он не чувствовал зависти, скорее досаду. Блин, лыжные каникулы в Крушевеле! Он с Севой съездил один раз на Домбай, но сын не получил удовольствия, потому что стыдился своего поношенного старомодного лыжного костюма, плохих лыж и грязной гостиницы в пяти километрах от трассы. Они катались на беговых лыжах по выходным в Подмоскowie, а летом ходили на байдарках по Карелии. Первой жене всегда казалось, что их семья не дотягивает до планки, которую установили некоторые друзья их круга, и она обвиняла в этом Илью. Супруга внимательно смотрела на марки машин, на район Москвы, в котором покупались квартиры, на количество звезд гостиницы, где проводились отпуска. Комаровский сошел с дистанции еще в конце девяностых, а когда родился Сева, пытался избегать общения с друзьями, у которых имелись дома в Тоскане и Провансе, шале в Альпах... Зато он всегда был рядом с сыном, вникал в учебу, ходил на все школьные собрания, участвовал во всех родительских чатах (единственный отец среди хора матерей), записался в группы волонтеров и вместе с десятилетним Севой развозил еду бомжам на желтеньком миниавтобусе или строил дома для особых детей. Новые знакомые приглашали их в походы с рюкзаками по Кавказу и Средней Азии, он старался без иронии учить слова бардовских песен и потом так же без иронии и стёба их петь. Когда Сева вырос, круг знакомств с волонтерами и бардами перестал быть востребованным, и Илья вернулся к своей джазово-интеллектуальной социально-никчемной тусовке. Но Сева получил прививку от «мира сего», от зависти и желания вещей и поездок, спокойного-интеллигентского отношения к статусу и зарабатыванию денег. Всё было правильно, но именно сейчас очень требовались те самые деньги, к которым он научил сына относиться философски.

ОТЖАТЬ БИЗНЕС

Илья нырнул в метро. Знакомый гул проноссящихся вагонов успокаивал. Он осмотрелся перед тем, как открыть новостную ленту своего телеграмма. Он был уверен, что сосед рядом только притворяется, что читает газету, а на самом деле с любопытством поглядывает к нему в экран. Илья открыл приложение Яндексa и стал изучать курс доллара, евро, фунта стерлингов, йены; потом температуру воздуха в Москве, в Дубае, Сингапуре, Пекине и Сеуле. Кто-то пристально смотрел на него из угла вагона, взгляд, от которого стало не по себе. Он поднялся. До его остановки было еще две станции, но Илья решил выйти раньше. Он вышел и стал ждать следующего поезда; пассажир, чей взгляд он поймал в вагоне метро, последовал за ним. Илья решил пересестъ на другую ветку (через кольцо можно было тоже добраться) и зашагал против потока людей, чтобы раствориться, слиться с массой.

– Комар?!!

Знакомый голос из далекого прошлого. Окликнувший был выше ростом, и его баритон доносился откуда-то сверху. Мужик догнал его и загородил дорогу. Илья остановился. Они стояли некоторое время, мешая людям, идущим быстрым потоком к поездам на станции метро «Библиотека имени Ленина». Это был однокурсник по филфаку Валериан Ашотович Бригадян по прозвищу Бригадир, сын армянского партийного функционера и русской писательницы, один из немногих особей мужского пола среди моря филологических дев. Он пользовался неизменным успехом, благодаря унаследованному от отца искусству обольщения и знанию на память почти всей рифмованной классики, что являлось заслугой матери. Так как родители занимали прекрасную пятикомнатную квартиру в престижном районе Еревана, Бригадир соседствовал с Комаровским в общежитии на Воробьевых горах.

– Старик, сколько лет, не могу поверить! Ты куда пропал? Давай же сядем, разберемся с этим вопросом.

Комаровский не знал, как отделаться от Валериана, но тот уже тащил его по гармошке эскалатора из метро наверх. Несколько минут спустя они очутились на одной из улиц города, восхитительно заливной недавно установленными фонарями, украшенной элегантными вазонами и керамической плиткой (свой товар, не импортный, от самой градоначальницы). На каждой стороне улицы красовались кафе и рестораны, в которые входили нарядно одетые люди. Комаровский посмотрел на свои ботинки, заляпанные грязью, и непарные брюки. Бригадир уверенно тащил его за собой.

– Я знаю здесь одно местечко. Армянская кухня. Какой шашлык! Будешь меня до конца дней благодарить. Никакого дресскода, расслабься. Свои люди.

Бригадир и студентом всегда знал лучшие забегаловки в округе, даже в самые голодные годы он приглашал на свой день рождения избранных на зажаренного ягненка или куриный шашлык.

В ресторане царил полумрак, горели свечи на столах, на стенах красовались пейзажи Армении. Комаровский не сразу понял, что было не так. А когда понял, то мысленно с горечью рассмеялся: он попал в ресторан впервые за девять месяцев. Ему казалось, что посещение ресторанов, концертов и театров принадлежало к другой жизни, и Илья с удивлением смотрел на улыбающиеся парочки с бокалами вина и кружками пива за соседними столиками. Видимо, его изумление было так очевидно написано на лице, что Бригадир хлопнул приятеля по плечу, типа «всё в порядке», и потащил за столик в самом углу ресторана, закрытом от общего пространства аквариумом и огромной монстерой.

– Я закажу хашламу, это не баранина, а поэма. Возьмем красного, у них прекрасное на разлив. Закуси... Давай долму, сулугуни, это, конечно, не армянское, но очень комплиментарно. Да, я тебе скажу, что за такие цены не поешь так ни в Берлине, ни в Париже.

Неулыбчивая официантка в традиционном армянском наряде, с татуированными запястьями и пирсингом в носу принесла декантер вина и два бокала. Плеснула в бокал Бригадиру для дегустации. Тот покрутил темновишневую жидкость в бокале, засунул в него свой толстый крючковатый нос, потом опрокинул бокал в рот, но так, что было видно, как он напрягает все вкусовые рецепторы. Даже глаза прикрыл.

– Слушай, старик, я чесслово обалдел, когда увидел тебя в метро. У меня, понимаешь, машина в ремонте, я вообще-то редко на общественном транспорте... нет, я ничего не хочу сказать, это вообще круто. Экология, соотечественников посмотреть, да и в пробках стоять не надо. Преимуществ масса. Но вот то, что мы встретились, я считаю, перст судьбы. Выпьем же за это!

Комаровский не очень разбирался в вине, и оно ударило в голову, разлилось по телу, ему стало странно, что он все эти месяцы отказывал себе в таких невинных удовольствиях. Вот, вероятно, и объяснение неврозу, ночным кошмарам. Нужно заботиться о себе, что за мазохизм. Кому он может помочь тем, что во всем себе отказывает?

Разговор шел об обычных вещах: кто, где, куда устроился, с кем развелся, куда свалил. Сам Бригадян уезжал, но вернулся, пробовал жить в Ереване, впутался в политику в Карабахе, еле ноги унес, несколько месяцев работал на эмигрантские газеты в Прибалтике, но ему не продлили визу, а потом его работодатель был вынужден переехать в страну, куда Бригадяну попасть не удалось.

– Да в гробу я видел их Европу! Лицемеры. Из каждого утюга fuck Russia, обвиняют в том, что мы прогибаемся под диктатором, а сами закрывают оппозиционные медиа, не продлевают визы журналистам. Пропаганда везде! Цензура! Я снимаю квартиру в криминальном районе, отдаю половину зарплаты, мой статус на уровне беженца из Эритрии, а отношение ко мне хуже в сто раз. Ну нет, с меня хватит. Собрал вещи и вернулся. Мне комфортно здесь, политика меня не интересует. Да хрен с ним, как ты сам, старик, где жена, дети?

Комаровский коротко рассказал о том, что дважды развелся, два сына, работа в издательстве. Он не смотрел на Бригадира, когда сухо и лаконично излагал историю своей жизни за последние двадцать с лишним лет.

– Подожди, ну развод – это наше всё, а что за редакция? Ты ведь какой-то Академией командовал, там же целый концерн. Я думал, что тебя министром образования сделают. Тебя же по телеку показывали! Такой крутой проект был. – Бригадир поддел на вилку соленый огурец, аппетитно хрустел.

– Академия ускоренного развития называлась. Начальником был тесть, я отвечал за академическую программу, за отбор преподавателей, организацию курсов, Оля выполняла обязанности финдиректора. Семейный бизнес. Тогда сокращали ВВС, и было много безработных военных, совершенно молодых. А тут американцы стали давать большие гранты на переобучение. Наша Академия была первая в Балашихе и самая успешная. Переобучали военных на мирные профессии: программиста, бухгалтера, журналиста. Тесть говорил: вот теперь заживем. Мы приобрели две квартиры в новом доме, машину, да просто стали покупать нормальную еду, откладывать на образование Игоря. Не поверишь, мне казалось, что это так и будет развиваться: ну, типа, разные субъекты образовательного процесса – частные, общественные, государственные. Здоровая конкуренция. Работаешь много, создаешь качественный продукт и получаешь по способностям. Я, конечно, наслушался американских лекторов, которые нас учили предпринимательству.

– А что? Кинули?

– Можно так сказать. Тесть пригласил в Совет директоров представителей городской администрации. Потом началось обычное. Стали вынуждать переписать устав, требовали сделать главу администрации председателем совета Академии, а тесть ни в какую. И вот однажды вечером избили прямо у подъезда собственного дома. Он месяц пролежал в больнице. Оля уговаривала переписать устав, но я был против. Не знаю, что на меня нашло. Я был в ярости. Купил на черном рынке пистолет, тренировался по выходным в лесу, стрелял по консервным банкам. Ждал каждый вечер «гостей».

– Ну ты, старик, даешь. Пистолет! Уважаю! – Бригадир одобрительно причмокнул толстыми губами и хлопнул Илью по плечу.

– Мне не пришлось применить эти умения. «Гости» не пришли, всё оказалось проще. – Илья усмехнулся, сделал паузу, не рассчитывая на драматический эффект. Неторопливо глотнул вина. Ему не очень нравилось выражение лица собеседника, ждущего продолжения рассказа с полуоткрытым ртом.

– Тесть еще лежал в больнице, а я пришел, как всегда, на работу утром. У нас было здание почти в центре, с модными в то время темными стеклами. Мрамор, евроремонт, проходная с охранником. Я приходил обычно к восьми, за час до занятий. Но в этот раз охранник меня не пустил в здание. Шамиль, чеченец, хороший, честный парень.

«Илья... ничего не могу сделать. Приказ начальства. Сказали, что вы здесь уже не работаете». Забрал ключи и вынес коробку с моими вещами из кабинета. Спросил, как здоровье Анатолия Самсоновича, тестя, передал привет. – Илья достал телефон, проверил, нет ли новых сообщений. Он не хотел смотреть на Бригадир, хотя понимал, что тот ждет с нетерпением панч-лайн истории.

– А вечером Оля объявила, что хочет развод. Устроила мне истерику, кричала, что я ее подставил тем, что подвел Хрящева (главу администрации), что за всю нашу семейную жизнь я заработал только на колесо от машины «Нива», что если бы не она и ее семья, мы бы жили в трущобе и питались гуманитаркой. Я очень много узнал о себе из той речи. Когда я напомнил ей, что отец лежит с переломом ключицы в больнице из-за Хрящева, она заявила, что это не доказано и вообще случилось по моей вине (видимо, я на него неправильно влиял). Я собрал сумку (пластинки, книги, какую-то одежду), попрощался с Игорем и ушел. Только через пару месяцев узнал, что Хрящев развелся и женился на Оле. Я должен был догадаться об этом еще тогда. У тестя случился массивный инсульт за пару дней до того, как Оля расписалась с этим, и его хоронили сразу после бракосочетания. А с Игорем у меня отношения не сложились, хотя я поддерживал его все годы.

– Подожди, Хрящев – это тот, который...

– Да, в Думе, депутат.

– Слушай, но это же бомба. Мы должны это опубликовать! – Бригадир егзил на стуле, глаза его были влажными и блестящими. Илья стал утомляться от своего собеседника.

– Нет, ничего ты не будешь публиковать. Нет ни доказательств, ни свидетелей. И потом, тебе же пока комфортно живется. Расслабься, это вообще небольшое приключение в послужном списке господина Хрящева. – Комаровский раскручивал бокал, наблюдая, как свет свечи проходит через темнокрасную жидкость.

– Слушай, старик, я бы не подумал, что у тебя такой факап, ну, такая непруха. Черт, вот про кого – так про тебя не думал. Про Витьку-обэриута, про Прохора – да, мог подумать, но только не про тебя. Я же всегда тебе завидовал. Да все тебе завидовали. Женился на дочке полковника, которая еще и красотка, а тесть вообще кремень. Тебя сразу взяли в аспирантуру, место на кафедре еще до защиты диссера. Я тогда думал: ну почему всё одному. Это, как говорится, «у кого много, тому еще дастся; у кого ничего, у того отнимется». Но знаешь, что больше всего меня приводило в отчаяние? Что при всем твоим выигрыше в лотерею жизни у тебя была еще эта русалка, Кэт!

Комаровский перестал крутить бокал и опорожнил его одним глотком. Он поставил стакан на стол, но рука слегка качнулась, и бокал опрокинулся, громко стукнувшись о блюдо с бараниной. Комаровский спрятал руку под стол, надеясь, что дрожание прекратится. Бригадир с удивлением посмотрел на опрокинувшийся бокал, потом на Комаровского.

– Я не понимал, что она в тебе нашла. Мы же были вместе на той конференции. Сколько я ей говорил комплиментов, приглашал в кафе. Но она выбрала тебя. Они все выбирали тебя, сволочь. Какая девушка. Огонь! На той дискотеке из-за нее подрались русские с эстонцами. – Бригадир закатил глаза. – А я жил через стенку, можешь представить, каково мне было слышать саундтрек вашего эротического кино! И ты ведь ее бросил, старик. *Такую* девушку... Ты хоть поддерживал с ней связь?

– Да, в общем, нет. Она уехала в Тюмень в девяносто третьем, а у меня началась эпопея с Академией. Мы не очень хорошо расстались... А ты что-то знаешь? Похоже, ты неплохо осведомлен... – Комаровский избегал смотреть в глаза другу, он снова налил себе из декантера, который уже был почти пуст.

– Витя-обэриут, ну, помнишь, подался в бизнес, красную ртуть продавал на Запад, красную ртуть, черт возьми!.. А Кэт помогла найти клиентов в Сибири. Он рассказывал, что Кэт свалила в европы, то ли в Бельгию, то ли во Францию. И правильно сделала. С ее внешними данными! Говорят, что она удачно вышла замуж, и у нее всё хорошо. Понимаешь, старик, и никаких отжатых бизнесов, пистолетов в бардачке автомобиля, обкуренных киллеров в подъезде, и вот этого всего, – он сделал неопределенный жест, показывая рукой на ресторан, который только недавно хвалил. – В каком-то смысле, старик, я думаю, что быть особью женского пола довольно выгодно. Можно выйти замуж за владельца паспорта нормального европейского государства, а то и вообще *сэиэа* – и все проблемы решены. С нами по-другому. Мужики из бывшего *эсэсэср* оказались не самым ходовым товаром. Невостребованным, я бы даже уточнил. И видит Бог, я пытался бороться с этой статистической несправедливостью. Я прикладывал множество усилий к оболыщению владелиц правильных паспортов, но меня посылали подальше с моими матримониальными планами. Секс – да, а загс – простите, идите лесом... Вот каков результат эмансипации... Признаться, не раз думал о смене пола, но теперь не остается даже этой альтернативы...

Комаровский плохо понимал, он уже порядочно надрался, однако, несмотря на это мог совершать в уме математические операции, складывая стоимость молодого барашка на гриле, бесконечных закусок, нескончаемого потока вина да еще и коньяка под конец ужина. В итоге выходило, что отправка Севы в Грузию могла отложиться еще на какое-то время. От этой мысли ему стало так плохо, что всё лицо исказилось гримасой боли. Бригадир осекся.

– Ты что, старик? Перебрал? Мы же не мешали. Ладно, давай сматываться. Даже и не думай... – он сделал жест, означавший, что берет счет на себя. Подозвал татуированную официантку и профессионально быстро оплатил счет со всеми полагающимися чаевыми. Комаровский слабо протестовал.

– Я же тебя вытащил из этого чертова метро, привел сюда почти

насильно, значит, я плачу. Давай такси возьмем, какой у тебя адрес? – Бригадир уже включил приложение «Яндекс-такси». Комаровский не сопротивлялся. Теперь он должен будет пригласить однокурсника домой, снова пить, вести разговоры за полночь, утром страдать от головной боли и чувства стыда за то, что так быстро сдался в битве за право оплатить счет.

НУАР НА ПРЕСНЕ

Когда они подъехали к дому Комаровского, горело лишь несколько окон. В окнах этажом выше света не было, но между штор Комаровский заметил голову соседа, хотя, может быть, ему почудилось. Бригадир осмотрел дом, ничего не сказал, но в квартире разразился комплиментами.

– Одобряю, старик, да у тебя Трайбека, настоящий стиль! Горжусь знакомством, вижу, что ты вообще не изменился, не прогнулся под этот, как его, «изменчивый мир», – процитировал он Макаревича, рассматривая книги, пластинки, графику и постеры на стенах.

Комаровский поставил Телониуса Монка на вертушке – не для того, чтобы еще больше впечатлить гостя, а чтобы никто не мог подслушивать их разговоры, так как он не мог поручиться, что сосед сверху не придумал способ это сделать, а сам пошел на кухню смешивать джин и тоник. Хотя ему и хотелось избавиться от гостя, но именно ради таких комплиментов – в суть ведь смотрит, подлец – он был готов пожертвовать сном.

На кухне Илья прислушался, и ему показалось, что за входной дверью кто-то есть. По спине побежали мурашки. Он тихо, на цыпочках вышел в коридор, быстро повернул замок и резко распахнул дверь. В подъезде стоял Мытищин, в халате, в тапочках и с мусорным пакетом. Он притворно улыбался и вытягивал перед собой мусор как объяснение своего странного появления за дверью Комаровского.

– Добрый вечер, если так можно сказать, Илья Петрович. Вот супруга попросила мусор вынести, неприятно пахнет, говорит, спать ей мешает. А я и не знаю, чем это у нас неприятно может пахнуть, мы люди скромные, не курим, не пьем... А у вас, как вижу, гости! – Мытищин пытался заглянуть сквозь полуоткрытую дверь.

Комаровский не помнил, как зовут соседа по имени-отчеству, у него сжимались кулаки, и он просто хотел бы вмазать ему по морде, но останавливало многое: и непонятные организации, в которые входил Мытищин, и его полная, ничем не сдерживаемая ненависть к семье Комаровского.

– Да, у меня в гостях господин Бригадян, сын секретаря обкома Нахичеванской области и заслуженного деятеля искусств Марианны Раскатовой, можете так и написать в своем отчете.

– Господин Бригадян! Слышали, конечно! Не знаю, о каких отчетах вы говорите, странно слышать такие слова от вас, Илья Петрович. Что-то давно мы Севу не видели, как его здоровье? – Мытищин пере-

кладывал мешок с мусором из руки в руку и не менял улыбающегося выражения лица, хотя глаза сканировали Илью в поисках смущения и паники.

— Сева по студенческому обмену в Сербии. — Ответил Илья сухо. — Что ему передать?

— Привет от друга, так сказать, детских игр, на заре молодых лет, ныне защищающего родину на ее рубежах. Заходили бы к нам, Илья Петрович, мы бы показали фотографии нашего героя, письма его почитали. Вот и Севе было бы полезно.

— Благодарю за приглашение, я над этим подумаю. — Комаровский поспешил захлопнуть дверь, так как его бледное лицо могло выдать чувство безграничного отчаяния и желания кричать. Иногда он представлял себя героем картины Мунка «Крик», ему казалось, что всё существо становилось огромной дырой отверстого в безнадежном крике рта, воронки, в которую входит всё отчаяние мира.

Он вернулся на кухню, сделал два коктейля, стараясь не разбить стаканы, принес их дрожащими руками, частично расплескав по дороге, и вручил один Бригадир, развалившемуся на диване.

— Кто приходил? — поинтересовался приятель, потягивая коктейль.

— Сосед сверху. Интересовался, кто у меня в гостях.

— Даже так? Соседская бдительность?

— Мне бы нужно давно отсюда уехать, но не могу представить, что придется собирать вещи в какие-то коробки, просто начинаю болеть от этой мысли. — Комаровский снова почувствовал, как накачивает парализующее отчаяние. Ему хотелось рассказать Бригадир о Севе, ждущем, когда отец найдет деньги, о буквах Z, которые рисуют ему на двери, но не знал, можно ли доверять однокурснику, с которым они не виделись больше двадцати лет, который платит счета за двоих и одевается в дорогих магазинах. Откуда у него вообще деньги?

— Что это? — Бригадир заметил рукопись на журнальном столике. Зацепил ее мягкой рукой с темным пушком на фалангах пальцев.

— Слушай, я как раз хотел тебе рассказать. — Илья вручил Бригадиру свой стакан и нежно отобрал рукопись. — Это роман в модном жанре автофикшн от одной популярной французской романистки русского происхождения. Понимаешь, у меня паранойя: я уверен в том, что это написала Кэт; я чувствую, словно она отрывается на каждой странице за все свои неудачи в России. Обвинительный акт какой-то, хотя всё так ми-ми-ми, с этими девичьими соплями, расчёт на доверчивых читательниц, каких-нибудь провинциальных библиотечарш, ну, ты понимаешь. Меня просто колбасит от этого доверительно-го тона, от сентиментальности, бесит выворачивание наизнанку всего, что нужно держать при себе. И в то же время...

Он замолчал, полез за сигаретой, щелкнул зажигалкой, затащил. Бригадир сидел на диване не шелохнувшись, приоткрыв рот.

— В то же время я не могу отделаться от ощущения, что всё это

рассчитано на меня, что она писала для меня, единственного читателя, который ей был нужен, чтобы ткнуть мне в морду, чтобы я сдох от сожаления о том, что потерял-профукал такую женщину, бросил ее, эту королеву автофикшн, черт, которая строчит свои романы в окружении трех гончих собак, на террасе, обставленной горшками с гортензиями, в особняке восемнадцатого века в 12-м аррондисмане Парижа... – Илья стряхнул пепел в пустой стакан. Ночь стекала черной мазутной жидкостью в воронку его жизни, завтра (уже сегодня) он будет полной развалиной, не в состоянии и страницы отредактировать даже после литра черного кофе. Бригадир мямлил заплетающимся языком:

– Старик, ты уверен? Этого, черт возьми, не может быть, это просто какой-то сюрреализм, «Москва слезам не верит»! Помнишь, как он приехал снимать передачу на завод, и она там директор завода или какая-то еще ерунда... Ненавижу этот фильм... Но Париж – это уж туу мах... Как-то у меня в голове всё, что ты говоришь, не укладывается. Слишком по-голливудски...

– Это не всё. У нее, видишь ли, еще дитя любви от московского сноба, который ее бросил, полагая, что она сделала аборт. Бразильская мелодрама. Дочь не знает, кто ее биологический отец, а мать страдает оттого, что не может разгласить миру сию тайну. А эти страдания! Она прорабатывает свою травму не одна, с психотерапевтом, ищет своего московского сноба по соцсетям и не может найти, мучается от вины, от ревности, от ночных кошмаров, ставит каждое утро «I will survive», строчит сентиментальные романы, медитирует в ретрите Гоа... – Илья театрально закрыл лицо руками, потом снова взял сигарету.

– Слушай, мэнь, а что если Кэт всё еще в тебя влюблена? Представь, она написала, не зная, что ты это будешь редактировать... Или даже наоборот: знала, нашла тебя в издательстве, и оупс! – решила подцепить на крючок, рассчитывая на раскаяние. За ней ведь тоже грешок: скрыла от биологического отца факт рождения ребенка, умотала в Париж. Послушай, она явно ищет этого, как его, *искупления*, понял? – Бригадир увлекся своей интерпретацией и изящно потирал мягкие руки с темными волосками на пальцах.

– Мне всё равно. Я не психолог. Не собираюсь играть в ее игры. Мне обещали хороший бонус за редактуру, на этой неделе закончу – и свободен.

– Свободен? Ты что, увольняться собрался? Куда-то рвешь?

Илья понял, что проговорился, встал с дивана, проигнорировав вопрос друга, собрал стаканы, окурки, потом прислушался. Ему показалось, что на этаже сверху раздался странный звук, словно кто-то тихо постукивал по потолку или передвигал мебель. Он приложил палец к губам, взял стул, чтобы быть ближе к потолку, а потом громко и отчетливо выругался матом. Наверху послышались быстрые шаги.

– Суки, я выучу азбуку Морзе, чтобы каждый день выстукивать «чтоб он сдох, х.. войне» или еще что-нибудь, – он осекся, так как за целый вечер так и не понял позицию приятеля по отношению к СВО,

к режиму, к мобилизации, но Бригадян лежал, уткнувшись лицом в диванный валик, и в уголке рта торчала потухшая сигарета.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Комаровский закутал лицо шарфом, пусть думают, что болит горло. Он кивал сотрудникам, которые попадались в лифте и в коридоре. От яркого света болели глаза, и всё вокруг было в легкой дымке. Он мечтал лишь о том, чтобы не попасться на глаза Марианне, но та уже стояла у дверей своего кабинета с улыбкой Джоконды, держа в руках что-то светлое и праздничное. Она сказала, что довольна работой, что таких редакторов поискать надо, говорила про любовь к слову и прочие банальности. Илья стоял в двух шагах от нее, показывая на горло, делая вид, что совсем разболелся, надеясь, что начальница не заметит небритых щек и духа похмелья. Она с натянутой улыбкой всучила конверт, увесистый, о счастье!

— Обратите внимание, вы приглашены на фуршет издательства. На ярмарке. Кэтрин собирается быть *инкогнито*. Вы же понимаете, она не может участвовать в официальной программе. — Закатила глаза, вздохнула, — да-да, всем известные причины.

Кэт. Будет. В Москве.

Комаровский закрыл за собой дверь кабинета. Ну почему сегодня его не могут оставить в покое? Он открыл конверт, рядом с пачкой пятисоток и тысяч лежало продолговатое приглашение на ярмарку издательства с припиской о предстоящем фуршете. 13 октября. В этот день его уже не должно быть в Москве. Илья взял карандаш и стал машинально исправлять пунктуацию на приглашении. Потом бросил карандаш в мусорную корзину, словно копьё, которым он хотел поразить мифического зверя, державшего его в плену все эти годы. Чувство удушья. Он размотал шарф, руки были потными и липкими, пот просачивался через рубашку, давно уже такого не случалось. А зачем вообще Кэт приезжает? Книга-то еще не издана. Наверное, на презентацию перевода своих романов. Знает ли она, что Илья работает именно в этом издательстве? Столько в Москве издательств, почему выбрала это? Нашла его имя среди сотрудников? А может быть, Марианна всё знала, потому и поручила редактировать ему, Комаровскому.

За окном выла сирена. Да что же это такое, все словно с ума посходили! Сирена звучала совсем близко, в коридоре послышался топот, панические выкрики. Кто-то бешено стучал в его кабинет: Илья Петрович, срочная эвакуация, в здании может быть бомба! Илья продолжал сидеть неподвижно, чувствуя, как липкий пот капает с подбородка на клавиатуру. Он вынул сигарету и закурил. Он не вышел из кабинета, пока не появились сотрудники МЧС, пока не забегали по кабинетам специально тренированные собаки, дисциплинированные овчарки, при виде которых Илье сразу захотелось вывернуть карманы. Наконец, Комаровский решил, что его рабочий день закончен, и вышел из здания, с хорошо спрятанным конвертом

за пазухой, с намотанным на горло шарфом. Вокруг здания стояло несколько машин: МЧС, полиция, «скорая помощь» и пожарные; сотрудники, сбившись в стайку, нервно курили. Он попросил секретаршу (Марианны почему-то не было) передать начальнице, что уходит домой. По дороге на дачу Илья зашел в магазин, позвонил Севе. Его поразил голос сына, вернее, то, что было вместо голоса: слабый хрип. Заболел? Сева?!! Что с тобой?

Ему казалось, что электричка сломалась и никогда не доедет до станции с названием, которое никогда не украсит страницы даже самой посредственной книги. Серый перрон выпрыгнул на него, и Илья побежал по знакомой тропинке до участка с домом, задыхаясь. Его встретили темнота и вой собаки: на койке, накрытый одеялами и старым пальто, лежал Сева. Он смотрел неподвижно в одну точку, зубы клацали, язвочки окружали пересохшие губы, а из груди выходили хрипы, похожие на свист спущенной шины. Илья метался по даче. Ставил чайник, насыпал и рассыпал порошки по клеенке с подсолнухами. Уронил и разбил градусник, хотя и без него было понятно, что жар достигает критической точки. Бедный, бедный мальчик. Илье хотелось выть, как черному псу, он снова видел себя героем картины Мунка.

Дрожащие пальцы беспомощно тыкались в телефон, чтобы услышать голос Лины, чтобы не быть одному с этой бедой. Нет, Лина, мы не можем отвезти Севу к врачу, в компьютере его данные. Это прямая дорога туда, откуда мы хотим его вытащить. А что если он умрет, здесь, на этой разваливающейся даче? Парацетомол – до пятисот грамм, ноги холодные, растирать водкой, пить, пить, много пить. Сделать тест на корону. Чтоб ты провалился, зарвавшийся гном, злой, бесчувственный старик, ведущий наших детей на убой, чтобы потешить свои имперские притязания, чтобы закончить свой век в кресле президента! Мой мальчик умрет, потому что какому-то хреновому диктатору понадобилось доказать своим соседям и вообще всему миру, что он защитник каких-то гребаных традиционных ценностей! А Сева не сможет стать тем, кем он хотел, найти девушку, родить детей только из-за того, что этому троллю не нравится карта территорий, граничащих с его государством; он скрежещет зубами, потому что соседи смеются над ним и плюют в него шелухой от подсолнухов, готовые умирать за то, чтобы оставаться такими, как есть... Чтоб ты сгнил заживо в своем дворце с золотыми унитазами! Чтоб нашел себе товарищей по вечной мерзлоте среди Чаушеску и Хуссейна!

В конце концов Илья перестал метаться по комнате и только слушал, как воздух с хрипом выходит из легких сына, как трещит электрическая лампа над кроватью и скулит пес. Он даже не слышал звонка от Лины, спешившей сообщить, что она нашла частного доктора, который может приехать и выписать лекарства, что не получить без рецепта. Дорого, но что делать. Когда она приехала на дачу с доктором, то нашла Илью стоящим в забытии на коленях у кровати сына.

* * *

Когда через пару дней Илья, наконец, добрался до дома, он понял, как вымотался. Лина осталась с Севой, который пошел на поправку. Илье почему-то вспомнился «Солярис» Тарковского. Перед глазами стояло лицо Криса, астронавта, которого отправляют на космическую станцию, где происходят аномальные явления. Банионис, латыш, был, видимо, выбран за свою прибалтийскую сдержанность. Муки, испытываемые героем, к которому возвращается умершая жена, переданы физически: он не может спать и страшно потеет. Как и Крис, Илья ощущал, что пот просачивается повсюду: через рубашку, пиджак и даже пальто. словно у него, как у Севы, был жар, или он пробежал марафон, или занимался пару часов бодибилдингом.

Он набрал полную ванну и опустился с головой под воду. Наверное, так чувствует себя младенец, плавающий в амниотической жидкости. В полотенце и халате, Илья стал рыться в старых фотографиях, залез в группу однокурсников в ВК: лишь на одном снимке с тартуской конференции он нашел себя, с длинными волосами, в полурасстегнутой рубашке, с ироничной ухмылкой на лице. Фигура Кэт, с волосами, закрученными в узел на затылке, в сарафане и бусах, оказалась совершенно смазана, но было четко видно, что ее взгляд устремлен не на фотографа, а на него, Илью. Серьезный, влюбленный и тревожный взгляд.

Позвонил Бригадир. Он узнал о презентации и взалхлеб засыпал Илью советами:

– Смотри, старик, она к тебе неровно дышит, мужа наверняка не любит. Значит так, у вас дочь. Делаешь визу, потом вид на жительство, переезжаешь во Францию. Будешь ее личным редактором, да нет же, СОАВТОРОМ! О, старик, слушай, у вас будет невероятный литературный тандем. Братья Гонкуры в гробу перевернутся!

Илья закрыл глаза рукой, слушая Бригадира...

ФУРШЕТ

Илья старался ступать осторожно между ноябрьских луж, словно начищенные ботинки были последним свидетельством его достоинства. Он долго выбирал, что надеть: костюм с рубашкой и галстуком – слишком официально, без галстука – как офисный планктон на вечеринке после работы, футболка с джинсами – очень уж подросточески. Он остановился на футболке (специально купленной во французском магазине), пиджаке и джинсах. Отражение в зеркале вернуло ему неуверенность, с которой он так долго боролся...

Илья не пришел на презентацию, потому что сидел в кабачке неподалеку от магазина. Ему даже подумалось: а может, ну его, вообще с ней не встречаться? Скорее всего, она хорошо выглядит, благодаря утренним прогулкам по залитому солнцем парку, отпускам на Лазурном берегу, теннису, массажам. Илья не завидовал, но что-то его глодало. Нет, он не представлял себя частью такой жизни. Всё,

что ему хотелось, это увидеть свою дочь, поговорить с ней, узнать, что она читает, пишет ли. Когда-нибудь познакомить ее с Севой.

Путь к залу лежал через книжный магазин. Проходя между книжными полками, Илья задержался в секции поэзии, где обнаружил книгу Тумаса Транстрёмера.

В мрачные месяцы жизнь моя сыпала искрами только тогда,
когда мы с тобой предавались любви.

Как тропический жук то вспыхнет, то погаснет,

то вспыхнет, то погаснет —

лишь по трассирующему в темноте пунктиру можно увидеть,
куда он летит под оливами.

В мрачные месяцы душа моя сжималась в комочек,

как неживая,

тогда как тело прямоком направлялось к тебе.

Мычало ночное небо.

Мы укладкой доили космос и поэтому выжили.

Илья закрыл книгу, набрал воздуха в легкие и вошел в зал. Столы с закусками, официанты, предлагающие шипучее вино. В воздухе гудели голоса приглашенных на презентацию. Илья высматривал в толпе фигуру и лицо, которое он и надеялся, и не надеялся увидеть. Свет блеснул на чистом паркете, как разлитый бензин. Люди подошли к здороваться, он отвечал машинально и невпопад, они с недоумением шли прочь. Илья взял у официанта бокал с красным и, держа его высоко перед собой, как факел, стал пробираться к подиуму, где проходила презентация. На столе еще лежала стопка подписанных книг. Он издалека увидел высокую фигуру Марианны, которая разговаривала, размахивая руками в перстнях, с худенькой женщиной с коротко стриженными темными волосами. Женщина стояла спиной к залу: короткое черное платье, загорелые обнаженные руки в браслетах. Илья заметил, что у нее вздрагивали плечи, когда она смеялась. Кэт. У него закружилась голова, и он выплеснул всё содержимое бокала в свое пересохшее горло.

— А вот и наш редактор Илья Петрович Комаровский. Да, тот самый, что кудесничал с вашим текстом. Илья Петрович, познакомьтесь с Кэтрин Ламэтр.

Короткое черное платье повернулось к Илье. Ему во всё лицо улыбалась миловидная брюнетка, которой можно было дать тридцать, хотя ей перевалило уже за пятьдесят. Веснушки, мелкие зубки, ямочки на щеках.

Это была не Кэт.

Илья стоял с пустым бокалом, по-идиотски улыбаясь, и считал в голове от одного до ста, стараясь не сбиться. Потом раскланялся и выскочил из магазина. На улице шел беспощадный дождь. Подняв воротник пальто, Илья широкими прыжками добрался до подземки. Холодные капли скатывались за воротник, ужасно хотелось курить. В

кармане вздрогнул телефон. Сообщение от Севы: «Пересек границу в Верхнем Ларсе. Всё хорошо, сел на маршрутку. Напишу из Тбилиси. Обнимаю. Не грусти. Сева».

Он ехал в полупустом вагоне метро до станции «Улица 1905 года», повторяя строчку из книги Транстрёмера: «В мрачные месяцы душа моя сжималась в комочек, как неживая...»

Он жалел, что не купил книгу.

Александр Бараш

Из цикла «Средиземноморская нота»

* * *

Ты любил эту долину,
каждый ее изгиб,
она идеальный сосуд
для плазмы твоей любви.
Разрушенный храм на холме.
Родник. Заросли ив.
Пенные волны террас
миндаля и олив.

И когда в новой жизни придёшь
к тихому склону холма,
к ручью в одичавшем саду
плывущих под солнцем камней,
обернись и увидишь:
свет — это больше, чем тьма
по ту и по эту сторону
слабой сетчатки дней.

* * *

Там есть место, где дождь
превращается в снег —
в самом конце подъёма
из долины к горной гряде.
Безнадёжное «да» твердеет
в свободное «нет»,
бесплотное «везде» —
в земное «здесь».

Открыт, как огромная книга,
разворот синих гор,
шпили кипарисов, переливы
олив, облака миндаля,
страницы тумана, буквы терновника,
блаженный простор,
строки лимонных садов,
ясно-золотая земля.

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 1453

Город в осаде. Сколько мы еще продержимся – неизвестно. Может быть, несколько дней. Или несколько недель. Я сижу над своими рукописями. Успокаивает, что есть, по меньшей мере, вечность одного дня. За окном стена, увитая виноградом. В моей маленькой комнате полумрак, кровать, сундук с книгами, стол. Что бы ни было – последние дни или часы или середина жизни, этого росчерка на песке в часы отлива – остаётся, как всегда, делать то, что любишь: писать, запоминать в строке свитка (так же растут годовые кольца на теле дерева) – то, что хотел сказать: самое естественное и необходимое. Сохранится ли это, будет ли нужно кому-нибудь? Если сохранится – будет нужно тем, кто окажется в том же тупике истории своего города, страны, эпохи через сто или тысячу лет. Слышны крики на стенах, грохот ударов в стену. Может быть, и дня не осталось. Пойду обниму жену и детей. Стук барабанов, рёв труб. Кажется, счёт пошел не на дни, а на часы или минуты.

ИОСИФ ФЛАВИЙ В СТАРОСТИ, В РИМЕ

Я спасся благодаря дару думать и действовать, данному с рождения и отточенному ко времени разгрома восстания. Римляне утопили восстание в крови, как лодки с жителями Тарихеи в Генисаретском озере, когда они пытались выжить, отплыв от города. Но озеро – не река и не море. А время идет по кругу. И убежать не получится, можно лишь вовремя понять, что шанс спастись от смерти – только в рабстве и предательстве. Но если весь остаток жизни посвятить истории тех, кого предал, то это, может быть, лучший плохой выбор, чем самоубийство, даже такое героическое, как восстание против Рима. Мы думали: для нас настали последние времена и нам поможет Бог. Да, это были последние времена. И нам помог Бог. Но не так, как мы думали. Он спас нас как народ – для новых испытаний. Оставил в живых для себя. Испытаниям нет конца.

В их бесконечности – наша вечность. Я
сделал всё, что мог: описал свое время –
это свидетельство о том, как сохранить
себя, потеряв всё остальное.

* * *

Этот холм был городом
три тысячи лет назад. Я как будто
пытаюсь вспомнить то, что было со мной.
Вот здесь на перекрестке на плитах мостовой
прорезано поле для игры в кости, тут мы
случайно встретились, сказали несколько слов,
я помню это до сих пор.

Через много лет пытаешься то ли
понять себя, то ли вспомнить то, что
было, – точнее, то, чего не было.

После нас будет такая же долина базальтовых осколков
бывшей вулканической лавы, покрывающей Галилею и Голаны,
где куски колонн и мозаик неотличимы от диких камней,
трава и цветы – от своих предков тысячи лет назад,
ничто – почти ни от чего. Но пока мы живы, есть
этот маленький зазор – узкий просвет любви,
краткое безвременье между сезонами года:
ледяными дождями и солнцем, ярким, как
лампы в хирургической операционной.

Владимир Козлов

Путь до второго лица

МЕД

Вылетели пчелы в поле
собирать пространство в мед.
Всё ли в ваших силах? ой ли?
Только мед равно идет.

Бурые бутоны в поле
этим летом так цветут:
рванные бетоны — ой ли? —
до пыльцы разобранный редут.

И огромные цветы воронок
пчелы видят с малой высоты.
Урожай сегодня очень громок,
и взлетают на глазах цветы.

Но пчела цветов не выбирает
и не жалуется на цветы.
Медом искалеченного края
непрерывно запасись и ты.

Предстоит нам долго им питаться,
скрежеща на пчелок-работяг:
перестали, мол, стараться,
не в ту степь летят.

ПЕРЕНОСОК

Мать моя, родина-мать,
ты могла бы меня родить?
Я тут же пойду умирать.
Буду в пути шалить.
В околоплодных лежать,
мать, сколько можно, мать?
Я хотел бы сто двадцать жать
от груди, или сто двадцать пять.
Тут какие-то шланги, нефть
в живот и из живота.
Ближе тебя нет,
некуда ближе, но темнота,

темнота, если глаза открыть,
красочно, если не открывать,
сумела зачать, так изволь родить,
как ногами ходить, мать?
Эта тяжесть большой груди.
Скотный двор, айфон и завод.
Я глазами закрытыми вижу пути,
все они сквозь огромный живот.
Мы близки, так близки, близки.
Я бы мог только землю есть.
Но мои уж седы виски
и мечта я почувствовал вес.
Пуповину с твоим борщом
начинаю зубами рвать,
пересидевший, уже большой,
как тебя не порвать, мать.

НИКТО

Начат сезон отлова
слишком прямого слова.

Осторожнее, редкий зверь.
Трезвей, скорее трезвей.

Это сезон охоты
с вопросами, что ты и кто ты.

Последнее дело скоту
думать на чистоту.

Скорей всего, имя сотрут,
но себя утверждает труд.

Выживет только никто,
порой раздвинет пальто.

Я держусь за сухую лозу,
мокро в моем глазу.

Никто отправляется в степь.
Жди от степи новостей.

Долгая мысль не с руки,
так, две строки.

ШТРИХИ К ПАРАДНОМУ ПОРТРЕТУ

Сама ничтожность наших голосов,
не страх своих идей – презрение
к напрасному труду иметь и защищать
какое-либо мнение, хлопотное дело,
смысл которого лишь выдумать
и остается, так как его нет,
неверие в достоинство свое
и в крепость рук, ума и чести,
непроданные наши тиражи,
нечитанные строки, что нет больше сил
напитывать своею кровью,
отсутствие средь нас сопоставимых,
которым так же можно было б в рот
смотреть, когда они берутся делать обобщения,
и горлопаны, как бы представляющие нас
в суда инсценировке нечестивых,
привычка в обстоятельствах любых
не действовать, но прятать свои силы
и опасенье, спрятав, не найти,
душевный жир, безжалостность к таким,
кто не умеет столь же хорошо терпеть,
всё это тоже камни в монументе
величественного гения эпохи,
хотя бы вспоминайте иногда
во время продолжительных аплодисментов,
граждане свободные, о них.

ТЕМА СТРАХА БОЖЬЕГО

Сразу я распознал ложь его,
но молчал и обдумывал месть.
Тогда не было страха Божьего,
теперь – есть.

Глядя на всё это крошево,
равнодушнее делал тон.
Долго не было страха Божьего,
появился потом.

В голову словарь Ожегова
не хочешь ли, брат?
Я не знал страха Божьего,
знал просто страх.

Если использовать жидкость для розжига,
то быстрее закончится сад.
Я не могу больше без страха Божьего
поворачиваться назад.

Я стою сейчас перед вельможами,
стараюсь не слушать их трёп.
Не получится без страха Божьего
двигаться только вперед.

Лист от ветра трясется и замертво
падает не на жизнь, а за честь,
за соответствие замыслу,
которого не прочесть.

Чего, казалось бы, сложного:
иди, наслаждайся, смотри.
Но беспрестанно от страха Божьего
кто-то рыдает внутри.

ВТОРОЕ ЛИЦО

Подступят ко мне опять:
ну и чего ты добился, ну? —
а я отвернусь, чтоб обнять
возлюбленную жену.

Много времени потерял,
города, грубя и гробя,
эту женщину не обнимал —
я осуждаю себя.

Не сразу дошло, что всё —
эти амбиции и дела —
удовлетворенье несёт,
если жена обняла.

Это уже не страсть,
не жадность, не жажда владеть,
а щемящее право украсть,
чтоб разделить, успеть.

История движет войска
несчастных и скarb их семей.
И то, что мы здесь пока,
заставляет прижать сильней.

Так сохраняет Бог
не только слова, а всё.
Колыбель прав и свобод –
это второе лицо.

Трудно понять до конца,
что, почему нас влечет,
это путь до второго лица,
где не холодно, а горячо.

Если свободы, права,
но я тобой не объят,
если формулы естества
близости чад объяснят,

значит опять прошли
правильный поворот,
значит первые полегли,
но второе их где-то ждет.

Ложечками на боку
сохраняется всё, что мы
представляли собой на веку,
и мы выйдем когда-то из тьмы.

ЧИСТАЯ ДОСКА

Шум окружающего мира утихает;
остается лишь несколько нужных слов,
подчеркивающих белизну пустой страницы;
сознание отмечает облегчение,
признавая лечебные свойства
предложенного соотношения
победившего белого фона
и очень скромных черных букв,
претендующих не заполнить,
а освободить – и когда
ты перевернешь страницу, ты сможешь
взглянуть на эту жизнь так,
как будто ты увидел ее впервые.

Елена Севрюгина

«Мы встретимся в саду цветущих слив»

* * *

чем глубже в август, тем острее печаль —
и кажется, всё проще замечать
на листьях золотые кракелюры,
и клена истонченную кору,
и холодок осенний поутру,
и грустных крыш стальные арматуры

в преддверии осеннего родства
становятся прозрачными слова,
дыша свободней, поднимаясь легче
на башни электрических столбов,
преобразуясь в ливневый гобой
и влажной песней падая на плечи

и, убеляя зрелостью виски,
ты попадаешь в нежные тиски
пронзительной любви и сострадания
к тому, что есть, чем ты по сути жив,
чем в юности почти не дорожим,
но в чем сильней нуждаемся с годами

* * *

я выше города
я голуби и снег
ночной квартал
умерший в прошлом веке
неизданный трактат о человеке
я — имярек
и тени крыльев
непроявленных моих
на черном потолке
как высохшие гроздья
я выше черного
я золото и звезды
и свет от них

* * *

ни сомнения ни голода
груда мыслей в группе риска
в теле треснувшего голубя
города и обелиски
на пути к распознаванию
затонувшей атлантиды
заостренные названия
голосов кареатиды

словно осень осыпаются
небеса поляны чащи
чудо-просо просыпается
и глаза свои таращит
на поля речной смородины
что слепа и скороспела
на останки прежней родины
что лелеяла и грела

слово зрело да не вызрело
строя замки из фанеры
снова вдаль за светлым призраком
улетают пионеры
и торопятся магнолии
усыплять земное тело
у границ моей монголии
что навек осиротела

* * *

благословен поющий гимн
когда повсюду — мертвечина
пусть дышит воздухом другим
тобою избранный мужчина...
пускай любимая жена
не посетит твою планету
но ты один но ты одна
несешь мелодию по свету

когда твой муж уйдет к другой
когда любимая оставит
она останется с тобой
внутри незримо прорастая
из омута из глубины
из выплаканного ночами
из черных снов твоей страны
из малых и больших печалей

а значит ты на свете есть
и осознал почти внезапно
что только так и только здесь
из ничего наступит завтра
пускай оглохший и слепой
уйдет на дно кровавой гущи
ты выбрал жизнь, а значит – пой,
дорогу выдержит поющий

* * *

два сладких чили сахар и латте
потом в окно бессмысленно смотреть
туда где жухлых листьев круговерть
и сыростью изъеденный асфальт...
еще чуть-чуть и будет накрывать
совсем слегка не так чтоб с головой
а тихой полудремой чутким сном
когда легко-размеренно внутри
и можно совершенно никуда
ни за окно ни в двери ни вперед
а просто так полужакрыв глаза
опять куда-то плыть... куда ж нам плыть
ты думаешь ты знаешь ли мой друг
а впрочем это гавань...

* * *

это было сегодня, когда-то,
на Урале, в Москве, на Оби –
золотых кораблей стратостаты
выплывали за рамки орбит,
было холодно, ветрено, стремно
наблюдать из открытых кают,
как большая небесная домна
пожирает созвездья минут

в многолюдном прокуренном баре
мы зависли с тобой дотемна –
и шептали то Данте, то Байрон
нам стихи с замутненного дна...
нить беседы спонтанно вязалась,
в эпохальное вдето ушко,
и казалось... ах нет, не казалось,
что беда далеко-далеко...

что не будет ни боли, ни страха,
ни слетающих с неба комет,
потому что ползет черепаха
и ее не догнал Архимед...
потому что, взбираясь на выси
из неизданных слов и седин,
кораблей нескончаемый список
мы пополним еще на один

* * *

ты хочешь видеть море, а пока
вдыхай промозглый запах сквозняка,
укутав наболевшие бока
осенним пледом,
и умирй отчаянную дрожь...
такая осень — что с нее возьмешь ,
она всегда скупа, как медный грош, —
ей стыд неведом

ты снова сир, и наг, и одинок,
(но это наша родина, сынок)
с утра опять бежать не чуя ног
в холодной хмари
туда, где непонятно — «жив/не жив»,
где голуби, помойки, гаражи,
где небо, как всегда, с оттенком лжи
и киновари

и что с того, что в морозе земном
мечтается, как прежде, об ином...
в глазах — дворцы, в реале — гастроном
(мне хлеб и Winston)
зашел, купил — и снова по прямой,
и всякий раз (особенно зимой)
тоска и неприязнь к себе самой,
дурные мысли

но если уж совсем пойдет ко дну —
тогда возьму и в Турцию махну
подслушивать морскую тишину
и рыбы речи,
и видеть, как дрейфуют корабли,
и наполнять фантазией Дали
свой новый стих...
ах, что? уже дошли?
.....
давай, до встречи!

* * *

мы встретимся в саду цветущих слив
 ни горы Грузии, ни Берингов пролив,
 ни Занзибар, ни мыс Святой Марии
 для нашей цели нам не подойдут...
 нам нужен сад, два дерева, батут
 между деревьями...
 чтобы взлетали рядом,
 с преградами для нового прыжка...
 пусть будет сад и домик рыбака,
 и тихое свечение над садом,
 и хрупкое мерцание цикад
 чье тело — звук, чьим звуком прирастает
 спокойный вечер на краю земли...
 мы здесь, но мы как будто бы ушли,
 и вновь парим в ответ лебяжьим стаям,
 морским закатом крылья опалив...
 мы встретимся в саду цветущих слив

Наталия Явчуновская

Перелет Чкалова через Альпы

*Сон в одном действии**

Ольга Адамовна как вылетела – так и понеслась; Борис же, напротив, свернув за угол, тут же и остановился, задумался и побрел совершенно в другую сторону. Уже порядком стемнело, но свет еще брезжил, и от этих глухих сумерек и накрапывающего дождя на душе у Бориса сделалось так неприятно, как, наверное, бывает, когда сломанный зуб острием своим царапает язык. Все-таки Борис оказался очень чувствителен к нанесенному Верой оскорблению. Другой бы на его месте плюнул, а ему больно. Непереносима была обида, причиненная женщиной, существом слабым, не способным, если что, за себя постоять. Услышав рассказ о чуть не случившейся трагедии, сбегал по-быстрому – но не для того, чтобы тут же отправиться к Вере, а чтобы избежать расспросов матери, решительно на него наседавшей. Оказавшись на улице, огорчился, что некуда пойти. Хорошо тому, у кого в неприятную минуту есть хоть какая нора. Хорошо, например, жить егерем в лесу. Он усмехнулся, представив, как в сапогах и с ружьем дозором обходит чащу.

– Борис? Вот это встреча, что вы здесь делаете?

Он поднял глаза и увидел прямо перед собой какую-то женщину, молодую и интересную, и только потом сообразил, что он ее знает – это же Ольга, адвокатская жена. В первую секунду увидел ее как постороннюю, чистым взглядом, а узнав, стал видеть ее новой – без семечек и дурацкой розовой кофты. Сейчас на ней было дорогое, но скромное пальто, и она более не походила на провинциалку.

Он что-то промямлил в ответ. Она внимательно посмотрела, сказала, что на нем лица нет, сообщила, что муж в командировке, а дочка гостит у бабушки в Свердловске, что она живет вот в этом доме и его в таком состоянии никуда непустит, затем решительно подтолкнула к парадному с обещанием напоить чаем и валерьянкой. Про валерьянку она добавила со смешком. Сам не зная как, он оказался в адвокатской квартире. Ольга, бесшумно скользя по кухне, заварила чай, а затем села напротив, подперла подбородок, посмотрела в глаза и он, неизвестно почему, всё выложил. Рассказывая про любовь к Вере, стукнул себя в грудь, а когда закончил крещендо на ее матерных словах, выдохнул и взглядом теленка уставился на Ольгу. Та взяла да

* Окончание. См.: НЖ, № 318, 2025.

рассмеялась. От этого смеха, после драматичного рассказа совершенно неуместного, Борис растерялся. Ольга, встав, обошла стол и, нагнувшись, поцеловала его сзади в макушку, прижала к себе. Он затылком почувствовал ее грудь. Она рассмеялась, но смех ее был не обидный. Так должна была бы смеяться Лидия Петровна, доведись ей услышать исповедь сына. Отпустив его, Ольга разлила чай и сказала:

– Какая глупость! Есть из-за чего переживать.

Она сообщила Борису и сообщила очень убедительно, что Вера Бориса не стоит, что она пустая, распушенная и никчемная. Что Борис достоин большего, чем любовь натурщицы, способной дать ему одни неприятности. Он слушал и не мог не оценить правоту сказанного – оттого, что и сам давно думал если не так, то почти так: малопочтенное Верино занятие и раньше его смущало. Намек Ольги понял сразу и очень хорошо, на душе стало легче и даже весело, словно пинком закрыл дверь за вчерашним неудачным днем. Напившись чаю, с очень приличным видом поговорив о предметах общих и малозначительных, оказался вскоре в большой адвокатской кровати карельской березы, купленной Борисом Михайловичем у одной бедствовавшей старухи.

Лицо у Ольги было самое обыкновенное, среднерусское, зато тело замечательно длиной стройных ног, пышностью зрелой груди, гладкостью кожи. Ольга оказалась требовательна и щедра, и вот они лежали и курили в кремовом свете шелковых адвокатских ночников, и бронзовые накладки на карельской березе мерцали, как венчальные венцы.

Очень удачно муж уехал в командировку, словно подгадал. Спать на такой кровати после яркой любви – одно удовольствие. Об этом думал Борис, засыпая и недобрым словом поминая свою раскладушку. Кровать хоть и антикварная, зато матрас самый новый, лучший, дорогой, купленный заботливым женихом к самой свадьбе и теперь так пригodiвшийся. И Ольга впервые за долгое время счастливо растянулась на кровати, как она любила – поджав одну ногу и вытянув другую, руку подсунув под подушку, а другую прижав к груди. Засыпая, думала, что всё слава богу, а будет еще лучше, и от этого счастливо вздохнула и отдалась сну, как давно не отдавалась.

Ольга Николаевна очень уважала своего мужа буквально за всё. Была благодарна, что вытaщил из Свердловска, не побоялся взять вдову с ребенком, обеспечил достатком и карьерой. Поклялась себе, что сделает всё возможное, чтобы Борис Михайлович был счастлив, и дала ему это счастье.

О такой жене Борис Михайлович мечтал всю жизнь – все годы, проведенные подле мамы. Очень разумная, покладистая, приветливая, хозяйка замечательная, любящая мать, но не в ущерб мужу. Умилялся, думая, что нужно было добраться до Свердловска, чтобы там, в прокуренном отделении милиции, среди мужиков, разговаривавших матом, найти свое сокровище, свою Оленьку, стойкую и неж-

ную, много пережившую, но не утратившую способность полюбить. И какой молодец! Не побоялся, привез в Москву, прописал в своей московской квартире, хотя многие его отговаривали и пугали последствиями, а он оставил все страхи там, на кладбище, когда бросал горсть земли на мамин гроб. Теперь счастливым семьянином смотрел в глаза знакомым, и все должны были признать, что ошибались. Борис Михайлович не мог выбрать супругу удачнее.

Ольга Николаевна вполне осознала свою победу и наслаждалась ею с чувством гордости за саму себя. Однако человек, как всякому известно, живет не одним разумом. О, если бы было так – и разум, и расчет надежно вели по жизни! Выходит иначе. Ольга Николаевна, человек осторожный, была кроме расчетливости наделена страстями. Мужем своим искренне восхищалась, ибо был он человеком недюжинного ума и виртуозной юридической ловкости – Ольга Николаевна, сама юрист, этими его качествами была при знакомстве покорена. Однако талантливый юрист далеко не всегда талантливый любовник. И внешность у Бориса Михайловича была самая невзрачная. Ольга Николаевна, впервые его увидев, назвала про себя сморчком и позднее, в первую ночь любви испытала такое разочарование, что чуть было не дала Борису Михайловичу от ворот поворот, представив, что придется и впредь заниматься с ним вот этим. Однако, поразмыслив, здраво рассудила, что в сутках двадцать четыре часа, а приличный семейный секс вполне можно уложить в пять минут, да и то не каждый день, и это соображение решило дело. Ольга Николаевна стиснула зубы и вышла замуж. Тем более, что положение ее было самое отчаянное – Борис Михайлович, сам того не ведая, буквально ее спас. Тут следует несколько отступить и описать вкратце жизнь Ольги Николаевны в Свердловске, до ее второго удачного замужества.

Ольга Николаевна была человеком в своем роде не менее одаренным, чем Борис Михайлович. По рождению ни на что путное рассчитывать ей не приходилось, ибо была она дочерью скромного железнодорожного мастера и поварихи. Однако у нее имелась фея-крестная, работавшая в милиции паспортисткой, и Оля, поддержанная родителями, с помощью доброй крестной поступила в милицию. Поработав немного, сообразила, что если она не хочет унаследовать должность паспортистки, а фея на это постоянно намекала, нужно учиться, и Оля поступила на заочное в юридический. В первую же сессию жизнь свела ее с молодым лейтенантом НКВД, молодцом и красавцем, и Оля по большой страсти выскочила замуж. Без отрыва от работы и учебы быстренько родили девочку, здоровенькую и хорошенькую, а потом всё пошло не так, но не сразу, а постепенно. Зло коренилось в нервной работе мужа. Он сутками пропадал на службе – но это ерунда, Олю это не смущало, плохо было другое: он постоянно приходил домой нетрезвым, а потом стал вваливаться и вовсе пьяным.

Муж этот, молодец и красавец, остался только в отчестве дочери

и так слился с ним, что оказался безымянным, потому что девочку, по ее малолетству, никто по отчеству не называл. Муж, или, если угодно, отец дочки, потому что именно так он теперь существовал в сознании Ольги Николаевны, работал следователем, душевную организацию имел тонкую, не приспособленную к тяготам допросов, и от этого, начав принимать по маленькой, быстро втянулся. «Не-пей-не-пей-не-пей. НЕ ПЕЙ!» – повторяла Оля. Точку в браке он поставил сам, когда, в ответ на упреки, дал Оле по морде. Кривясь от боли и прикладывая примочки к безобразно заплывшему глазу, Оля испытала такую холодную ненависть, что на этом их общая жизнь была кончена. Ночью, утром, днем, вечером по дороге из дома на работу и с работы домой, стоя в очереди и забирая девочку из детского сада, готовя ужин и стирая, она думала лишь о том, как избавиться от мужа, черт бы его побрал. Нет, она, конечно, думала и о мокрых валенках дочери, которые нужно не забыть поставить на батарею, и о симпатичном крепдешине, который выбросили в универмаге, и о том, что сказало сегодня начальство. Но главная мысль – о нем, о том, что мешает жить с валенками, крепдешинном и начальством. Эта мысль темным облачком нахмуренных бровей присутствовала постоянно, хотя и не всегда явно, зато услужливо являлась то как ответ, то как вопрос, то просто горьким утверждением. Можно, конечно, развестись – самый простой выход. Однако, подсчитав издержки, Ольга Николаевна поняла, что слишком много потеряет и в итоге окажется в проигрыше. Всё было запутано. Начать хотя бы с квартиры, которую недавно получили. Затей она развод – весь НКВД будет на его стороне: подумаешь, дал в рыло! Всякому ясно, что при такой работе нервы ни к черту, хотя бить жену, конечно, нехорошо. Поразмыслив таким образом, взвесив последствия, Оля поняла, что за развод придется заплатить ей одной. От этой мысли взбесилась. Да что квартира, он и карьеру ее запросто загубит, лишь бы не позорила. Так она думала. Думала-думала и уразумела: выход один – убийство. Его смерть всё развязывала, справедливо воздая за разбитое лицо.

Подумав про убийство, огорчилась, что совершить такое еще хуже, чем развестись: тут не то что квартиры и работы лишишься, а просто сядешь. В тайных уголках своего сердца, где только и ищет человек решений, не находила Ольга Николаевна ключа к своей жизни. В доме, *ее доме* жил он – как ни в чем не бывало. Ел и пил из ее рук и спать ложился в ее постель. Несправедливо! Долго гадала и ничего не нагадала. Пустота. А между прочим, многие так живут. Ну что ж, видно и ей придется.

Спала плохо: леглась – и нутро начинало крутить, сон бежал. И вдруг в горячей от бессонницы постели, под мужнин храп, как стальной иглой от темени до пяток пронзила мысль: а все-таки убью, не знаю как, но убью пьяную тварь. Мысль врезала почище оплеухи, снесла с кровати, подбросила с силой, и вот она уже большими глотками пила теплую воду прямо из чайника, а босые ноги потно прилипали

к стылому полу. Напившись, поставила чайник на плиту, уперлась лбом в оконное холодное стекло. Постояла, а когда отпустило, снова легла, и тело ее было твердым, как у мертвой.

Пережив эту ночь, обыкновенную для других и роковую для нее, стала расчетливо обдумывать убийство. Перво-наперво решила, что должна отвести от себя всякие подозрения. Отныне вела себя как ни в чем не бывало, и если недавно, собираясь оставить всё как есть, чуть не умерла, то теперь возвращение в обыденность далось легко – причиной чему, конечно, было принятое решение. Подруги, а вернее, знакомые, ибо настоящих подруг у Оли никогда не было, так вот – знакомые говорили частенько, что совершенно не понимают, как она может жить с этим типом: пьющий ревнивец – что может быть хуже! А у Оли уже был ответ. Пожимая неловко плечами и стесняясь, говорила, что любит мужа и ни за что не лишит ребенка отца. Люди верили, а она комедию ломала, и самой было смешно и холодно, потому что думала она о таком убийстве, чтобы концы в воду. Иначе и затевать не стоит. Работа в милиции и юридическое образование оказались важным подспорьем в деле разработки плана. Оля видела множество ошибок, стоящих на пути умного убийцы, и нужно было все возможные ловушки обойти. Огнестрельное оружие, молоток, а тем более топор – не смешите меня! Задушить здорового мужика подушкой? Ну-ну. А как же тогда быть? Нет, смерть должна быть естественной, вот хорошо бы знать – какой. Сообщала так, что мозги кипели. И сообщила.

На работе мужики отчего-то обсуждали, как в прошлом году нашли замерзшего пьяного около самого отделения. Почему вдруг летом вспомнили прошлогодний случай, Оля не знала; просто дуновением прокуренного коридора донесло до нее обрывок разговора, и в голове всё сложилось. Да, конечно, от чего же и умереть пьяному сотруднику НКВД в городе Свердловске, как не от здешних морозов. Не мешкая, принялась за подготовку. Уговаривала мужа бросить пить ради себя и ребенка, да так, чтобы все об этом знали. Муж раздражался. Пошла к начальству мужа, просила, чтобы повлияли. Там отнеслись благосклонно, и мужу потрепали нервы. Он ее чуть не убил, по собственному почину приплетя ревность, так что вышел большой скандал и соседи хотели вызвать милицию, но поостереглись связываться. Развязку Оля наметила на ноябрьские праздники.

Отмечали в большой компании, и в разгар веселья, в чаду выпивки и танцев, устроила мужу скандал, уговаривая не пить лишнего. Он, естественно, возмутился, потому что это ж праздник был. Она сказала – хватит, он ответил – с ума сошла, и пошло-поехало. Хотел ударить при всех, был скручен, а Оля, в гневе и слезах, убежала домой, хлопнув дверью. Дома на лестнице встретила шумную компанию соседей: они вниз, а она к себе. Поздравили друг друга. Зажгла в квартире свет, но раздеваться не стала. Затаилась у двери, и когда снаружи стихло, осторожно пробралась на улицу и пошла обратно – туда, где муж в мрачном упорстве догуливал. Стояла в тени ларька,

прямо против подъезда, прижавшись к шершавой облупившейся стене. В узеньком заплеванном проходе дуло, было холодно. Оля предусмотрительно надела валенки, но и в валенках мерзла. Наконец стали расходиться. Вот и он показался: пошатывается и что-то руками машет, крутит головой в ответ на прощальные возгласы приятелей. Они налево, а он направо. И Оля за ним. На пустой улице, где уже ни одного знакомого не было, нагнала его, взяла мягко под руку, сказала:

— Я за тобой шла. Давай мириться, праздник же, я тебя, дурака, люблю. Ну, прости.

Он повернулся к ней злой, но Оля доверчиво прижалась, сказала, что окоченела, и он обнял ее, взглянул бессмысленными глазами, тяжело ворочая языком, пустив слезу, просил прощения. Она назвала его в сквер глухой и неухоженный, с пустыми бутылками, валявшимися возле скамейки, усадила, предложила выпить за их счастье, за новую жизнь, которую они непременно начнут. Достала из сумки бутылку пива, протянула, сама отпила глоток, а он жадно до конца. Она еще дома припасла эту бутылку, разбавив ее водкой, и, прильнув к мужу, сказала:

— Знаешь, у меня и четвертинка есть. Я ее взяла, чтобы выпить, пока тебя ждала. Холодно ужасно. Давай, разопьем.

— Давай. Сердиться не будешь? — посмотрел доверчиво, и пьяный мозг его не насторожился, не почуял подвоха.

— Сегодня не буду. Сегодня можно.

Она пригубила, а потом обхватила мужа крепко, прижалась и слушала, как булькает водка. Подумала — и куда в него столько лезет. Его пьяное тело в демисезонном худом пальто было ей отвратительно и запахом, и на ощупь. Выпив, муж пытался встать, порывался идти домой, но она не дала, сказав, что поймает машину. Никуда она не пошла, а стоя в отдалении, следила, как хотел он подняться, но ноги не слушались, как махал нелепо рукой, словно грозил кому-то, а потом сдернул шапку, неловко расстегнул пальто, соскользнул со скамейки, однако идти не мог: только неловко завалился за спинку в густую тень и будто бы пытался ползти. Было это не быстро и страшно; Оля страдала, чуть не бросилась спасать, но сдержалась. И ведь как удачно вышло! Он лежал в тени скамьи, и случись запоздалый прохожий, легко мог и не заметить. Наконец, совсем окоченев, решила идти домой.

Ох, как рисковала Ольга Николаевна! А вдруг не замерз? Терзала ее эта проклятая мысль до самого утра. Всю ночь не спала, сидела истуканом на кухне. Утром, в двенадцатом часу, пошла в гости к подруге, с которой сговорились загодя. Извинилась, что без мужа, — мол, нездоров после вчерашнего. Посидела и пошла домой. И только потом отправилась туда, где были вместе накануне. Тут всё закрутилось. Хватились пропавшего. Хором уверяли Олю, что, видно, заночевал где-то. Наконец грянуло: явилась милиция. Замерз. Удивительно, что нашли не днем, а только вечером какие-то ребята из ремесленного, завернувшие в скверик выпить по банке в честь праздника. Они и

заявили. Все-таки молодец Ольга Николаевна! Хороший скверик нашла – заброшенный, глухой. Дальше всё было обыкновенно – если говорить о трагедии, о которой судачили в органах как о рядовом случае гибели от пьянства. В праздник перебрал человек, до дома не дошел. Хотя ноябрь – не январь, – холодно, конечно, однако в ту ночь была оттепель, – но покойник одет был легко: пальто демисезонное и полуботинки. Не рассчитал и так сгорел. Судмедэксперт сказал:

– В январе столько не замерзнет, сколько осенью. Не остерегается народ.

Ольге сочувствовали, помогли похоронить достойно. Стала Ольга Николаевна вдовой. А все-таки тихий голос нашептывал, что нужно убираться из города подобра-поздорову: кто его знает, что выплывет. Вот ей казалось, что всё слепила ловко, но так ли это? Тут подвернулась вакансия в Асбесте, и она решилась. Город, конечно, дыра дырой, но – повышение: никто не подумает, что сбежала. В день, когда нужно было дать ответ, Оля познакомилась с Борисом Михайловичем. Ни в какой Асбест она не поехала: два одиноких сердца благополучно соединились, и теперь Оля жила в Москве жизнью, о которой не то что не мечтала – не знала, что такая бывает. Люди, что окружали Бориса Михайловича, – небожители. Дочка как раз в школе учила про греков, и, проверяя уроки, Оля подумала, что она теперь на Олимпе. В холодильнике нектар и амброзия, всё с рынка, и хотя она и в Свердловске не голодала, а всё же не сравнить. Квартира забита дорогими вещами, и сама она уже не в милиции, а в заочном юридическом, сдала кандидатские и взялась за диссертацию.

В Москве муж и всё, что с ней приключилось, совершенно вылетело из головы. Никаких усилий забыть Ольга Николаевна не предпринимала, ощущая собственную правоту и отсутствие выбора. Брак с Борисом Михайловичем в его интимной части оказался совсем не так страшен, как она воображала: аппетиты его оказались самые умеренные. Загвоздка была в самой Ольге Николаевне, или, вернее сказать, в ее теле, требовавшем то, что новый муж дать не мог. Ольга Николаевна проблему вполне осознала, но боясь потерять приобретенное с таким трудом, не спешила наставлять мужу рога. Пока возле собственного дома не наткнулась на Бориса. Она хорошо помнила его по Пушкинской, еще там показался он ей мальчиком-леденцом, а тут брел потерянный, нахохлившийся, как брошенный щенок. Бездомность Бориса бросилась в глаза, и она, не раздумывая, что случилось с ней редко, зავала к себе, выслушала, напоила чаем, отогрела жарким телом.

Между тем Ольга Адамовна, примчавшись на Пушкинскую, обрушилась всей силой своей деятельной натуры на семейство Любви Александровны. Она терзала Соню, требуя подробно описать состояние Веры, порывалась проникнуть к той, удостовериться, что она действительно спит, так что Аркаша, пожалв плечами, сказал матери, что, если потребуется, он Ольгу Адамовну свяжет и запихнет в чулан.

Любовь Александровна, обиженная предположением, что она недостаточно хорошо заботится о дочери, приоткрыла дверь; Ольга Адамовна заглянула, убедилась, что Вера спит, и тогда позволила себе выпить чаю, а заодно и выслушать историю Вериных злоключений теперь не со стороны недоброжелателя, каковым являлась противная Лидия Петровна, а от людей, бывших всецело на стороне Веры.

Картина получалась несуразная. Выходило, что Вера вместе с Борькой пришла в гости к каким-то ребятам, жившим в одном подъезде с родней Лидии Петровны, а затем ушла оттуда вместе с ее племянницей, отправившись к этой самой племяннице, где и заночевала, а утром была атакована сумасшедшей Екатериной Андреевной. Куда при этом делся Боря, почему ничего не знал и мертвым сном спал на Сретенке?

— Они что, поссорились? — спросила Ольга Адамовна, но пушкинские обитатели сами терялись в догадках.

Тут Ольга Адамовна вспомнила, что как раз именно с Борисом выскочила из полуподвала, а куда делся Борис, совершенно не заметила.

— А где же Борька? — задала она недоуменный вопрос и не получила ответа. Все переглянулись и переглянулись нехорошо, потому что место Бори было как раз здесь, подле Веры, и его рассказ о случившемся, верно, многое бы объяснил.

— А что же с Катей? — спросила Анна Григорьевна, когда за Олюшкой и Боренькой захлопнулась дверь.

— С Катей? — Лидия Петровна посмотрела в недоумении, словно не поняла, о ком идет речь. — Плевать на Катю. Слышать про нее не хочу, намучилась.

Анна Григорьевна печально посмотрела на дочь. Хотела заметить, что Лидия Петровна сама втерлась, и даже открыла рот, чтобы это высказать, но промолчала. Бесполезно, Лида не согласится и не поймет. Вместо этого сказала другое:

— Что же теперь? Вернешься сюда?

Лидия Петровна пожала плечами. Была она какая-то серая, бесприютная, с выбившимися прядями полуседых волос, уныло свисавших по обе стороны несвежего ее лица. «Бедный мой старый ребенок», — не мыслью, а чувством подумала Анна Григорьевна, и если бы не опасалась отпора, обняла и поцеловала бы Лидочку. Вместо этого растерянно предложила налить супу; Лидия Петровна рассеянно кивнула, и Анна Григорьевна, в водовороте чувств, отправилась на кухню.

Уже ночью думала о Кате такой, как она ее помнила, но не у двери в тридцать восьмом, а раньше, когда еще ничего не случилось. По рассказам выходило, что теперь Катя — полоумная старуха, но воображение Анны Григорьевны отказывалось представить ее такой. Как ни пыталась, выходило всё одно: здоровая задорная девушка с кудряшками, тараторит без умолку. Катя была смешлива, говорлива и весела.

Анна Григорьевна любила ее больше дочери в том смысле, что Лидочка – это Лидочка, а Катя – по душе. Огорчалась, что не наоборот, – ей бы такую дочку: Лида слишком холодна. Чем бы Анна Григорьевна ни делилась с Лидой, в ответ ловила равнодушный взгляд. Как-то там дочь, разумеется, жила, раз замуж вышла и родила ребенка, но как именно, Анне Григорьевне было неясно. Катя же врывается живая и теплая, обрушивая на Анну Григорьевну всё без разбора, жуя бутерброд, давилась смехом, и всё у нее всегда было складно. Анна Григорьевна племянницу отлично понимала, а когда грянуло, любимая Катя разбила ей сердце. Анна Григорьевна, человек самый обыкновенный, то есть отказывающийся доверять очевидному, испытала в те дни ужас. Помимо самих обстоятельств, о которых говорить нечего, было еще и чувство падения с высоты: она упала на самое дно и там разбилась на тысячи осколков. Подобрала ее Ольга Адамовна, человек чужой, бережно склеила, но как прежде быть уже не могло; однако, – и если бы Катя не предала, падение было бы не так бесповоротно.

Двадцать лет Анна Григорьевна не видела Катю; тогда, потеряв дочь, похоронила и ее. Вернулась Лида и вернула Катю. Это было так странно и неправильно! Анна Григорьевна, измученная картинками прошлого, тяжело повернулась на другой бок и, вздохнув, взялась думать про иное и печальное – про то, как она осуждала Лиду, как беспомощно, робко сердилась на нее за поступок недостойный и, по мысли Анны Григорьевны, нечистоплотный. Чувства никогда не удавалось ей выразить словами. Выходило криво и неубедительно, да она и сама не очень-то умела осознать то, что подсказывала душа. Лида пошла к Кате, чтобы ругаться, наговорить гадостей, и это было излишне. Так полагала Анна Григорьевна. Мысль эту выразила словами: «Бог простит», – что было, разумеется, банально. Затем Лида сделала вовсе дурное – помирившись с Катей, пошла к той в приживалки. Анне Григорьевне было стыдно за дочь, она попыталась чувство свое выразить, но верных слов опять не нашла. Так и жила Лида у Кати, и Анна Григорьевна свыклась с положением вещей. Теперь она сомневалась: а если она всё понимает превратно? Анна Григорьевна была невысокого мнения о собственном уме – еще покойный муж ей на это деликатно указывал. Она скорее готова была поверить в то, что ошибается, чем в то, что неправильно поступают другие, особенно, если эти «другие» – родная дочь. С чувствами, разумеется, было сложнее, но, к счастью, чувствами Анны Григорьевны никто не интересовался.

Проворочавшись полночи в печальных и бесплодных размышлениях, Анна Григорьевна из своих раздумий вывела одно: что же теперь будет с несчастной Катей и что Катю, оставив в стороне прошлое, следует навестить, ибо положение ее, несомненно, ужасно. Где искать Катю, Анна Григорьевна не имела ни малейшего понятия, отчего-то не спросила дочь, которая, уж наверное, знала, а потому решила завтра же отправиться к Кате домой и там попытаться узнать, в какую больницу отправили племянницу.

На следующий день Анна Григорьевна извлекла из шкафа шляпку и, завершив ею свой туалет, отправилась по имевшемуся адресу.

Надо сказать, что шляпка эта, из порывевшего фетра, была украшена перышками прежде ярко-зелеными, а ныне потускневшими и рождавшими смутное подозрение, что перья куриные, – так вот шляпка эта извлекалась из шкафа в случаях чрезвычайных. В ней Анна Григорьевна ходила на могилу покойного мужа, в поликлинику и в церковь. Таким образом, дряхлая шляпка была внешним выражением того волнения, которое испытывала Анна Григорьевна, трясаясь в троллейбусе. Руками в штопанных перчатках рассеянно скручивала и раскручивала билетик, пока он совсем не истрепался, и она испугалась, что, случись контролер, штрафа не миновать. В доме путь Анне Григорьевне преградила величественная лифтерша. Начальственный взгляд пригвоздил Анну Григорьевну к ступеньке, на которую она только что поднялась, и в таком шатком положении пришлось держать ответ перед монументальной владелицей подъезда.

Объяснения Анны Григорьевны совершенно удовлетворили Ирину Ивановну, и Анна Григорьевна почувствовала, что может приблизиться к застекленному закутку, в котором обитала лифтерша и который, странным образом, не спасал ее от сквозняков. Явление еще одной родственницы неприлично оскандалившихся жильцов развлекло Ирину Ивановну, потому что безобразия в подъезде, слава богу, прекратились, и жизнь на посту как-то слишком быстро вошла в монотонное свое русло. Правда, с утра еще останавливались некоторые жильцы, из тех, что не спешили на работу, поболтать о вчерашнем происшествии, но к середине дня тема оказалась исчерпана. Ирина Ивановна впилась любопытным взглядом в благообразную, но бедненькую старушку, ища сходства с Лидией Петровной и Екатериной Андреевной. Нашла, что сухонькой хрупкостью Екатерина Андреевна сродни тетке, а Лидия Петровна фигурой, видно, пошла в отца, – и благосклонно пропустила Анну Григорьевну к лифту.

Лифт с шумом остановился, и Анна Григорьевна не успела еще открыть лязгающую его дверь, как Ирина Ивановна спохватилась, осознав, что со вчерашнего дня не видела Лидию Петровну. Тут же о ней и осведомилась, и получила ответ, что Лидии Петровне не здоровится после вчерашнего, и мать отсоветовала ей сегодня возвращаться, – явившись, напротив, чтобы самой узнать о самочувствии Екатерины Андреевны и ее дочери. И не знает ли лифтерша, в какую больницу отвезли бедную Екатерину Андреевну? Ирина Ивановна знала, конечно, знала! Весь процесс вывоза психической жилицы проходил у нее на глазах и чуть ли не под ее руководством. Во всяком случае, так выходило со слов Ирины Ивановны.

Анна Григорьевна, не успев сесть в лифт, вернулась вновь к будочке лифтерши, которую мысленно окрестила на французский лад «консьержкой». На мысль о французских привратницах навела ее эта самая будочка, которую Анна Григорьевна впервые увидела в москов-

ском доме. Лифтерш ей и прежде случалось встречать, но то были, в основном, какие-то бабы, сидевшие на обычных стульях и вязавшие носки. В этом же подъезде имелось монументальное сооружение с не менее монументальной и совершенно не деревенской особой, наводившей на мысль о недремлющих органах.

Ирина Ивановна вновь с удовольствием и живо пересказала события прошедшего дня и свое в них участие. Начала она со слов:

– Вы знаете, какой это дом? Какие живут люди?

Анна Григорьевна вместо ответа принялась часто-часто кивать, из чего Ирина Ивановна вывела, что перед ней человек понимающий и подробные объяснения излишни. Она рассказала о неприличных криках, переположивших весь подъезд в тот час, когда занятые и ответственные товарищи собирались по своим делам. Рассказала, что подобное в их подъезде произошло впервые, потому что жильцы приличные все до одного, и если что и случается, то тоже прилично, так сказать, в рамках. По словам Ирины Ивановны, особенно всех потряс вид выкатившейся из квартиры Екатерины Андреевны девушки, той самой, на которую было совершено нападение. Ирина Ивановна, понизив голос, сообщила, что на девице были одни трусы, по белому ее телу текли потоки крови, и что если бы не жилец с пятого этажа, лихорадочно сдернувший с себя рубашку и завернувший в нее эту самую девицу, неизвестно, что было бы, так как в подъезде имеются женщины и дети. Услышав про обнаженную натуру в этом самом подъезде с мрамором и колоннами, Анна Григорьевна, уж на что была наивна, а всё же засомневалась и с недоверием взглянула на лифтершу-консьержку – не врет ли. По всему выходило, что не врет. Однако Анне Григорьевне, как всякому гражданину, хорошо было известно, что в Советском Союзе нагишом не бегают, что бы ни случилось, и, значит, то, что произошло, было очень серьезно. Деталька эта, про голую в крови, привела ее к мысли, что Катя в настоящей беде. Поэтому она вновь, с тревогой и настойчиво, повторила свой вопрос: где теперь можно найти злополучную виновницу вчерашней драмы.

– Навестить хотите? – отчего-то с долей неодобрения спросила Ирина Ивановна.

– Хочу. – Просто ответила Анна Григорьевна.

Лифтерша порывлась в ящике стола и протянула бумажку, на которой было написано, что Катю следует искать в психиатрическом отделении Боткинской больницы. Анна Григорьевна недовольство всеведущей консьержки очень почувствовала, удивилась ему и тут же про него забыла, так как была занята соображениями практическими – следовало подняться в квартиру, познакомиться с Катиной дочкой и собрать больной передачу.

Дверь открыла славная девчушка: голубоглазая, нежно-беленькая, с пушистыми детскими волосами.

– Таня?

Девочка кивнула, Анна Григорьевна представилась – и вот она

уже на кухне, за столом вместе с молодым человеком, назвавшимся Колей, и Коля этот по-хозяйски предлагает Анне Григорьевне чай. Анне Григорьевне неудобно было разглядывать Катину дочь, но любопытство взяло верх над воспитанием – ведь девочка все-таки была их породы. Присмотревшись, нашла, что что-то в ней от матери, но что-то и от отца, а в общем, славная – маленькая и пухленькая. А вот про то, что у Тани имеется молодой человек, Анна Григорьевна не слышала ни от дочери, ни от внука, отзывавшихся о девушке так, что не ожидай Анна Григорьевна встретить Таню в этой квартире, ни за что бы не признала. По их рассказам выходило, что девочка чуть не урод, а она вон какая – милая, с ямочками на щеках.

Таня пережила прошедшее утро и все его последствия в компании нового своего знакомого и, несмотря на драматические обстоятельства, опозорившие семью, была счастлива. У нее было смутное предчувствие какой-то новой поры, обещавшей, что, как прежде, то есть болотной тоски, в которой она провела отрочество и первую юность, уже не будет. В душе этой новой Тани места матери не нашлось. Напротив, чувство облегчения, впервые испытанное после появления Лидии Петровны, окрепло. Всё в Тане пело, и плевать было на позор, на маму, на дело, заведенное в милицию, – на всё плевать. Она была свободна, и в жизни ее появился Коля.

Прошлым вечером, после отъезда Лидии Петровны, Таня осталась одна в разгромленной и затоптанной квартире. Взялась убираться, но раздался звонок – пришли братья с пятого. Сказали, вернее, Коля сказал, а Вася согласно кивал, – мол, после всего – грех оставаться одной. Они сгребли Таню и утащили к себе, где уже былолюдно. От всего пережитого Таня непроизвольно начала стучать зубами и мелко трястись. Ее тут же, чтобы прекратить это безобразие, насильно накормили, а ей казалось, что она в рот ничего не возьмет, а затем и вином напоили. От еды и вина она совершенно размякла, хотела идти домой, но как-то так вяло, что ее легко уговорили остаться ночевать, не ходить в пустую и, по чьему-то замечанию, зловещую квартиру. Это глупости были. Ничего зловещего в Танином доме не было – только пусто, неприбрано и одиноко. Утром, проснувшись не в своей постели и засобиравшись к себе, обнаружила, что Коля намерен помогать с уборкой. Навели порядок, вымыли полы, особенно пострадавшие от милиции и скорой, и дальше нужно было ехать к матери. Таня опустилась на стул и поняла, что встать не может. Не от усталости, не от пережитого. Не может видеть мать – это было как ковырять только затянувшуюся болячку. Тане было стыдно, она подняла на Колю глаза с тем, чтобы сказать что-нибудь незначительное и так заглушить стыд, но тут позвонили – это Анна Григорьевна пришла. Маленькая старушка в нелепой шляпке – бабушка Бориса, про которого даже думать было противно – так мерзко он обошелся с ней и с Верой. Но тут же выяснилось, что ее появление никакого отноше-

ния к внуку не имеет, дело же в том, что она намерена навестить маму. Адрес у нее уже имелся и единственное, о чем просила Анна Григорьевна, – это помочь собрать всё необходимое для больницы.

Таня, упав духом, но внешне делая всё то, что требовала от нее Анна Григорьевна, думала, что вот сейчас вместе с ней потащится в больницу и расстанется с Колей – возможно, навсегда. Ей чудилось, что это счастье не может длиться долго, что Коля как появился, так и исчезнет, став тем, кем на самом деле и был – соседом с пятого этажа. Мысль эта была совершенно невыносима, потому что Таня, помимо воли, в детском своем воображении не только пережила свадьбу с ним, торжественно сказав «да», но и жила счастливо в этой самой квартире, собираясь завести двоих детей. Именно серьезные размышления о том, сколько детей им с Колей нужно, одолевали ее в то время, когда, сидя с ним на кухне, она смотрела, как он пьет чай с сухками, – и тут раздался звонок, явилась Анна Григорьевна, намеревавшаяся разлучить ее с Колей. Конечно, он уйдет, она поедет к маме и больше никогда его не увидит – ну разве что в лифте. Всё, конец. У Тани навернулись слезы, а Коля сказал, что сбегает за ключами от дедовской «Победы», ответит их в больницу и подождет в машине. Он заметил, как у Танюшки навернулись слезы, когда вместе с родственницей собирала она материнские вещи. «Какая девчонка!» – в который раз подумал Коля, вторые сутки входивший в ее обстоятельства без всякого недовольствия.

Коля подогнал машину, Анна Григорьевна просеменила к «Победе», уселась в ней не без удовольствия, так как ездила исключительно на городском транспорте и к такси, а тем более к частным машинам была непривычна и в компании Катиной дочки, всколыхнувшей в ней воспоминания о временах, давно прошедших, покатила в сторону больницы.

Так получилось, что день этот оказался для Анны Григорьевны совершенно праздничным. Приятный ветерок врывается в полуоткрытое окно, трепал прядь волос, выбившуюся из-под шляпки, и Анна Григорьевна была счастлива от того, что за день этот произошло так много. Жизнь ее, монотонная и ничем не примечательная, состояла из одних и тех же действий – она всё хлопотала по хозяйству в неустанных стараниях облегчить жизнь внуку и Олюшке. И вот, на восьмом десятке, от поездки по городу, от вида малышки-Тани, сидевшей рядом и вдруг непонятно чем напомнившей ей покойную кузину, с которой Анна Григорьевна была дружна в юности и которая скончалась от тифа в девятнадцатом году, испытала она тихую радость, молодое и забытое чувство. Кажется, что-то в повороте головы или в голосе, в интонациях Тани напомнило ей давно умершую и теперь редко вспоминаемую подругу. Да-да, девочка чем-то неуловимо на нее похожа! Анна Григорьевна счастливо улыбнулась, вздохнула и стала с интересом смотреть в окно.

А в это время тело Кати накрыли простыней и на каталке отвезли в дальний конец больничного коридора, — туда, где за облезлым металлическим шкафом, набитым серым бельем, обычно держали покойников в ожидании санитаров из морга. В больнице Катю долго кололи всякими шприцами, а она всё равно умерла. То, что Кате пришлось пережить в последний день жизни, было грандиозно и ей не по плечу. Все-таки она была обычной женщиной, хоть и сумасшедшей. Во главе ангельского воинства, бушевавшего в ее голове, она ринулась спасать Таню, доченьку, неразумную малышку, запутавшуюся в иноземных сетях. Кате было страшно; она знала, что слаба и неумела, но стиснув зубы, собрав все силы, зная, что неминуемо погибнет, ринулась на проклятую шпионку, нагло угнездившуюся в Танюшиной кровати. Держа никчемный ножик в куриной своей лапке, она умудрилась пробить ватное одеяло и добраться до тела шпионки. В ярости своей Катя не слышала ни криков Веры, ни воплей Лидии Петровны, ни голоса Тани, кричавшей «Мама, мама!» Всё заглушали неистовые кличи ангельского воинства, оглушительные, страшные, сулившие победу. От их разноголосицы лопалась Катина голова. Время растянулось, как жвачка, которую всё тянет и тянет ребенок, пока она совсем не истончится и порвется. Кате казалось, что она сражается долго-долго, и вдруг всё кончилось. Страшная тяжесть навалилась на Екатерину Андреевну. Она оказалась погребена под обвалом и не понимала, что так давит и не дает шевелиться. Затем ее накрыла боль.

Пришла в себя Катя вяло и смутно только в больнице, когда грохот битвы стих и голоса, раздавленные поражением, шелестели невнятным шепотом. Плоха была Катя и от этого не имела сил вслушиваться в их тихий шелест. А они требовали, они хотели, чтобы она их услышала, но шелест был слаб, и Кате наконец стало всё равно: голоса перестали иметь значение, утратили смысл. Одним единым мигом пронеслось в Катиной душе расставание с ее давними спутниками, ее ангелами-поводырями, чьи голоса таяли, удалялись, растворялись где-то там, бог весть где. Катю деловито прослушали напоследок, убедились, что не дышит, развели руками — все-таки за нее боролись больше суток, но организм больной был изношен. А дальше, как уже было сказано, белая простыня, каталка, железный шкаф — тот, за который всегда задвигали трупы. К моменту, когда «Победа» подкатила к отделению, в котором содержалась Екатерина Андреевна, она со всем почетом отбыла в морг, расположенный в бывшей больничной часовне, и там в компании собратьев стала дожидаться похорон.

Свадьба да похороны — нет большего развлечения в жизни человека. Какой там театр, футбол или полет на Канары! Только услышит человек, что зван на свадьбу или требуется проводить в последний путь — тут же и оживится, и ругнется, и крепко задумается, что надеть, чтобы было прилично, да какая погода будет, да кого из знакомых встретит... Ни один спектакль не обсудят так, как платье невесты или

гроб покойника. А ведь есть еще гости на свадьбе и скорбящие на похоронах. Ну и, конечно, сам покойник, или, в случае свадьбы, невеста с женихом. Будь эти, живые или мертвые, хоть самыми незначительными личностями, а всё равно в обстоятельствах торжества удостоятся внимания и вызовут интерес, хоть и мимолетный.

Про похороны и свадьбы сильных мира сего говорить не приходится — совсем незадолго до Катиной кончины было такое шоу со смертоубийством, что куда там последнему дню Помпеи в исполнении художника Брюллова. Катины похороны были, конечно, по другому разряду, однако, достойные, тут сказать нечего. Правда, провожающих было немного: дочь Татьяна, тетка родная, Анна Григорьевна, сестра двоюродная, Лидия Петровна, двоюродный племянник Борис, для чего-то явившаяся лифтерша Ирина Ивановна, близнецы Коля и Вася, помогавшие нести гроб, ну и кое-кто из сослуживцев покойного Ивана Константиновича. Да, и, конечно, Петухова, которая не могла не подержать подругу.

Всякому известно, что схоронить стоит немалых денег, однако тут повезло — место на кладбище уже имелось. В ногах покойного супруга, в виде самого доброкачественного пепла, как было заведено в Донском крематории, Екатерине Андреевне предстояло обрести вечный покой. В крематорий и направились и достойно совершили над телом покойной всё то, что приличествовало случаю. И выражения лиц были достойные, и разговаривали шепотом, совсем как Катины голоса, когда она умирала. Катя лежала маленькая, как подросток, так что со стороны казалось, что гроб пуст, но она была там вся — желтолицая с неприятно глянцевої кожей, обтянувшей череп, как резиновая перчатка.

Таня, прощаясь, поцеловала маму в ледяной лоб и потом долго об этом жалела. На губах остался отвратительный отпечаток липкого холода — это, конечно, давал о себе знать морг. Екатерину Андреевну отправили в печь, а провожающие, гремя стульями, уселись за поминальный стол, выпили водки, как заведено, закусили и разошлись.

Это означало, что Таня стала сиротой. Прежняя жизнь, которой, как она думала, не будет конца, оборвалась неожиданно и не в срок, и теперь ее ждала жизнь новая, без обязательств, — что захочет, то и будет делать. Пусто стало и внутри Тани, и снаружи. Прежде всё в ее жизни было заполнено матерью. Что бы она ни делала, за что бы ни взялась — первая мысль была о маме. И, как правило, мысль эта была неприятная. А теперь — не от кого скрывать, некому врать; нет мамы, чьи упреки и скандалы приходилось терпеть день за днем. Печально без мамы. Таня, заложив руки за спину, прислонилась к притолоке и уставилась на люстру, ярко горевшую в этот поздний час, а затем, сделав неловкий пируэт, закружилась по комнате и с разбегу, чуть не уронив стул, села на пол.

Неожиданная кончина Екатерины Андреевны после известных

событий стала кульминацией этой сумасшедшей недели. События так и сыпались, как картошка из худого мешка. Поэтому нет ничего удивительного, что Таня за всё это время не вспомнила о Вере и не справилась о ней. На кладбище не спросила, но и дома тоже, хотя братья – вот они, сидели за столом. Удивительно же то, что и после похорон и вообще никогда она про Веру не спрашивала, словно не провели они ночь в самых сокровенных разговорах. А почему? Нет ответа. Было очень смутно в ее голове во всем, что касалось Веры. Само воспоминание – не о том роковом для Екатерины Андреевны дне, а именно о Вере, – гнала от себя ее случайная подруга на одну ночь. Думать о Вере было отчего-то неприятно. Всякий здравомыслящий человек – то есть тот, кто не живет одним чувством, часто глупым и ни к чему не относящимся, – схоронив мать, навестил бы Веру, от одного хорошего воспитания, справился о здоровье и извинился за причиненные обиды. Таня этого не сделала, жизнь ее пошла своим чередом, без Веры, а только со смутным ощущением вины, не известно за что. Это чувство вины со временем так укрепилось, что даже имени Веры слышать она не хотела. Стоило Коле упомянуть яркую обладательницу роскошного конского хвоста, как Таня тут же и насупится, и постарается перевести разговор на другое. Из этого всего Коля вывел, что в ту ночь произошло что-то, о чем Таня никогда не рассказывала, и это наложило на нее какую-то печать тайны, что ли. А между тем рассказывать было совершенно нечего, тайны не было, одна глупость и видимость. Вот, поди пойми человека! Куда там! Психолог, верно, разобрался бы, начитавшись уймы ученых книжек, а так, без психолога, один туман.

Как сирота, Таня много приобрела в Колиных глазах. Она еще тогда, в тот давний вечер, понравилась ему детской хрупкостью – не в смысле телесном, а незащищенностью взгляда голубых младенческих глаз, манерой по-детски жаться. Ее скованность, ее неловкость, словно она подросток, а не взрослая девушка, робость взамен девичьей мягкости, не нравились многим. Всё было как-то не по возрасту, но именно это и тронуло Колю. А уж когда Екатерина Андреевна умерла, тут он почти влюбился. Выразилось это в желании Таню опекать и всячески руководить ее жизнью. Она же боялась, что Коля как появился, так и исчезнет, потому что не очень-то верила в собственное счастье, – но оказалось наоборот. Петухова закатывала глаза и пророчила свадьбу.

Умерла Екатерина Андреевна, и смертью своей еще раз напакостила двоюродной сестре. Лидия Петровна, отсидевшись ночь на Сретенке в счастливом одиночестве, поскольку Ольга Адамовна и Боря отсутствовали – одна на Пушкинской, а другой – в гостеприимной кровати юриста Ольги Николаевны, – поутру, прислушавшись к совету матери, осталась и ни в какой Катин дом не вернулась: силы покинули ее. Лидии Петровне нужна была передышка. Проведя утро

в ленивом бездействии, к середине дня испытала она смутное беспокойство и, раз осознав его, совсем вышла из колеи. Что-то внутри подталкивало ее к немедленным действиям, наводя на мысль, что, вздумай она медлить – обстоятельства примут катастрофический оборот. Тревога, необъяснимая и безотчетная, совершенно сбила Лидию Петровну с толку и испортила настроение. Внутри всё дрожало – она взглянула на свою руку, далеко отнеся ее от глаз, и увидела, что пальцы и вправду мелко-мелко вибрируют. Иные доводы не потребовались, и Лидия Петровна, стремительно одевшись, вылетела из квартирки Ольги Адамовны и поспешила домой, к Кате.

Она, разумеется, знала, что Катя в больнице – сама ее туда отправляла, однако направилась именно домой и, войдя в квартиру, обнаружила, что Тани нет, да и вообще нет никого. Ирина Ивановна еще внизу предупредила, что Таня вместе с Анной Григорьевной поехала в больницу. В пустой и какой-то вдруг помертвевшей квартире Лидия Петровна постояла вначале даже в некоторой растерянности, а затем взялась шарить по ящикам и шкафам. Еще накануне, вздумай кто-нибудь намекнуть, что Лидия Петровна способна на подобную низость, она не то что оскорбилась бы (это само собой), а просто не поверила. Однако факт оставался фактом: Лидия Петровна лихорадочно и аккуратно обшарила все углы, где, по ее представлению, могло быть спрятано... Она толком не знала, что ищет; воровато обыскивала из какого-то детского любопытства к тайнам чужой жизни, к знакам и намекам чужой судьбы.

В Катиной комнате обнаружилось множество мелких пакетиков, перетянутых резинками, перевязанных ленточками и бечевками. Лидия Петровна – как смелости-то хватило, ведь она знать не знала, что Катя умерла, – аккуратно развернула пару бумажек и изумилась найденной скрепке и бритвенному лезвию. Развернуть всё было немисливо, поэтому в дальнейшем, чуткими пальцами, она лишь прощупывала пакетик, и так удалось ей найти три николаевских червонца, которые, усмехнувшись, Лидия Петровна и опустила в карман. Вот, хороши же были несгибаемые партийцы! А у самих царские десятки! Выходит, не подвело Лидию Петровну чутье. Обнаружилась сберегательная книжка на имя Ивана Константиновича с приличным вкладом, Катей так и не переоформленным, нашлись кольцо и сережки, ворох облигаций в старом портфеле и, наконец, в дорожном несессере Ивана Константиновича – наличные в приличном количестве, о которых Катя то ли не подозревала, то ли забыла. Воровство свое Лидия Петровна намеревалась отнести на счет милиции и скорой: толкотня тогда в квартире была невообразимая. Чутье подсказывало Лидии Петровне, что события, принявшие непредвиденный оборот, и дальше могут идти столь же непредсказуемым образом: может статься, что в Катином доме ей придется задержаться недолго. Кончив рыться в чужих вещах, Лидия Петровна постаралась вернуть всё на прежнее место. Впрочем, она была уверена, что Таня пропажу не заметит. Затем на кухне

быстро сварила кашу, переложила ее в банку, захватила кефир и с таким оправданием, гордо неся авоську перед носом Ирины Ивановны, отправилась в больницу вслед за матерью и племянницей.

Никакая «Победа», разумеется, не ждала Лидию Петровну во дворе, а потому она долго ехала городским транспортом, и времени для размышлений было вдоволь. Сначала толкалась в троллейбусе и думала о том, чтобы в давке не перевернулась и не вылилась каша, а потом, когда удалось сесть и не просто сесть, а у окна, тревога за кашу отступила, и тут совсем иные мысли явились в голове Лидии Петровны, в одночасье ставшей воровкой. Лидию Петровну словно кипятком обварили. Карман тут же стали жечь чужие деньги, и раскаленный профиль последнего царя заслонил собой Садовое кольцо. Зачем, зачем она это сделала? Отчего вдруг, ни с того ни с сего, обокрала Катю? Помутнение рассудка случилось с рассудительной и здоровой Лидией Петровной? Она не знала. Постыдно? Без сомнения, но, главное – отчаянно глупо, беспричинно, беспомощно. Как, как она могла так... Она не могла подобрать верное слово, чтобы обозначить свои действия. Лидии Петровне и прежде приходилось воровать, но это в лагере, и там это не было стыдно. А в этой жизни, среди себе подобных, так поступать не следовало, с какой стороны ни посмотри. Ведь если разобраться, единственный капитал Лидии Петровны к концу жизни – это доброе имя, а она им так необдуманно рисковала. Попробуй кто-нибудь обвинить ее в воровстве – и всё, у нее ничего не останется, крест можно будет поставить на Лидии Петровне.

Такого рода мысли занимали ее весь остаток пути. Проблуждая по больничному парку в самом скверном расположении духа, нашла она, наконец, Таню и мать. Узнав о смерти Кати, Лидия Петровна растерялась. Теперь внутри нее всё совершенно запуталось. Гнусное воровство предстало в ином свете – как акт предвидения и обеспечения малого своего благополучия. Глянула на Таню, такую же растерянную, и подумала, что, ничего, Таня молодая, всё еще успеет нажить, а вот с квартирой придется распрощаться. Вгляделась в детское ее лицо: потерянное лицо, жалкое. Глаза, стеклянные от слез, моргает часто-часто белесыми ресницами, шмыгает детским носом. Молодой человек склоняется над ней, как над вдовой, – и это успокоило Лидию Петровну, совесть перестала бунтовать.

Все эти мысли теснили в голове Лидии Петровны в то время, как она вела разговоры, которые приличествовали обстоятельствам. А именно: подробно, с надлежащим выражением лица расспросила о Катиной смерти, тепло обняла Таню, прижала ее к себе и долго гладила по волосам. Шепотом, но очень горячо, расспросила Анну Григорьевну, взяла ту за руку, пожала, покивала головой и, вспомнив вдруг Катю как живую, сама расстроилась, и слезы навернулись на глаза. Лидия Петровна не была человеком бездушным – много сил своей души потратила она на то, чтобы осилить жизнь с Катей, а оказалось, как уже не раз случалось, что силы были потрачены зря.

– А я кашу сварила. – Растерянно сказала Лидия Петровна, растерянным же взглядом обеда и мать, и Таню, и молодого человека. От этих слов Таня расплакалась, уткнувшись лицом в ладони, а Лидия Петровна поставила ненужную теперь банку на пыльный подоконник.

Из больницы Лидия Петровна отправилась не в Катину квартиру и уж, конечно, не в дом Ольги Адамовны, а к знакомой зечке, после возвращения получившей комнату недалеко от Ваганьковского кладбища. По дороге зашла в магазин за четвертинкой и закуской и вдруг почувствовала, что должна как-то себя утешить – купила любимые сливочные тянучки, шла и ела. Их хватило на то, чтобы перейти железнодорожный мост, миновать кладбище и, выкинув опустевший бумажный фунтик, добраться до старого деревянного дома, где между оконными рамами лежала пожелтевшая вата и искусственные цветы. Прожила здесь три дня – до самых похорон. Топили печку, пили водку, и Лидия Петровна согрелась душой.

После крематория и поминок взяла Борю чуть повыше локтя, как клещами, и потребовала ответа. Борис отводил глаза, смотрел всё больше вбок, а потом просто стряхнул мать со словами, что ничего не произошло и чтоб отвязалась. Лидия Петровна не добилась разъяснений, даже и неправдоподобных. Попробовала поговорить с Таней, но и та уклонилась. «Так вышло.» Ничего себе! У них там «так вышло», а Лидия Петровна осталась без угла. И вот что интересно: могла бы и не съезжать от Тани. Та не гнала, но и не звала остаться. Однако Лидия Петровна, готовая унижаться перед двоюродной сестрой, не захотела или, лучше сказать, не смогла унижаться перед девчонкой. Силы что ли все потратила? Поди разбери. Зависла она у зечки, но и там пора было честь знать. И зечка пока не гнала, однако Лидии Петровне нужно было свое, чтобы прийти, закрыть дверь и остаться в одиночестве. Ну что ж! Не вышло с Катей – нужно идти заведенным путем – обивать пороги.

С этим намерением вышла из дома в настроении самом скверном. Шла пешком, ехала в автобусе, сидела в очереди – вокруг всё были люди под настроение Лидии Петровны, самые что ни на есть неприятные, если не сказать противные: у кондукторши в автобусе рожа была совершенно отвратительная, секретарша в исполкоме с серым лицом и в перманенте напомнила Лидии Петровне рыбное заливное мерзким колыханием тела и бессмысленной прозрачностью глаз. Одним словом, в этот день Лидия Петровна всех ненавидела. Однако она их разглядывала и от скуки и раздражения стала представлять, как каждый из них будет выглядеть, когда умрет. Делать это было нетрудно – она на своем веку повидала довольно покойников, да и Катю схоронили вот только что, и останки сестры живо всплывали в воображении Лидии Петровны как эталон смерти. Старичок один, очень неопрятный и по виду – одной ногой в могиле, сидел подле Лидии Петровны и, когда его вызвали в кабинет, суетливо под-

нялся, подхватив полы замызганного пальто и авоську, в которой болтался концентрат клюквенного киселя и цикорий, и быстро-быстро просеменил к начальственным дверям – видно опасался, что ототрут и влезут без очереди. После него на стуле осталась аккуратнo сложенная бумажка – видно из кармана выпала. Лидия Петровна, соскучившись представлять живых мертвыми, взяла бумажку. Оказалось, что это от руки написанное объявление, в котором говорилось, что в школу требуется дворник. Предоставляется жилплощадь. Лидия Петровна была готова эту бумажку съесть. Тут же и встала и вышла из приемной, опасаясь, что дед вернется и хватится. В конце концов, можно и в другой раз прийти, а сейчас, сейчас она быстро пойдет звонить по указанному телефону и, если место вакантно... Ей сразу захотелось стать дворником: на вольном воздухе колоть лед и мести метлой, возвращаться в какую-то свою комнату, пить в одиночестве чай. Всех к черту! Если она никому не нужна – ни сыну, ни матери, а это она очень хорошо видела, то и ей никто не нужен. Отлично, так и поступим, решила Лидия Петровна и тут же, возле исполкома зашла в телефонную будку и позвонила. Ей сказали: «Приходите» – и на следующий день она была возле школы.

Машины в этот отдаленный уголок заезжали, видно, редко. Пока Лидия Петровна шла от метро, проехало всего несколько. Место ей сразу понравилось: маленькая площадь на московской возвышенности, где сходились сразу несколько переулков. Место тихое, почти заброшенное. Кирпичное довоенное здание проглядывает из-за разросшегося сада. Сквозь деревья видна заброшенная беседка. Напротив школы стоял несуразный розовый дом с эркерами, дверь разбитого подъезда нараспашку, и на стуле сидит старуха в платке, и у старухи коза. И старуха деревенская, и коза, конечно, тоже. Откуда в Москве коза? Чем ее кормить? Изумившись и розовому дому, и пустынности места и, разумеется, козе, Лидия Петровна вошла в ограду школы. Уборщица направила ее к директору, и она оказалась в обыкновенном кабинете, где под портретом Ленина сидела молодая миловидная женщина.

Зинаида Ивановна, услышав по телефону интеллигентный голос, справлявшийся о месте дворника, была озадачена. Целую неделю она, помимо главных своих обязанностей, а именно, руководства учебным заведением, занималась, казалось бы, полнейшей ерундой – искала дворника. Прошлого она хотела уволить давно, потому что «этот кошмарный тип», как называла его завуч, не только пренебрегал своими обязанностями (никто не ждал, что он будет усердно работать) и крепко выпивал, но, *nota bene*, ругался при детях матом. В радужных, но несбыточных мечтах Зинаида Ивановна видела, как она с треском его увольняет, однако дело это было не простое – всякому известно, как трудно выгнать нерадивого работника. К удивлению Зинаиды Ивановны, он ушел сам. Кажется, сторожем куда-то, сидеть в тепле, а то он вечно жаловался на непогоду. Зинаида Ивановна

давно не была так счастлива, как в день, когда отпускала с богом этого субъекта, оставившего в кабинете запах перегара. Она радостно распахнула окно и выпустила на волю дух дворника-пропойцы. Школа, в которой начальствовала Зинаида Ивановна, была творением ее рук как в смысле педагогическом, так и в смысле хозяйственном. Это была очень хорошая школа, и дворник требовался особенный, потому что в известном смысле — он тоже лицо школы.

Зинаида Ивановна (Зиночка) была молода и походила на милую куколку, так что и не подумаешь, что директор школы. Злые языки намекали, что в таком возрасте директором просто так не становятся, — ясно, что имеется покровитель, и поэтому многозначительно поглядывали на супруга Зинаиды Ивановны, жалея его за ветвистые рога. Какими такими путями Зинаида Ивановна в свои тридцать пять получила директорское кресло, неизвестно, зато известно, и очень хорошо, что своего мужа она любила и никогда не помышляла об измене. Николай Иванович, супруг, был значительно старше Зинаиды Ивановны и отличался замкнутым нравом и слабым здоровьем. Трудно сказать, был ли тяжелый характер следствием болезненности или желчность организма вытекала из желчности характера, как, может быть, сказали бы в старину, однако он постоянно хворал. Его одолевали многие болезни: и сердце, и печень, и желчный пузырь находились, по его словам, в плачевном состоянии. Помимо этого, зимой он всегда был простужен, температурил, пил отвары и кутал горло. Жить с Николаем Ивановичем было нелегко. И возникал, между прочим, вопрос: как человек, окруженный строем пузырьков с лекарствами, еле-еле таскающий ноги до работы и обратно, умудрился жениться на молодой и интересной женщине? Откуда, так сказать, силы взялись? Но еще интереснее, что красавица-директор нашла в пожилом инвалиде? Но и тут остается гадать. Как бы то ни было, Николай Иванович и Зинаида Ивановна жили в браке давно.

Зинаида Ивановна по вечерам, вернувшись с работы, а жили они тут же при школе в служебной квартире, считала важным и даже необходимым, делиться с мужем впечатлениями дня, тем более что она частенько оказывалась в центре самых различных событий. Одним словом, рассказать за ужином было о чем. Она полагала и, очевидно, полагала справедливо, что общие интересы много послужат укреплению семьи. Однако Николай Иванович редко ее слушал, хотя и сидел тут же за столом. Зиночка говорила в пустоту. Жевал безучастно — такой он был человек. У него имелся книжный шкаф с целой полкой пластинок, и по вечерам Николай Иванович слушал оперы, сидел, прикрыв глаза, с виду так же безучастно, как и ел. Зиночка не то что не обращала внимание на такие особенности мужа (они ее огорчали), но считала нужным твердо держаться своего: то есть вести себя как ни в чем не бывало. Почему-то ей казалось, что однажды муж прервет молчание. На самом же деле Николай Иванович не молчал. Он говорил, и говорил много. Он никогда не забывал

поздороваться, всегда благодарил после еды и имел обыкновение прочитать ей вслух что-нибудь из Баратынского, когда Зиночка мыла посуду. Закончив чтение он, как правило, говорил всегда одно и то же: «Каково, Зина?» – после чего, не дожидаясь ответа, возвращался к опере. От такой семейной жизни вдвоем (Николай Иванович не хотел детей) Зиночка чувствовала себя немного одинокой и поэтому особенно близко к сердцу принимала дела школы.

Явление Лидии Петровны в качестве претендента на должность дворника поразило Зинаиду Ивановну, хотя, казалось бы, она была подготовлена разговором накануне. А всё же удивилась. Перед ней стояла еще не старая женщина, кажется, интеллигентная, но с мешками под глазами и опустошенным лицом. Зинаида Ивановна, помня прошлый опыт, испугалась, не пьющая ли. Осторожно приступила к разговору, и Лидия Петровна, устало опустившись на стул, рассказала всё как было, закончив словами, что нуждается в работе и прописке, а приступить может хоть завтра. Зинаида Ивановна усомнилась, будет ли нелегкий труд во всякую погоду под силу Лидии Петровне, и та снисходительно усмехнулась. Взгляд посетительницы, ясный и твердый, убедил директора – конечно, такого человека нужно взять. Дворник выйдет оригинальный, но, возможно, это именно то, что требуется школе. Разумеется, никто не ожидал, что Лидия Петровна примется мести двор на следующий же день – Зинаиде Ивановне требовалось согласовать необычную кандидатуру, но служебную квартиру, а также школьный двор и сад она показала Лидии Петровне в тот же день.

Лидия Петровна вышла за ворота школы окрыленная, словно к ее старым ботинкам приторочили крылышки, и это античное подспорье понесло ее по городу к домику с бумажными цветами, где, возбужденно мешая угли в печке, она рассказала подруге о сегодняшней удаче. Праздничные искры сыпались наружу, и Лидия Петровна поклялась устроить пир, как только дело решится.

– А помнишь, как мы лес валили? – спросила подруга, и Лидия Петровна рассеянно пожала плечами.

Как хорошо, когда ветер свободы дует в паруса! Без лишних проволочек оформили Лидию Петровну на должность дворника, дали комнату при школе, и вот она уже на посту с метлой в руках. Работая спозаранку, недоумевала – от чего раньше не бросила Катю, будь она неладна, отчего терпела и унижалась. Зачем торчала на Сретенке, ругалась с Ольгой Адамовной, спала на полу? Лидия Петровна получила комнату с хорошим окном и не в полуподвале, как жили сретенские. В торце школы находилась двухкомнатная квартира директора и комната дворника. Лидии Петровне достались даже две комнаты – в первой, темной и без окон, хранился дворницкий инвентарь, а во второй, с раковиной и плитой, поселилась она сама. Правда, мыться

нужно было в бане, но это ерунда: во-первых, баня совсем рядом, а во-вторых, и зечка, и сретенские тоже ходили в баню – и ничего, а у зечки еще и туалет был во дворе, а у Лидии Петровны – свой, потому что здание капитальное, не деревянная халупа. От прежнего дворника осталось в комнате сущее безобразие, но Лидия Петровна навела порядок; на деньги, похищенные у покойной сестры, купила кое-что из мебели, повесила занавеску и зажила.

Кругом тишина, под окном сирень, которая зацветет в начале лета, из-за стенки хор девушек, и Онегин бархатно поет о любви к Татьяне – это Николай Иванович заводит по вечерам. Территория школы большая – с деревьями, цветником и запущенным огородом. Зинаида Ивановна пожаловалась, что некому ухаживать. Прежде учитель биологии вместе с детьми огородничали, но как-то быстро все остыли, а жаль, и в учебных планах на эту затею места не нашлось, в основном потому, что зимой, ясное дело, ничего не растет, а весны и осени на урожай не хватает. Лидия Петровна взглянула на сухую заброшенную землю, и ей стало жаль всё то, что здесь когда-то росло да не выросло, а помнится, у нее на даче были цветы и зелень к столу, всё выращенное собственными руками. Она вспомнила то чувство, сродни умиленню, которое испытывала, видя проклюнувшийся росток.

– Посажу тут что-нибудь, – сказала Лидия Петровна, ковыряя носком землю.

Кончались занятия, школьный двор пустел. Тишина. Скупым рыцарем в своих владениях выходила Лидия Петровна, поливала, сажала, пропалывала. А летом каникулы. Зинаида Ивановна с супругом уедут в отпуск, и Лидия Петровна вовсе останется одна. Ее не пугало ни гулкое безлюдье, ни мертвые окна, ни даже сомнительные компании, изредка забредавшие в школьную беседку. Она была счастлива – свободна и совершенно одинока.

После ножики Екатерины Андреевны, «скорой», милиции и нашествия художников, опустошенная Вера только и испытывала, что стыд. Всё случившееся было неуместно – удивительно, что никто этого не чувствовал. Разводы зеленки, цветы – и все лопаются от съеденных тортов. Цирк. И самое ужасное – бедная сумасшедшая тут же и умерла. С сумрачным лицом слонялась Вера по квартире, и Соня сказала мужу и свекрови, что ничего, пройдет, это, мол, организм реагирует на душевную травму. Соня, доктор и хороший человек, была, конечно, права, однако Вера всё мусолила свое дефиле из квартиры на лестничную площадку и оттуда вверх по лестнице к геологам. Состояние ее души было, разумеется, болезненно, и в этом смятении краски сгустились так, что мерещилось ей черт-те что: будто бы люди злорадствуют и хихикают, представляя, какой жалкой была она в своих трусах и с трясущимися у всех на виду грудями. Между прочим, грудь Веры была хороша во всех отношениях. Такой грудью всякая

могла бы гордиться, и полюбоваться ею готовы были многие. Отчего-то, больным своим воображением, она именно к груди и прицепилась, хотя прежде никогда не испытывала неловкости, а напротив, гордилась данным ей природой совершенством. Уволилась с работы. «Давно пора», – одобрила мама, пообещав, что всё обойдется.

Примчался мэтр, тряс клочковатой бородой, уговаривал хоть его не покидать. Вера уклонилась, ответа не дала. Происшествие с Верой больно ударило по его художественной натуре. Жалким комочком щенячьей жизни увидел он Веру, а не той женской плотью, что позировала у него в мастерской и которую таскал он за собою на Алтай. Вспомнилось ему, как бабка его в деревне топила народившихся щенков, как с диким детским ревом выкатился он из дома, перевернул ведро и схватил одного с закатившимися глазами и не дотопленного, как прижал его мокрое тельце с тоненькими косточками к груди, а прочие с мордочками своими и хвостиками мертво лежали в ведре. Спасенную тогда из ведьминых бабкиных рук собаку он любил так, как не любил потом ни одну из своих жен, а было их у него немало. Он пришел навестить Веру и застал ее безучастно сидящей за столом в застиранном материнском халате. Увидел ее мокрым полумертвым щенком и прикусил губу. Она не дала ответа, и это его не смутило. От нее он вышел другим человеком – с молнией и громом в сердце, – это так отзывалось вернувшееся воспоминание о давно умершей собаке.

В общем, после истории с Таниной мамашей, Вера затосковала; рада была лишь двум обстоятельствам – что Борька так и не пришел и что приходиться довольно часто стал Алексей-Ланцелот. То, что он не просто Алексей, а еще и Ланцелот, узнала она в тот роковой вечер: оказалось, что и у него, и у геологов были необычные прозвища, намекавшие на какую-то другую, отдельную жизнь, наверняка полную романтики и, может быть, тайны. Видно, рождались эти имена от другой сущности, проступавшей в этих людях в глухие ночи у лесных костров. Огненные искорки нарисовало Верино воображение, и они оживили и расцвели заурядную и потрепанную внешность того, кого прежде она знала как Алексея. Его обнаженное тело не раз случалось ей видеть в классе. Было оно жилисто, бледно, кое-где попорчено шрамами и пятнами. Жалкое тело неудачника. А оказалось, что в другой жизни он – Ланцелот. Такую кличку дают неспроста.

Алексей водил ее гулять, они мерили шагами бульвары. Далеко – в одну сторону, далеко – в другую. Вера косилась на него украдкой, пытаясь разглядеть Ланцелота. Ничего *такого* видно не было: всё тот же Алексей. А Ланцелот? Ну, у него кудри и доспехи.

Первый раз пришел, потоптался в дверях, сказал:

– Чего нахохлилась? Пойдем погуляем.

Вера послушалась и пошла. Шли молча, после долгого сидения в четырех стенах Вера с удовольствием дышала уличным воздухом.

В нем было всё: бензин, мокрое дерево, прелые листья, шуршание шин, брызги нечистой воды и еще что-то, от чего сжималось молодое сердце. Проводил домой и спросил:

– Хочешь, зайду еще. Погуляем. – Она кивнула.

Он слово сдержал, зашел через несколько дней. Она быстро оделась, вышли. На вечерней аллее, в сумерках почти безлюдной, обоим было хорошо. Шли под деревьями как в широком туннеле, почти темном от еще не зажженных фонарей. Уютно и так уединенно, что Вера улыбнулась и тут же спросила:

– Слушай, а чего ты приходишь меня выгуливать?

Он пожал плечами, задумался – видно, не знал, как ответить. Потом сказал:

– Не знаю. Жалко тебя, хотя, вроде, и не за что. Ничего же не случилось – жива. Или как?

– Да жива, жива. Только, знаешь, у меня такое чувство, словно я со всех сторон голая. А так, жива.

– Ясно. Это пройдет. Будешь дальше жить, только как-то по-другому. Наверное, – на этом слове пожал плечами и смотрел в сторону.

– Как это – по-другому?

– Ну, не знаю. Это ж ты будешь жить. – Вера кивнула. Ответ показался ей совершенно ясным.

Шла домой с опаской, думая о какой-то другой жизни, которая, и это отчего-то было ясно, ожидала ее впереди. Переступив порог, тревожные размышления с облегчением оставила, потому что коммуналка тут же и убаюкала: она была неколебима, как символ веры, как клятва советских пионеров на обложке Иркиной тетрадки и, следовательно, никогда не подводила. Звуки ее и запахи, всегда одни и те же и всегда разные – потому что если сегодня пахло борщом, то завтра щами, а нафталином, пылью и несвежим бельем – всегда. Звуки и запахи эти служили порукой тому, что твердую почву под ногами обрести удастся, что есть на свете что-то, что никогда не меняется, всегда обогреет, накормит и приютит. После вольного холода улицы, после покрасневших рук, искавших тепла в рукавах пальто, разматывая шарф, снимая пальто и боты, наполняя сначала нос, а затем легкие густым духом жилья, Вера мечтала ни о чем. Приятная пустота в голове особенно понравилась после разговора на бульваре. Всё у нее было: и руки, и ноги, и зрение, и слух, и всем этим управляла пустая голова очень ловко, без всякой нужды в мыслях. С этой пустотой жить намного покойнее. Прежде, еще до прогулок с Алексеем, семья и соседи бесили Веру. Особенно племянница. Девчонка училась плохо, уроки делала из рук вон, ленилась, и из-за этого вечно были ссоры с противным детским ревом. Теперь она стала часто сидеть с Ирккой за столом в комнате брата: та – за уроками, а Вера – с книгой, хотя прежде была не любительницей чтения – занятие скучное. Однако, если засела в четырех стенах, если от душевного недоумения уединилась, делать что-то все-таки надо. Помогла маме по дому,

помыла полы, а под конец стала топтаться перед книжными полками. Посомневалась, вздохнула и вытащила пухлый том – «Тиль Уленшпигель», недавно купленный братом Ирке «навырост». Безразлично открыла, стала читать и провалилась в Средневековье. Сидела за столом, переворачивала страницы – это увидел бы каждый, вошедший в комнату. Видимость, иллюзия, фантом. Настоящая Вера бродила по дорогам Фландрии в компании очень странных людей. Выныривая из книги, недоуменно обводила взглядом комнату, моргала, приспосабливалась. А Ирка, сидевшая напротив, все карябала что-то в тетрадке. Вера удивлялась. Невыученные уроки – тема семейной ругани, причина баталий между Соней и дочкой. Однако Вера видела, что девочка не бездельничает. Однажды вяло спросила, что она там всё пишет и где арифметика. Отобрала бесцеремонно тетрадь и прочитала последнее предложение: «Рыцари предчувствовали наслаждение». Вера опешила, потребовала разъяснений, и Иришка созналась, что прочитала Айвенго и решила написать роман, такой же увлекательный. К чести Веры следует заметить, что ей хоть и хотелось рассмеяться, но пожалев девочку и вспомнив товарищей, оставленных на последнем абзаце, она смех подавила, сказав, что та – молодец. Выхваченная фраза – косая линейка, фиолетовые чернила – то и дело всплывала в голове до самого свидания на бульваре, где, поздоровавшись, она тут же рассказывала Ланцелоту про подпольное занятие племянницы.

– Девчонка в четвертом классе роман пишет. А я?

– Ну и ты напиши. Чего стесняться-то.

– Ха-ха-ха. Я к тебе по-человечески... – обиделась Вера.

– Ну, а если по-человечески, то на это смотреть нечего. В тридцать она, может, только и будет, что с работы на работу, муж, ребенок да готовка. Айвенго!

Такой поворот совсем не понравился нынешней Вере – Вере с пустой головой, словно стоящей на краю крыши.

– Знаешь, это какой-то подлый ответ.

Промелькнула, правда, теперь уже потускнев, история с Екатериной Андреевной, зато ярко вспомнилась ночь в Таниной постели.

– Не знаю, зачем тебе это говорю, но той ночью, до всего, мы с Танькой полночи проговорили.

И в пустой аллее, где только и маячили, как на мушке, их фигуры, Вера пересказала разговор, вернее свой рассказ, прежде доверенный одной Тане.

– В Америку хочешь. Дело. – Сказал Ланцелот совсем не дружелюбно.

Вера почувствовала себя глупо и пожалела, что открыла тайну. Очарование прогулки пропало и, спросив себя, что она забыла в сырых сумерках бульвара, Вера засобиралась домой. Представилось, что сейчас лучше пить чай у Марьи Николаевны. Алексей задержал и, глядя мимо, спросил:

– Хочешь, тоже расскажу?

– Что?

– Так, историйку. Тут Вальтер Скотт очень кстати.

Он и его упомянул, заметив, что, не случись сегодня вечером этого романтика, не пришла бы охота исповедаться. Обиженная Вера сердито спросила:

– А есть в чем?

– Угу.

Они шли вверх от Трубной, и Алексей голосом каким-то не своим, театральным и, кажется, с издевкой, сказал:

– Я сам – странствующий рыцарь и крестоносец.

Вера усмехнулась:

– Как же, знаем. Ланцелот. Доспехи и голубая кровь.

Он на это ее замечание внимания не обратил, хоть оно и было издевательским и даже враждебным, а продолжил:

– Ты в Америку хочешь, а я в Англии жил. На родине романиста.

– Врешь.

– Нет.

– Врешь, потому что никто ни в какую Англию не ездит. Ну, не такие, как ты. Ты же не дипломат. Или я ошибаюсь?

– Ты права, не дипломат, однако это чистая правда. Так со многими было, просто об этом молчат, и я молчу, а людям кажется, что вокруг только то и есть, что в газетах пишут. А если в двух словах, то во время войны оказался в плену, потом союзники освободили, и я попал на север Англии к парочке старушек. Жил у них, ей богу, как ребенок. Потом меня депортировали и посадили. Так что нет, не вру. И вот что я тебе скажу: я туда вернусь. Хоть перед смертью.

Услышанное было совершенно неправдоподобно. Она смерила его взглядом, и этого оказалось довольно: Алексей говорил правду и был истинным Ланцелотом.

– А эти твои приятели, геологи, они-то почему Диоскуры? С ними-то что не так? – спросила она невпопад.

– Ну, потому что они близнецы от разных отцов.

– Чего? – Вера смотрела на него во все глаза, ей хотелось и заплакаться, и рассмеяться. Досадно было ужасно.

– Прости, пошутил.

От осознания, что Алексей не врет, Вера испытала чувство, схожее с тем, как если бы она нашла тысячу рублей прямо на тротуаре, не веря своему счастью подобрала и сунула в карман.

– Я про такое никогда не слышала.

– Про лагерь, про пленных, про депортированных. Всё больше про урожай и мартеновские печи. Может, нет никакого урожая и печей нет. Как думаешь? Я их не видал, а войну, плен, лагерь, Англию, а уж потом снова лагерь, но на этот раз свой, помню очень хорошо, и мне насрать, слышала ты об этом или нет. Сама говорила, что у тебя отец сгинул.

– Прости. – Вера поежилась от холода. – И... Как ты собираешься туда вернуться?

– Ну а ты какой лошадей отправил в Америку? – весело спросил он.

– Я обязательно туда попаду. Как ты сказал? Хоть перед смертью? Вот выйду замуж за дипломата и попаду. Не веришь?

– Верю, отчего же. Ты баба видная.

– Ну, а ты?

– А я сбегу.

– Чего? Тра-та-та. Граница на замке.

– А мы в щелочку.

Фантастический разговор с Алексеем разбередил ту романтическую часть души, которая имеется у всякой девушки. У Веры эта часть была, пожалуй, не так уж и велика, зато приправленная капелькой авантюризма: так, самую малость, не во вред себе. Еще лет в пятнадцать казалось ей, что не могла она родиться просто так, ни для чего, и жить той унылой жизнью, составленной из одной повседневности, которой жили все вокруг – благоразумные и не ищущие чуда. Она не сомневалась, что ей назначена *судьба*. В поисках этой судьбы оказалась в кругу художников. Сама Вера ни лепить, ни рисовать не умела, зато ей нравилось, когда лепили и рисовали ее. Круг этот оказался неугомонным путешествием белки внутри колеса, и теперешнее состояние Веры происходило от свалившегося на нее чувства, что бессмысленное перебирание лапками есть не что иное, как вечность, в которой она увязла: спит с кем попало и мерзнет на подиуме. Среди запаха скипидара и красок влюбилась, кажется, в пришлого мальчишку, взявшегося ниоткуда, со стороны. Не ясно было, влюбилась или просто так. Сбегала с ним на диван Марьи Николаевны, дразня старика-мэтра. Брат Аркаша звал немолодого художника – которого, впрочем, не встречал до неудавшегося смертоубийства – козлоногим, подозревая, что Верка спит со стариком. И правильно подозревал, потому что Вера его-то как раз любила за то, что он здорово рисовал для себя. Наброски с ее участием углем и сангиной, свернутые в трубку, Вера засунула за шкаф, не решаясь предъявить маме.

Вечность, длиною в собственную жизнь, так испугала Веру, что она бросила работу. После того, как стояла полуголая и трясущаяся на чужой лестничной площадке, дико казалось вновь раздетой войти в класс – хотя всякому ясно, что это совсем другое. А вот мерить шагами бульвары в компании потрепанного жизнью неудачника, такого же никчемного, как и она сама, – да что там, никчемнее, – было утешительно. Ему уже черт-те сколько лет, не Аполлон, а всё голый стоит то задом, то передом, и никакой художник с деньгами на нем никогда не женится. Самая подходящая компания.

Подлая суть Борьки открылась ей еще тогда, на лестнице, донесенная простыми Таниными словами, и только потом, дома, после

всего, Вера рассердилась на себя: не могла понять, отчего поддалась его очарованию. Конечно, красавчик. Но это и всё. Надо было раньше взяться за мэтра. Гуляя с Ланцелотом, часто размышляла, есть ли шанс выйти замуж за художника. У того, разумеется, была жена, но это Веру не смущало. И вдруг этот самый Ланцелот недоделанный оказался человеком не просто так, и Веру этим поразил.

Вернувшись домой, Вера побежала в ванную и там долго умывала лицо холодной водой – она вся горела. Марья Николаевна, разливая чай, заметила, что Вера на себя не похожа – похорошела, как в прежние времена.

Она часто пила чай в комнате у Марьи Николаевны, по уверению хозяйки, бывшей детской. Почему Марья Николаевна решила, что комната ее прежде была детской, совершенно не известно, ибо жители квартиры, многочисленные и разношерстные, не имели никакого понятия о прошлом своей коммуналки – все до одного вселились в разное время, но после революции, так что соображение Марьи Николаевны было на ее же совести и так же фантастично, как и прочие ее рассказы, которые Вера слушала с большим интересом, впрочем, считая их плодом фантазии хозяйки. Марье Николаевне верить не следовало, потому что она была выдумщица. Рассказы ее пестрели описанием каких-то несметных бриллиантов, некогда ей принадлежавших, мехов собольих, роскошных туалетов и прочего такого же. Признаков прежнего богатства в комнате Марьи Николаевны не было. Спала хозяйка на довоенном продавленном диване, и из стоящих вещей были только ломберный стол и пианино – хороший немецкий инструмент. Одним словом, бедность. Вообще, жила Марья Николаевна по-спартански. Тюлевые занавески пожелтевшие, цветов на подоконнике нет, а их так любят одинокие женщины. Зато имеется барственная Шарлотта, пушистая и ленивая, такая же серая, как и старая обивка дивана, на валике которого кошка обычно лежала и, если не дремала, внимательно слушала разговоры за столом. Марья Николаевна, не обращавшая внимание на пыль и неметеный пол, ежедневно вычесывала кошку специальной щеткой. Вера потому была хорошо знакома с диваном соседки, что не только сживала на нем, как, впрочем, и другие гости, но, как известно, предавалась любви (по выражению хозяйки) с Борисом. Бугры и пружины этого громоздкого сооружения с высоченной спинкой слишком хорошо были ей известны, и поэтому она не раз спрашивала Марью Николаевну, отчего та его не выкинет. Марья Николаевна пожимала плечами и говорила, что привыкла.

– Если я его выкину, другой нужно покупать.хлопотно. Нет, подожду. – Впрочем, ей было известно, что ждать можно долго – до самой смерти.

Чай, сушки, варенье – в комнате Марьи Николаевны уютно под яркой люстрой, старой, да не старинной, с дурацкой стеклянной серединой из каких-то трубочек. Марья Николаевна рассказывает про свою ученицу, которой давала сегодня урок, и та пела так, что, по

выражению Марьи Николаевны, у нее теперь голова изнутри чешется. Марья Николаевна кривила крашенный рот и подробно объясняла, чем пенье было нехорошо. Вера, как только Марья Николаевна взяла паузу, чтобы найти подходящее определение, сказала, к делу не относящееся:

– А у вас правда были меха и бриллианты?

Марья Николаевна замолчала на полуслове.

– Правда.

– А я вам не верила.

– Так никто не верит, глядя на то, как я живу. Это так обыкновенно.

– Вам не обидно? Тогда зачем вы мне это рассказывали?

– Не знаю. Наверное, чтобы самой не забыть. Так, знаешь ли, оглянешься вокруг, и думаешь, неужели это всё со мной было? Вот рассказывала тебе и убеждалась – да, было. А что ты не верила – неважно.

– Ужас. Простите, Марья Николаевна. Расскажите что-нибудь еще раз. Я вам теперь верю.

– Отчего же, Верочка?

– Ну, так.

– Понимаю. Но что же рассказать? Я на заказ не могу. Право, теряюсь.

– Ну-у... про самое страшное. Ведь у вас было самое страшное в жизни?

Марья Николаевна рассмеялась и всплеснула руками.

– Озадачила! Не знаю, из чего выбирать.

– А у вас муж был? Вы никогда не говорили.

– Был так давно, что вроде как и не был.

– Можно про него.

– Про него нельзя.

– Тогда... тогда про кольцо на пальце. Вы всегда его носите.

– А у меня другого нет.

– Так про кольцо можно?

Марья Николаевна покрутила простое колечко.

– Это отвратительная история. И, да, самая страшная. – Помолчала. – Одна из. Но короткая. В восемнадцатом году я сидела в ЧК. Дело было в Сибири у черта на куличках. Зима, и мы сидим в подвале битком, а от людей такой влажный пар, что стены мокрые. Я в углу на ледяном полу, правда, подстелив под себя шубу. Те самые соболя, в которые ты не верила. Сидим, ждем расстрела. Рядом со мной женщина какая-то совершенно затравленного вида. Впрочем, вероятно, она то же думала про меня. Время от времени дверь открывается, и выводят новую партию на расстрел. А у нас всё вперемешку: и мужчины, и женщины, и мужики, и бабы, и старые, и молодые, и офицеры, и гимназисты. Одним словом, сорок бочек арестантов. Ну вот. Ждем расстрела. Люди, и это удивительно, и перед смертью разговаривают, хотя следовало бы молчать. Люди разговаривают, а сосед-

ка молчит. Потом, для чего-то пощупав мою шубу, словно собираясь прицениться, говорит с акцентом: «Вы кто?» От плохого моего настроения вопрос раздражил меня, и я грубо спросила: «А вы?» Она, взволнованно и от этого совсем неразборчиво, зашептала что-то в ответ. Я ничего не могла разобрать. В общем, выяснилось, что она англичанка и обращается ко мне со странной просьбой. Показав это самое кольцо, попросила меня, если ее выведут первой, забрать его себе, а когда меня поведут, отдать кому-нибудь, для чего она и сняла кольцо с пальца. Просьба странная и в тех обстоятельствах неуместная. Я спросила, к чему всё это – смысла-то никакого. А она просто попросила сделать. Мы и дальше сидели молча, а потом ее увели первой вместе с другими, она сунула мне кольцо, а я осталась ждать своей очереди. В результате, как видишь, меня не расстреляли, но это другая история, и не уверена, что захочу тебе рассказать, а кольцо несчастной англичанки осталось со мной.

Вера уставилась на Марью Николаевну, вновь подумав, что все ее рассказы – вранье, а этот в особенности: в истории не было смысла. Похлопав глазами и сообразив, что, пожалуй, Марье Николаевне снова покажется, что ей не верят, спросила:

– А почему – англичанка? В Сибири – как-то странно.

– Англичанка – потому что англичанка. – Вздохнув, ответила Марья Николаевна: – Откуда мне знать, почему англичанка и что она там делала? Я имею в виду подвал расстрельный и вообще Сибирь. У нас там и кавалергард сидел. Ты еще спроси, почему кавалергард.

– Марья Николаевна, не сердитесь, пожалуйста! Просто... просто не верится. Странно.

– Я не понимаю, – с раздражением сказала Марья Николаевна, – Что странного в чрезвычайных обстоятельствах. В чрезвычайных обстоятельствах странно всё и, я бы сказала, неправильно. Подожди, Вера, – остановила она ту движением руки, – Мне странно, что тебе странно, что англичанка, а не то, что нас расстреливали, а все-таки так и не довели дело до конца. Вот что странно.

В голове у Веры вертелись избитые фразы из школьного учебника, задолбленные даже ею, троечницей, отчего-то вспомнился фильм «Ленин в октябре», но она сдержалась и не стала вываливать всё это на Марью Николаевну, а только сказала:

– Но... – и тут же замолчала. – Но... – взялась она вновь, – вы так и носите кольцо в память о расстрелянной? – спросила она с надеждой, пытаясь вывести Марью Николаевну на дорогу понятную и утешительную.

– Да нет. Просто ношу, потому что должно же у женщины быть кольцо. Как ты считаешь?

– Не обязательно.

Марья Николаевна кивнула.

– Кстати, забыла сказать, что внутри там гравировка, которую я, естественно, обнаружила много позже.

Она сняла кольцо и протянула Вере. Внутри действительно мелко-мелко, изящно-изящно было что-то выгравировано, но разобрав Вера не могла – Марья Николаевна в нем и готовила, и посуду мыла, и от того кольцо было нечисто.

– Почистить надо. Там написано по-английски: «Маргарет МакБин умерла 17 июля 1818 года».

– А кто такая Маргарет МакБин?

– Да кто ж это знает? Англичанка, видимо, знала, но это не наверняка. Маргарет-то умерла за сто лет до того, как англичанку расстреляли. Меня утешает не то, что история с кольцом... м-м-м... трогательная, а что эта Маргарет умерла, когда Пушкин писал «Руслана и Людмилу». Чувствуешь связь?

И Вера почувствовала, и сама этому удивилась. Она сказала:

– Англичанка была, и вы ее видели. То есть, я хочу сказать, что вы представляете себе, как она выглядела.

– Ну, примерно. Там же темно было.

– Пусть так. Но имени ее вы не знаете. А вот как выглядела Маргарет МакБин, вам неизвестно, зато вы знаете ее имя и дату смерти. Это... это фантастично. Обе они были, и вам почему-то это важно. Ведь так?

– Не знаю, Вера. Возможно так. Однако кое-что нам о ней известно, а именно то, что она была блондинкой. Если приглядишься, увидишь прядь волос под стеклышком. Заплетена очень хитроумно.

Черда англичанок проникла к Вере под веки, как только она оказалась в постели и выключила настольную лампу. Там были все четверо: и Ланселотовы старушки-сестры из Северной Англии, и та, из расстрельного подвала и, разумеется, покойная Маргарет МакБин с роскошными золотыми волосами. Все они обрели смутные черты, но и растворились быстро, потому что Любовь Александровна заворачивалась на соседней кровати, и Вера подумала, что мама обожает Диккенса, и теперь ей просто необходимо его прочитать.

В постели с бывшей представительницей органов правопорядка, длинноногой до ужаса, Борис неожиданно обрел прежде неведомую ему уверенность в себе. Сбегав за кое-каким бедным своим бельишком на Сретенку и сообщив, что в ближайшие дни станет ночевать у товарища, вернулся к Ольге и с небольшими перерывами на нужды повседневные провел в ее постели почти неделю – до самого возвращения Бориса Михайловича. На Сретенку вернулся, мурлыча под нос какую-то легкомысленную мелодию. Ольга Адамовна поразилась перемене: рот его теперь всё время был растянут в какую-то бессмысленную улыбку, совершенно ни к чему не относящуюся, а глаза превратились в глазки-щелочки, бегающие и блудливые. Одним словом, между ним и сретенскими выросла стена и, хотя ничего не произошло, Ольга Адамовна и бабушка расстроились.

О страсти своей Борис, разумеется, ничего рассказывать не стал, зато был спрошен и допрошен пристрастно о злополучной ночи Катиного бесчинства. Не смутился Борис и не расстроился, а отмахнулся, сказав, что ушел еще до всего и что там после было, знать не знает. А с Верой они расстались: у той, мол, ветер в голове. Ветер в голове? Скажите пожалуйста! Анна Григорьевна, стараясь быть тактичной, голосом, слегка дребезжащим не столько от возраста, сколько от опасения сказать что-нибудь не то, начав издали, посоветовала Веру всё же навестить.

— Как-то неприлично получается, Боренька. Все приходили справляться, а ты нет.

Чтобы отвязаться и бабушку утешить, буркнул «забегу», но не забежал ни в ближайшие дни, ни вообще никогда. Следует заметить, что жизнь его осталась прежней. Он так же жил на Сретенке, по-прежнему ходил в институт, вот только любил он теперь не Веру, а Ольгу, и от этой перемены всё покатилося в другую сторону.

При живом муже нечего было и думать о ложе из карельской березы, находившемся, естественно, в юрисдикции Бориса Михайловича. Но на то Ольга и была Ольгой: не мешкая сняла комнату, где дважды в неделю строго по часам встречались любовники. Борис попытался пикнуть, но с Ольгой Николаевной такие номера не проходили: после смерти первого мужа в ее жизни всё должно было быть по ее правилам. Правила же Ольги Николаевны заключались в том, чтобы обеспечить удобную, а значит, счастливую жизнь всем, в ком она нуждалась — дочери, мужу, Борису и, разумеется, себе. Вот интересно, знал ли Борис Михайлович, человек умнейший, об адюльтере его Оленьки? Неизвестно. Может, и знал. Но Ольга была так благодарна и деликатна, что самолюбие Бориса Михайловича не было задето ни в какой мере. Так и взялись жить троим. А что, очень удобно.

Ольга, по мудрости своей, хорошо знала, что ложь — дело последнее. А потому старалась не врать в малом, если врала — в большом. Посему честно рассказала Борису Михайловичу, как встретила Бориса промозглым вечером после расставания с девушкой, как напоила беднягу чаем и, что делать, мальчишка от бесприютности стал забегать. Не прогонять же! Борис Михайлович сначала выказал некоторый скептицизм ввиду очевидного несоответствия возраста, не то что своего, но и Оленьки, с вдруг возникшим в их жизни молодым человеком, но вскоре убедился, что Борис заходил нечасто и только в его присутствии, да и Оленька всегда была дома и под рукой: не имела обыкновения исчезать и, если говорила, что на работе или в библиотеке, то так оно и было. Сама же Ольга отлично управлялась со временем — в голове ее всё было четко. Одним словом, всё сложилось — лучше не надо. Однако Ольга не жила лишь днем сегодняшним. Имела обыкновение смотреть далеко вперед и по прошествии

некоторого времени, убедившись, что Борис – это то, что ей нужно, задумалась и о его судьбе. В этом смысле учеба на филфаке педагогического была глупостью. Убедить Бориса, что пединститут нужно бросить, перестав тратить время попусту, оказалось несложно. Она разложила ему очень доходчиво, что профессия учителя денег не принесет, а учиться следует на юриста – вот где возможности. Похлопотав, сама и через мужа, устроила секретарем в суд, а позднее определила в заочный юридический.

На Сретенке долго переживали шок, вызванный известием, что Боря ушел из института. Одна Лидия Петровна в новом своем качестве проявила поразительное легкомыслие, заявив Анне Григорьевне, что, по ее мнению, Боря взрослый и сам должен решать, как ему жить. Съехав из-под обеденного стола, она еще больше отдалилась от матери и вообще имела вид человека если не счастливого, то не такого лживого и мрачного, какой она была прежде. И эта перемена огорчила Анну Григорьевну. Хотя и тяжела была дочь, а всё же забота и тревога о ней вносили смысл в жизнь Анны Григорьевны. Теперь же выходило, что они с Ольгой Адамовной остались вдвоем.

– Олюшка, Лида стала такой... воздушной.

– Что вы имеете в виду? Лидия Петровна – не Сильфида.

– Не знаю. Как перо. Никакой основательности.

– О чем вы? Читаете ее легкомысленно? Вряд ли. По-моему, Лидия Петровна довольна. Вам следует радоваться.

Анна Григорьевна уныло кивнула.

Когда растаял снег, близнецы уехали в поле. Таня осталась одна. Всё время после смерти матери жила она в угаре случившейся с ней любви, и мысли о Кате оказались отодвинуты далеко-далеко. Была Катя да сплыла, а вот с Колей виделись почти каждый день и два раза целовались. От первого Колиного поцелуя у Тани закружилась голова не в романтическом, а в прямом смысле. Прежде думала, что выражение «голова закружилась от любви» имеет смысл метафорический. Вовсе нет – голова закружилась по-настоящему. Это было так сладко, так необыкновенно, что, вздумай Коля пойти дальше и даже до самого конца, Таня (она подумала об этом с ужасом) не стала бы сопротивляться. Но Коля остановился на двух поцелуях и дальше не двинулся. Наперсница Петухова говорила, что это признак большого чувства, а всё остальное будет после свадьбы, что предложения следует ждать в любую минуту и что Тане несказанно повезло. Однако Коля, не знакомый с точкой зрения Петуховой, предложение не только не сделал, но преспокойно уехал в поле, на прощание поцеловав Таню в лоб. Последнее обстоятельство насторожило всеведущую Петухову, заявившую, что это странно – Коля ей не отец, и Таня – не покойница, чтоб к ней прикладываться. Таня, неизвестно отчего ценившая суждения Петуховой, весь первый месяц жила как в лихорадке: ей то

казалось, что Коля ее не любит и всё пропало, им вместе не бывать, то думала, что неуместный поцелуй в лоб ничего не значит, и Коля любит ее так же, как и она его.

В поезде, а ехали они долго, и позднее, сидя по вечерам у костра, Коля вспоминал малышку-Таню. Пухленькие ее ручки, очень белые, какие бывают только у самых светлых блондинок, глазки голубенькие, как на открытке, сочные губы и поцелуй, которые ему очень понравились. Однако было в Тане что-то, что Колю пугало. И это «что-то» было то, что в городе Коле нравилось: ее уязвимость, беспомощная детскость, за которую, вздумай он влюбиться, придется взять ответственность. Одним словом, Коля решил отложить нежность к Тане до возвращения домой, а там видно будет. Но всё равно вспоминал. А брат, мешая варившуюся кашу, вдруг вспомнив голую Веру, завернутую в плед, сказал, что Танька – рохля. Коля расстроился от того, что брат-близнец видит другими, не его, глазами, но ничего не ответил.

В деревне они встретили девушек-этнографов: сильных, веселых и строгих, с рюкзаками за плечами. Девчонки в резиновых сапогах и куртках, и одна совсем особенная – с большим ртом и отличными зубами. Нос, облупленный от солнца и ветра, и умеет всё – и палатку поставить, и костер развести. Потом девчонки уехали на попутке, а они сплавлялись по реке, и оказалось, что Коля думает теперь об этой, с облупившимся носом. Жаль, что адрес не взял, а то можно было написать письмо, хоть она и из Новосибирска. После этой встречи без всякой причины про Таню думать стало неприятно. Может, и правда – рохля? В лесу до горизонта и на суровой реке чувство к Тане показалось ничтожным и даже неловким. В начале пути собирался написать письмо с описанием природы, но всё откладывал. Теперь радовался, что так и не собрался. Прошло еще немного времени, и он перестал думать о Тане; вышло это само собой.

В Таниной жизни месяц прошел как год, и это был тяжелый месяц. Ее всё кидало от отчаяния к надежде, и когда месяц прошел и покатил второй, Таня вовсе расклеилась – от Коли ни строчки. Он не обещал писать, но ей казалось, что это само собой разумеется, и подходя к почтовому ящику, каждый раз надеялась, что в дырочках увидит беленькое. Но нет – одни газеты. Времени прошло уйма: кому-то не хватает, а Таня могла бы раздавать его ведрами. Близнецы вернулись, но Таня об этом узнала, только столкнувшись с Колей в поезде. Коля улыбнулся и спросил, как дела, а потом просто вышел, и она видела через стекло, пошел беззаботно, не оглянувшись. Таня почувствовала, что умерла. Но, видимо, не вполне, потому что кроме смерти ощутила стыд: в своей будке-мавзолее сидела злополучная Ирина Ивановна, и Тане показалось, что она видит, как сверкают злорадством глаза лифтерши. Но это ей так показалось. Ирина Ивановна,

разумеется, видела, как жильцы перекинулись парой фраз, разумеется, поняла, что намечавшийся роман приказал долго жить, и, отметив это, равнодушно вернулась к лежавшей перед ней книге, легко нашла место, на котором остановилась, потревоженная молодыми людьми, и погрузилась в чтение, а Таня села в лифт, в эту тесную коробку, которая, как известно, пока не довезет, не выпустит.

Вообще-то, мавзолеем была не будочка лифтерши – средоточие новостей, а Танина квартира. Не слышно маминого шарканья – пыль, пустота, мебель допотопная да классики марксизма-ленинизма. И даже Лидии Петровны нет – съехала. Поначалу Таня не убиралась от душевного волнения – из рук всё валилось, потом – из-за разбитого сердца. В конце концов совершенно не важно, отчего в доме беспорядок, а важно то, что всякий скажет, что в грязи жить нельзя. Это было именно то, что твердила Петухова, считавшая своим долгом не оставлять подругу во время великих событий.

А однажды пришел Борис. Таня не видела его с маминых похорон. Лидия Петровна заезжала за вещами, а Борис – нет, не заходил. Он стоял в дверях такой же симпатичный, такой же приветливый, словно не он тогда в подъезде больно держал Танину руку, требуя пустить ночевать с Верой. Он вообще тот вечер не вспоминал. Прошел на кухню, попросил чаю, сел как у себя дома, – как сидел прежде, при маме и тетке, и было ему так удобно и легко, что Таня совестилась задать нужные вопросы: как он смел к ней явиться, когда мама умерла, если и не из-за него, то из-за его злой наглости, и отчего сидит нога на ногу, прощения не просит. Глаза у Бориса были веселые, наглые, добрые. У такого такая, как она, спросить ничего не могла и вела себя, наперекор своим чувствам, легко, как и он. Если бы Таню спросили, о чем говорили, она, наверное, взялась бы соображать, но так и не смогла бы выудить из памяти предмет беседы. Между тем скучно не было. Он стал заходить довольно часто. Смешно рассказывал про преобразование Лидии Петровны в дворники, про соседей ее: хорошенькую директрису и ее мужа-инвалида, настоящего Беликова, только без синих очков, зато в теплом халате и тапочках на меху – это по такой-то погоде; про работу в суде и какие занятные истории там случаются.

Борис приходил не просто так – Ольга велела. Поразмыслив о его судьбе, решила, что нужна ему не только стоящая профессия, но и достойное жилье: нужно женить на Тане, про которую с беззаботным смехом рассказывал Борис. Вот такая жена ему нужна – чтобы не помеха. Рассказала Борису. Тот опешил и отказался. Ольга поджала губы:

– Но я же живу с Борисом Михайловичем. Чем ты лучше?

Борис, не смотревший прежде на вещи с этой стороны, не нашелся с ответом, потому что ощутил ее правоту. Действительно, он ничем не лучше. Жизнь несправедлива. Он всегда это знал и часто с горечью об этом думал. За любовь Ольги приходилось платить им обоим, и это

было честно. Он сказал Ольге, что Таня – родственница, но та только махнула рукой – седьмая вода на киселе.

И вот уже Борис в знакомом подъезде болтает с Ириной Ивановной. Ирина Ивановна удивляется, смеется. Лидия Петровна – и в дворники! Кто бы мог подумать! Уж во всяком случае, не Ирина Ивановна.

Возвращение Бориса скрасило Танину жизнь, но ненадолго. То воздушно и, одновременно, тяжелое чувство, которое испытывала она к Коле, никуда не делось, но осложнилось обидой и унижением. Между тем, предъявить ему было нечего, и от этого Таня ощущала бессилие и злобу. Она то вспоминала счастливое время, когда они были вместе, то стискивала руки так, что ногти впивались в ладони, – это тогда, когда приходили мысли о подлом его предательстве. Петухова, выслушав рассказ про ужасную встречу в подъезде, вдруг ни с того ни с сего как-то покривилась (ей захотелось хихикнуть, но она сдержалась) и сказала Тане, что, мол, мистера Пиквика судили за нарушение обещания жениться. Мистера Пиквика! Даже Петухова была бездушна и настоящего сочувствия не выказала.

Ночью, лежа щекой на горячей, как утюг, подушке и не в силах уснуть от этого жара, Таня подумала, как было бы хорошо отомстить Коле: например, отравив негодяя. Впервые подумала о нем как о негодяе, и сама удивилась. Досадно, но отравить его у Тани не было никакой возможности, и пистолета тоже не было. Вот у покойного папы был пистолет, но после его смерти пришлось сдать. Вспомнив про отцовский пистолет, подумалось остро, что она теперь круглая сирота, а прежде хотя бы мама любила, правда, на свой сумасшедший лад. Нет, ни за что она не хотела бы возвращения тех дней, когда мама висела на ней тяжким грузом. Все-таки сейчас гораздо лучше – сама себе хозяйка, а Колю – к черту. С тем и уснула.

Во сне увидела, будто кто-то, а кто – не разберешь, всё зовет ее по имени. Таня-Таня, Таня-Таня. Настойчиво и заунывно. Проснувшись, подумала – и это была первая мысль в этот день, – что сон такой неспроста: имя противное, и надо его срочно поменять. Это дикое соображение, что нужно поменять имя – и жизнь изменится, не оставляло ее весь день. Напротив – крепло. Никому рассказывать не стала, даже и Петуховой, помня про гадкого мистера Пиквика, а отправилась в милицию, пока не прошла решимость, и подала заявления о смене имени. Она выбрала другое – Роза. Новое имя просто стукнуло ей в голову. Ни с того ни с сего. Почему Роза, какая Роза? Просто Роза. Началась волокита с обменом документов. Удивлялись везде: и в милиции, и на работе, и в институте.

И, вот, исходив многие кабинеты, пропала Таня, а на ее месте возникла Роза. Впрочем, в том же обличье.

– В чем смысл? – спросила Петухова, твердо ставя чашку с недопитым чаем.

Смысла не было. Некоторые люди полагают, что причины неудач, преследующих их, если и не всю жизнь, то долгое время, кроются, допустим, во внешности или, как в случае с Таней, – в имени. Они ошибаются. Есть ни в чем не повинные, которые не нравятся никому без всяких на то причин. Скучная физиономия, или, напротив, глазки хитренькие, будто субъект что-то замышляет. А он не замышляет ничего и вообще простофиля, как, в частности, думали многие про Таню-Розу. Сменив имя, Таня-Роза осталась в том же положении, что и прежде. Однако не совсем. Люди-то смеялись, и те, кто прежде вовсе ее не замечал, очень даже заметили, но заметили в смысле совсем не положительном: попросту крутили пальцем у виска. Это досадное обстоятельство повлияло на ставшую Розой в том смысле, что она, по примеру Бориса, ушла из института, который давно еще, с появлением Лидии Петровны, ей опостылил. И вот тоже: по какой причине – неизвестно. Прежде было чувство, что учиться нужно, а теперь поняла, что не обязательно. Были бы живы папа и мама, они бы не одобрили. Но в том-то и фокус, что их уже не было на этой земле – один пролетарский прах в жестяных урнах, прикопанный неглубоко. Но и кормить Розу было некому.

Прежде, будучи Таней, она работала в мелкой конторе, занимаясь чем-то неясным. Сидела в закутке и принимала какие-то пакеты, раскладывая их по ячейкам. Приходили люди, забирали пакеты. Кажется, контора была связана с патентным бюро или как оно там называлось. Деньги мизерные. Уволилась, искала работу и нашла с помощью старого отцовского товарища – он пристроил Розу – впрочем, не одобряя ее поступки, – на часовой завод, к которому имел отношение по партийной линии. Про то, как делают часы, Роза ничего не знала: пошла оттого, что платили больше. На часовом заводе ей понравилось сразу. Понравилось всё: светлая чистота, белые халаты, сама работа – монотонная и кропотливая. У Розы оказались тонкие и чувствительные пальцы. Она быстро научилась, и вдруг оказалось, что ее руки – это талант, как тело балерины или голос певицы. Без раздражения, с удовольствием Роза каждый день собирала время по кусочкам, винтик к винтику, шестереночку к шестереночке, а в квартире-склепе, запущенной и мрачной, обитала Таня – такая же потерянная, как и прежде. Видно, сон был в руку, и имя сменила она не зря.

Любовь Александровна видела, как переменялась Вера. Прежде легкомысленная и стремительная, Вера постоянно хлопала дверями, и одна соседка даже делала по этому поводу замечания. Теперь – не то. Вера войдет и аккуратно притворит дверь, и сидит тихо. Матери было неясно, к добру это или к худу. Любовь Александровна, в зрелые годы потерявшая уверенность в себе, очень нуждалась в поддержке и разъяснении близких, для чего и побеседовала о новом положении дочери со всеми по очереди. Результат Любовь Александровну еще больше запутал. Вышло какое-то, прости господи, лоскутное одеяло. Сын сказал:

– Мамуля, радуйся. Это Верке только на пользу: возьмется за ум, вот увидишь.

Соня объяснила, что психическая травма, то есть испуг, оставил глубокий след, и хотя физически Вера не пострадала, требуется время для восстановления душевных сил. Впрочем, она не видела причин для тревоги. Ольга Адамовна, со свойственной ей прямоотой, сказала:

– С работы уволилась? Дома сидит? Плохо. Ты ее тормоши. Эти фокусы не в Верочкином характере.

Надежда Михайловна, потерявшая на войне сына, произнесла печально:

– Люба, береги девочку. Ты говори с ней больше, пока есть возможность.

Это замечание Надежды Михайловны про «возможность» Любовь Александровну напугало: ей в голову пришло, не вздумает ли Вера совершить самоубийство. В этом смысле никаких пугающих признаков не было, но раз свернув в своих размышлениях в эту сторону, Любовь Александровна избавиться от мысли о возможном самоубийстве дочери уже не могла. По ночам ворочалась с боку на бок, воображая всякие ужасы, и результатом ее ночных мыслей стало то, что она взялась за Верой следить, впрочем, не напрямую. Понаблюдав, вынуждена была признать, что та ничего не замышляет, а просто грустит. Единственное, что ставило Любовь Александровну в тупик, это регулярные прогулки с этим странным Алексеем. Вера встречалась с ним на бульваре, но изредка он заходил за ней и ждал в коридоре, от чего Любове Александровне никогда не удавалось его хорошенько разглядеть: лампочки были тусклые. Из-за скудного освещения Алексей казался Любове Александровне серым с ног до головы. Ходил в обтрепанной шляпе и не снимал ее даже в помещении. Несколько раз был одет в телогрейку, что выглядело уж совсем странно. Однако то, что он намного старше Веры, Любовь Александровна рассмотрела превосходно, и это ей совсем не понравилось. Следовало бы спросить, отчего ее так встревожила разница в возрасте между Алексеем и Верой, если сама Любовь Александровна не раз поила чаем мэтра, который, следует сказать правду, годился Вере в отцы. Мэтра Любовь Александровна считала человеком превосходным, то есть надежным, – таким, кому можно безоглядно доверить девочку. Доказательством тому было то, что из поездки в Сибирь и на Алтай Вера вернулась в полном здравии, а от Алексея не известно, что было ожидать. Любовь Александровна волновалась. Она разрывалась между надзором за дочерью и необходимостью ездить на дачу.

Огород и цветник требовали неусыпного внимания. Зимой, конечно, в трудах Любове Александровны наступало затишье, но во всё остальное время, если это было не лето, Любовь Александровна постоянно курсировала между дачей и городом. Любовь Александровна, разумеется, выбрала дочь, но как-то странно. Выразился выбор в том, что, продолжая, как и прежде, два-три раза в неделю ездить на

дачу, Любовь Александровна постоянно себя кляла, мусолила в уме все собранные за предыдущие дни наблюдения и давала себе слово впредь больше времени проводить в городе. Дав слово, каждый раз его нарушала.

Дело в том, что как только Любовь Александровна сходила с электрички, уши закладывала тишина, особенно ощутимая после того, как с лязгом и скрежетом состав уносился прочь. В нос проникали запахи прелой листвы, сырого воздуха, костров, которые жгли по осени или, напротив, талого весеннего снега и жирной от влаги земли весной. Все эти запахи, знакомые с детства, тревожили сердце. То же и на своем участке: тишина, сырость, строгие сосны, одетые погребальной хвоей, изредка, не тревожа, слышен далекий самолет как намек существующего где-то, но не относящегося к ней мира. Мертвый сезон. Ни соседей, ни радио, вообще ничего, а в московской квартире всегда дышали в затылок.

Став по недоразумению обладательницей дома и участка, Любовь Александровна поначалу отчаянно трусила. Время шло. Через несколько лет она с удивлением призналась себе, что действительно владеет дачей, и выдохнула. Некоторые муки совести всё же посещали ее, когда она вспоминала о семье своего злополучного любовника. Утешало два соображения: во-первых, что она ничего не знала об этих людях и поэтому связаться с ними не могла, а во-вторых, – в глубине души считала, что ей полагается компенсация за страх и стыд, что сопутствовали неприглядной связи. Вселившись, Любовь Александровна долго ничего не трогала, ходила бочком. После смерти любовника осмелела, взялась разбирать вещи. Всё ценное, если оно когда-нибудь водилось, волшебным образом исчезло еще до нее. Пересмотрев чужие тряпки, снесла на помойку. Когда дошли руки – взялась за чердак, где в старых сундуках и допотопных чемоданах хранилась уж совсем рухлядь. Там обнаружили старые книги по правоведению, из чего она заключила, что кто-то в доме был юристом. В шляпной коробке нашлись письма, начинавшиеся словами «Дорогая Люлька!» Любовь Александровна их деликатно пробежала глазами. Впрочем, узнала мало. Автор трогательно и многословно писал о любви к этой самой Люльке, и Любови Александровне не удалось узнать ничего существенного про прежнюю владелицу, а что ту звали Людмила Афанасьевна, хорошо было известно из документов. Письма бросила в печку, а дальше зажила, и призрак Люльки не скребся темными осенними вечерами в окна Любови Александровны, как можно было бы ожидать.

Не только огород и цветы нужны были Любови Александровне. Вечерами одна сидела возле той самой печки, в которой сожгла любовные письма к Люльке, как свои. Смотрела на огонь – молчаливый, но потрескивающий, очень опасный и изменчивый, смертельным жаром ложившийся на лицо и руки. Забота о Вере с ее пустяшной драмой мешала Любови Александровне смотреть в огонь, размаши-

сто шагать от электрички к дому, переодеться в старую кацавейку и резиновые сапоги, орудовать лопатой и тяпкой, а по субботам играть в винт.

Вера, в блужданиях по бульварам, по кривоколенным переулкам, незаметно для себя, как-то само собой вышло, вступила с Ланцелотом в игру: они планировали побег. Кто-то, а кто – неизвестно, первый сказал: «Ну и как же сделать ноги?» Тут же пошли предположения и планы – выходило очень весело. Раньше разговоры были всё больше грустные, а теперь азартные. Жить в мечтах оказалось захватывающе и тревожно: сердце Веры упоительно ёкало. То же и Ланцелот – они были как дети; взахлеб строили планы, и чувство было такое, словно мотались на гигантских качелях. Ветер свистел в ушах.

По вечерам Вера бралась за старый учебник географии и толстый Иришкин атлас, купленный братом в образовательных целях. Атлас был у девочки на первом месте. Она собирала марки, потому что так поступали многие в классе, но ей вдобавок пришлось в голову, что каждый раздел можно снабдить разрисованной картой, и она малевала страны, сверяясь с атласом. Вера взялась помогать, и так они рисовали по вечерам. Вера рисовала, а в голове крутилось кино, словно не плоский лист лежал перед глазами, а настоящий мир, – ну, почти настоящий.

То же и Ланцелот в комнате со старой теткой, пахнущей лекарствами в пузырьках и леденцами. Разрабатывал маршрут и жалел старуху, обреченную на одиночество, а она так радовалась его возвращению. Вроде как предавал ее, еще сидя в Москве. Да нет, уже предал. Впрочем, не видел другого выхода. Болтовня на бульваре оказала неожиданное действие: раньше хотел сбежать, а теперь решил – сбегу. И Вера тут ни при чем. Или при чем? Теперь не свернешь: смешно сказать, девчонки стыдно. Алексей, той частью себя, которая была Ланцелотом и детскими невидимыми нитями связывала его с Жюлем Верном и прочими подобными писателями, верил, что у него есть честь, как у капитана Блада, и пока она есть – он жив. Когда он был не Ланцелотом, а Алексеем, смешным словом «честь» – высоким и никому, очевидно, не нужным, – не пользовался, оно отдавало постариковски, в точности, как тетка – аптекой и монпансье. А тетка, бывало, и обронит невзначай: человек чести.

Однако по его выходило, что честь дороже даже тетки, хоть та, бедная, точно умрет после его побега. Думая так, жалел ее и тут же возвращался к разработке плана. Мысли о теткойной смерти, единственной, кто любил и ждал его, кололи, но и убеждали, что иначе нельзя. А на Веру плевать.

Думал-думал и решил, что уходить будут Черным морем. В Турцию. Веру прихватит для куража, а на той стороне разбегутся. В жизни Ланцелота не было *его* женщины. Одни старухи: мать, тетка и

те, в Англии. Иногда, глядя на старуху, думал об этом с иронией. Он сам по себе. Сразу предупредил Веру. Та не обиделась, напротив, обрадовалась, что она не барышня на буксире, а товарищ по побегу. Вера предлагала в Норвегию, через леса, бурелом, тундру – так ей мерещилась суровая северная местность. Он отверг. Думал, что вообще невозможно и, скорее всего, в конце смерть или тюрьма. Выбрал южный путь. Будто бы так будет легче. Но знал – легче не будет, а в конце все-таки – смерть или тюрьма. Представлял, глядя на седую теткину макушку под лампой, как будет тонуть, захлебываясь морской водой, как удушье станет распирать грудь, как, возможно, в последние мгновения пожалеет, что оставил жизнь здесь. Все-таки с теткой уютно. Тут же отбрасывал эту мысль. Что ж, будет жить, сколько отпущено. О Вере не думал и ее не жалел, не воображал тонущей, глотающей соленую воду, уходящей на дно. Нужна лодка резиновая. Канистра с водой. Консервы. Прогноз погоды. Шторма настоящего не пережить. Тут, пожалуй, полагаться следует на Господа. Так сказать, *уповать*. Едко усмехался от этой мысли, такой банальной. Тетка, когда он вернулся, обливая его плечо слезами, шептала, что он крещеный, что в тайне от отца крестили с покойной матерью почему-то на Воробьевых горах. Глупая старуха берегла тайну и, похоже, почти верила, что обряд спас ему жизнь... Составил список покупок, а заодно стал узнавать, нет ли каких знакомых, кто в погоде понимает. У знакомых знакомых оказался некто, живший на метеостанции в Крыму.

Про него рассказывали со смехом как про чудака, загнавшего себя на край света: будто бы хоть и Крым, а до всего далеко. Записал адрес и однажды, глянув на Веру строго, сказал, что план готов.

Вера, собиравшаяся что-то сказать, застыла. Ладони стали мокрыми, она непроизвольно вытерла их о пальто. Оказалось, вовсе не игра, не мечты, не атлас. Сейчас, стоя перед ним, Вера его ненавидела. Вляпалась. Не мыслью, но потными ладонями, которые сколько ни три – всё влажные, своим девчоночьим телом, хрупким и ненадежным, ощутила она это. Сказала, что едет. Он улыбнулся и небрежно добавил, что не ждал немедленного ответа. «Подумай, Вера.» Сказал задушевно и, глянув ему в глаза, Вера почувствовала, что доверять ему, а тем более полагаться, не следует. Однако вопреки тому, что называется внутренним голосом, который вопил изо всех сил и, если мог бы, дергал за рукав, вопреки ему, кивнула и твердо сказала, что она с Ланцелотом. Даже как-то неловко вышло: «Я с тобой до конца». Потом стыдно было за пафос. Но это уже дома, где она странным образом раздвоилась: одна ее часть делала и говорила то же, что и всегда, а другая, страдая от бухающего сердца, представляла себе, как она, Вера, то гуляет по Парижу, то сидит в тюрьме, то тонет, захлебываясь водой Черного моря. Больше мерещилось именно утопление, и она тревожилась не мыслями о смерти, а страхом страха и попытками проникнуть в собственные предсмертные мысли. Ну, это-то никому не дано узнать до срока.

...Взрослые люди чувствуют в школе свою неуместность, если, конечно, они не учителя. Очевидно, так могла бы чувствовать себя морковка, доведись ей вернуться на родную грядку. Логика подсказывает ей, что тут делать нечего: обратно не воткнешься. Собственно, неуютность взрослого в школьных стенах объясняется лишь тем, что здесь наглядно ощутим бег личного времени, а так – такое же учреждение, как и все прочие.

Водворившись в школьных стенах человеком, уже прожившим несколько разных жизней, так что и зваться следовало бы, пожалуй, по-разному, то есть менять каждый раз имя – как это недавно сделала Таня-Роза, и, заметим, с гораздо большим основанием, – Лидия Петровна не сразу ощутила чужеродность места. Поначалу было некогда: оформление, прописка, то да се, занавески на окно, наконец. А сенсационное ее заявление на Сретенке? Она просто любовалась их лицами, когда объявила, что устроилась дворником и теперь намерена жить в собственной комнате. Только взявшись за дворницкий инвентарь, доставшийся в наследство от нерадивого пропойцы, поработав некоторое время и обвыкнув, почувствовала она, что оказалась в давно оставленном мире несмышленных людей, мелюзги, да к тому же замкнутом, со своими законами и правилами, давно позабытыми. В некотором смысле, как в лагере, не к ночи будь помянут. Вместо начальника – куколка Зиночка с тонкой талией, на каблучках, со свежим перманентом. Весь педагогический состав напомнил ей сами знаете кого, аналогия образовалась моментально, и Лидия Петровна хмыкнула, метя двор. Ассоциации эти возникли сами, помимо воли Лидии Петровны, в тот момент, когда до нее донесся громкий голос завуча, распекавшего детей. Лидия Петровна подумала, что лая собак не хватает, а дети, точно, не лучше уголовников. Так невольно приблизилась она давно забытый школьный опыт, теперь словно с чужого плеча, к тому, с чем свылась, от чего хотела бы бежать, да выходило пока что криво. Циничное сравнение Лидия Петровна отбросила не от того, что оно было цинично, а от того, что шло ей во вред, бредило раны.

Попробовала представить себе картину иную, ту, что каждый назвал бы реальной. Такая картина складываться не стала, и Лидия Петровна, выкинув к лешему свои последние наблюдения, принялась думать о кусте жасмина, росшем у самых ворот и сильно попорченном грузовиком, доставившим недавно спортивный инвентарь. Жасмин жаль было до слез: покорежен и расцветет ли в срок, – неясно. Между тем, любя цветы вообще, как чудо, не поддающееся разумению, Лидия Петровна особенно отмечала жасмин и сирень за простоту и запах. В ворох сирени, бывало, зарывалась она лицом в безотчетном желании слиться с нежной влагой крохотных соцветий, а жасмин просто нюхала, прикрыв глаза, ловя ноту сердца. Шваркала метлой, поднимая пыль. В руках метла, а в голове – цветочные запахи, и так была погружена в размышления, что работала слаженно, и

Зинаида Ивановна, наблюдавшая из окна, порадовалась, что обрела такую старательную дворничиху.

Если бы кто-нибудь сказал Лидии Петровне, что мысли ее самого интимного свойства, она бы не согласилась, однако это так и было: об аромате жасмина размышляла она как о собственном сокровище, впрочем, не вполне понятном. Трудно было ухватить, а ей казалось сейчас это важным, что в жасмине такого, что так будоражит и нос, и память. Ответ не шел, и потому она особенно рьяно поднимала клубы дворовой пыли, в сердцах на саму себя. Утомившись так глубоко ковыряться в самой себе, а это всегда не здорово, перешла к мыслям попроще, но направленным в ту же сторону: Лидия Петровна спохватилась, что в своих размышлениях несправедливо обошла ландыши и ночные фиалки. Это упущение. С ними вовсе никакой цветок не сравнится: лед и пламень. В мире запахов, разумеется. Ландыш свежий, легкий, а ночная фиалка дурманит тяжелой сладостью, и цветы страшны восковой бледностью. Цветок, несомненно, гробовой запахом и обличьем. Лилии на похоронах выглядят эффектнее, но во всем прочем проигрывают ночным фиалкам. Летом она обязательно купит букетик у торгующих старушек, которые сами одной ногой в могиле. Впрочем, как и я, подумала Лидия Петровна.

– Как здоровьечко, уважаемая Лидия Петровна?

Лидия Петровна перестала мести и оглянулась. Разумеется, Николай Иванович. Возвращается с работы. Какое гадкое слово «здоровьечко»!

– Добрый вечер, – сдержанно ответила она.

– А вы всё в трудах. Уж и дети разошлись, а вы всё метете. Утром уходил – вы с метлой. Домой возвращаюсь – вы с метлой. Не бережете вы себя, Лидия Петровна.

На лице Николая Ивановича, между усами и бородкой клинышком, располагалась самая слащавая улыбка. Смотреть на Николая Ивановича было противно, но не Лидии Петровне, которая вот уже некоторое время разгадывала ребус: она не могла взять в толк, что ему от нее понадобилось. Николай Иванович с первого же знакомства показался ей человеком непростым, с секретиком. Был он насквозь фальшивым, как и сама Лидия Петровна, сразу увидевшая, что господин этот очень себе на уме.

Она улыбнулась ему в ответ улыбкой, говорившей, что она про вас, Николай Иванович, всё знает, можете зря не стараться, и добавила, что неметеный двор – это сущее безобразие. На этом, казалось, Николаю Ивановичу следовало бы откланяться и проследовать домой в их с Зиной уютную квартирку, а он всё топтался возле Лидии Петровны, мешая взять размах.

Лидия Петровна с таким непростым Николаем Ивановичем не торопилась идти на сближение даже и по-соседски, предпочитая наблюдать и вывести для себя, что он за гусь. Теперь, имея комнату и работу, чувствовала себя независимой и, в некотором смысле, свобод-

ной. Парила Лидия Петровна с тех пор, как отпала нужда прилаживаться. Мысль, что из нее, Зинаиды Ивановны и Николая Ивановича может выйти треугольник, вовсе не приходила ей в голову. С Николаем Ивановичем они, пожалуй, ровесники, а Зинаида Ивановна – та неприлично молода, и только не вполне нормальный, имея столь привлекательную жену, обратил бы внимание на Лидию Петровну. Лидии Петровне, тем не менее, пришло на ум, что он сейчас скажет что-нибудь про чудный тихий вечер и погоду, какая давно не стояла. Лидия Петровна даже вся подобралась в ожидании реплики. К ее изумлению, он, откашлявшись, сказал:

– А вечер-то сегодня какой! Теплынь, хоть домой не иди. Да, в такую погоду только и гулять.

Лидия Петровна прервала свое монотонное занятие, оперлась на метлу не без изящества и ответила:

– Верно. Грешно упускать. Зовите Зинаиду Ивановну, а я ворота запирать не буду.

Николай Иванович в ответ промолчал, приподнял шляпу и ретировался. Лидии Петровне стало смешно и приятно, так что она, вспомнив, что последнее время стала горбиться, выпрямилась и расправила плечи.

Все поведение мужа Зинаиды Ивановны было сплошным комплиментом, а в комплиментах Лидия Петровна знала толк. Кто как не она, в своей прошлой жизни, имела привычку собирать на своем поясе мужские сердца. Однако это было так давно, что у нынешней Лидии Петровны осталось только воспоминание о себе как о чужом человеке, с которым это когда-то было и который был так глуп, что всерьез переживал сердечные привязанности. Следующие трансформации стерли в Лидии Петровне всё, что могло даже косвенно иметь отношение к любви. Лоно ее высохло, и мужчины, все мужчины, стали для нее источником возможной угрозы. Увидев сына, она и в нем с горечью опознала зверя, и у него руки покрывал жесткий обезьяний волос и, если принюхаться, он тоже отвратительно пах. Запах тупого самца, смесь пота, заношенного белья, дешевого курева, перегара и бог знает чего еще засел у нее в голове и давал о себе знать даже рядом с самым чистоплотным и приличным представителем мужской породы. Даже и Боря, собственный ребенок, оказался в их числе, что уж говорить про какого-то Николая Ивановича, не известно зачем укладывавшего Зинаиду Ивановну в постель если и не каждый день (глядя на него Лидия Петровна в этом сомневалась), то регулярно. И как только Зинаиде не противно! Приходилось делать вывод, что директор – наивная дура, раз пускает к себе этого субъекта. Оперы он слушает! Ну да, разумеется.

Между тем, как и строившие «Титаник» думали, что им всё известно про океан и инженерное дело, так и Лидия Петровна высокомерно полагала, что в любви собаку съела. Куда там, шире – в чело-

веческих отношениях, – а между тем она ошибалась. Дело было именно в опере, и напрасно она иронизировала. Разумеется, Николай Иванович спал с Зинаидой Ивановной – для того и женился. Он очень ценил ее до сих пор молодое тело, но глубже постели Зину не пускал. Она готова была послушать оперу и сходить на балет, а потом рассказывать в школе, как они с Николаем Ивановичем культурно провели вечер, но суждения ее оскорбляли Николая Ивановича. Всегда не к месту и не о том. Замечания Зины вызывали досаду и опасение, что с соседних кресел услышат, и тогда провалиться ему от стыда.

Всё открылось в самом начале, еще когда Николай Иванович за ней ухаживал. Сразу же стало известно, что Зина читала «Как закалялась сталь», «Молодую гвардию», «Кавалера золотой звезды». Само по себе это было ни хорошо и ни плохо – всякая профессия имеет издержки, и это, должно быть, было нужно для продвижения по службе. Плохо было то, что она не разглядела Николая Ивановича и имела бестактность обсуждать в его присутствии эти, с позволения сказать, опусы. Горько вздохнув и напомним себе, что всё в жизни не получить, решил, что достоинства Зины превосходят недостатки, и женился, несмотря на Островского и Фадеева. Так и жили. Зина ужасно жужжала по вечерам, и он, глядя на ее стройную фигуру, думал, что человек она превосходный.

А однажды Бог послал в их странное место, где через дорогу бабка держала козу, где днем было шумно, а вечером тихо, как нигде; где за стеной дышало пространство пустого здания, – Бог послал странную Лидию Петровну. Впрочем, эта странность быстро разъяснилась и обрадовала Николая Ивановича. На Николая Ивановича из-под бабьего платка по погоде глянули зеленые холодные глаза. Сразу видно, прежде была чертовкой. Николай Иванович испытал сожаление, что встретил дворничиху в теперешнем ее положении, а не тридцать лет назад. Вздохнул и стал Лидией Петровной интересоваться. Сразу выяснилось, что не из простых, – выдавала речь. Однако подобраться ближе не выходило. Лидия Петровна так умела поставить границы, как Зина не способна. Из нескольких фраз, оброненных Лидией Петровной, заключил, что она внимательно слушает музыку через стенку.

– Вы кого предпочитаете – Лемешева или Козловского? – спросил как-то утром по дороге на службу.

– Козловского. – Она взглянула удивленно.

– Ага, и я, представьте, тоже. – И пошел на работу в хорошем настроении.

Так они и соседствовали: Николай Иванович наступал, а Лидия Петровна держала оборону, совершая изредка партизанские вылазки. Скажи кто-нибудь, что между ними завязались отношения, оба замахали бы руками, однако это так и было. В своем взаимном принюхивании они могли, казалось, зайти далеко, а могли и как две собаки – понюхать, порычать и разбежаться, и пока они так кружили на месте, тре-

тью фигуру – Зинаиду Ивановну, в расчет не брали. А она, между тем, всё видела. То есть видеть особенно было нечего, но ей бросилось в глаза, и это было неприятно, что Николай Иванович не упускает случая поболтать с дворничихой, и та, прости господи, в ответ на его слова кокетливо поправляет бабий клетчатый платок. Увидев эту картину не единожды, Зинаида Ивановна огорчилась. Обидно было то, как Николай Иванович склонялся всей фигурой, почтительно обращался и выслушивал Лидию Петровну. В отношении себя Зинаида Ивановна не видела ничего, кроме ласковой иронии. Часто он ее просто не замечал, хотя в постели был нежен, но после близости сразу засыпал, а Зинаиде Ивановне именно в это время хотелось поговорить о важном, что бы это ни было. Проще говоря, муж отказывал ей в настоящей интимности и, как ей казалось, дарил ее чужому человеку.

Особенно ранило Зиночку отсутствие детей. Она всегда мечтала о ребенке, воображая, что это должна быть девочка. Николай Иванович голосом холодным и таким, что, вздумай она не согласиться, тут же бы и прекратил ухаживать (так ей казалось), разъяснил Зине, что о детях речи нет: он не молод, здоровье подорвано, а после его смерти пусть делает, что хочет. Доводы Николая Ивановича показались Зине сомнительными, и всё же она не решилась возразить и потерять Николая Ивановича – смалодушничала. Мать сказала: «Замуж выйдешь, его не спросишь и родишь». Зина так и сделала, то есть замуж вышла, а родить не родила: не посмела перечить. Твердая на службе, дома Зинаида Ивановна всё оглядывалась на мужа – достаточно ли угрождает. Николай Иванович поставил себя так, будто их брак всегда под угрозой. Не соблюдет жена такие-то и такие-то правила – дело кончено, хлопнет дверью и уйдет. Зинаида Ивановна боялась. Никуда бы Николай Иванович не ушел. Во-первых, он работал бухгалтером, не воровал, деньги получал самые маленькие, и зарплата Зины была значительно больше; во-вторых, жили в ведомственной отдельной квартире, а у самого Николая Ивановича была только комната в коммуналке; в-третьих, ему нравилось тиранить.

В жизнь пары вклинилась Лидия Петровна и появлением своим унизила Зинаиду Ивановну. Лидия Петровна мучения директора не замечала и, доведись ей узнать о страданиях Зины, очень бы удивилась, потому что сама была, как говорится, ни сном ни духом. Зинаида Ивановна представлялась ей женщиной милой и простой, в том смысле, что Лидия Петровна секрета в ней не видела – в меру образованная, в меру умная – тем умом, который позволяет продвигаться по службе, но без изюминки, без гнильцы, которые она очень ощущала в ее скользком муже. Зинаида Ивановна была вся советская, а он – не пойми что и, казалось, до брака с директором вовсе не жил. Туман, пустота – вот чем был Николай Иванович. Выяснилось, что еще лет десять назад вынырнул из провинции. То ли из Николаева, то ли из Махачкалы, и то неточно. А что делал до того и там, где обитал преж-

де, было неясно. Однако, будь что нечисто, не было бы у него ни прописки, ни трудовой книжки. «Может, шпион», – усмехнувшись подумала Лидия Петровна, вспомнив покойную сестру. Нет, в шпионов Лидия Петровна не верила: она знала, что в жизни есть много загадок, которые и не загадки вовсе, а одна глупость и вранье. На ээка тоже не походил: тут Лидия Петровна за себя отвечала. Она задавала, как ей казалось, хитрые вопросы, но ответов определенных не добилась. Николай Иванович отвечал шуткой, а потом всё сворачивал на поэзию и на классическую музыку, разумеется. Однажды позвал к ним с Зиной «сскоротать вечерок» – так он выразился. Лидия Петровна отказалась.

Близость ей была ни к чему, и в гости она ходила только к ээчке. Еще навещала мать, но это по обязанности. Как-то раз даже дала Анне Григорьевне денег. Узнав, что Боря съехал, только кивнула головой. Главное, он был в порядке, а то, что бросил институт, – так и бог с ним. Тут Лидия Петровна поделать ничего не могла, о чем и сообщила матери. Ольга Адамовна, к обоюдной досаде, присутствовавшая при разговоре, от возмущения не могла дышать. Будь у нее дети, она бы такого не допустила. Однако Борис и Ольгу Адамовну не спрашивал, просто собрал вещи, попрощался и был таков. Впрочем, забегал. Анна Григорьевна, понизив голос, сказала:

– Лида, там женщина.

– Очевидно так, давно пора.

– Ты не хочешь знать, кто она?

– Женится – узнаем. – И отправилась со спокойной душой к себе в школу.

Однако жизнь всё гнала Лидию Петровну. Прежде приветливая Зинаида Ивановна теперь здоровалась сухо. Весной Лидия Петровна, как и обещала, устроила огород. Первую редиску, свежую, с мелкими комочками земли, отнесла в выходной Зинаиде Ивановне. Это не редиска была, а чистая радость, и такую же радость ожидала она встретить на лице Зинаиды Ивановны, но ошиблась. Зинаида Ивановна от редиски отказалась, сказав:

– Не надо. Я на рынке куплю. Ешьте сами.

Захлопнула дверь у самого носа Лидии Петровны. Честно говоря, такой грубости от Зинаиды Ивановны ожидать не приходилось. Уточним: прежде не приходилось. Напротив, исключительно корректная дама – и нате вам: взяла и нахамила. Вернувшись к себе, Лидия Петровна принялась резать салат из отвергнутой редиски, размышляя попутно, что могло вызвать такую метаморфозу. Тут-то она и припомнила постепенные и оттого не слишком заметные перемены в обращении директора. К тому моменту, когда она заправила салат, всё стало совершенно ясно. Ревность Зинаиды Ивановны удручила ее, но и рассмешила, впрочем, невесело. И как теперь прикажете жить с ревливой дурой и этим ослом, Николаем Ивановичем? Ему-то что, ему жена счет не выставит, а Лидию Петровну может и уволить. Лидия Петровна жевала салат и думала, что она в точности, как мно-

гострадальный Иов, и конца и края беде не видно. А она так ждала урожая, с такой радостью еще сегодня утром выдернула эту проклятую редиску, так ждала эти витамины, а теперь жевала, как корова траву, и ни радости, ни вкуса.

Зинаида Ивановна, обладательница небольшого роста и умопомрачительной талии, представилась ей всемогущей великаншей, от которой зависит чуть ли не само существование Лидии Петровны. Как с ней примириться? Черт его знает, как. Неожиданно помог Николай Иванович, на которого она, уж, конечно, не рассчитывала. Или ей казалось, что помог? Как-то погожим вечером (Николай Иванович обожал погожие вечера), он так осмелел, что, постучав к Лидии Петровне, спросил, не хочет ли она пойти в консерваторию. Лидия Петровна, расстроенная до крайности предыдущими событиями, мрачно буркнула:

– Благодарю. Вы лучше супругу сводите в оперетту.

Этот диалог слышала обострившимся слухом Зинаида Ивановна и совершенно пала духом. Она как-то внутренне обмякла, прежнего злого задора, с которым она выставила дворничиху, как не бывало, словно она сказала самой себе: «Ну что ж, положение безнадежно, муж более меня не любит, а любит старуху, что живет за стенкой и всё прислушивается к операм, чтоб они были неладны». Назвав Лидию Петровну в мыслях своих старухой, Зинаида Ивановна испытала чувство сродни отрезвлению: потому что дворничиха была не только дворничихой, но и старой старухой, и любить ее было совершенно невозможно! Хотят слушать оперу – на здоровье, Зинаиде Ивановне даже лучше, когда Николаю Ивановичу хорошо. Отчего она подумала, будто Николай Иванович может променять ее на бабку за стенкой? Невозможно это, Николай Иванович не слепой. Представилась Лидия Петровна в своем жалком обличье, и Зинаида Ивановна, человек доброго сердца, устыдилась самой себя и пожалела Лидию Петровну.

А всё равно, если уж кошка пробежала, так пробежала, и отмахнуться от этого факта невозможно. Николай Иванович, обидевшись, натурально перестал подходить и заговаривать, а Зинаида Ивановна, хоть и вернулась к прежнему вежливому обращению, но теплоты не выказывала. Натянуто всё стало и нехорошо. Однако выручил Лидию Петровну случай.

В выходной она отправилась в универмаг покупать в подарок зэчке мулине на кофточку. В середине вольного лестничного марша людская река текла бурно, и в ее водовороте Лидия Петровна выловила хорошо знакомое, но, увы, постаревшее лицо Августы Кох.

– Августа! – выкрикнула Лидия Петровна и даже всплеснула руками, потому что, с одной стороны, испытала прилив молодых чувств, давно позабытых, а с другой, менее всего ожидала встретить именно Августу Кох. Лидия Петровна знала, что та в Казахстане в

ссылке и встретить ее можно, по слухам, в городе Усть-Каменогорске, а не в московском универмаге, деле рук братьев Весниных.

– Люлька! – Августа протиснулась сквозь напиравших покупателей, и дамы обнялись.

– Не может быть, Августа!

Чмок, чмок, чмок.

– Это чудо!

Чмок, чмок, чмок.

– Не верю глазам!

Чмок.

И, прижавшись к перилам, обтекаемые потоком с сумками, паке-тами и мешками (это в толпу замешались какие-то деревенские бабы в плюшевых жакетах), они отстранились на мгновение глазами, изучая лица друг друга, а затем обнялись вновь.

– Гражданки, имейте совесть! – недовольно сказал кто-то, и они, спохватившись, в общем потоке спустились по лестнице и оказались на улице.

Мулине совершенно вылетело из головы Лидии Петровны. Только стоя на ветреном солнцепеке, она сказала:

– Я же мулине шла покупать. Бог с ним. Откуда ты здесь?

Августа Кох выглядела очень хорошо, то есть совсем не так, как могла бы ожидать Лидия Петровна, учитывая обстоятельство, и совсем не так, как выглядела она сама. Толстые безобразные очки были на месте, как и много лет назад, зато на голове у Августы была модная шляпка с вуалью, отличное летнее пальто и перчатки, а туфли – и Лидия Петровна поняла это сразу – были вообще заграничные. Ну, что тут будешь делать, только руками разведешь. Августа не дала недоумению Лидии Петровны развиться до размеров болезненных, а тут же предложила отправиться в кафе-мороженое – здесь, неподалеку. По дороге разговор состоял из междометий и не отвеченных вопросов, зато в кафе, заказав мороженое и шампанское, всё выяснилось, и было обстоятельно рассказано.

Августу Кох Лидия Петровна последний раз видела в промежутке между арестом мужа и своим собственным. По возвращении в одном из домов ей рассказали в том числе и про Августу Кох. Узнав, что ту в сорок втором взяли с ребенком за шкуру и выкинули в Казахстан, испытала некоторое удовлетворение, хотя ничего плохого Августу ей не делала, просто Лидию Петровну посадили, а Августу нет. Разговор с Августой начался с того пункта, на котором они остановились, то есть дне последней встречи, когда обезумевшая Лидия Петровна металась между Бутыркой, пытаясь выяснить судьбу мужа, и больницей, в которой лежал Боря. Именно к Августе побежала она, пытаясь разыскать ее брата, видного юриста, в надежде, что тот поможет с освобождением мужа. Тогда, в самом начале своего крестного пути, она полагала, что нужно что-то делать, и стучалась во все двери.

Это потом с досадой вспоминала, как была глупа, делая всё не то и не тогда: нужно было бежать куда глаза глядят, пока паспорт был, — может, и не посадили бы. Дура. Брат Августы, на беду, находился в Ленинграде, и Лидия Петровна, не зная его адреса, за этим адресом побежала к Августе. Августа смотрела на нее сквозь запотевшие от слез очки, протягивала бумажку с адресом и совала Лидии Петровне деньги. В этих неправдоподобно больших из-за линз глазах Лидия Петровна прочитала то, что не было сказано: Августа ее хоронила. Размышлять о чужом взгляде было недосуг, но в сердце он проник безотчетной обреченностью, относящейся уже непосредственно к ней самой. Августа дала деньги, но осталась в памяти кругом виноватой, как предвестник еще большей беды.

Теперь она сидела напротив Лидии Петровны, с виду очень благополучная, и говорила:

— Выслали как немку. А какая я немка? У нас с Витей мать русская, а Кох этот еще в прошлом веке православие принял. Вот только имя, конечно. Но это родители намудрили.

Лидия Петровна, которой хотелось скорее добраться до сути, а не слушать оправдания Августы в ее нерусскости, довольно вяло протянула неразборчивым междометием. Собеседница восприняла это как поощрение к рассказу еще более развернутому, и Лидия Петровна этот рассказ получила.

Августа подробно рассказывала про свои мытарства по дороге, а потом в Казахстане, однако Лидия Петровна не слушала, хотя и следила за тем, чтобы мычать в такт повествованию; мысли же ее были заняты предметами, к Августе отношения не имевшими. Дело в том, что кафе-мороженое было Лидии Петровне в диковинку. Со времени своего возвращения в столицу она ни разу не была ни в ресторане, ни в кафе, и сейчас ее занимали три разноцветных шарика мороженого в вазочке и шампанское, которое она пила как бы между прочим. Забытые вкусы! Она опасалась, что мороженое слишком быстро растает, сорта смешаются, и трудно будет собрать в ложечку растекающуюся лужицу. А Казахстан — что Казахстан? Это-то никакая не новость, и сама она может поведать тысячу таких же историй, как та, что, волнуясь, рассказывала сейчас Августа. Что толку? «Не она одна, не я одна», — думала Лидия Петровна, — и мороженое, и шампанское, терпящее пузырьки, были, конечно, важнее.

Во вторую очередь Лидию Петровну интересовал интерьер, столь отличный от тех, что она помнила по предвоенным годам. Поразили ее огромные полотнища капроновых занавесок на полуциркулярных витринных окнах. Розовые и голубые — через одно. Так современно и, возможно, безвкусно, но очень свежо, не то что прежние тяжелые гардины. Столики и стулья очень легкомысленные на тонких ножках — так, видно, теперь живут, а она не замечала.

Под конец Августа сказала:

– Вот, как видишь, шитье выручило. – И взялась за ворот своего платья, такого же модного, как и пальто, которое теперь небрежно лежало на соседнем стуле.

– Как же, прекрасно помню, ты шила отлично. – Ответила Лидия Петровна, отвлекаясь от своих мыслей. – Как же тебе это помогло?

Теперь она слушала с интересом, потому что, согласимся, если страдания бывают однообразны, то избавление от них нередко происходит разными, а подчас и неожиданными путями. Августа с воодушевлением рассказала, как в условиях ссылки ей, благодаря золотым ее рукам, удавалось выглядеть прилично, перешивая уж совершенную дрянь; как умение ее было замечено женой начальника милиции, куда она вынуждена была ходить отмечаться; как начальственная дама стала у нее шить, приблизила к себе, а затем, когда муж ее неожиданно и стремительно пошел на такое повышение, что оказался в Москве, не имея сил расстаться с Августой, сделала всё, чтобы забрать их с дочерью с собой. И – вуаля, Августа вновь в столице, имеет хорошую комнату и верно служит своей госпоже и ее многочисленным подругам.

– Потому что я и крою как немногие. – С гордостью закончила она и добавила: – А ты-то как? Ни словечка про себя.

Августа взглянула на Лидию Петровну печально. В этом взгляде было много сердца, у Лидии Петровны задрожали губы и неожиданно для себя, голосом, который всё время ее подводил, рассказала, как было последние двадцать лет. Никому, никому, никому не рассказывала она то, что сейчас, за неуместным в сложившихся обстоятельствах шатким столиком кафе, доверила она Августе Кох, на которую Лидии Петровне было решительно наплевать. Слезы текли по щекам, она всхлипывала и промакивала глаза тоненькими салфеточками, разрезанными на хлипкие треугольнички и колочье торчавшими из вазочки на столе. Лицо Августы мертвело по мере того, как Лидия Петровна продвигалась в своем повествовании. Она не перебивала, а только пару раз сняла очки и зачем-то тщательно их протерла.

– Дворником? – упавшим голосом спросила Августа Кох и кивнула самой себе, как бы не требуя ответа.

Лидия Петровна и не ответила, а только пожала плечами.

– Это невозможно. Хотя бы в память о Вите. Всегда буду помнить, как он тебя любил.

Лидия Петровна махнула рукой.

– Что вспоминать? Мне теперь кажется, что всё это шелуха какая-то. Любил – не любил, любила – не любила... Несущественно. Зато живу сама по себе и никому ничего не должна. Я шить не умею. Вообще ничего не умею. Так что не выбираться. – Она помолчала: – А, знаешь, грех жаловаться: тут лучше, чем там, а это уже очень много.

– А одиночество? Тебя не тяготит? Как странно, что вы не сошлись с сыном. Тебя, должно быть, это ранит.

– Нет, не ранит. Наверное, от того, что у него своя жизнь, и мне

отчего-то кажется, что очень хорошая. Мне этого довольно. Был бы ближе... нет, не надо... раздражал бы.

– Как ты можешь так говорить?

Лидия Петровна вздохнула.

– Говорю правду. Хочу, чтобы оставили в покое.

– Нет, – решительно сказала Августа, доставая кошелек, чтобы расплатиться. – Я этого не допущу. Дворником! Да как они смеют.

Лидия Петровна хмыкнула.

– Вон, Ольга Адамовна в овощном ларьке торгует, и ничего.

– Ну, я эту Ольгу Адамовну знать не знаю, а тебя очень хорошо. Так что я это дело не оставлю. Буду думать.

Прожив жизнь, Лидия Петровна, разумеется, не верила в обещания. Равнодушно взяв телефон, нацарапанный Августой на обратной стороне счета, дала свой адрес, вернее, адрес школы, и на том, выйдя из кафе, Августа и Лидия Петровна разошлись. Тем же вечером и на следующий день, и через день, работая и не работая, Лидия Петровна всё возвращалась мыслями к поразившей ее картинке в универмаге, а затем к столику в том современном кафе, и каждый раз волновалась. Однако волнение это было просто волнением сердца, которое вдруг взялось часто биться от ярко оживших воспоминаний. Лидия Петровна вовсе не имела в виду звонить по полученному от Августы телефону или, тем более, с ней встречаться. Вовсе нет. Единжды решила «уйти от мира без громких обетов» (так она интимно говорила про себя), Лидия Петровна так и жила в своей казенной комнате, как устрица в раковине: боязливо и почти бездумно.

Всё же мысли об Августе и связанном с ней прошлым так занимали Лидию Петровну, что она подчас забывала, где именно убиралась, и принималась автоматически мести там же по новой. Спыхватывалась и снова забывала. А потом, потом всё пошло прежним чередом до того дня, когда, вернувшись из магазина, увидела Августу, сидящую в школьной беседке. Вид у той был такой, что сразу было ясно – ждет давно. «Какого черта?» – подумала Лидия Петровна. Но ни скрыться, ни улизнуть не было никакой возможности, и в раздражении от навязчивости Августы Кох она направилась к ней с лицом приветливым, но не слишком, из опасения, что Августа вдруг вздумает, что Лидия Петровна ей рада, да и зачистит. Лицо Августы, как она подметила, было таким же простоватым, как и в прежние времена, – в том смысле, что она всё принимала за чистую монету, и тонкий маневр Лидии Петровны совершенно остался ею незамеченным. Августа вскричала:

– Люлька, а я тебя уже бог знает сколько жду. Где ты ходишь? Пойдем скорее.

Делать нечего: зашли к Лидии Петровне, Лидия Петровна заварила чай, и за чаем с английским кексиком, принесенным Августой, та сказала:

– Ты как знаешь, а я о тебе хлопочу. Мне нужны всякие твои документы, я тут список составила, и мы это дело сдвинем. Я же тебе говорила – у меня милицейские знакомства на таком уровне... Короче, я про тебя говорила с влиятельными дамами, и обещали очень помочь. Что ты молчишь? Я хочу тебя еще в ателье к себе устроить приемщицей. Ты же светская, обращение знаешь. Выйдет шик.

Слово «шик» рассмешило Лидию Петровну и, улыбнувшись Августе, она подумала: «А и в правду, почему нет? Приемщицей в ателье не для всех – это вам не двор мести, опасаясь взглядов ревнивой дуры-директрисы». Весело ей стало, но и печально. Словно весь прежний задор и упорство, всю изворотливость свою истратила она бездарно в пустом сражении за Катину квартиру, и сил больше ни на что не осталось. Длинной иглой, очень болезненной, пронзило воспоминание о бесстыдном своем воровстве у сироты Тани. Видно, за этот недостойный поступок и наказана она теперь вялостью духа и безразличием ко всему. Но и из школы, если поразмыслить, нужно выбираться. Тупик это. И Зинаида Ивановна с этим ее мужем: пока не уволила, а завтра, может, и уволит, да и Лидии Петровне лет немало. Не старуха, конечно, силы есть, но не вечно же махать метлой и колоть лед, а дальше – богадельня. Она сказала:

– Да, конечно, очень хочу. Августа... не знаю, что сказать... я тебе благодарна.

– Рано благодарить. – Августу улыбнулась. Было видно, что ей приятно, и она довольна собой и Лидией Петровной. – Когда получится, поблагодаришь, и мы с тобой кутнем. – И подмигнула.

«Шик», «кутнем» – что это? Лидия Петровна не узнавала Августу. Действительно, в той появилась прежде не свойственная ей развязность, и в этом смысле Лидия Петровна ее не узнавала. До войны Августа работала в театре художником по костюмам и, как говорили, была талантлива. Да и сама Лидия Петровна бывала на спектаклях, для которых делала костюмы сестра ее верного любовника.

До войны Лидия Петровна жила весело и в несколько слоев, успевая быть женой, матерью, любовницей – одновременно и очень ловко. Этим своим умением тогдашняя Лидия Петровна гордилась, сравнивая себя с удачливым персонажем итальянской комедии: всех обведет вокруг пальца. Брат Августы Виктор был, надо сказать, не единственным другом ее легкомысленного сердца и, в отличие от мужа, знал про рискованные похождения Лидии Петровны, но мирился с этими прискорбными знаниями, за что Лидия Петровна искренне его презирала и вертела им, как хотела. Связь между ними шла через Августу, его младшую сестру и кроткую сводню. Забавно, Августа была добросердечна, не способна на интригу, а между тем постоянно лгала и изворачивалась во вред невестке: у Виктора была противная жена, которую обе величали мегерой. В закулисье, где им и было место, происходили свидания, волновавшие Лидию Петровну

близостью театрального занавеса и дуэнной за дверью. Через зазевавшуюся Августу никогда не дремавшая супруга Виктора их и накрыла. Вышла сцена, недостойная людей интеллигентных, Виктор поклялся, что впредь будет супруге верен, а Лидия Петровна, заявив надменно и оскорбительно, что вульгарных сцен не потерпит и покидает поле боя навсегда, распрощалась с униженным и растоптанным возлюбленным. Виктор вернулся, и был впущен ею в дом, но уже, увы, в качестве друга и наперсника и в этом качестве, для мужчины сомнительном, пребывал довольно долго. Неизвестно, чем кончилось бы дело и долго ли Лидия Петровна играла бы с ним как с мышью, но тут он уехал в Ленинград в продолжительную командировку, а мужа Лидии Петровны посадили.

Поглощенная буффонадой, Лидия Петровна как сквозь вату слышала то, что несло из радиоприемника и со страниц газет. Ее волновало, чтобы муж ничего не узнал и чтобы, кто не следует, не столкнулся в подъезде с кем не следует: держать в одних руках столько нитей — задача непростая. Психолог, возможно, сказал бы, что имела место защитная реакция организма, стремление индивида вытеснить осознание внешних угроз, а мы скажем, что Лидия Петровна в ту пору была шлюхой без сердца. И более ничего. Теперь было уж всё не то, от прежней Лидии Петровны не осталось и следа, но Августа этого знать не могла: для нее она осталась прежней. Не легкомысленной, а ловкой и такой бессердечной, какой Августа, пройдя свою дорогу, хотела бы быть с самого начала, а теперь надеялась, что стала в конце концов.

Лидия Петровна не знала, что в своем Казахстане Августа Кох укреплялась воспоминаниями о ней. Лидия Петровна, такой, какой она теперь была, вряд ли могла рассчитывать на интерес к себе многих из прежних знакомых. Только Августа Кох и могла видеть в ней грезу своих казахстанских мытарств. Каждый раз, когда ради себя и дочери она лгала и торговала собой (это она так высокопарно выражалась, имея в виду, в первую очередь, пренебрежение принципами), она, Августа, мысленно спрашивала совета у Лидии Петровны, и та всегда подсказывала дельное. Если бы кто-нибудь сказал Августе, что Лидия Петровна тут ни при чем, а это просто здравый смысл проснулся в прежде наивной и доверчивой Августе, и он-то и взялся вести ее по жизни, частенько наплевав на совесть, Августа бы удивилась. Благородства прежнего осталось в ней немного, но ровно столько, чтобы, встретив своего учителя, она ринулась устраивать судьбу Лидии Петровны.

Впрочем, в данный момент Августа была занята созданием собственного роскошного ателье, разумеется, государственного, но, по сути, ее собственного, и раздумывала над тем, как придать ему вид презентабельный, светский, аванажный, чтобы всякая дама с положением понимала, что попала сюда не просто так и второго такого в городе не найти. Августа знала, на что способна Лидия Петровна, и взялась за нее биться.

Сговорившись бежать и труся поначалу, Вера понемногу успокоилась и перестала думать, как им удастся повернуть эту авантюру. Плевать, как-нибудь само повернется. Доплывут до Турции, потом Франция... Да, так и будет. Постойте, она, кажется, в Америку собиралась? Тут виноват был мэтр, который рисовал черт-те что, а рассуждать любил о кубистах-символистах, и как там было в Париже. Его азартные пересказы чужого опыта так запомнились Вере, что всё, что было за извилистой границей на карте, было Парижем. Впрочем, в Америке тоже наверняка отлично. Теперь, встречаясь с Ланцелотом, расспрашивала про Англию. Изумлялась и не верила, а он насмешливо советовал читать Конан Дойла.

Произошло еще кое-что необычное, но, если разобраться, вовсе не удивительное: она полюбила коммуналку. Если сравнить задуманное с набитой черт-те кем квартирой, то та казалась уютной, как может быть уютна собачья будка со своей родной вонью, привычными голосами, то визгливыми, то ворчливыми, но, главное, человеческими. Скоро она сядет в хлипкую надувную лодку (она уже отдала свою долю, и Ланцелот лодку купил) и поплывет, и будет бояться волн и пограничного катера и, если не утонут, окажутся на его борту, а потом в милиции и – прямиком в тюрьму. Чудесно напоследок было в коммуналке.

Вера сказала матери:

– Я скоро на море поеду. Пожалуйста, дай денег.

– На море? С кем? – Встревожилась Любовь Александровна, а узнав, что с подозрительным Алексеем, расстроилась.

Хотела отказать, заметив, что Вера который месяц не работает, а теперь вздумала просить деньги на отдых, но прикусила язык именно потому, что выходило не деликатно корить этим дочь, которая не работает под общее одобрение семьи. Не она ли сама горячо поддерживала Веру, когда та оставила свое недостойное занятие, и не гнала работать или учиться, хотя с деньгами всегда было сложно, дав девочке прийти в себя после пережитого у покойной Екатерины Андреевны. Съездит на море, окрепнет, а когда вернется – поговорим о работе. Любовь Александровна, тяжело вздохнув, дала денег.

До самого отъезда мир виделся Вере по-новому и со стороны – словно через лупу. На улице не толпа, а люди. Брат – скоро она простится с ним навсегда – добрый, умный, жалкий, с этой своей единственной ногой, с протезом, натирающим культю, скачет на костылях в туалет и на кухню привычно и очень ловко. Вера, когда никого в комнате не было, а Аркаша ушел на протезе и с палкой, взяла костыли и попробовала ходить, поджав ногу. Ужас, что вышло. Бедный маленький братец. Соня и Соня, Аркашина жена. Теперь не то. Увидела, что Соня по-особенному заправляет волосы за уши, а когда читает, теревит их на макушке. По утрам Соня всегда не в духе. Прежде Вера старалась с ней утром не сталкиваться, так мрачна бывала Соня, а теперь смотрела на нее и жалела: тяжело, наверное, с утра быть злой. Племянница-

двоечница, тихоня. Нет уж, это ребенок необыкновенный и выйдет из нее что-нибудь особенное, к чести семьи. Вера решила, что в Париже купит Иришке розовое платье, как у Мальвины, девочки с голубыми волосами. А Соне – французские духи. Ей нужно. Только маму от чего-то не жалела и ничего не собиралась присылать той из Парижа.

Друзья-приятели – и они изменились, только в другую сторону. Скучно говорят: ля-ля-ля, ля-ля-ля. Мухи от таких друзей дохнут. Мэтр Веру не забывал, заманил писать портрет. Выходило так себе. Вера смело сказала, что столько краски налепил, что ничего не разберешь.

– Заткнулась бы.

Наконец, всё было готово. Билеты куплены, рюкзак собран. Купальник, кеды, сарафан. Ланцелот хмыкнул.

– Куртку возьми.

– Зачем? Лето, жарко.

– Возьми, сказал.

Чем ближе к отъезду, тем злее становился ее спутник. Вере бы насторожиться. Она и насторожилась и перестала верить в успех. Чуть не отказалась, но когда серьезно об этом задумалась, очарование всего, что было теперь вокруг, пропало, она ясно увидела, что всё ново и прекрасно, только если она завтра сядет в поезд, а так – всё та же шелуха.

Ехали пассажирским, старым, как вселенная, набитым потными курортниками. Сразу же оказалось, что в поезде отчего-то нет воды – проводница объяснила, что поезд дополнительный и посоветовала радоваться, что он вообще едет. Войдя в туалет, Вера ужаснулась, а Ланцелот, куря в тамбуре, сказал, что это ей подарок прощальный, чтобы в Париже не тосковать. А где он, этот Париж? До него еще доехать надо. На какой-то узловой купили пирожки, огурцы, семечки. Ситро в ларьке, а минералки не было: Вера думала умыться. Из поезда Вера вывалилась с расстройством желудка.

– Ну и как ты плыть будешь?

– Не знаю. Поплыву.

Как сказала бы Марья Николаевна, молодой организм взял свое, Вера оправилась, постиралась, сходила в баню, и они двинулись дальше. Мрачен был Ланцелот. Вера от его вида скисла, помалкивала и всё думала, что нужно отказаться, прямо сейчас сказать, что передумала. Однако стоило ей открыть рот – и слова получались другие, про ерунду какую-то, что еще больше злило Ланцелота. Вдобавок ко всему от самого поселка, где Вера домучивалась животом, где всё было пыльно и незелено, где грязные тощие куры копошились в желтой невесомой пыли, увязался за ними бездомный пес, грязно-белый, со свалившейся шерстью и весь в репьях. Ланцелот к собаке проникся, жалел пса, подкармливал, и тот, заискивающе виляя хвостом, плелся за ними. Собаку следовало прогнать, и Вера Ланцелоту об этом сказала. Тот промолчал, сделал вид, будто не слышал. Вера попробовала отогнать пса, Ланцелот взбесился: наорал на нее и в конце сказал:

– Не трогай Белого.

Белого. Уже окрестил. Шли вот как: впереди Ланцелот, за ним – Белый, а уже потом Вера. Плохо всё было. Добравшись до места, наменченного им как точку отплытия, разбили лагерь. Сухая трава, колючки, море отчего-то вовсе не синее, высокий обрыв и всегда теперь молчаливый Ланцелот. А собака эта спит около входа в палатку.

– Завтра ночью отплываем.

С собой была четвертинка, он разлил ее, выпили за побег, закусили консервами.

– А собака? – робко спросила Вера, покосившись на грязный хвост. Алеша пожал плечами и глянув, Вере показалось с издевкой, сказал:

– Возьмем с собой.

– Шутишь?

– Нет.

– Брось, ты шутишь, хочешь позлить. Как это с собакой? Он вообще приبلудный.

– Белого возьмем. Решено. Он еще одно предательство не переживет.

– Так зачем надо было его приваживать? – от возмущения Вера стала как воздушный шарик, который вот-вот вырвется из рук и взлетит.

– Выпусти воздух. Он с нами. А если не нравится, – оставайся. Мы вдвоем дернем.

Вера хотела ответить и не нашла. В голове ее сделался сумбур, и как в детском калейдоскопе, позвякивающими стеклышками стали кивались в голове самые разные аргументы, в отличие от игрушки не обретая завершенность. Тут простым ответом не обойтись. Одним словом, Вера почувствовала себя очень глупо, а затем осознала, что, кажется, оказалась в западне. В тесной палатке она, дура, выпивала не с другом, а черт-те с кем, с негодяем: приبلудный пес дороже. Как сидела, так и застыла Вера, и в этот миг больше всего ненавидела Белого, а уж потом Ланцелота. Если бы была возможность – расправилась с обоими, и чувство совершенного бессилия бесило ее особенно. Униженная, пописала в кустах и легла спать спиной к нему и собаке.

Наутро всё было обычно. Вечером надули лодку, погрузили вещи, и он позвал собаку. К Вериному изумлению, пес не испугался и забрался в лодку.

– Ну? – сказал Ланцелот.

– Или я или собака.

– Собака.

– Собака. – Кивнула Вера, всеми силами удерживая слезы. – Тогда пока. Семь футов под килем.

– Держи. – Он выгрузил из ее рюкзака всё, что нужно было в плавании, и швырнул его на берег.

Лодка отчалила. Вера смотрела, как они удаляются, хотела крикнуть: «Подождите, я с вами», – но так и не крикнула. У пса, ей так

казалось, был горделивый вид: обошел Веру, скотина. Когда лодка скрылась из виду, она вернулась в брошенную за ненадобностью палатку и провела в ней неприятную ночь. Ей всё мерещилось, что кто-то бродит поблизости, трещат какие-то сучья, воображала, что отдернется полог, ее убьют или изнасилуют. Ничего этого не случилось. Звуки ночные ей либо мнились, либо ночное животное ходило вокруг в поисках остатков пищи. Так или иначе, утром Вера почувствовала себя в безопасности и предприняла то, что и должна была предпринять: отправилась обратно в поселок, а затем на станцию.

Вера так переживала предательство своего спутника, что совершенно забыла про деньги. А вот их-то и не было. То есть были, но только на пирожки и чай в станционном буфете. Осознав свое положение, Вера впала в отупение – разновидность истерики – и куклой сидела на деревянной скамье зала ожидания. Подошел милиционер, поинтересовался, отчего она сидит тут уже не первый час, спросил, куда едет.

– В Москву. – Буркнула Вера.

Ей показалось, что голубым милицейским глазам всё известно про побег, и она испугалась: вот прямо сейчас арестует. Голубые милицейские глаза находились, разумеется, в неведении: милиционер был молод, выполнял инструкции по наблюдению за порядком и видел перед собой лишь приличную, но очень расстроенную девушку.

– А билет у вас есть?

И Вера соврала.

– Я деньги потеряла.

В ту минуту, когда она нашлась с ответом, увидела, что милиционер – симпатичный мальчик, и принялась вдохновенно врать. Она рассказала, что поехала с женихом на море, что уже здесь они страшно поссорились, и он ее бросил на берегу без всего, а, главное, без копейки денег. И вот она теперь сидит и не знает, что делать. Позвольте, она только что сказала, что деньги потеряла. Ну да, сказала.

– А вот вы бы что сказали? Мне стыдно было. Думаете приятно, когда тебя бросают?

– А ссора-то из-за чего была? – спросил милиционер, который прежде не имел дела со столичными брошенными барышнями и ему, конечно, было интересно.

– Из-за собаки. – Честно сказала Вера.

– Из-за кого?

– Ну, из-за собаки.

Далее она рассказала ошалевшему милиционеру, что жених променял ее на приبلудного пса, взял его с собой в поход, кормил и не отвечал на требование животное прогнать. Милиционер скис от смеха, но и пожалел Веру.

– Я вам помогу.

Ничего не скажешь, столица! Там всё по-другому. Милиционер, честный малый, откуда ни посмотри, из сострадания и под впечатле-

нием Вериной внешности, решился на неблагоприятный и, в некотором смысле, преступный поступок. У него имелась тетка, правда, двоюродная, но очень хорошая, работавшая проводником в поездах московского направления. Тетка любила племянника и дружила с милицией, и он попросил ее подбросить девушку до столицы.

— Будешь должен, — сказала тетка, сгребла Веру, затолкала в служебное купе и заперла на ключ.

Всё произошло быстро, удивительно удачно и так слаженно, что Вера как в вихре пронеслась по ночному перрону, влекомая милиционером, была схвачена проводницей и мгновенно оказалась в купе, где моментально сощурилась от яркого света. Проморгавшись, обнаружила, что в купе сидит еще одна то ли девушка, то ли женщина, вида совершенно удивительного. Особа была несомненно женского пола, но возраст Вера не взялась бы определить: то ли двадцать, то ли сорок. Замотана старым цветастым платком, платье крепдешиновое, какое давно никто не носит, кофта домашней вязки вся в пятнах, на ногах толстые носки, какие носят в Средней Азии, и мужские сандалии. Пугало, и пресмешное пугало. На Веру, сквозь толстые-претолстые стекла очков, глянули печальные глаза, и голос, заунывный и шепелявый, произнес:

— Присаживайтесь. Рахель Гольдфарб. Еду в Москву.

— Вера. Еду туда же.

Проводница выпускала только пописать. Пока ехали, сдружились так, как Вера никогда не дружила прежде. Она узнала, что Рахель — вовсе не Рахель, по паспорту Роза, но на самом деле, да, Рахель, потому что так звали бабушку, но имя Рахель как-то даже неприлично писать в паспорте, даже и в Ташкенте, откуда Роза-Рахель держала путь. Где Ташкент, а где Крым. Про извилистую дорогу та объясняла туманно. Однако подробно рассказала Вере про глубокую и трагическую любовь к некоему Моисею-Михаилу, про то, что она — филолог, поэт и переводчик с сербского. А также владеет французским, румынским и начатками итальянского. Но это ничего, итальянский для изучения не представляет больших трудностей, и она надеется, при свойственном ей упорстве, быстро им овладеть. От Рахели дурно пахло — видно, она давно не мылась и, кажется, это ее не очень заботило. Рахель очаровала и потрясла Веру странностью внешности, обширностью знаний, бесстыжей некрасивостью. Если бы не неприятный запах, Вера бы пала под натиском странного ее обаяния. Рахель читала стихи ужас как заунывно, совершенно под стук колес, совпадая с ним всеми своими модуляциями. После первой же строчки Вера перестала что-либо понимать, усвоив лишь то, что все они адресованы Моисею-Михаилу, и до того откровенны, что натурщице-Вере было прям неловко. Оставалось неясно, являлись ли сексуальные перипетии Рахели плодом ее фантазии, или они действительно занимались всем этим с Моисеем. Вот вопрос, который

занимал Веру, и ответа на который она найти не могла. Уж слишком та выглядела чудно. Рахель располагала некоторым запасом продовольствия, которым щедро поделилась с Верой. Одним словом, хоть и сидели взаперти всю дорогу до Москвы, ничуть не соскучились.

Пристальный и печальный взгляд неправдоподобно больших глаз побуждал к откровенности. Это был такой взгляд – словно не чужой человек смотрел, а мать или даже больше, чем мать. В самую душу, в самую глубину. Рассказать – не рассказать? Долго мучалась Вера и всё же сдалась, хотя тоненький голосок где-то глубоко велел молчать. Решилась и выложила всё: про побег, Америку, Англию, план, и как не села в лодку.

– Тебя посадят, – сказала Рахель и оправила на коленях платье.

– Никто не знает... – полувопросительно ответила Вера.

– Я знаю.

Вере стало холодно.

– Не бойся. – Рахель взяла своей сухой рукой Веру за пальцы. – Я никому не скажу, но и ты никому не говори: это опасно.

Отлегло, разжалось сердце.

– Я понимаю, я никому не скажу. Думаешь, посадят?

– Не знаю. Всё возможно.

Чтобы не думать о том страшном, что сказала Рахель, Вера спросила:

– Что ты собираешься делать в Москве, где жить?

– Увидим. – Вновь туманно ответила Рахель и добавила: – А жить нигде. На пару ночей ночлег есть, а там... увидим.

На подъезде к Москве Вера дала Рахели свой телефон и очень просила позвонить: она всем сердцем хотела помочь жалкой и, возможно, сумасшедшей поэтессе.

Неожиданное возвращение Веры – не успела уехать и уже вернулась – удивило Любовь Александровну, да и всю семью. Между прочим, вернувшаяся Вера ничуть не походила на Веру уезжавшую. Была мирная, улыбчивая и немножко загадочная, а возвратилась злой и нервной. Что случилось, не говорила: все отстаньте. Помылась: всё скребла и скребла себя мочалкой, а потом, чистая, легла лицом к стене. Да что же это, господи ты боже мой, всё по новой? Так в материнском отчаянии думала Любовь Александровна, опасаясь расспросов, которые могут очень огорчить, – и, разумеется, скандала. Пришлось вернуться с дачи, выдернуть оттуда ребенка, которому нужен свежий воздух, и наблюдать мрачную дочь, не желавшую давать объяснения.

В промежутках между созерцанием стенки Вера опросила всех, кого могла, не сдастся ли комната. Есть хороший человек, а жить нигде. Нет, никто не сдаст. Обводила пальцем узор на обоях, и он, этот узор, а как – неизвестно, напомнил Бориса, и Таню, и Лидию Петровну, и несчастную Танину мать. Не вспоминала Таню, никогда-никогда с ней больше не виделась, а золотистые тусклые лепестки, по которым

водила пальцем, напомнили, и явилась та ночь и то утро. Ей-богу, вспоминать было смешно, потому что теперь душу сосал страх, и явилась мысль, что лучше было, пожалуй, забраться в лодку, хоть и с собакой, а так, как теперь, – ужасно. Рахель сказала: посадят. Нет, не может быть. Надо Таню спросить: у нее квартира большая, она одна, возможно, пустит к себе Рахель. Конечно, ей теперь нужны деньги.

Не добившись от дочери толку, Любовь Александровна укутила восояси, а Вера, чтобы не думать о тюрьме, взялась добывать Танин телефон.

– Вера, – сказал брат, – не думаешь ли ты, что нужно устроиться на работу? Мама тебя щадит, но ты сама должна понимать...

– Отстань. Устроюсь, не волнуйся. Так устроюсь, что... И, кстати, у кого может быть телефон той квартиры, где меня... ну, ты знаешь.

– Не знаю. Если тебе нужно, возьми да съезди. – И вышел из комнаты, и дверь закрыл.

Как-то холодно и закрыл, и вышел. А действительно, можно съездить. Как эта мысль не пришла в голову? И съездила как-то вечером, надеясь застать Таню.

Таня же более не существовала. Часовой завод доделал то, что начала паспортистка, вписав в новый паспорт новое имя и бросив на Таню-Розу изумленный взгляд. Белый халат, белая марлевая повязка на голове – ну, чем не белая Роза. Непорочная, чистая, непреступная с тонким и колючим инструментиком в ловких тонких пальцах. Белая дева-роза будто изо льда. Забежит Борька – сидит с ним, болтает приветливо, и веет от нее холодом. Борис не мог сообразить, что с Танькой. Ой, простите, с Розой. Узнав о смене имени, бессовестно рассмеялся, а у Розы только краешки губ дрогнули. А Таня бы расплакалась. Как ни крутился Борис, как ни елозил, пробиться сквозь ледяную корку не было никакой возможности. Недоумевал.

Однажды зашла Петухова, считавшая своим долгом поддерживать старую подругу. Посидели вдвоем. Результатом этого сидения стало то, что оба перестали заходить, а Роза этого не заметила. Зато ее заметил молоденький милиционер, регулярно скучавший на посту в своей будке-стакане на перекрестке возле завода. Он, от нечего делать, привык разглядывать женщин, спешивших на смену и со смены. Знал их в лицо, но особенно понравилась ему Роза и, поборов стеснительность, он с ней познакомился, разумеется, не будучи при исполнении, а в свободное от службы время. Специально подкараулил Розу у проходной, шел за ней, а потом, нагнувшись сзади к самому ее уху, прошептал:

– А я вас, девушка, знаю.

Роза от неожиданности подпрыгнула и даже замахнулась на него сумочкой, но милицейская форма ее успокоила, так как что может быть безопаснее и надежнее советского милиционера? Эта встреча, по случайному совпадению, произошла тогда же, когда и к Вере на вокзале подошел такой же юный милиционер. Однако для Веры это

обернулось бесплатной поездкой домой, а для Розы последствия были более существенные. Милиционер нашел нужные слова и проводил до дома. Первое впечатление его не обмануло – девушка замечательная. Стали встречаться. Коля – милиционера звали Колей, ну, надо же, как Танину первую любовь! – имел такие же голубые глаза, как и у самой Розы, такие же молодые веснушки, такие же светлые русые волосы, а также деликатное обращение. И Роза позволила себя любить. О, нет, разумеется, только платонически. И всё же то, что осталось на дне Розиной души от Тани, эта малюсенькая, спрятавшаяся в ней Таня, пела и ликовала в мраморном организме работника часового завода, совершающего ежедневно монотонные и терапевтически-успокаивающие операции.

Вот в каком состоянии находилась Роза, когда Борис и Петухова перестали к ней заглядывать. Вскоре новый Коля стал не только провожать, но и заходить, и очень понравился Ирине Ивановне своей ладной формой. Ирина Ивановна всем желала добра, но добра в правильном русле. Молодой человек в милицейской форме посылал явные сигналы гражданской безупречности, и за такого молодца сама Ирина Ивановна со спокойной душой отдала бы родную дочь.

В тот же день Ирина Ивановна поделилась своими соображениями кое с кем насчет квартиры, доставившей столько хлопот и наводившей на мысли о некоторой неблагонадежности, хотя, разумеется, в рамках допустимого. И вдруг, нате вам, явилась та самая сомнительная особа, из-за которой вышел безобразный скандал с пролитием крови и из-за которой же пострадала, а затем и скончалась бедная Екатерина Андреевна – женщина хоть и с поврежденным рассудком, но, если разобраться и заглянуть в корень, говорившая чистую правду. Бдительность-то всегда нужна, не так ли?

Да, однажды вечером явилась Вера и проследовала к лифту, и поднялась на этаж, и дверь открылась, а затем захлопнулась. «Не к добру», – тревожно подумала Ирина Ивановна. Дверь открылась, дверь захлопнулась, и две девушки, разделенные смертью Екатерины Андреевны, оказались друг против друга в пыльной и унылой прихожей. Обе потоптались, обсеим было неловко. Роза, открывая дверь, думала, что это Коля номер два пришел, а Вера просто не знала, с чего начать.

– Прости, что без звонка, – сказала Вера, – у меня нет твоего телефона, а я хотела с тобой поговорить.

– Проходи. – Роза пошла на кухню, и Вера за ней. – Что ты хотела?

Роза положила тонкие белые пальцы на новую клеенку с какими-то расплывчатыми, но веселенькими цветочками, купленную вскоре после маминой смерти.

– Таня...

– Извини, тебе, может быть, неизвестно, я поменяла имя. Я теперь Роза.

Вера вытаращила глаза.

– Поменяла? Зачем?

– Захотела. – Вызывающе сказала Роза.

– Ну... ладно. Если тебе так больше нравится...

– Именно, мне так больше нравится.

– Я вот что хотела спросить. Ты комнату не сдаешь? Ты теперь одна, а у меня есть знакомая, она недавно в Москве и ищет жилье.

– Вообще-то нет, я об этом не думала. А кто она?

– Понимаешь, немножко странная, но очень хорошая поэтесса из Ташкента. Тихая. Хочу ей помочь, и думала, что тебе, возможно, не помешают деньги.

– Не помешают, – усмехнулась Роза. – А знаешь, приводи. Посмотрю на нее.

– Дай телефон. Она тебе сама позвонит, а я, пожалуй, не приду... Сами договоритесь, если захотите.

И ушла. Ее поразила Таня-Роза. «Черт знает что, как неживая», – подумала Вера, спускаясь в лифте, и чувство у нее было такое, будто еле ноги унесла.

Рахель успела позвонить Вере, получить телефон Тани-Розы, и в тот же вечер за Верой пришли. Пришли люди вида такого страшного, что соседка, открывшая дверь, всё поняла и, пискнув, отвалилась куда-то во мрак за цинковое корыто. И напрасно отвалилась. Страх ее был смехотворен. Приличные люди пришли с обыском: вежливые, в костюмах, с голосами негромкими. Вежливо постучались в двери комнат, где обитало Верино семейство, вошли, затворили за собой дверь, а вся огромная коммуналка тут же и умерла. Тишина за сплошь закрытыми дверями была такая, что слышно было, как тараканы шуршат: им померещилось, будто бы опустилась ночь, их время.

Аркаша, в майке и трусах, с болтающейся культей, то есть в виде самом жалком, всё пытался прочистить горло и сообразить, что же следует говорить в этом случае. Ничего путного не придумал, хотя прекрасно помнил, как было в прошлый раз, когда взяли отца. Соня, аккуратная и прямая, рухнула на стул и оказалась единственной, кто был в состоянии прочитать предъявленный ордер. Обыскивали долго, тщательно и немногословно, сдержанно и вежливо, а затем предложили Вере проехать, и она проехала, и на этом ее молодая и глупая жизнь кончилась.

Ничего этого Рахель не знала и знать не могла, потому что тут же созвонившись с Таней-Розой, отправилась по указанному адресу. Ирину Ивановну вид Рахели поразил, как поражал многих и, подумав, что час от часу не легче, она проводила Рахель изумленным взглядом. Ирина Ивановна даже шею вытянула на анатомически недопустимую длину и была права: таких шерстяных носков и потрескавшихся мужских сандалий она никогда прежде на женщинах не видела, тем более

в их респектабельном доме. А Розе Рахель сразу понравилась. Во-первых, она оказалась тоже Розой, и это отчего-то расположило к ней хозяйку, а во-вторых, нелепым своим видом, тщедушной фигурой, голосом тихим и монотонным, напомнила покойную маму. Прямо как Екатерина Андреевна во плоти, только молодая. Решение приняла сразу: да, Роза из Ташкента будет у нее жить. Нет, не у нее – с ней. Отвела той комнату Екатерины Андреевны, извинилась, что не прибрало и тут же принялась доставать из шкафа белье и одеяло.

Рахель, которая была больше Рахель, чем Роза, тихо радуясь удаче, тут же и отправилась перевозить вещи, которых, по правде говоря, и был-то всего один чемодан. На обратном пути, расчувствовавшись и преисполнившись благодарности к хозяйке, купила миндальных пирожных, хотя с чемоданом и тяжело было заходить в кондитерскую, и в тот же вечер они отмечали переезд и приятное знакомство. Розе было хорошо в этот вечер – словно вновь пила чай в компании мамы, но на этот раз не было ни тихой злости, ни раздражения.

Между тем Веру поместили туда, где ей и следовало быть: в тюрьму, и шестеренки закона, а также разные винтики, маленькие и большие задвигались в установленном порядке точно так, как работали часы, собранные тонкими пальцами Розы. Снова Вера наделала шуму. Снова разговоров было великое множество и на кухнях, и в мастерских. Жужжала квартира, раз за разом выслушивая рассказ соседки, впустившей сотрудников органов. Некоторые в замочную скважину своими глазами видели, как уводили Веру и какой вид у нее был при этом. Прилетела с дачи Любовь Александровна. Рыдала Марья Николаевна, сознавая, что не нашла в себе сил открыть дверь и прийти на помощь. Ну, это уж было смехотворно. Надежда Михайловна объяснила это очень убедительно, да и сама Марья Николаевна ничего предпринять, конечно, не смогла бы. Ольга Адамовна, узнав о случившейся беде, впала в ярость, впрочем, очень деятельную: сразу стала соображать, что для Веры можно сделать и, конечно, вспомнила, что у Бори есть теперь новые друзья-юристы. Аркаша и сам, как только Веру увезли, кинулся звонить Борису Михайловичу, и тот порекомендовал хорошего адвоката по уголовным делам. Ольга Адамовна нашла ходы в мир тюремный через своего грузчика дядю Колю, и тот темными и извилистыми путями взялся выяснять Верину судьбу. Появился расстроенный мэтр и еще народ из прежней богемной жизни. Мэтр погоревал и скрылся, и также поступили многие, потому что вскоре выяснилось, что Вере вменяют пятьдесят восьмую. Измена родине. Точка.

Между прочим, многие, правда, шепотом, но фрондерски округлив глаза, недоумевали: мол, времена-то нынче иные. Но пришлось развести руками и принять действительность: Вера сидела. Следствие началось, впереди был суд. Адвокат, милая и, видимо, смелая женщина, работала, но так молча, что даже родственникам ничего не уда-

лось из нее выудить. Благородные действия дяди Коли потерпели полное поражение, так как Вера оказалась не в Бутырке, а в Лефортово. Словом – тишина, и до того глухая, что прежний страх, который, казалось, под влиянием весенних дуновений немного отступил, вернулся как ни в чем не бывало.

– Рано радовались. – Мрачно сказала Марья Николаевна, когда, по заведенному обычаю, сели за винт.

Да, дамы сели за винт, а Вера – в тюрьму, и жизнь потекла своим порядком, словно Веры никогда и не было. Говорить говорили, ужасались, но поприкусывали языки, и это все. От жизни не открестись. Между прочим, мэтр, как благородный человек, на месяц ушел в запой, а выйдя из него, со слезами на глазах, видя в этом свой перво-степенный долг, дописал Верин портрет. И хорошо сделал, потому что Вера, отсидев свое, как говорится, от звонка до звонка, а дали ей пять лет в Мордовии, уже никогда не была так хороша, как на его портрете.

Следствие тянулось долго, целый год, но для внешнего мира это значения уже не имело: Вера была вполне мертва. И семья ее оплакала. Любовь Александровна осиротела, и брат осиротел, и племянница Иришка, никогда не узнавшая, что тетка хотела прислать ей из Парижа розовое платье, долго недоумевала, куда делась Вера. Родители не решились сказать правду, но в коммуналке ничего не утаишь, и из шушуканья соседей девочка узнала, что Вера родину предала, хотя никто не знал, как именно.

Борис с двух сторон узнал о судьбе Веры. Сначала от Ольги Николаевны и Бориса Михайловича. Борис Михайлович, человек чрезвычайно разумный, специализировался на семейном праве, от политики и уголовщины держался в стороне, и известие, что сестру его – нет, конечно, не друга, но доброго знакомого, – привлекли по пятьдесят восьмой, пережил тяжело. Ночь плохо спал, после чего посоветовал адвоката и прервал всякое сношение с Аркадием.

– Под монастырь подведут. – Жаловался он Ольге Николаевне за завтраком.

Ольга Николаевна отнеслась к делу серьезно. У нее тоже нарушился сон, оба ждали неприятностей, но буря прошла стороной, а ведь могло и зацепить.

Навещая сретенских, Борис от них вынужден был выслушать историю ареста Веры. Тут уж были подробности, от которых он, как будущий юрист, постарался себя оградить в первую очередь потому, что суждения Ольги Адамовны все до единого ни в какие ворота не лезли. Уходя со Сретенки, испытывал чувства смешанные. С одной стороны, мучила тревога – все-таки он с Верой прежде был связан. Ох, как нехорошо! А с другой, мальчишка-романтик не мог не порадоваться: в ту ночь, слонаясь неприкаянным по городу, он все казни египетские призывал на голову Веры и – вот нате вам – сбылось! Что

ж, поделом ей, но, главное, чтобы, как выражались теперь в доме Ольги Николаевны, не зацепило.

Интересно другое: известно было, что Веру взяли вскоре после того, как она отправилась в Крым с этим Алексеем, хорошо известным в кругах художников. Уехала с ним, а вернулась одна. Спрашивается, куда подевался Алексей? Вот это загадка. Пропал подчистую: не вернулся ни через месяц, ни через два, а тетка, заявив в милицию о пропаже, ответа так и не дождалась. Наверное, утонул, купаясь в Черном море, а Вера знала, но не сообщила. Вот за это ее и взяли. Позвольте, при чем здесь, в таком случае, пятьдесят восьмая статья? На это пожимали плечами. В такие истории лучше не вникать. Вникать не стали.

После ареста Веры Ольга Адамовна поникла. Перестала быть энергичной и злой, уволилась из своего овощного ларька и устроилась в больницу санитаркой. Анна Григорьевна, жалевшая Веру и предполагавшая, что имеет место недоразумение, спросила:

– Олюшка, зачем в санитарки? Работа такая тяжелая, конечно, в другом роде, а ты не молодеешь. Разумнее было бы найти что-нибудь полегче.

– Хочу говно выносить. – Ответила Ольга Адамовна, чем еще больше огорчила Анну Григорьевну. Нельзя, нельзя произносить такие слова за чайным столом.

Ольга Адамовна курила всё больше, делая это с каким-то остервенением. Хватала пачку папирос цепко, чиркала спичками так, что те ломались, и коробок быстро пустел. За первым винтом после ареста Веры сидела как каменная, а за вторым вдруг взяла да расплакалась. Увидев это, заплакала и Любовь Александровна, а Марья Николаевна принялась ломать руки, как настоящая оперная дива и, если бы не сложившиеся обстоятельства, была бы смешна. Надежда же Михайловна, давно пережившая смерть сына, одна не плакала и не ломала рук, а только сказала, что хорошо чувствует себя только на кладбище, и на нее все замахали руками.

– Надя, если ты умрешь, и винту конец. – Робко, но и со странной надеждой сказала Любовь Александровна.

Пропала Вера, хоть и была жива, но для Бориса это было неважно. Ему без Веры было хорошо. Теперь, когда она так эффектно сгинула, усмехнулся и покрутил головой. У него свои проблемы имелись: Ольга Николаевна требовала решительного наступления на Розу-Таню, а та, к удивлению Бориса, перестала даваться в руки. Неприступная стала: не гонит, но и не приближает. Борис так честно и сказал Ольге, и та поморщилась.

– Не хочет любви? Ты же говорил, что она наивная дура.

– Говорил.

– Ну?

– А сейчас всё другое. Понимаешь, она имя сменила. Черт-те

сколько по кабинетам бегала, и теперь у нее новый паспорт. Бессмыслица какая-то.

– Так она, наверное, ненормальная, в мать, – предположила Ольга. – Жаль. Если бы ты на ней женился и прописался, потом мог бы развестись и квартиру разменять. Думаешь, зря время тратишь?

– Похоже на то.

Вскоре после этого разговора столкнулся у Розы с Петуховой. Вот это была девчонка! Весь вечер проохотали и, выйдя от Розы, Ира Петухова дала Боре свой телефон. Еще через неделю они уже целовались в подъезде, а через две – Борис чопорно пил чай с ее родителями. В конце концов, не всё ли равно – Роза или Ира?

– Дурачок. – Сказала Ольга. – Роза – сирота, а Петухова с родителями живет.

Оп-ля! Вот она какая, Ольга Николаевна. Отвесить бы ей пощечину, чтобы не смела. Борис взглянул и смолчал. Как всегда. Моя посуда и стеля постель после того, как Ольга Николаевна, застегнув черные ботинки на своих изящных щиколотках, отбыла под мужнино крыло, думал про то, как в романах любовники убивают возлюбленных и что из этого выходит. Можно Ольгу просто бросить и ничего ему за это не будет. Жениться на Петуховой, допустим. Она ничем не хуже Ольги. Даже моложе. Глупости: дура она пресная, а Ольга... Набрал в грудь воздуха, взглянул в окно, где начинали желтеть листья, и сказал для чего-то вслух:

– Ольга – это судьба!

И, конечно, испугался звука собственного голоса в пустой комнате. Нет, не пустой. Когда говоришь сам с собой, всегда что-нибудь да есть. Мебель, всеми своими дверцами и ящиками, зияющими скважинами, ручками и ключиками, посмотрела на него с укоризной: при нас молчи, не разжимай губ.

Жизнь шла, а Вера сидела. Мама приходила на свидания. На втором сказала:

– Как ты могла с нами так поступить?

Мама от собственных слов расплакалась, а Вера, сжав губы, молвила:

– Уйди.

Разве это мама? Тюремные стены, километры железнодорожных путей, глухие леса Мордовии или что там может быть – степи? Одним словом, то, что даже и вообразить невозможно, стерло Веру, как ластиком, с листа тетрадки. Впрочем, осталась шероховатость.

Лидия Петровна махнула рукой на Августу Кох и ее энергичную деятельность ей же, Лидии Петровне, во благо. Пусть идет, как идет. Если Августе делать нечего, кроме как беспокоиться о судьбе бывшей Витичкиной любовницы, так она как душой была, так и осталась. И Казахстан не помог. К удивлению Лидии Петровны, не очень-то

верившей в успех задуманного, Августа добилась своего и однажды, прилетев в школу в крайнем возбуждении, выпалила с порога:

– Люлька, собирайся, завтра же идешь со мной насчет комнаты. Тебе дают. И в ателье берут приемщицей. Тебя одеть надо срочно.

Тут сделался сумасшедший дом. Совершенно не стало времени мести двор, и Лидия Петровна охотно плюнула на это занятие. Еще, можно сказать, накануне подбирала ревностно каждую соринку, а теперь – вышел Николай Иванович поутру на службу, а всё – не то, не украшает Лидия Петровна собою школьный двор, не шаркает метла: вольно летает мусор, а ей и дела нет. Пришла к Зинаиде Ивановне и аккуратно положила заявление об уходе. Заметьте, со змеиной улыбочкой зашла, высоко и нагло держа голову. Так, во всяком случае, показалось Зинаиде Ивановне, которая, подмахивая заявление, испытала чувства сложные: как женщина она, разумеется, торжествовала, оставив за собой поле битвы, а вот как администратор оказалась вновь без дворника – и где его прикажете брать?

Так или иначе, ведомая твердой рукой Августы Кох, которая повсюду ходила с Лидией Петровной, словно та была дитя малое, Лидия Петровна благополучно прошла через вереницу кабинетов, где была принята сочувственно и где, строго в рамках закона, ей дали всё то, что она мечтала получить. Комната в мало населенной коммуналке оказалась светлая, приличная. Не в центре, но и не на окраине. Августа сшила ей строгую, но очень ладную юбку. Раздобыли парочку блузок. Одну, вместе с дешевенькой, но приличной брошкой, дала Анна Григорьевна, вытащив заваливавшееся это добро из старого чемодана. Она нарадоваться не могла, что Лидочкина жизнь вдруг взяла да наладилась. Лидия Петровна посетила парикмахерскую, где было решено, что ничто не сравнится с благородной сединой и краситься не стала. Наконец Августа торжественно, сияя от гордости за собственное благородство, подарила Лидии Петровне хорошую помаду.

И вот, черт возьми, какое преображение! Можно сказать, даже не в бытовом, а в высшем, религиозном смысле. Сама Августа с благоговением посмотрела на дело рук своих. В ателье на приемке стояла дама немолодая, но до того элегантная, что у клиенток возникали смутные мысли, что так, кажется, было при царе или в кинофильме «Весна». Одним словом, благодаря так и не купленному Лидией Петровной мулине, предназначавшемуся в подарок зечке, жизнь ее чудесным образом изменилась именно в тот момент, когда она мысленно сказала самой себе: «Это тупик». Головокружительный поворот и, как говорится, Лидии Петровне поперло. Всё, абсолютно всё сложилось, и зажила Лидия Петровна, высоко неся голову, – так, как хотели бы многие, – то есть обыкновенно. Потому что и сестра Катя, прахом лежавшая теперь на кладбище, и дворницкая метла, и матрац под столом Ольги Адамовны – все эти унижительные обстоятельства, мелодраматичные и пошлые, так думала о них Лидия Петровна, остались позади и не бросали более на нее тень.

Более того, Лидия Петровна вдруг многим понадобилась. Раньше, только вернувшись, была в лучшем случае помехой, а то и просто пустым местом – документом без лица: паспорт, трудовая книжка, милицкий протокол и быстро закрытое дело о нападении на бытовую почву, совершенным душевнобольной. Благодаря помощи Августы, Лидия Петровна обрела плоть и кровь. Став человеком с собственной жилплощадью и приличной работой, она поразила, в первую очередь, собственного сына. Борис помог с переездом, а узнав, где Лидия Петровна теперь работает, вновь восхитился, как тогда, когда стоял, задрвав голову, перед домом Екатерины Андреевны.

– Ну, мама, у тебя девять жизней.

– Ты думаешь?

– Хочу познакомить тебя с одной... знакомой.

И привел к Лидии Петровне Ольгу Николаевну. Лучше бы не приводил. Лидия Петровна вела себя корректно, как умеет всякий приличный человек, но закрыв дверь, конечно, не расплакалась, разумеется, нет, но почувствовала себя ужасно. Пока сидели за столом, ей всё мерещилось, а быть того не могло, что Ольга Николаевна примется орать матом, схватит Лидию Петровну за шкуру и поволочет казенными коридорами. Ольга Николаевна отродясь ни в каком лагере не бывала, а если что и было на ее совести, так только смерть сотрудника НКВД, чем мало кто мог похвастаться, а всё же несло от нее органами, и этот дух, не вытравляемый ничем, чутко уловила Лидия Петровна. Горшей обиды сын нанести не мог. А пришлось проглотить. И встретиться с Ольгой Николаевной, которой очень по вкусу пришлось неброский ее стиль: такую даму всегда прилично посадить за стол.

Так и взялись жить. Лидия Петровна вскоре стала вовсе своей в доме адвоката Бориса Михайловича. Ольга Николаевна, гордая и счастливая самым большим женским счастьем, проникла в пещеру Али Бабы, где царствовала великая и ужасная Августа Кох, которая, однажды – в точности, как и Лидия Петровна, – обнаружила себя перед румяной кулебякой в компании Бориса Михайловича, с одной стороны, и Лидии Петровны – с другой. И многие другие достойные люди сидели за тем же столом, и было немного чадно, и накурено, и шумно, и морозный воздух врвался в плотное тепло застолья через открытую форточку.

Зечка осталась где-то там, за двойными рамами с поблекшими бумажными розами на пожелтевшей вате, и Лидия Петровна к ней уж не захаживала: прибилась к сыну, к его жизни, часто напоминавшей ей своею неправдой ее собственную. Возвращаясь от Ольги Николаевны под руку с Августой морозным вечером уже возле самого метро, сказала:

– Знаешь, – и замолчала. – Знаешь, а я их ненавижу и к ним хожу. Как ты думаешь, это из-за Борьки?

Августа стала шарить в сумочке в поисках сигарет и молчала, пока не нашла сигареты и спички, а прикурив без труда в холодном безветрии, ответила:

– Конечно из-за Борьки. Ты лучше меньше об этом думай, и тогда всё будет хорошо. Девочка у нее славная. Плохо только, что у него своей семьи нет. Вряд ли она родит, а то были б у тебя внуки.

Между тем ни Августа, ни Лидия Петровна не знали о тех усилиях, которые, Ольга Николаевна силой мысли, а Борис молодым действием, совершали в попытке Бориса женить, прописать у кузины Тани-Розы, развести новобрачных и разменять чертову квартиру Екатерины Андреевны. Всё напрасно. Не клюет и всё тут. Заход с Петуховой тоже оказался в никуда. Мало того, что не понравился Ольге Николаевне, не одобрявшей отсебятины любовника, но, и это в первую очередь, Борис из дома Иры Петуховой был изгнан, правда, без позора, однако совершенно недвусмысленно. Ира сказала:

– Не звони больше. – И повесила трубку.

Ну, Боря, разумеется, взялся звонить, и еще как звонить, пока ледяной голос ее папаши, сняв трубку и на слова: «Позовите Иру» – пригрозил милицией. Тут Бориса, конечно, ветром сдуло. Вот вам и тайна. Что случилось-приключилось? Вчера целовались, а сегодня от ворот поворот. А никакой тайны. Просто Борис не присутствовал во время домашней сцены, когда отец сказал Петуховой:

– Чтобы, Ирка, этого прощелыги духу не было. Так и втирается кот. Я не дам тебе жизнь испортить.

Петухова вздумала плакать и проплакала всё воскресенье, но вынуждена была, обдумав всё, что знала о Борисе от Таньки, признать, что отец прав. Хотя, конечно, и не совсем. Нет, Ира Петухова не могла допустить, что кто-то может целоваться с ней не из-за сладости ее губ, а из-за квартиры и положения отца. Никогда и никогда. Такова была Ира Петухова: тень сомнения, посеянная отцом, положила конец еще не начавшемуся роману. А вдруг папа неправ, и они любили бы друг друга? Неизвестно, ничего не известно.

Пришлось снова Борису плестись к Тане-Розе в надежде не встретить там Петухову. Петуховой не было, а была какая-то ненормальная тетка, шепелявая поэтесса из Ташкента. И где только Танька их берет. Странная эта... – Борис не понимал, как ее определить: женщина, тетка, баба, девушка? Всё было не в масть, хотя пол поэтессы он определил без труда, но в уме своем наименования не нашел и так и стал про себя звать поэтессой. Так вот, странная эта поэтесса совершенно не давала возможности завести с Танькой тот род разговора, который должен и мог бы, по его представлению, привести к обсуждению чувств их обоих, поскольку нужно же было как-то двигаться вперед. Роза-Рахель то ли ничего не понимала, то ли нарочно всё торчала и торчала за столом, всё нудила и нудила монотонно и шепеляво, впрочем, не про стихи, чего можно было бы ожидать, а о своих собственных обстоятельствах, Борису точно не интересных. Возможно, она делала это нарочно. Склонный по себе судить о других, Борис с досады подозревал в этом и поэтессу и был, разумеется, неправ.

Солоно пришлось Рахели в Москве. Хорошо, что хоть жилье под-вернулось. Спасибо случайной попутчице. У Рахели в записной кни-жечке, кроме стихов, был список тех, кого следовало обойти в этом необъятном городе в поисках работы. Она и ходила, и сидела то в при-емных, то в прихожих, а то и за чайным столом. Набегавшись за день, уже собралась, было, нырнуть в подъезд под светлые очи Ирины Ивановны, которой опасалась, но была остановлена двумя молодыми людьми с такими глазами, что сердце чуткой Рахели рухнуло сверху вниз до самых ее мужских сандалий. Предложили проехать и, когда проехали, в теплом кабинете посадили на жесткий стул с очень прямой спинкой и тут же допросили. Рахель, в своем поэтическом эгоизме, уже совершенно позабыла Веру. Тут-то ее и огорошили, потребовав расска-зать об этой самой Вере из поезда всё, что ей, Рахели, известно.

О, если бы у нее было время всё обдумать и подготовиться! Никогда бы они не взяли ее голыми руками. Слишком умна была Рахель. Но – и в этом сила органов – никто не собирался давать ей время на подготовку. Еще чего. И Рахель, к собственному своему ужасу, пытаясь прикусить язык, чувствуя ужас и стыд, выложила всё как было, то есть вывалила подробный рассказ о том, как ехала с Верой сутки, как проговорили весь день и всю ночь, и как Вера без утайки рассказала о побеге. Допросили, записали, поставили число и подпись, и она поставила, и отпустили. Выйдя на улицу, Рахель поняла, что ноги ее не идут. Доплелась до ближайшей скамейки, села и сидела с таким видом, что прохожие оглядывались. Холодно было так, что для того, чтобы присесть, нужно иметь серьезное основание. У Рахели оно было: ноги не слушались, а нужно было пойти купить веревку и на ней удавиться. Бутылочным штопором в мозг вошла мысль: «Как же она теперь будет писать стихи? А никак. А зачем тогда жить? А незачем. Сейчас же на вокзал, купить билет и в Ташкент. Платить по счету. Денег нет и взять нигде. Прийти к Розе, с рвущим уши звуком отодрать заклеенные окна, с силой дернуть разбухшую раму, потом на подокон-ник и вниз».

Поехала обратно и пока ехала, поняла, что ничего не отклеит, никуда не встанет и никуда не кинется. От этого стало совсем худо, но и значительно легче одновременно. Вот тут-то и пришел Борис, и Рахель выплыла из своей оболочки, а оболочка открыла рот и загово-рила и говорила весь вечер на горе Борису.

Результатом невольного предательства стало то, что Рахель дала телеграмму в Ташкент с просьбой прислать деньги, затем купила билет и, уже буквально запрыгивая в поезд, чтобы вернуться в Узбекистан и там, надев власяницу, замаливать грех, получила пред-ложение работы в отделе писем уважаемого журнала. Ну как тут уедешь? Зато, не говоря ни слова, собрала чемодан и съехала от моло-дой своей хозяйки. Подальше, за город, в домик без удобств с дрова-ми и печкой, чтобы промозглой электричкой ездить каждый день на работу. Необязательный этот поступок вызван был смутными ощу-

щениями, послушаться которых Рахель не посмела. Впрочем, следует отметить, что в роскошном этом доме она чувствовала себя и без всякого допроса не в своей тарелке. Особенно ее смущала Ирина Ивановна – впрочем, совершенно беспричинно.

Вернувшись с работы, Роза-Таня нашла на кухне аккуратную записку и ключи. Из записки было ясно, что Роза-Рахель сбежала, подгадала так, чтобы не нужно было давать объяснения, а почему сбежала – неизвестно. Таня бы расплакалась, а Роза только поджала губы и прогнала из сердца тот суррогат тепла, который придумала себе из-за сходства Розы-Рахели с мамой. В тот же вечер пришел Коля-милиционер, и как-то так всё повернулось, что после чая он сделал Розе предложение, которое она тут же и приняла. Приняла оттого, что Роза-Рахель так неприятно исчезла, и осадок от ее записки нужно было чем-то заесть. Заела Колей. Той же ночью лежала без сна и думала: вот была мама – и сердце сжималось поминутно от страха, как у лабораторной крысы, которую все бьют и бьют током; потом появилась Лидия Петровна, которая, вроде бы принесла с собой облегчение, но как-то половинчато и смутно, зато настороженности прибавилось; потом – целая буря: Борис и близнецы с пятого этажа, и сердце рвалось надеждой и обидой, и в Колю сверху, кажется, влюбилась... Тогда казалось – точно влюбилась, а сейчас лежала и сомневалась. А потом – Вера и мамина смерть, и опять любовь к Коле с пятого. Или нелюбовь? И радость, что мамы больше нет, а может, и не радость это была. Обо всем этом думать было больно. Как хорошо, как правильно она поступила, поменяв имя, бросив институт. Теперь она никогда не впустит в себя эту боль, электрический ток, которым все они так долго ее мучили. Теперь она другая, ходит на завод каждый день. Туда, где чисто, светло и одинаково. И теперь она всегда будет держаться за свой цех и за своего Колю, за его милицмейскую форму, в которой, всегда одинаковой, он станет приходить и уходить каждый день. И никто не станет читать стихи, не похожие на Пушкина. С чего она взяла, что Роза походила на маму? Нет, померещилось.

– Не пойду я больше к Таньке. – Говорил Борис, упрямо мотая головой, когда Ольга Николаевна в очередной раз потребовала от него действий.

Ольга Николаевна от принятых решений не отступала и в отношении Бориса сложила в голове стройный план на много лет вперед. Из того, что он рассказывал о Тане-Розе, поняла, что влюбить робкую и безвольную девушку, одинокую и недалекую, будет просто, если принять во внимание, какой Борька красавчик. И удержать его она не сможет: с Ольгой Николаевной, что ли, тягаться? Однако, зная своего возлюбленного вдоль и поперек (или ей так казалось?), совершенно не приняла в расчет то обстоятельство, что об объекте совместной охоты знала с его слов, цена которым – известная. Сглотнула и дове-

рилась. Но не самой же ей очаровывать Таню для любовника? Это уж совсем странно.

Борис упирался, а всё же пошел и вернулся с известием, что вышло невероятное: Танька замуж выходит, и дома у нее сидит милиционер, и сапоги его в прихожей. Ольга Николаевна так и села на колченогий стул в их с Борькой гнездышке и, не снимая пальто, расхохоталась. Она тыкала в Бориса пальцем и, давась смехом, говорила:

– Сапоги! Ну, надо же, сапоги в прихожей!

Борис не понял, почему какие-то сапоги, разумеется, удивившие его, но не привлечшие особого внимания, вызвали у Ольги приступ смеха почти гомерического. Отсмеявшись, Ольга Николаевна скинула пальто, порывисто опустилась перед ним на колени и, притянув его голову, стала целовать мелкими-мелкими поцелуями.

– Ну, ничего, забудь, наплевать. Сапоги так сапоги. Мы и без этой квартиры с тобой проживем, всё у нас будет хорошо. И даже еще лучше – мы тебя на очередь на жилье поставим и будем двигать быстро-быстро. Мы ведь с тобой навсегда, правда? – И заглянула в глаза.

– Правда. – Сказал Борис и тоже обнял Ольгу и был благодарен ей, что больше не шлет к Тане, что целует и что с ней и возле нее ему не страшно.

Лидия Петровна приняла Ольгу как факт. Всё было очевидно, а спроси она – и можно получить ответ, с которым неизвестно, что делать. Такого ответа Лидия Петровна опасалась и была права: со сложностями она покончила. Впрочем, случиться может всякое. Она очень обстоятельно вошла в надежную повседневность, и навещать сретенских времени было мало. Заехала пару раз, огорчив Анну Григорьевну тем, что не позвала жить. Анна Григорьевна, разумеется, не оставила бы Олюшку, но ей хотелось, чтобы дочь предложила.

– Хорошо, что ваша Лида наконец устроилась. – Сказала Ольга Адамовна.

– Да, я так рада. Кажется, мучениям ее конец.

– Ну что ж, прекрасно.

– Она звала меня к себе, но я, Олюшка, тебя не брошу, если сама не прогонишь.

Ольга Адамовна опустила в суп ложку, которую было поднесла ко рту, и сказала:

– Вот – вы всегда суп недосаливаете, а это убивает вкус.

– Так посоли, Олюшка.

– Посолю, а вы, пожалуйста, больше ерунду не говорите. Борька съехал, теперь вы собрались? Я в этом подвале одна сгнию.

Анна Григорьевна обвела комнату взглядом.

– Нам тут теперь просторно.

Ольга Адамовна кивнула:

– Описала я круг. Когда сюда въехала, этой стенки не было. Наняла человека, чтобы комнату поделил, вышла почти квартира. Денег еле

наскребла, а словно чувствовала, что найду вас с Борькой. Хотела бы я на его пассию посмотреть... Сначала Верочка, потом откуда ни возьмись какая-то совсем другая женщина... Он вам ничего не говорил?

– Нет. К сожалению. Это, Олюшка, обидно.

– Не обижайтесь. Всё равно со временем всё узнаем.

В тот же день зашла Лидия Петровна, которой сегодня удобно было, сделав небольшой крюк, ехать не сразу домой, а на Сретенку. Отделившись окончательно от матери и Ольги Адамовны, а также от их мрачного полуподвала, который, возможно, напомнил бы Марье Николаевне каземат, в котором она сидела в восемнадцатом году, Лидия Петровна ощутила, что прежнее раздражение покинуло ее, и спуститься по ступенькам вниз, пройти сырым коридором мимо соседских дверей, услышать звук гулко спускаемой воды в здешнем клозете, пропахшем хлоркой, не составляет более никакого труда. Она открыла дверь с легким чувством и не заставила себя улыбаться, а улыбнулась, увидев Ольгу Адамовну и мать за тем самым столом, под которым ей прежде приходилось спать.

Лидия Петровна, как уже говорилось, всё последнее время была очень занята благодаря усилиям Августы Кох и к сретенским заглянула всего пару раз, Ольгу Адамовну не застала, и поэтому новый облик Лидии Петровны, очень свежий и приличный, был для Ольги Адамовны в диковинку. Она, конечно, удивилась, но мимолетно, потому что не очень-то придавала значение внешности. Лидочка пришла, и Анна Григорьевна тут же засуетилась, поспешила ставить чайник, предложила разогреть обед и скрылась на кухне, а Ольга Адамовна, оказавшись с Лидией Петровной наедине, посмотрела ей в лицо, и в лице этом увидела что-то, отчего раздражение пропало, и язвительные слова, которые в прежних обстоятельствах не заставили бы себя ждать, так и не были сказаны. Ольга Адамовна сказала:

– Я вижу, вы устроились.

– Да, представьте.

– Рада за вас. Затея пойти в дворники была сомнительной. Все-таки это не для вас.

– Почему не для меня? Для меня. Не хотела ни от кого зависеть. Мне это было тяжело.

Ольгу Адамовну так и подмывало напомнить про отвратительную авантюру с переездом к сестре Кате, но она вновь сдержалась, не стала нападать на Лидию Петровну. В конце концов, бог с ней. А всё же спросила:

– Вы с дочкой Екатерины Андреевны не видите?

– Нет.

– Борька сказал, она замуж выходит.

– Таня? Он не говорил.

– А у нас был третьего дня – и вот, принес новость. Я думала, вы в курсе.

– Нет, но рада за нее: она намучилась с матерью. А кто жених?

– Не знаю, Анну Григорьевну спросите, все подробности наверняка у нее. Вот как складывается: одна замуж, а другая по этапу. Просто сердце рвется.

– Кого посадили? – Спросила Лидия Петровна севшим голосом.

– Как, вы не знаете? Веру.

– Веру?

– Веру, с которой у Борьки была такая любовь.

– Веру. – Пауза. – За что?

– Ха! – Ольга Адамовна смяла пустую пачку «Беломора» и бросила ее на стол. – 58 часть 1. Измена родине.

– Вы смеетесь надо мной. – Уверенно сказала Лидия Петровна. Где Вера, а где родина.

– Ничуть. Если бы я могла так пошутить! Но нет, так и есть. Отправляют этапом в Мордовию.

– Я думала, всё кончилось.

– Как видите.

– Но как же это? – Ольга Адамовна только развела руками. – А что она сделала? Я вообразить не могу.

– Адвокат сказала, попытка бегства из страны.

– Вы шутите.

– Нет, это адвокат, видимо, шутит.

– Ну и что же теперь, что семья? Я ее очень хорошо помню тогда, когда Катя на нее напала. Цыпленок... Сидит испуганная, вся нахохлившись...

– А семья не в себе. Подруга моя, Любочка, наделала в штаны и боится, что дачу отберут. Сын с невесткой – просто ни рыба ни мясо. За Веру биться надо, а они... голову в кусты. Я что могла, разузнала, собираюсь посылки девочке отправлять.

– Знаете что, Ольга Адамовна? Я в доле. – Лидия Петровна вовсе не имела в виду это говорить, а вышло само собой.

– Серьезно? – Ольга Адамовна не мимо, как она делала всегда, а прямо в глаза глянула Лидии Петровне. – Ну что ж, давайте список составлять. Вы недавно оттуда, так что диктуйте.

И они взяли оставшуюся после Борьки тетрадку и вырвали из нее лист, и нашли карандаш, и записали всё, что могло понадобиться Вере. Жизнь Лидии Петровны и Ольги Адамовны неожиданно наполнилась смыслом. Она стала простой и понятной, основывалась на простых и понятных вещах и вытекала из опыта. Когда же Вера вернулась из лагеря и жить ей было решительно негде...

Владимир Яськов

Испытание боли

ПРОСТИ

жил-был кот однажды умер
мы с ним были двое в сумме
я остался невредим
и потом теперь один

днем лежу курю читаю
не осилю ни черта я
мысль невнятную одну
выпью и опять засну

сколько дыма в сигарете
кто тут спал на табурете
сколько рюмок впереди
и болит зачем в груди?

ну а главное в вопросе
для чего меня он бросил?
я наверно идиот
надоел ему – и вот

даже спать противно трезвым
может мне себя зарезать?
и тогда отстанет боль
было двое станет ноль

2024

ПАМЯТИ АЛЁШИ

переход на ту сторону прост и ничем не отмечен
просто шаг в никуда
просто раз навсегда отменяются планы и встречи
как в метро поезда

и уже без тебя объявляется ночью тревога
и под утро отбой
а в субботу друзья соберутся и выпьют немного
но уже не с тобой

но не слышишь и ты как в квартире твоей кто-то воет
глухо стонет во сне
одиноким теперь навсегда (даже если их двое)
ты – на той стороне

2024

ПРОСЬБА

вседержитель амнистии
и щедрот скопидом
чей характер неистовый
мы выносим с трудом

не жалея не жалуя
просто так без причин
ты лишь мудрость лежалую
нам на время вручил

и за это и прочее
я тебя не прошу
но как камни ворочая
напоследок прошу

подрумяненным облаком
побледневшей луной
всем неузнанным обликом
просияй надо мной

чтобы всё что отвергнуто
и досталось другим
опьянило как вермутом
хоть на миг дорогим

2002, 2024

НОЧНАЯ ТРЕВОГА

колокольная высь отбывает на сумрачный север
корабельная скрипка тоски отплывает на юг
на глазах прорастает не то что когда-то посеял
и ладья перевозчика носит название каюк

наши дни близоруки а ночи бессонны и зорки
оглядишься кругом: ни родных ни врагов ни друзей
так ветшают дома зарастают полынью задворки
укрошается страсть отправляется муза в музей

и когда обложные дожди как монголы под киев
подступают с востока и тёмные песни поют
мы взрываем мосты но не помним ни кто мы такие
ни зачем родились ни за что нас сегодня убьют

но потом когда нас опознать даже жены не смогут
мы вернемся туда где травой поросли пустыри
чтоб на ощупь в воронках холодную воду потрогать
и о чем-то неважном с мышами молчать до зари

2023

ОСЕННИЕ СТАНСЫ. 2023

1.

в незакрытой раме
лопнуло стекло
меж двумя мирами
время истекло

память не зарница
среди полярной тьмы
всё что сохранится
сочинили мы

никогда не верьте
правде между строк
в фирменном конверте
ложь наискосок

но и ложь порою
меньшее из зол
наш позор прикроют
супесь и подзол

лишь бы ложь казалась
чем всегда была
лишь бы не касалась
битого стекла

полосует стены
раскалённый град
ходят постепенно
ходики назад

и когда наступит
полночь на живых
пулевых на трупе
больше ножевых

2.

обнимались ветками
в роще дерева
голыми некрепкими
проще горевать

просто чтобы вспомнили
их из-под земли
те кто стали б клёнами
если бы смогли

вечер осторожничал
ветер не дремал
тем деревьям в рощице
ветки обломал

и ушел насвистывая
пьяненький мотив
ты ж моя неистовая
а я невозмутим

и смотрело облако
наземь свысока
и другие около
плыли облака

мятным лунным мячиком
забавлялась ночь...
...просто это значило
всем нельзя помочь

2023

ПЕРСПЕКТИВА

так стекает по стеклу слеза
осенью под вечер
так бредут куда глядят глаза
в упование встречи

так наверно спят в ночной глуши
тени под крестами

так не станет скоро ни души
но не перестанет

отражаться в омуте звезда
стрекотать цикада
проводя к фронту поезда
ухать канонада

шелестеть над павшими трава
щебетать дорога...
может смерть по-своему права
что не судит строго?

...в сумерках мне видно лишь одно
с моего насеста
времени в земле полным-полно
и навалом места

2023

ОСЕННИЕ СТАНСЫ. 2000

и негра сиреневый ноготь
и в ветках синичья возня –
любая подробность растрогать
способна сегодня меня

вгляжусь ли в листву под ногами
в закатное небо вдали
упущенный день – как пергамен
что мы разобрать не смогли

и всё-таки что-то мешает
предать это чувство огню
пусть наша надежда ветшает
как лес что истлел на корню

незримость – отнюдь не причина
не верить в то что воскрес
невидимость – чем не пружина
предательства злодейств и чудес

и пусть никому не поможет
в руках полудетских праща
но главное в жизни быть может
готовность жалеть и прощать

2000

Владимир Батшев

Белым по черному

*Роман**

PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ, ЗУЕВ, СИТРОЕН

Нигде нет места, набережная Жавель, бывший снарядный завод – мсье Ситроена, каждые шесть минут – новый автомобиль.

На последние деньги отдал в чистку костюм, надраил штиблеты и пришел на завод. Он знал пять языков – французский и немецкий с детства, английский и итальянский выучил в университете.

Главный администратор в очередной раз встретил недоверчиво. Ухмыляясь, протянул Георгию рекламный буклет и попросил перевести на английский. Когда тот перевел, не отрываясь от листа, администратор попросил перевести на немецкий.

– Вы нам подходите, – сказал он, прослушав перевод. – Тем более, князья в нашем бюро еще не служили.

Олонецкой хотел возразить, что в бюро, может, и не служили, но рабочими трудятся представители многих старинных дворянских фамилий. Но смолчал.

– Как ваше имя?

– Как у Клемансо.

Секретарша хихикнула. Администратор улыбнулся.

– Надеюсь, вы не претендуете на зарплату Клемансо?

– Почему бы и нет, – пожал плечами Юрий.

Администратор хмыкнул.

– Для начала... – он потянулся к бювару и достал листок бумаги, на котором вывел несколько цифр. – Вот это.

– В неделю? – нагло поинтересовался претендент.

– В месяц. Но в конце года будет прибавка.

– Большая?

– Не обидитесь, Жорж.

– Не знаю, не знаю...

– Перепечатайте ваши анкетные данные на машинке и принесите в понедельник, – сказали ему.

Девушка, сидящая за бумагами, шепнула Юрию:

– Вас берут на год и на полставки.

Юрий благодарно погладил ее по плечу.

* Окончание. Начало см.: № 317, 2024; № 318, 2025.

– Хотя бы так.

Кока Зуев, который теперь работал в сборочном цехе, советовал ни о чем не спрашивать на заводе и ни с кем не полемизировать.

– Там коммунистический профсоюз, понимаешь? Нет? Не так поймут, а еще хуже – заподозрят...

– В чем заподозрят? – не понял Олонецкий.

– В чем угодно. Мы же русские. А русские для французов – сплошь большевики.

– И я, князь Олонецкий, похож на большевика? – возмутился Юрий.

– Жоржик, не митингуй! Я же не француз, тем более, не начальник в конторе мсье Ситроена. Лучше изображай мечтателя. Не понял? Того, который мечтает о собственном автомобиле.

– Я не хочу быть шофером.

Зуев вздохнул, он накопил достаточный опыт – несколько месяцев работал в сборочном цеху завода.

– Я не о шоферах, а об автомобиле. Хочешь иметь собственный автомобиль?

– Мне наплевать.

ПАРИЖ. ОСЕНЬ 1934. МИШЕЛЬ

Моросит.

Сакре-Кер как за сеткой.

Серая машина, знакомое лицо!

– Здравия желаю, ваше превосходительство.

– Здравствуйте, господин поручик. Как дела, Михал Михалыч?

– С утра неплохо, а сейчас пассажиров второй час нет.

Понимающе кивает генерал Иван Георгиевич Эрдели и уезжает своих пассажиров выискивать. Какие мы генералы и поручики?! Бывшие, бывшие...

Он не мог придумать название погоды. Ни зима, ни весна, ни осень. А просто – мокрая погода. Других определений не придумывалось. Но вспомнил, как во время войны, в феврале девятнадцатого, их сотня приехала на смотр, и дождь лил и лил, и все они промокли, несмотря на шинели и башлыки. И он в очередной раз ругал себя, что согласился ехать на лошади, он не любил конную езду, ему почему-то становилось жалко лошадь, и лошадь словно понимала его состояние, поворачивала голову и подмигивала всаднику – дескать, не страдай, доедем до места и оба отдохнем. Хотя, судя по опавшим листьям, – чистой воды осень. И по лужам – осень. И температура – пять градусов тепла, запомнил, когда проходил мимо аптеки, – осень.

Мишель останавливает свой автомобиль около мужчины, который стоит на тротуаре и держится двумя руками за спинку старого дивана. Диван не кажется старым, а такой и есть – обивка потускнела и местами потрескалась, деревянные поручни не казались такими, а

потемнели. По таким диванам разгуливают клопы, прыгают блохи и шевелят усами случайно забредшие в гости тараканы.

Владелец дивана машет рукой – он не нуждается в такси.

На одной из скамеек пустынного бульвара, у входа в метро, сидит неопределенная человекообразная фигура, завернутая с головой в старые порыжелые одеяло и пледы. Рядом с ней лежит такой же грязный мешок, набитый тряпьем и бумагой, из него торчит горлышко бутылки «пинара». Странное существо окликает машину слабым и хриплым старческим голосом.

Мишель останавливается.

В куче покрывал он с трудом находит лицо, если только то, что он видит, можно назвать лицом. Оно всё заросло седой и грязной щетиной, и у волосатой морды, почти звериной, уже нельзя разобрать ни бровей, ни усов, ни бакенбард, ни бороды, – всё смешалось, и только широкий, приплюснутый нос, тоже с волосатыми бородавками, и маленькие, красные, слезящиеся глазки выделяются в центре. Старик высвобождает из-под одеяла заросшую грязью руку и сует бумажку с адресом.

– Посадите меня в вашу машину и отвезите домой...

Голос его звучит повелительно и капризно. Так приказывать может только человек, кошелек которого далеко не пуст. Шофер повинуется и с трудом подтаскивает его к такси. От старика пахнет перегорелым алкоголем, чесноком, клозетом.

– Не забудьте мой мешок, – приказывает старик.

Мишель подает ему мешок и садится за руль.

Путь ведет в предместье Парижа, к маленькому одноэтажному, грязному и мрачному домику. Мишель вытаскивает незнакомца из такси и подводит к двери.

– Зайдите, – предлагает старик и отпирает дверь.

Они оказываются в большой комнате, сплошь заваленной старой пыльной и ломаной мебелью и всяким хламом. В углу, прямо на полу – пружинный матрац с совершенно черной от грязи подушкой. Воздух в комнате ужасен. Старик зажигает свечку и, сев на матрац, медленно освобождает себя от своих «семи покрывал».

Мишель стоит посередине комнаты, пораженный видом жилища этого парижского Плюшкина, и молча, с любопытством наблюдает за ним.

Вот целый жизненный, обособленный для всех, мир человека, со своим, может быть, очень длинным и интересным прошлым, со своим жутким настоящим и, как казалось, уже близким и совершенно ясным будущим – которое, вне сомнений, уложится в нескольких лаконичных газетных строках: «В доме номер такой-то, на такой-то улице соседями случайно обнаружен в куче грязного тряпья и одеял труп старого нищего. В старом матраце полицейские власти нашли на сотню тысяч франков банковских билетов и выигранных облигаций».

– Сколько у вас на счетчике? – хрипит старик.

Шофер сообщает.

Плюшкин вытягивает из кармана несколько пригоршней мелкой монеты, отсчитывает то, что полагается шоферу, и с сожалением протягивает деньги...

– Вот... Это, конечно, очень обидно, что теперь мне приходится оплачивать «расходы по передвижению», но ничего не поделаешь... Старость берет свое... Вот, нате...

Деньги старого скряги Мишель берет с особым удовольствием. Сколько соотечественников могли бы спасти от гибели его «матрачные закопы».

Старик поднимает свечу.

– Послушайте... – говорит он, – у вас довольно приличная физиономия... По крайней мере вы мало похожи на грабителя или убийцу...

– Благодарю вас за комплимент... – улыбается Мишель и думает о том, что степень симпатичности лица шофера имеет немалое влияние на сумму его дневного заработка.

Он часто замечает, что клиенты, нанимая шофера, пытливо всматриваются в его лицо: они невольно, сами того не сознавая, ищут «человека».

Он знает одного слесаря в большом гараже. Это добродушный и смиренный парень, но судьба наделила его гориллообразной и жуткой физиономией. Он был раньше шофером, но ему пришлось бросить эту профессию, так как прохожие избегали его нанимать.

– Мне кажется, – повторяет старик настойчиво, – что вы не грабитель и не убийца...

– Вы не ошибаетесь, месье, – отвечает Мишель вежливо и серьезно, – я действительно и не грабитель, и не убийца.

– Вот такой именно шофер мне и нужен... – объявляет старик важно, как будто он директор банка. – Если хотите, вы можете приезжать за мной ежедневно, к концу дня на то самое место, где вы сегодня меня нашли... Вы будете иметь определенного и аккуратного клиента, а я – шофера, которому можно довериться...

Мишель согласен и, пожелав спокойной ночи, с наслаждением вышел из берлоги на чистый воздух.

Назад пришлось возвращаться порожняком, но за барьером его тотчас же окликают новые клиенты. Очень приличная и элегантная пара. Он – человек средних лет, с бритым, породистым и нервным лицом, с манерами сановника и аристократа, она – молодая и немного высокомерная красавица, тоже, по-видимому, из хорошего круга. Он приказывает ехать в Булонский лес. Там останавливает водителя на одной из уединенных аллей и протягивает пятьдесят франков.

– Идите по этой аллее всё время прямо, и вы увидите небольшой ресторан. Закусите там и выпейте вина. Мы останемся в вашей машине, и вы должны вернуться обратно не раньше, чем через два часа.

Было ясно, что они крали свое счастье.

Очевидно, во всем огромном и таинственном Париже они не могли найти для себя более безопасного места, чем такси на отдаленной аллее Булонского леса.

Ровно через два часа Мишель возвращается и молча садится за руль.

В такси, полный страстного сожаления, чудесный, грудной женский голос восклицает:

– Уже?

И, пуская машину, Мишель слышит его ответ:

– Увы, уже, мое счастье, моя радость... Пора... Она ждет...

Он вышел первым у одного из слишком солидных и холодно-чопорных особняков на улице Прони. Он просит шофера отвезти даму на бульвар Сен-Жермен и, поцеловав ей руку, нежно говорит на прощанье:

– Как всегда, до будущего вторника, мое солнце...

...Старик-нищий, Плюшкин и Скупой Рыцарь, повторяющаяся в веках история, каждый вечер предается блаженству, пересчитывая свои богатства и заворачивая их в замусоленные тряпки. Элегантные любовники живут от вторника до вторника мечтой о двух часах уединения в тесном и темном такси... Многогранно и многообразно человеческое счастье.

Недели три, изо дня в день, Мишель неизменно отвозит Плюшкина с его дневной добычей к нему домой. Познакомиться поближе тот не желает. На все попытки заговорить с ним он отвечает безразличным молчанием, но каждый раз сокрушенно повторяет одни и те же слова:

– Это, конечно, очень обидно – оплачивать расходы по передвижению... Но ничего не поделаешь... Старость берет свое... Вот, нате...

Но однажды Мишель проследит за ним и узнает точно: старик – «нищий в метро». Утром он брал билет «аллэ-э-рэтур» и до вечера оставался в подземном царстве метро.

На четвертую неделю Мишель не находит старика на его скамейке. Нет его и на следующий день. Переменил ли он район своей работы или умер, наконец, на своих ужасных тряпках? Бог с ним... Жизнь свела, она же и разлучила.

По каким-то непонятным Мишелю причинам он будет вспоминать иногда это странное и жуткое существо, которое всё же называлось (и имело право называться) человеком, а больше было похоже на старый, гнилой мокрый гриб, который, исчезая, не падает, а просто растекается жижей по земле, в нее возвращаясь... Как естественно и просто такое исчезновение. Оно не вызывает душевного протеста не только в окружающих, но и в самом исчезающем...

Но вот сегодня...

...Они окликают Мишеля у одного из средних ресторанов с «пре-

фиксом» в 25 франков, с гарсонами в белых смокингах, с тушей кабана, омарами и живыми карпами в аквариуме на витрине. В таких ресторанах парижские дон-жуаны среднего достатка встречаются после закрытия банков и контор со своими возлюбленными и любовницами.

Она – рослая и стройная девушка, брюнетка с великолепным цветом лица. Он – молодой человек с пробором и в американских очках, с выражением лица убежденного спортсмена. Они не целовались и не обнимались жадно и ненасытно, как та элегантная пара, что ждала своего счастья от вторника до вторника. Отчаянием и беспомощностью звучал голос, прорывался плачем, то громким, то тихим. Как плач несправедливо обиженного ребенка...

– Анри, Анри... – говорит она, – какой ты жестокий и нехороший... Анри, Анри, как ты обманул меня...

– Я не обманывал тебя, – отвечает «пробор в американских очках» совершенно равнодушно. – Я у тебя ничего не просил...

– Ты не обманывал меня, Анри? Ты не обещал мне поговорить с твоим отцом, получить его согласие?

– Это я обещал... Но согласись сама, что теперь это уже поздно... Если отец узнает, что ты на третьем месяце...

– Почему же он узнает, Анри... Зачем же ему говорить об этом?

– Ты – дура, – веско и спокойно отвечает Анри.

– Что же нам теперь делать, Анри?

– То, что я тебе уже предложил.

– Убить нашего ребенка?

– Это еще не ребенок.

– Анри, Анри, какой ты жестокий, какой злодей...

– Еще раз – не дури.

Ох, типичный случай, когда шофер, против своей воли, врывается в чужую, тяжелую жизненную драму.

Девушка горько рыдает. Все слова убеждения, все ее упреки уже исчерпаны, а новых она не может найти в своем бедном, насмерть раненом сердце...

– Мне это всё надоело... – цедит сквозь зубы Анри... – Завтра у меня матч, и я должен быть в форме... Если ты не желаешь покончить с этими глупыми драмами и провести со мною вечер в «Гомоне» – отправляйся домой и оставь меня в покое...

Он стучит по стеклу и велит остановиться... Потом чмокает ее в щеку, выходит и захлопывает дверцу.

– До свиданья. До завтра, – произносит он и натянуто улыбается.

Потоптался на месте, поправил очки, махнул рукой и пошел прочь...

– Куда прикажете ехать? – спрашивает шофер.

– Ехать? Ах, да... – очнулась она. Поезжайте... поезжайте, пожалуйста, всё прямо... Куда хотите... Я скажу, когда надо будет остановиться.

Машина трогается не спеша, водитель раздумывает о мимолет-

ной сердечной драме, свидетелем которой невольно пришлось быть. Прогулка затягивается. Мишель смотрит на часы. Стрелка приближаются к девяти вечера.

На бульваре Мальзерб он останавливается.

– Madam, – спрашивает Мишель через окошечко. – Вы всё еще не желаете остановиться?

Ответа нет. Он выходит наружу и открывает дверцу.

Пассажирка в углу как будто спит, низко опустив голову на грудь. Шофер осторожно дотрагивается до плеча. Тело медленно склоняется на сиденье и вдруг безжизненно валится на пол.

Мишель отвозит труп в ближайший комиссариат, дает свои показания и подписывает протокол. Найденный в сумочке крошечный пузырек с сильным ядом не оставляет никаких сомнений в причине смерти.

Мишель потерял в комиссариате много времени и, усталый морально и физически, поздно вечером добирается до дома. Жанна ни о чем не спрашивает.

Утром он рассказывает жене вчерашнюю историю, и она тяжело вздыхает.

АРТУР

Человек, которого Мишель заметил стоявшим в раздумье у старого дивана, оказался другим героем нашего романа – Артуром. Не подумайте, что он размышлял о судьбе дивана – ничего подобного, клопный диван не должен жить. В каморке, где некогда помещался склад, где в двери были просверлены несколько десятков дырок для циркуляции воздуха и вся мебель – этот клопный ковчег и стул, заменяющий обеденный стол, здесь Артур прожил два дня и на третий решился на отчаянный поступок – выбросить диван. Хотя он радовался и такой крыше над головой, стадо клопов тоже обрадовалось добыче, набросившись на него в первую же ночь.

Некурящий Артур не мог даже чиркнуть спичкой, чтобы посмотреть на своих врагов, хотя он и так знал об их существовании. Утром рассмотрел поле сражения с невидимой силой и сразу же понял: диван надо выбрасывать. Едва ли хозяин конуры станет об этом жалеть, он использовал каморку сугубо для коротких сексуальных утех. Комнатенка была грязной, и весь дом казался грязным, невымытым, недоделанным, изношенным, кое-как починенным – гнилой помойный запах плесени и затхлости висел в воздухе.

Артур встал на пороге, осмотрелся: ступенчатый переулок, если тащить диван – ноги повредить запросто. И куда его выбросить? Конечно, лучше всего отправить диван на свалку, но где взять эту мифическую свалку? Артур даже не задумывался, где, как и на чем он будет спать следующую ночь, первой задачей было выбросить диван вместе с живущим в нем клопным батальоном.

Из утреннего полумрака на другой стороне улицы обозначились два силуэта, которые перешли улицу и подошли к Артуру. Оба в надвинутых кепках, в шарфах. От них воняло перегаром, луком и отхожим местом.

– Эй, мужик, продаешь? – спросил один.

– Диван? – не понял Артур и тут же нашелся. – Продаю. Двадцать франков.

– Двадцать... ты загнул, – сказал второй и постарался сделать трезвое лицо. Ощупал обшивку. – Старье. Но десять франков я тебе дам.

– Идет! – обрадовался Артур.

Тут же ему отсчитали мелочью десять франков, подхватили диван с двух сторон и исчезли в наступившем утре.

Довольный так приятно начавшимся днем, новоявленный бизнесмен отправился на место своей новой работы.

На следующий день после того, к концу рабочего дня в Институте изучения фашизма, он вслух произнес:

– Мы сражаемся с капиталистической системой, как гладиаторы в древнем Риме. Гладиаторы. Гладиаторы!

Так вот что его мучило несколько дней – слово «гладиаторы». Но почему? Потому что, мелькнула и исчезла мысль, надо написать о гладиаторах. Некогда Рим вел войну с гладиаторами – даже роман есть про Спартака, какого-то итальянца – или не итальянца? – и коммунистическая партия выросла из «Союза Спартака», спартаковцы – так они назывались. Но почему Спартак? И почему он потерпел поражение? Наверно, как у нас сегодня, – внутренние распри. Да-да, он хотел сделать всех счастливыми, но как можно сделать всех счастливыми, когда одни хотят победить Рим, а другие – набрать золота и отправиться по домам, как сейчас... – как здорово! Сколько же рождается интересных мыслей! Надо писать, немедленно писать роман! Да-да, роман!

Он любопытства ради пролистал в энциклопедии статью «Спартак». Коммунистическая партия Германии сформировалась из основанного в 1917-м Карлом Либкнехтом и Розой Люксембург революционного «Союза Спартака», поэтому коммунисты то и дело вспоминали Спартака, хотя большинство весьма смутно представляло себе, кем же он был, – знали только, что в древности он возглавил какое-то восстание...

Артур отправился в библиотеку и набрал стопку книг по истории Древнего Рима, взял книжку про Спартака – автором оказался итальянец Джованьоли, – книжка ничего не открыла Артуру, и он прочитал всё, что написано о восстании Спартака, и даже нашел брошюру на немецком, где подробно описывались цели восставших. Но и это его не заинтересовало. Он уже видел свою будущую книгу, свой первый серьезный роман.

Идея настолько овладела воображением Артура, что он решил добавить к четырем неопубликованным рукописям пятую – истори-

ческий роман... Исторический роман звал его в иные дали, чем книга по сексологии или повесть о мальчике Птахе. Артур окунался в волны истории (будем говорить так!), чтобы хотя бы на время не видеть грязи и мерзости современности. Он не боялся захлебнуться в волнах, он хорошо плавал – и плыл, как ему хотелось, в нужную ему сторону. А волны аккуратно выносили его на берег.

Материальное положение Артура на тот момент несколько улучшилось, с августа он жил уже не на сеновале в Валь-Флёри и не в каморке с клопами, а в маленькой гостинице на Иль-Сен-Луи вместе с Доротой, ставшей вскоре его женой.

С Доротой он познакомился годом раньше, когда оба работали у Вилли Мюнценберга. Ей было тогда 35 лет; темные, взъерошенные волосы, большие карие глаза, приятный овал серьезного, застенчивого лица. Дороти не попадала ни под одну из двух основных категорий, к которым принадлежало большинство женщин из КПГ: либо крепкие нагловатые девчата пролетарского происхождения, либо издерганные невротами золушки из среднего класса.

Отец Дороты был берлинским банкиром; ее брат Эрни выучился на врача, сестра Лизль вышла замуж за Петера Мароса. Еще в школе Эрни и обе сестры втянулись в юношеское социалистическое движение: русское кино, авангардные пьесы и песенки Брехта и Эйслера заманили их в коммунистическую партию. Отец умер, оставив все деньги вдове, будущей теще Артура, эксцентричной и властной женщине, патологически страшившейся разорения. Она возненавидела дочерей-коммунисток, поселилась в Лондоне, в Шепердс-Бущ, в квартире с гостиничным обслуживанием, и выделила Дороты месячное содержание в пять фунтов – смехотворная сумма даже по меркам 1934 года. На свадьбу дочери мать прислала Дороты шерстяные штанишки – то ли подарок, то ли приданое.

Словом, Дороти была бедна, как и Артур. Однако Дороти работала, хотя и неполный день, а он писал статьи для либерального еженедельника Леопольда Шварцшильда «Нойес тагебух», так что они как-то перебивались, готовили еду на газу в ванной и даже ходили в кино раз в неделю.

PARIS. МИШЕЛЬ

Пассажира с бородкой, в пальто непонятного цвета (Мишель всю дорогу пытался определить цвет и не мог – серо-коричневый? бежево-кофейный?) долго копался в кошельке, прежде чем расплатился и дал на чай один франк. Мишелю не впервой такие жлобы. Но один франк – тоже деньги, не отказываться же. Он решил покурить, а потом поискать пассажиров, однако одинокая фигура на углу привлекла его внимание; он медленно подъехал ближе, фигура не показала своей заинтересованности в такси и отошла под навес.

Мишель вынул пакет табака, скрутил папиросу – привычный

«капораль», но передумал курить – права жена: курение – баловство, не роскошь, а чепуха, лучше почитать газету, он сегодня даже не просмотрел «Возрождение». А в «Последних новостях» нет переводного детектива...

Машина после ремонта – четыре месяца Мишель сидел без работы, все сбережения проели – работает хорошо, но ему кажется, что раньше, до того, как ее «искупали» в реке, работала лучше.

Странная у меня жизнь, размышляет Мишель. Ни француз, ни русский. И француз, и русский. Почему нас не любят французы? Потому что мы у них рабочие места отнимаем? Чепуха. Не может такого быть. Париж большой, работы на всех хватает. У нас в гараже русских всего четверо, остальные – французы, два испанца, алжирец, итальянец. Что-то другое, может, врожденное – с детства нелюбовь к иностранцам. Не любит иностранцев француз – ничего не поделаешь. А кто любит иностранцев?

У нас, в России, к ним всегда относились хорошо. Всегда считалось: иностранец – человек знающий, пусть и французик из Бордо... Стоп, потом обсудим загадку любви и нелюби к иностранцам – какой-то мужчина с чемоданом, не иначе – спешит, – пожалуйста, мы всегда поможем, к вашим услугам, француз, точно, на вокзал, почему бы и не помочь, залезай, красавец усатый, за скорость возьмем с тебя, за быстроту, помчим так, что никакой поезд не убежит.

Станный мужик стоит у вокзала Фонтенбло – именно мужик, иначе не определишь, не клерк в банке, не торговец в лавке, – мужик, и такси не захотел брать, ждет кого-то... Да бог с ним... Нет, врешь, раз не клиент, значит – черт с ним! Мишель усмехается. Мужик переминается с ноги на ногу. Из здания вокзала выходят люди, но он не обращает на них внимания.

«Станный тип, – думает Мишель, – чего он нервничает? Бабу, что ли, поджидает, а она опаздывает? Но в 11 утра – какие свидания? Хотя... не твое дело, кто-то может и в такое время свидания назначать. Газета интересней.» Он дочитывает статью, переводит глаза на соседнюю колонку, но что-то останавливает... А ведь я видел этого мужика! Нет, не видел, но знаю. Откуда знаешь?

Он смотрит в зеркало заднего вида. Мужчина повернулся к дверям вокзала. Вот откуда я его знаю! Из газеты – в ней его фотография! Ищут сообщников марсельского убийцы короля!

MÜNCHEN. КНЯЗЬ ОЛОНЕЦКИЙ

Роман Николаевич вышел в холодное утро.

А, вот в чем дело, вот почему сердечко щелкнуло! Во дворе на клумбе лежал снег. Погода меняется – сердце тут же сообщает о перемене. Первый снег – привет подходящей зимы.

Навстречу шло Рождество – соседи несли елки.

Он подумал, что они уже несколько лет не ставили елку, послед-

ний раз – на новый 1932 год, который перевернул их размеренную жизнь женитьбой старшего сына. Да, он еще разбил серебряный шар, случайно выронил из рук... Обижался на себя, как его ни успокаивали.

– Считайте, господин князь, что это я уронила, – пришла на выручку служанка.

Роман Николаевич обиделся.

– Ах, если бы так! – и повернулся к сыну. – Старею, дорогой, вот и шар уронил...

Он дошел до русской церкви; служба уже началась, простоял всю службу, помолился за здоровье детей и невестки, поймал себя на мысли, что больше беспокоится об «американцах», а не о младшем сыне. Но с другой стороны – почему о нем надо беспокоиться, ему уже под тридцать, самостоятельный парень (про старшего сына отец сказал бы – мужик, или еще лучше – джентльмен, нет, он теперь мистер), имеет службу. Уже два года как отказался от родительских денег и обиделся, когда отец прислал ему триста франков. В очередной приезд к родителям «наш Жорик» положил деньги на стол и сухо попросил таких сюрпризов больше не повторять, он достаточно зарабатывает. Роману Николаевичу это понравилось – сын, видно, действительно крепко стоит на ногах. К тому же он сообщил родителям новый адрес.

– Это не отель, это доходный дом возле парка Монсури. Небольшая квартира, две комнаты, кухня, газ, паровое отопление. И совсем недорого.

– Но деньги потребуются на мебель, на обстановку...

– Нет, папа, – покачал Юрий головой. – У меня всё есть. Мой товарищ уехал в Африку, он инженер, нашел место на строительстве дороги в Касабланке, подарил всю свою мебель – шкаф, стулья, кресло, обеденный стол, даже шторы... Всё почти новое. Я купил только кровать. Приедешь в гости – увидишь, как я теперь живу. За окном парк... Кстати, папа, твой одноклассник Ульянов жил со мной по соседству – через два дома, – правда, двадцать лет назад...

А о старшем пусть беспокоится жена...

Ему нравилась независимость детей от родительского кошелька. Эмиграция показывает, что только один из тысячи может позволить себе жить так, как жил в прошлой жизни.

«У нас две жизни, – думал Олонецкий, – одна осталась в России, другая – здесь, в Германии. А мой Олег придумал себе третью жизнь – в Америке. А жена его Лида – вообще космополит, но Лариса права – оба они два сапога пара, вот уж правда, что Бог пару сводит.» Он не признавался себе, что доволен тем, что сын нашел богатую невесту. Он знал цену деньгам, особенно заработанным собственным трудом. А Лида уехала в Америку известным адвокатом и очень богатым. Они сразу сняли на пять лет дом в окрестностях американской столицы, невестка открыла адвокатскую контору, а сам Олег пошел работать в туристическую фирму.

Очень правильно поступил: на новом месте надо осмотреться, не бросаться в самостоятельные авантюры, а набираться опыта.

Незаметно для себя (сами ноги несли) он подошел к Изару. По обоим берегам лежал снег, но льда на воде не заметил, видно, еще не очень морозно. Хотя скоро Рождество и полагается быть холодам – Мюнхен не Берлин, здесь рядом ледяные Альпы.

Он не мерз, потому что под пиджаком на нем надет связанный служанкой шерстяной жилет, и пальто теплое, и шляпа. Но зима всё же наступает, и пусть Матильда купит елочку. Маленькую. Не надо большую, детей нет, у них свои заботы, а им с Ларисой Владимировной и маленькой елочки достаточно. Она ее нарядит, пусть сама наряжает, он уже не станет вешать серебряные шары, от греха подальше, зажжем свечи и хорошо посидим вдвоем. Как немецкие бургеры. Он вздохнул. А потом еще раз встретим Рождество через две недели, по-русски.

Он улыбнулся своей хитрости. В шестьдесят три года можно и не такие хитрости придумать! Возраст такой, что другие думают о внуках, – вон вчера встретил Пауля, он только о своей внучке и говорит, словно иных тем для разговора нет. И мне быть дедом, а Ларисе – бабушкой, никуда мы от этого не уйдем. И я буду, как Пауль, хвастать своими внуками... Правда, Лида сказала, что они подождут размножаться... Тьфу эту молодежь, какие слова у них на языке... Подождешь так подождешь. Я обязательно дождусь, когда появятся внуки. Шестьдесят три года – не старческий возраст. Паулю – семьдесят шесть. Я должен дожить, как и мой отец, до девяноста лет. У меня еще двадцать семь лет впереди. Какой же год... плюс тридцать четыре... 1961. Ого! Обязательно доживу. А может, Пауль специально говорит о внучке, чтобы не затрагивать болезненные темы? О, что болезненного может сказать он, пожилой человек, бывший эмигрант, а сейчас гражданин рейха. Ничего. Но Пауль, верно, опасается, что именно я со своей русской колокольни вижу то, чего не видит он. А чего он не видит? Всё он видит. Народ проголосовал за национальных социалистов. Гитлер заявил, что он построит в Германии социализм. Свой, немецкий, но социализм. После таких слов не то что поежишься, но и вздрогнешь. Однако кроме вселения рабочих в брошенные квартиры и национализации нескольких фабрик и универмагов пока ничего похожего на российский безобразия не происходит. Пока! Объявили об общественных работах – начали строить автомобильные трассы. За год количество безработных уменьшилось на двести тысяч. Гитлер фотографируется то с Гинденбургом (помер старик, царство ему небесное), то с Круппом, то с банкирами – всегда во фраке, в руках цилиндр... Никакой тебе гимнастерки с портупеей. Приличный человек.

Из заснеженного куста выскочил дрозд, шелкнул желтым клювом, здороваясь, и исчез, словно не появлялся. И тут же из соседнего куста пять, шесть... нет, восемь воробьев насчитал Роман Николаевич –

вылетели стаей и набросились на куст – наверно, увидели что-то вкусное.

Недавно Роман Николаевич беседовал со знакомым немцем, управляющим отделением фабрики резиновых игрушек, ветераном войны, членом организации «Стальная каска».

Год назад, когда национальные социалисты пришли к власти, он возмущался.

– Да что это такое! Да что за люди! Какие-то авантюристы...

Теперь он рассуждал иначе:

– Режим стабилизировался, Гитлер показал себя политиком, знающим интересы как народа, так и капитала.

Сосед со второго этажа, полицейский чиновник Мюллер, пожал плечами, когда Роман Николаевич ехидно поинтересовался, как он себя чувствует под началом людей, которых он еще два года назад разгонял дубинками.

– Полиция нужна всем. И нацистам, и коммунистам. Без полиции в любой стране наступит хаос. Вы согласны со мной?

Олонецкий только кивнул головой.

Обычно он ходил одним и тем же маршрутом, где знал всё – кафе, пивные, лавки, магазины, фирмы, склады, жилые дома. Но сегодня неожиданно для себя решил свернуть. Нет, конечно, не неожиданно – он давно собирался это сделать. Домашний доктор сказал:

– Вы, князь, злоупотребляете правой стороной вашего мозга. Она устала. Ей надо отдохнуть. Как? Элементарно. Ваш мозг устает от одних и тех же восприятий. Точнее – впечатлений. Непонятно? Объясню на примере. Вы гуляете? – Отлично. Одним и тем же маршрутом? Так я и думал. Смените маршрут. Вы привыкли? Отлично. Идите. Тем же маршрутом. Но по другой стороне улицы. Гарантирую, что откроете для себя массу нового.

Сегодня Роман Николаевич решил выполнить совет врача и наконец-то идти по другой стороне улицы, но вдруг свернул в переулок. В который никогда раньше не сворачивал. Ему сразу же пришлось посторониться – из переулка выезжал мотоциклист в кожаной коричневой куртке и в черном берете. Он не обратил внимания на Олонецкого и прогрохотал дальше. Казалось, умиляется своим стальным конем и хочет, чтобы все встречные разделяли его восторг.

Роман Николаевич прошел переулком и вышел на малознакомую улицу. Последний раз он шел по ней года четыре назад. Улицу он не узнал. Во-первых, на ней не оказалось жилых домов. Во-вторых, слева и справа от переулка высились новенькие, просто блестящие новизной стеклянные панели промышленного здания.

Олонецкий подошел и прочитал вывеску. Стеклянный красавец принадлежал ИГ-Фарбениндустрии.

Он усмехнулся – химический концерт уже вторгался в жизнь семьи: невестка-адвокат выступала в суде против него и выиграла

дело. Роман Николаевич не помнил, в чем дело, но знал, что она получила очень большой гонорар. Вообще, невестка в семье сына – ведущая, а он – ведомый. И не потому, что она больше зарабатывает, а так сложилось. Правда, жена утверждает, что виной – характер Олега...

Часть денег Роман Николаевич вложил в акции химического концерна ИГ-Фарбен. И не жалел об этом. Каждый год он присутствовал на собрании пайщиков – теперь, наверно, они будут проходить в новом здании – он еще раз посмотрел на него: массивно, солидно, богато. Когда узнал, что невестка судилась с «его концерном» – не она лично – она, Лидия, выступала адвокатом противоположной стороны, – он сказал:

– Но ведь это очень мощная фирма.

– Я знаю, – как о чем-то давно известном, ответила она. – Но закон нарушать никому не позволено.

– И вы будете...

– Да! Я три месяца собирала документы, мои помощники перерыли кучу бумаг. Впрочем, неважно. Они допустили кучу ошибок. Думаю, концерн проиграет процесс. Не беспокойтесь, дорогой свекор, на ваши дивиденды их проигрыш не повлияет! – рассмеялась она.

Он прекратил разговор, в очередной раз удивляясь хватке Лидии, и понял, что женщина, столь сильная и уверенная в себе, несомненно главенствует в семье.

Неужели Олег станет – как говорили в старину – подкаблучником? Но, с другой стороны, – в каждой семье свои порядки.

Напротив химиков стояло непонятное серое здание в два этажа, без вывески и без входной двери. Но сбоку имелись проволочные ворота и будка сторожа с большим окном. Следующим высилось промышленное здание с рядами окон на фасаде, откуда доносился мерный шум работающих механизмов.

Олонецкий вспомнил, что несколько лет назад здесь находились маленькие одноэтажные домики, затем – зеленая лужайка со скамейками для отдыха, дальше – детская площадка с качелями и пивная. Он, кажется, заходил в нее выпить кружку пива. Да-да! Выпил кружку пшеничного баварского пива. Не ячменного, а именно пшеничного, дрожжевого темного пива. Где та пивная?

Пивная оказалась на другой стороне улицы. Возле промышленного предприятия, которое продолжало гудеть. Олонецкий решил, что здесь фабрика. Напротив пивной – там, где раньше находилась детская площадка, теперь проживала, и видно неплохо, – автостоянка, на которой отдыхали автобус и десяток «фольксвагенов». Стоянка принадлежала, несомненно, фабрике, и автобус являлся ее собственностью, а автомобили – инженеров и техников предприятия.

Хм, растет благосостояние фабричных работников, мелькнула мысль.

Из-за проволочных ворот появился сторож, открыл их и дождался, пока со двора не покажется грузовик, в кузове которого были сложены некие металлические конструкции.

Олонецкий проводил машину недоуменным взглядом, лишний раз напомнив себе, что техника шагает вперед и он не может определить, для чего нужны эти конструкции. Двадцать лет назад, будучи директором департамента, он мог с инженерами обсуждать технические вопросы и ездить за границу для обмена опытом...

Да, а как называется улица? Ага, увидел табличку – Векстербахер. Но все-таки для чего нужны конструкции, которые увез грузовик?

Вот еще один грузовик с ящиками, которые высятся в кузове, остановился у ворот. Сторож подошел к машине, водитель протянул бумаги, сторож прочитал и указал, куда во дворе ехать и сворачивать.

Роману Николаевичу надоело, и он пошел дальше. А все-таки для чего нужны металлические штуковины... тыфу, что за дурацкие мысли. Важнее другое – куда эта улица выводит?

Роман Николаевич любил утренние прогулки – тихо, люди на работе, чиновники по дороге в конторы, большие универмаги открываются. А лавки и маленькие магазинчики давно уже зазывают покупателей свежими овощами или колбасой, выставленными на улице перед витринами. Им безразлично кому – главное, продать товар. Он подошел к незнакомой овощной лавке и выбрал из поддона самое красное яблоко.

– Сколько? – беззвучно показал он продавцу за стеклом.

Тот понял вопрос и показал на пальцах.

Роман Николаевич вынул кошелек, но из лавки уже выскочил приказчик, забрал деньги, положил яблоко в бумажный пакетик и с улыбкой протянул.

– Спасибо, – поблагодарил князь.

– И вам спасибо, – ответил приказчик.

Интересно, как называть приказчиков по-немецки, подумал Роман Николаевич, отходя от магазина.

Он сложил зонт, поставил между ног и оперся, как на трость; смотрел, как капли стекают по бордовым ребрам зонта. Старый зонт удобнее, чем тот, который прислал сын из Америки. Олег прислал складной зонт, который можно положить даже в портфель. Каких только остроумных штук не придумают американцы! Но на тот зонт нельзя опереться. А почему я опираюсь? Неужели я так устал? Устал, потому что много ходил. Как, много ходил?! Это же обычная утренняя прогулка! Но устал. Значит, наступил тот возраст, когда трудно совершать такие длительные утренние прогулки.

Следующий дом поразил его окнами. На первых двух этажах окна были большими, на третьем этаже окон меньше, а выше – еще меньше, хотя он насчитал их больше.

Что за чудеса архитектуры, недоумение выразилось на лице, он

согнал его. Непонятный авангард, вероятно, в Штатах подобные новшества никого не удивляют, Лида писала, что сначала они всему удивлялись, а теперь немного привыкли. Но у нас – не Америка, недовольно скривил губы князь.

Белая кошка с черным пушистым хвостом выскочила из-за афишной тумбы, перебежала улицу перед идущим автомобилем, шофер затормозил, кошка подмигнула ему и исчезла во дворе.

На другой стороне улицы стояла дама с собакой; собака с удивлением наблюдала за эскападами кошки, подняла было вопросительно голову, но хозяйка только пожала плечами – дескать, что с этих кошек взять! И собака неизвестной лохматой породы успокоилась. Собаке было непонятно – почему кошка так стремительно перебежала улицу – ведь она, собака лохматой породы, абсолютно равнодушна к кошке, чего она испугалась? Конечно, решила лохматая, кошки – не коты. Те – серьезные соперники на улице. Любой кот занял бы уже на всякий случай позицию и определил все возможные пути отступления – в чужой двор, на дерево, под стоящую на приколе машину. Хотя, вспомнила собака, кошка как-то погналась за белкой, а та взлетела на дерево – и кошка, поцарапав для остротки когти о кору, так и не решилась лезть за ней, стояла внизу, скалила зубы – пугала. Но белка не боялась. Ты за мной не полезешь, говорила она, а если полезешь, до самого верха не доберешься, а я оттуда перепрыгну на соседнее дерево.

Коричневая дорога среди заснеженного леса. Всё в снегу, хотя снегопад оказался случайным, как нападение зимы на осень. Всё так и должно быть перед Рождеством.

Женщина на костылях прогуливала себя и черную овчарку. Собака что-то вынюхивала, выбегала на дорогу, смотрела на идущего князя, бегала вокруг хозяйки.

На улице за забором шла стройка – доносились удары механического копра. Олонецкий посмотрел в щель забора и увидел, как забивают бетонную сваю. Надрывное гудение мотора – вот-вот оборвется, но продолжает гудеть. Удары по железу. Металл бьется о металл. И снова гудит мотор.

Мимо идет господин в шубе – видать, боится холодов, а раз снег – значит холод, – эх, в Питер тебя бы, тогда узнал бы настоящие холода, а здесь разве холод – пять градусов всего... У господина в руке поводок – он ведет таксу. Такса в собачьей попонке, в меховом жилете. Таксе всё интересно – она с любопытством смотрит на князя, останавливается. Господин приветливо улыбается и приподнимает шапку. Князь отвечает тем же.

– Такса? – спрашивает он.

– Такса, – соглашается хозяин.

– Сколько лет?

– Ох, уже шестнадцать, – сокрушается тот, и в его словах и горечь (стара) и гордость (целых шестнадцать лет).

Он уходит дальше, в пригородный лес, собака преданно бежит рядом.

Роман Николаевич идет дальше и видит, что снег потеснен – и с дороги, и с крыш, солнышко выползло из-за Альп. На холодных крышах (где чердаки не отапливаются) снег еще располагается вольготно, а на теплых уже тает.

ХАННЕЛОРА ЗАУЭР. ЯНВАРЬ. 1935

Ой, мама, ты не представляешь, Ханс Альбрехтс!

Я буду с ним сниматься в одном фильме! Нет, дублировать на самолете я буду не его! Какой шикарный мужчина! Какие огромные прожектора! Сколько их – ты не представляешь, – и на потолке, и за декорациями, и на штативах! Светло, словно на пляже! Я видела, как тебя, Марианну Хоппе! Она такая хорошенькая! Она тоже будет со мной сниматься. Вот договор, мама, неужели ты думаешь, что о самом главном я забыла?

Мне восемнадцать лет, а у меня уже договор с киностудией в Бабельсберге. Паушальная плата за все съемки... Ну, мама, я же не Пола Негри, чтобы получать за каждую съемку. Мне только восемнадцать. Ольга Чехова – и та получает паушально за всю картину. А ей лет побольше, чем мне.

Да-да, мне рассказывала костюмерша, мы примеряли мой комбинезон, – его надо будет ушить в плечах, – она играет только аристократок, у нее такое амплуа, потому и такая оплата. Не знаю, может, в одном фильме паушально, а в другом – за каждую съемку. Комбинезон очень хороший, такой же на Хайнце Рюмане. Он его мерил. Ему комбинезон как раз, а мне чуть велик, поэтому ушьют, потом будет примерка... Он – пилот-аварийщик, всё время терпит аварии, понимаешь? Это я терплю аварии, я делаю самолетокрушения, а он вылезает из развалин. Ну, из разбитого самолета... Ой, мама, ты паникуешь! Это модель! Я уже видела три или четыре готовых модели. Один «хенкель», другой спортивный самолет, еще один биплан... Самолеты ломаются, а с него, как с гуся вода... Нет, он самолет не водит, он же артист, а не пилот.

В пятницу мы едем на аэродром, киностудия обо всем договорилась. Приезжает оператор с помощником и второй режиссер. Пробные съемки взлета и посадки. Мама, я знаю эту машину прекрасно, я на ней уже летала.

Не одна, не одна! С Максом. С каким Максом? С моим инструктором, если хочешь знать. С каким «моим»? С таким. С Максом Вальзером. Известный пилот. Он мальчиком участвовал в войне, у него две медали и Железный Крест. Он сбил три английских самолета и поджег дирижабль. Он старший инструктор, он доволен мной. Порекомендовался за меня на киностудии. Он будет всё время рядом. Да, он мне нравится, настоящий мужчина. Я хочу быть похожа на него. Хочу так

же крепко держать штурвал, так же небрежно опускать на лоб очки, так же легко сажать самолет. А потом у стойки в баре посмотреть на пивную пену в кружке и сказать: нет, в таких густых облаках я не летаю, себе дороже... Вообще, он обещал показать полет на новой машине Мессершмитта, это моноплан. Что такое моноплан? У него не два крыла, а одно, одна несущая поверхность, поэтому скорость больше. Да, конечно, все учебные машины – бипланы, они более устойчивы в воздухе...

Ты ездила на рынок? В Хекст? Мама, это же далеко, будто в лавку зеленщика нельзя зайти. Что значит – дешевле? А дорога? А потраченное время?

Вот в Берлине всё не так, как у нас во Франкфурте. Там митинги, демонстрации, премьеры, скандалы, а у нас? Тишина и запустение. Торговый город, одно слово. Банковская столица Германии. У нас даже настоящих драк нацистов с коммунистами не было. Конечно хорошо, что не было, какие банкиры позволят драки перед банками? Они же клиентов растеряют! Представляешь, приезжает во Франкфурт какой-нибудь султан или набоб, хочет деловые контакты с банками наладить. А тут на тебе! – наци и коми выясняют отношения! Конечно, султан повернется и поедет в другое место контакты налаживать. Или в свой гарем вернется, к налогоплательщикам. Вот что значит торговый город. Банки, банки, банки... Никаких политических баталий.

Ты, мама, не знаешь, у нас в городе социал-демократы остались? Или их всех пересажали в исправительные лагеря, как и коммунистов? Или остались? Среди врачей... Молчу. Молчу, мамочка! Не буду вспоминать старые истории. Как здорово твоя адвокатесса буквально отхлестала этого мерзавца Бухгольца в суде!

А откуда у вас такие сведения? Ах, вам их рассказал тот, которого вы не помните. А не вашей ли рукой написано это письмо? Ах, у вас плохо со зрением, господин судья, прошу предоставить свидетелю очки с самыми сильными стеклами. А не ваш ли счет в банке пополнился на сумму в три тысяч марок? Вы первый раз об этом слышите. Ах, у вас проблемы не только со зрением, но и со слухом...

Я просто хохотала, видя его гнусную рожу!

Замечательная адвокатесса. Как ее имя... фон... фон... Да, фон Тизенгаузен... Что ты говоришь? Уехала в Америку? Почему? Вышла замуж. За американца, да? Американцы – они богатые, у них небоскребы, авианосцы, джаз и Голливуд. Может, и меня когда-нибудь возьмут сниматься в Голливуд таким же дублером, что и в Бабельсберг, а, как ты думаешь, мам?

КОПЕНГАГЕН. ЯНВАРЬ 1935.
РАССКАЗ ОЧЕВИДЦА

Все проблемы начались с 1935 года.
Джорж Минк, мерзавец...

Всегда говорил о нем Улановский – тварь, что с него взять, но ведь еще Ленин сказал: надо таких тварей использовать, ведь он кого хочешь убьет, зарежет и не поморщится; да, не поморщится; вот ты, Петров, убьешь – и поморщишься, и я тоже – убью кого надо и поморшусь, а Минк – нет. Нужный мерзавец. Без сомнений и колебаний – зарежет и скажет: так и было. Ну и человеческий материал нам попадается, выбирать не приходится.

Да вот что – баб этому Минку мало! Здесь же публичный дом за углом – иди, двери нараспашку, потрать пятерку... – так нет, жалко жлобу пятерки, стал к горничной под юбку лезть, за задницу схватил и в номер к себе тащит. Та его по рукам – думала, он шутит, а он всерьез затащил к себе... Она вырвалась – и в полицию.

Вот вам и результат, десять негрятят пошли купаться в море... Вот какие у советской разведки помощнички бывают! 19 февраля пришла полиция, Минк стал оправдываться – то да сё, да вы сами разве не мужики, да посмотрите на ее сиськи – кто же устоит, я пьяный был, извиняюсь, гражданин начальник... А полицейский на удивление оказался умным. И говорит своим: а ну-ка, ребята, сделайте обыск.

Минк – да что ты, начальник, да какой обыск, договоримся.

Тот – молчи, тварь!

И бац – на него наручники!

Он его за мафиози принял. Полицейские обыск сделали и нашли: фотоаппараты, копировальные блокноты, шифровки, кучу паспортов – сразу ясно: шпионское гнездо, а никакая ни мафия. Тут его, голубчика, в тюрягу, не снимая наручников. Стали смотреть, где он был вчера-позавчера, сделали в номере засаду, ну и... Дальше всё ясно. Правда, у меня подозрение, что он сам выдал нас.

А тут такое событие – ребят отзывают в Москву, и они все едут через Копенгаген – и из Германии, и из Швеции, и из Франции. Ну, разумеется, почему бы не зайти к старому другу Алеше Улановскому? Только обнялись, только все сели за стол, только по первой пропустили за встречу – бах-бух-тарарах – врывается полиция: все арестованы, руки вверх!

Да что это такое? Да какие руки вверх? Что мы вам, мошенники какие-то? Да я знаменитый антиквар, вот моя карточка! А это американский промышленник! А это известный адвокат Джефферсон!..

Ничего не хотят знать, всех забирают в полицию.

В задачу Улановского входило получение нелегальным путем материалов от резидентур в Германии и их пересылка в Советский Союз. Четверо из арестованных должны были возить почту.

Нельзя дважды совершать одну ошибку — привлекать для работы в стране местных членов компартии. У них и дисциплина на порядок ниже, чем в разведке, и навыков разведывательной работы почти нет. Но самое главное, члены партии, как правило, находятся «под колпаком» у полиции. В случае малейших подозрений в шпионаже за

коммунистом устанавливается наружное наблюдение, и разведчик, выходящий с ним на связь, рискует нарваться на крупные неприятности или быть арестованным с поличным. Все эти истины были хорошо известны и работникам Разведупра, и работникам ИНО ОГПУ.

Знали они и о громких, освещаемых в европейских газетах, провалах резидентов военной разведки 20-х годов. Но людей с подлинными иностранными паспортами, свободно владевших языками, великолепно знавших условия жизни и работы в зарубежных странах, катастрофически не хватало. И декабрьское постановление нарушали и там, и сям. Если при этом провалов не случалось, то для нарушителей всё кончалось благополучно – начальство закрывало на их нарушения глаза. А если все-таки кто-то опять проваливался, то начиналась очередная разборка на высшем уровне.

За конспиративной квартирой, которой пользовался Улановский и на адрес которой поступала почта из Германии, было установлено наблюдение – и четверо резидентов и десять местных агентов оказались за решеткой. Всех объявили советскими шпионами.

Улановский был возмущен такой несправедливостью и на всю жизнь невзлюбил Данию. Датская полиция до него докопалась, собрала показания всех разведок, и от финской разведки получила настоящую фамилию. Тем не менее, Улановский нагло утверждал, что никакой он не советский шпион, что его осудили без оснований. Ему дали четыре года и досрочно освободили в 1936 году «за хорошее поведение». Тюрьма была весьма комфортабельной – много хороших книг в библиотеке, кормили даже слишком сытно. Поскольку он считался американским гражданином, на Рождество и Пасху из посольства присылали угощения. Посещал его американский консул, и они подружились. Консул добивался: «Откуда у вас американский паспорт? Мне вы можете признаться, я вам сочувствую, у меня сын – коммунист, я не злоупотреблю вашим доверием. Мне просто самому интересно знать». Интерес интересом, но Улановский консулу ни в чем не признался, хотя вел с ним весьма левые разговоры. Когда его освобождали, консул пришел и сказал: «Можете ехать в Америку, – тихонько добавив, чтобы не слышал начальник тюрьмы: – Но я вам не советую». Улановский ответил: «Спасибо, но я в Америку не поеду, раз эта страна не заступилась за своего гражданина». Поехал он в Швецию, там его ждал резидент советской разведки, с помощью которого он вернулся в Советский Союз.

Тюрьма спасла Улановскому жизнь. Во время его отсидки в СССР ввели персональные воинские звания, а поскольку его не было в стране, званием его обошли. Когда же он вернулся, ему «с потолка» присвоили капитана – звание маленькое по тем временам; к тому же, он, выяснилось, оказался беспартийным. Вскоре начался террор, разведывательное управление РККА почти полностью расстреляли, а Улановского-капитана руки не дошли. Его уволили из армии, и он стал преподавать английский язык.

Арестовали его только в 1949 году. Но это совсем другая история.

ДОКУМЕНТЫ

**Сообщения по прямому проводу Н.Г. Николаева Г.Г. Ягоде
о ходе операции по «бывшим людям»***2-5 марта 1935 г. Ленинград**Сов. секретно*

Доношу, что в ночь с 27-го на 28-ое февраля и с 28-го февраля на 1-ое марта с.г. проведены операции по бывшим людям Ленинграда.

Арестовано 330 человек, из них: бывших князей – 21, бывших баронов – 32, бывших графов – 9, бывшей знати (сенаторов – 3, столбовых дворян и т.п.) – 48, бывших генералов – 13, бывших полковников – 26, бывших служащих полиции и жандармерии, бывших банкиров, крупных купцов – 17. Ранее репрессированы за к.-р. деятельность – 46.

Все арестованные пропущены через проверку и предварительное следствие. Обысками изъято: незаконно хранившееся огнестрельное оружие – 44 единицы, боевых патронов – 410, экземпляры монархической литературы, царские портреты, ордена, офицерское обмундирование. Изъяты ценности. В результате следствия 42 человека переданы в оперативные отделы для углубленной проработки. Первые данные следствия дали ряд перспективных заявок вскрытия к.-р. шпионских дел.

*3 марта 1935 г.**Совершенно секретно*

Доношу, что в ночь с 1-го на 2-е марта проведена третья операция по бывшим людям Ленинграда. Арестовано 164 человека, из них: бывших дворян – 76, офицеров – 19, баронов – 4, служащих полиции и жандармерии – 5, ранее репрессированных за к.-р. деятельность – 52, фабрикантов – 8. Большинство из арестованных – дворяне. Все арестованные профильтрованы и допрошены. При обысках изъято: огнестрельного оружия – 21, холодного оружия – 19, патронов – 1662, отдельные экземпляры к.-р. литературы.

*5 марта 1935 г.**Совершенно секретно*

Доношу: в ночь с 3-го на 4-ое марта проведена пятая операция по бывшим людям Ленинграда. Арестовано 164 человека, из них: 1) баронов и князей – 16; 2) сенаторов, жандармов и прокуроров – 8; 3) дворян – 63; 4) бывшего офицерства – 31; 5) к.-р. репрессированного элемента – 48. Все арестованные пропущены через фильтрацию и предварительное следствие. По результатам следствия 13 дел переданы в оперативные отделы для более углубленного следствия. При обысках изъято: 27 единиц оружия, из них 13 огнестрельного и 14 холодного; патронов – 1.187.

Зам. нач. УНКВД ЛО *Николаев*

ПРЕССА

...Поднимаемся по лестнице. На окнах – белые полотняные занавески. Это три окна квартиры Сталина. В крохотной передней бросается в глаза шинель, над ней висит фуражка. Три комнаты и столовая. Столовая имеет овальную форму, сюда подается обед из кремлевской столовой или домашних, приготовленный кухаркой. Тут же играет маленький мальчик. Старший

сын Яша спит в столовой, — ему стелят на диване; младший — в крохотной комнатке, вроде ниши.

*Анри Барбюс «Сталин». Орывок из книги.
«Правда» (Москва), 1 мая 1935 года*

* * *

Я вспоминаю случай в Сибири, где я был одно время в ссылке. Дело было весной, во время половодья. Человек тридцать ушло на реку ловить лес, унесенный разбушевавшейся громадной рекой. К вечеру вернулись они в деревню, но без одного товарища. На вопрос о том, где же тридцатый, они равнодушно ответили, что тридцатый «остался там». На мой вопрос: «Как же так, остался» — они с тем же равнодушием ответили: «Чего ж там еще спрашивать, утонул, стало быть». И тут же один из них стал торопиться куда-то, заявив, что «надо бы пойти кобылу напоить». На мой упрек, что они скотину жалеют больше, чем людей, один из них ответил при общем одобрении остальных: «Что ж нам жалеть их, людей-то? Людей мы всегда сделать сможем. А вот кобылу... попробуй-ка сделать кобылу». Вот вам штрих, может быть, малозначительный, но очень характерный.

Старый лозунг «техника решает всё» теперь должен быть заменен новым лозунгом: «кадры решают всё».

*Сталин. Речь перед выпускниками военных академий.
4 мая 1935 года*

Литературный вечер Марины Цветаевой

Сегодня, 20 июня, в зале Географии (184, бул. С-Жермен), состоится чтение Марины Цветаевой своей новой повести «Чорт». Краткое содержание: Красная комната. Ночное купание. Встреча в окне. Почему чорт в комнате? Валет? Красный карбункул. Кортёж. Черный Петр: «Чорт, чорт, поиграй и отдай!» Первая исповедь. Священники и покойники. Голубой ангел. Последняя встреча.

Начало в 20.30. Билеты при входе.

«Возрождение» (Париж), 20 июня

Коммунистический съезд писателей

В Париже вчера вечером открылся Международный съезд, организованный коммунистическими и большевизанскими литературными кругами. На съезд прибыло несколько советских писателей, тогда как из французских литераторов в нем участвуют либо заведомые коммунисты, как А. Жид, либо «сочувствующие», вроде Мальро. Должны выступать также несколько германских эмигрантов. Из английских писателей ожидается Джон Стреч, сын недавно скончавшегося известного писателя.

Конгресс защиты культуры

По поводу «конгресса защиты культуры», собравшегося 21 июня в Париже, «Правда» 18 июня помещает передовую статью, которая начинается так: «Группа лучших передовых писателей Франции созывает своих товарищей по перу на международный конгресс в Париже для борьбы за культуру, против капиталистического вырождения и фашистского варварства. Знаменательно место созыва конгресса — Париж. Знаменательна инициатива писателей Франции. Именно здесь всего острее чувствуется угроза новой

надвигающейся на человечество войны. Здесь ощущается непосредственное дыхание фашистского зверя. В смертельной опасности находятся все культурные завоевания веков, и группа французских передовых писателей воскresшает лучшие традиции Франции, когда призывает писателей мира сплотиться вокруг культуры».

«Возрождение» (Париж), 22 июня 1935

Маленький фельетон

Защитники

Это звучит гордо: «Конгресс писателей в защиту культуры». Собрались: Андре Жид, Зигфрид Сассун, Макс Брод, Илья Эренбург, Киршон, Караваева, Грицко Тычина, Петро Панч, Корнейчук и начали защищать культуру всеми доступными для них средствами.

Собственно говоря, сама культура в конгрессе не очень нуждается. Кое как, с грехом пополам, осуществляет она в Европе свои скромные задачи, сводит концы с концами, никого не зовет на помощь, особенно Тычину, Панча и Корнейчука.

Но Грицко Тычина, Петро Панч и Корнейчук не такие люди, чтобы оставить культуру без помощи. Корнейчук до своего перехода в украинский писательский цех долгое время был лодочником в Киеве, имел красную медаль за спасение утопающих. Грицко Тычина – парубок тоже моторный: хотя и не лодочник, но служил мотористом в Полтаве, хорошо знает дело ремонта машин. А что касается Петра Панча, тот хотя писатель и без предварительного профессионального стажа, однако человек чуткий и отзывчивый. Как-то, путешествуя по Украине в поисках добавочного гонорара, Илья Эренбург встретил этого самопишущего автора в Каневе, когда тот ловил рыбу в Днепре, и рассказал, в каком критическом положении находится мировая культура.

– Не брешешь? – бросив удочку, спросил Панч.

– Вот тебе крест, – сказал Эренбург.

– Здоровенька деревенька! – растерянно воскликнул Панч. – В таком случае, чего чекать? Айда, братцы, поперем до Парижу!

И Петро Панч попер. И Корнейчук попер. И Тычина тоже: сел на самолет, попер.

Признаться по правде, в современной мировой литературе я не очень силен. Не только Корнейчука, Тычину и Панча, даже Анну Караваеву и ту совершенно не знаю. Ребекку Уэст тоже. Макса Брода также. А про Сассуна только из газетных скобок, поставленных возле фамилии, случайно прочитал, что он незаурядный поэт.

Поэтому неудивительно, что в самом начале, когда конгресс еще намечался, при беглом чтении предварительной заметки о съезде, мне показалось, будто собираются не писатели, а бактериологи в защиту культуры микробов. Корнейчук представился мне почему-то специалистом по спирохетам; Петро Панч – по коккам, Тычина – по спириллам. Правда, тут же в перечислении фамилий встретил я Михаила Кольцова и Алексея Толстого. Но мало ли к какой делегации могут примкнуть Кольцов и Толстой, чтобы побывать на Монпарнасе и напиться в «Ротонде»!

Однако уже на второй день конгресса я ясно понял ошибку и догадался, что съезд – чисто писательский. Жид председательствовал. Форстер, Бенда, Киш говорили. Главной темой первоначальной беседы было «наследие культу-

ры». Все пришли к заключению, что культура не должна быть национальной, а исключительно интернациональной. Национальная культура, по мнению собравшихся, чрезвычайно опасна, так как не оставляет места для интернационала, которому некуда втиснуться. Кроме того, национальная культура одной нации может не совпасть с национальной культурой другой нации, а это недопустимо, так как заставляет писателей при бегстве с одной горячо любимой родины в другую, любимую, менять псевдоним.

Но кульминационным пунктом съезда, судя по отчетам газет, было не обсуждение «Наследия культуры микробов», т. е., виноват, «Наследия культуры», а замечательный факт появления на эстраде таинственного оратора в накладной бороде и в очках. Незнакомец прибыл непосредственно из Германии в качестве конспиративного делегата и загримировался, чтобы его потом не преследовали.

– Товарищи, – сказала накладная борода. – Убедительно вас прошу: не смешивайте германскую интеллигенцию с расистами. Интеллигенция наша вынуждена молчать, но она ненавидит Хитлера и весь его режим.

Нечего говорить, какой овацией встретили слова загримированного делегата собравшиеся. Андре Жид, Вирджиния Вульф, Ребекка Уэст, Зигфрид Сассун отчаянно аплодировали. Алексей Толстой, Эренбург, Тихонов, Иванов, Микитенко, Караваева бросились к трибуне, хотели качать незнакомца. Но тот, опасаясь за наклеенную бороду, поднял отчаянный крик...

И делегаты разошлись, потрясенные всем происшедшим. Толстой со слезами на глазах говорил Караваевой при выходе из зала, что только теперь он всецело оценил ту свободу, которая царит в СССР.

В тот же вечер, проходя по бульвару Монпарнас, я случайно сделался свидетелем следующей сцены: в «Ротонде» на тротуаре, за столиком, сидели три каких-то субъекта. Все усиленно пили.

А один, отяжелев от вина, стучал кулаком и грозно выкрикивал:

– Грицко! Корнейчук! Пошуйте мне бороду!

– Петрусь, отчипись, – уговаривали буяна соседи.

– Грицко... Бисовы дети! Дайте бороду! Я тоже с бородой выступлю. Я уж им расскажу!

А. Ренников. «Возрождение» (Париж), 30 июня 1935

PARIS. ЮРИЙ ОЛОНЕЦКИЙ. 1935

Он допил пиво и в раздумье – заказать ли еще или хватит, – спросил французского приятеля Пьера, указывая на дверь, куда только что вошли две девушки.

– А там что?

– Там поэты собираются. Читают стихи.

Олонецкий сморщился.

– Поэты? Никогда не слышал. Ты слушал? Интересно?

Пьер пожал плечами – дескать, кому – как. Потом пояснил.

– У меня от стихов – оскомина.

Оба засмеялись.

– А девчонки хорошенькие, – заметил Юрий.

– Да? – удивился Пьер. – Я не заметил. Ну, сходи, познакомься, – он чмокнул губами.

Олонецкий снова засмеялся.

Они давно сидели в кафе, уже стало надоедать, хотелось чего-то нового. Юрий решительно поднялся и положил на стол деньги.

– Расплатись, Пьер, а я посмотрю...

– Познакомься, познакомься, – улыбался приятель, поднимая бокал.

За дверью стоял прилизанный молодой человек с подведенными глазами, с большой кружкой для пожертвований. Олонецкий без слов вынул пять франков и вопросительно протянул – не мало? Молодой человек кивнул, положил деньги в кружку и указал на скамейки, стоящие вдоль стены.

– Пожалуйста, свободные места еще есть.

По выговору Юрий узнал русского. Чуть было не сказал – *земляка*, подумал он. Но какой он мне *земляк*?

На другом конце скамейки сидели те самые девушки, а рядом с ними – улыбающийся моложавый господин в пенсне. На стульях и скамейках сидело человек сорок молодых людей.

Комната представляла собой небольшой зал с эстрадой в торце, где стояли два стула.

С одного из них поднялась пожилая дама и сообщила:

– А сейчас выступят наши друзья – русские поэты. Французское отделение закончилось, теперь русские поэты!

Она захлопала, и в ответ раздались жидкие хлопки присутствующих.

– Господа, – перешла дама на русский, – неужели так надо приветствовать наших поэтов?

Олонецкий поднял руку и, не дожидаясь разрешения, встал.

– Мадам, прошу прощения, я не знаю стихов русских поэтов, поэтому я не аплодирую. Когда я их услышу, то уверен, они заслужат мои аплодисменты.

В ответ раздались аплодисменты, сидящие переглянулись и наклонили головы друг к другу.

– Правильно... Кто это?... Очень верно... раздавать авансы преждевременно.

Дама на эстраде удивленно-возмущенно заявила:

– Имена наших поэтов говорят сами за себя, а вас мы не знаем, милостивый государь.

Олонецкий в ответ перешел на русский.

– А я не знаком с именами ваших поэтов, поэтому не надо заранее раздавать награды. Разве для того, чтобы слушать стихи, надо представляться? Я не поэт, не литературный критик, мне просто интересно.

Потом повторил фразу по-французски и ему снова захлопали.

В первом ряду поднялась женщина, лица ее Олонецкий не видел, и знакомым голосом обратилась к даме:

– Мария Осиповна, я знаю его – князь Юрий Романович Олонецкий! Он очень любит литературу, нашел мецената на наш журнал «Числа»...

Олонецкий узнал Катю и, когда она повернулась к нему, помахал рукой.

– Правильно! – крикнул в первом ряду и встал Поплавский – казалось, он сейчас засучит рукава.

– Сравнимся друг с другом строчками!

В центре зала вскочил всклокоченный парень.

– С кем сравниваться? Что? С тобой сравниваться? Графоман несчастный!

Поплавский полез через стулья.

– Это я – графоман? Да я тебе глаз вырву!

Их успокоили.

Затем поэт в бархатном пиджаке (блуза ему подошла бы больше, решил Юрий) напевал стихи о море и песке, на котором читаются иероглифы судьбы, но волна неумолимо смывает предсказания.

– Мы изгнанники, – рефреном повторял он.

Юрий не помнил, когда он последний раз читал стихи. То, что слышал сейчас, не трогало ни души, ни сердца; все слова казались рассудочными и придуманными. А кого из поэтов он помнил? Копаться в памяти оказалось бесполезным, всплыло одно имя – Бальмонт. Ну, да, как там: *чуждый чарам черный челн*! Красиво.

Олонецкий всегда восторгался и удивлялся людям, которые могут делать какое-то конкретное дело: мастерить столы и стулья, красить дома, изготавливать механические детали, чертить планы заводов и домов, управлять аэропланом или мотоциклетом, составлять смету строительства. Даже собственным братом он восторгался – в Америке, а не где-нибудь! – открыл свое дело, туристическую контору, и уже путешественники из США с наклейкой фирмы брата приезжают в Европу.

Или Кока Зуев. Судя по его рассказам, – а Кока никогда не врет, да и его товарищи по армии подтверждают, он – прекрасный военный. Его пулеметная команда за год боев не понесла потерь, а это что-то да значит. Во-первых, удача. А во-вторых, командир, который эту удачу лелеет и холит! А как он остановил под Перекопом махновцев? Он перенял махновскую тактику и посадил своих пулеметчиков на телеги. Тачанок под рукой у него не оказалось, но встретили анархистов как надо. Те были удивлены, получив подобный отпор. И отступили.

Или Пьер, с которым он учился. Тот изучает китайский язык. Это же мозги надо набекрень повернуть, чтобы иероглифы учить. Их же несколько тысяч! Пьер зовет в китайский ресторан. В китайском квартале.

– Не пойду.

– Дурак, ты думаешь, тебе дохлую крысу подадут вместо мяса? Дурак! Это не крыса, а специально приготовленная курица. Ты только попробуй, попробуй. А, нравится! Нравится! То-то... А то – крысу подадут, крысу... Это «утка по-пекински» называется, обожаю. Как? Теперь плати.

Девушка в сиреновом платье читала что-то про облака и небесные реки, и Юрию стало скучно слушать; следом за чем-то личным, в чем Юрий не разобрался, другая девушка – в английском костюме (кто-то подарил, не иначе, не новый костюм, заметил Юрий) читала про «разврат светил небесных». Он удивился, но поддержал аплодисментами. Потом читала знакомая ему Катя, и он удивился четкости ритмов и повторов.

Когда чтение закончилось, он вышел в кафе и у стойки обнаружил Катю, которая искала что-то в своем кошельке.

– Мне понравились ваши стихи, – искренне произнес он.

– Да? – не поверила Катя.

– Да. Что будете пить? Хочу вас угостить. Рюмку ликера?

– Лучше кир, – попросила она, и Юрий с удовольствием заказал эту смесь ежевичного ликера с шампанским, понимая, что никакого шампанского в напитке нет, а есть обычное игристое.

Олонецкий заказал еще два кофе с пирожными и себе рюмку коньяка.

– Вот вы, Георгий Романович, князь и богатый человек... – начала Катя.

Он чуть не рассмеялся.

– Давайте внесем ясность, милая барышня. Во-первых, князь – это в прошлом. Франция титулов не признает, как известно. Во вторых, я – не богатый человек, я служу, как многие другие, как и вы, наверно.

Катя кивнула.

– Вот вас зовут Катериной, как великую русскую императрицу. Вас называли не в честь ее? А я – Георгий. Как острит мой брат, святой Георгий – мой прямой родственник. Да, я хотел спросить, если не обидитесь: у вас грусть в стихах, почему? Грустно жить?

Катя отпила кофе.

– Грустно... Я писала когда... поругалась с мужем. Мой муж – негодяй, ничтожество, спутался с какими-то девками... Я его прогнала и написала эти стихи.

Олонецкой выпил свой коньяк.

– Я вам сочувствую, – искренне произнес он и положил руку на руку Кати.

Та руки не убрала.

– Что сочувствовать? Я с ним рассталась. Уже почти год прошел. Он же от этих девок мог меня чем-то заразить... венерической болезнью.

Олонецкий вздрогнул и недоверчиво покачал головой.

– Да-да! Он такой, – без тени сомнения отвела Катя невысказанное недоверие. Она всхлипнула.

– Ну-ну, – успокоил Юрий. – Пойдемте, я вас провожу. Вы где живете?

– Возле Восточного вокзала, за рынком.

Олонецкий обрадовался.

– Нам по пути! Я тоже возле Восточного вокзала, с другой стороны. Нам по пути, идемте.

PARIS. ЛЕТО. КОНГРЕСС

Зал кипел. Слышались только отдельные возгласы.

– Мы будем выступать за освобождение Виктора Сержа!

– Погодите, погодите... В России тысячи людей сидят в тюрьмах и лагерях...

Отрицательный взмах рукой.

– Люди здесь ни при чем. Надо освободить Сержа! Вы требовали Димитрова! Димитрова освободили! Теперь надо освободить Сержа...

Пробуют успокоить, образумить.

– Постойте, надо требовать. Но освободить не только Сержа, но и всех других. Вы не согласны?

Не слушает.

– Сержа в первую очередь!

– А другие?

– Они никого не освободят, если мы не будем требовать освобождения Виктора Сержа. Сначала его, потом – остальных. Одного всегда освободят, а многих нет.

Пытаются успокоить.

– Но ведь это нелогично. Выходит, вы выделяете Сержа как близкого вам по духу... как троцкиста...

Возмущение, отбрасывает якобы дружескую руку.

– Никого я не выделяю! Я не троцкист и не коммунист! Как вы смеете! Писатель Виктор Серж – символ. Символ притесненного писателя. Мы поставим вопрос... Я выйду на трибуну и скажу...

Удивленные лица окружающих.

– Какое выступление? Куда ты выйдешь? Кто тебе разрешит?

Теперь удивление в его лице.

– Как кто? Мы живем в демократической стране, и у нас каждый имеет право высказывать свое мнение...

Почти смеются.

– Ты, может, и живешь в демократической стране. Но они-то пользуются не демократическими способами. Посмотри, что у них происходит. Застрелили какого-то Кирова...

– Да-да! Это был герой!

Удивленные лица вокруг, особенно одно, которое наплывает.

– Какой герой? Что ты несешь?! Где ты прочитал такую чушь!

Весь Ленинград говорит, что случилось из-за бабы. У него красивая жена, Киров за ней приударял, а кто откажет важному вельможе. Он заревновал и застрелил ублюдка Кирова.

Возмущение. Лицо прыгает на лица окружающих.

– Нет! Нет! Это не так! Какие-то обывательские сплетни... Мещанские пересуды... – удивление окружающих.

– Ты дурак. Неужели непонятно, что ревнивца использовали, чтобы развязать в стране террор? Даже частушки из Совдепии уже прислали: «Ах, огурчики-помидорчики, / Сталин Кирова убил в коридорчике». Не слышал еще? Услышишь, убогий. У них всегда существовал террор. Но он был скрытый. А сегодня – открытый. Ты прочитай их постановление...

Возмущен.

– При чем здесь их постановление! Мы должны освободить Виктора Сержа!

Вздыхнул.

– Кто о чем, а вшивый – о бане... Серж – просто оппозиционер вашей коммунистической партии.

– Я – член не партии, а коммунистической оппозиции.

Успокоить безумца, умиротворить кричащего, закрыть ласково рот оратору.

– Хорошо, хорошо, я разве дискутирую о твоих идеологических принципах?

Катя всех знала и называла фамилии, которые Георгию ни о чем не говорили.

Федин, холодноватый, вежливый.

Всеволод Иванов, хитрый, осторожный мужичок со смачным русским говором.

Тихонов – солдат из своих баллад.

Киришон – с толстой бурой шеей, больше всех партийно-озабоченный.

Подловатый Эренбург.

Бабель, по внешности, краскам и дикции похожий на Ремизова и на Жаботинского.

После чтения и докладов подавали записки с вопросами; и Базиль, который Василий, неизменно осведомлялся: «Что вы думаете о зарубежной литературе?»

Бабель ответил совершенно честно:

– Тут некоторые пишут чрезвычайно ловко, даже с блеском. – Все поняли, что речь идет о Сирине, печатавшем тогда один из своих романов. – Но к чему это? У нас в Союзе такая литература просто никому не нужна.

– Сволочной критерий, – тихо произнес Василий. – Как бы сам Бабель со своими фаршированными закатами не оказался в нужнике!

(Так и оказалось через несколько лет.)

PARIS. КАФЕ «ДОМИНИК». ЛЕТО

– Жизнь у нас на Монпарнасе, любезный Георгий Романович, протекает на редкость пристойно и даже скучно, если не считать основного развлечения: страстные, вдохновенные беседы.

– Да-да, я уже заметил, что литераторы просиживают до последнего метро за чашкой кофе.

– Бывает, что пропустив последний поезд, идут в «Доминик».

– Да, Катя мне рассказывала. Сплетни о каких-то оргиях...

– Вон идет Мария Ивановна, милейшая женщина, жена нашего поэта Ставрова, ищет мужа своего. Мария Ивановна, расскажите нашему другу, князю Георгию Романовичу, происходят ли на Монпарнасе оргии?

– Ах, какие там оргии! Ну, переспят друг с другом, подумаешь, оргии!

– Да-да, согласен, ничего противоестественного на Монпарнасе не происходит, жизнь протекает на редкость размеренная и высоко-нравственная, по местным понятиям.

– Вот Фельзен с дамой пришел, они где-то обедали с водкой.

– Да, вид у них довольный – видно, что чувствуют себя отлично.

– Вы до или после?

– После, после.

– *Vita nostra brevis est!*

– *Brevi finietur.*

– Прикажете той самой?

– Надо спасать.

– Выкупать!

– Примириять.

– Иванов попался на «транзакции» с Буровым...

– Оцуп угрожает пощечиной Ходасевичу...

– Червинская разбила чашки в «Доме»...

– Графоман...

– Я больше не могу! Я решительно больше не могу!

– Чтобы прожить, надо как-то работать... А писать! Тоже каторжный труд, особенно прозу.

– Некоторые еще бегают в Сорбонну.

– Я не знаю, когда я пишу стихи. Я их пишу, когда моюсь, бреюсь...

– И я не знаю, когда я пишу стихи.

– Хорошо поэтам! А прозаики знают, что требуется определенное место и время.

– ...и что разбойник на кресте?

– Не помню, как у Блока, а вот у Гумилева...

– Не мешайте играть, у нас бридж...

– Не шумите, господа!

– Почему вы даму не взяли?

- А чем ее возьмешь, пальцем, что ли?
- Ха-ха-ха, ну, давайте играть.
- Разные литературные школы, разные биографии, разные темпераменты и вкусы.
- Всё просто, я сейчас поясню.
- Попробуйте.
- На основе своих теоретических размышлений Адамович должен был бы установить очень почтенную иерархию ценностей: самое главное, скажем, евангельская любовь, затем философия или наука, потом игра, секс, наконец, искусство – на последнем месте...
- Хи-хи, скромное занятие и совсем не позорное.
- Но, увы, тут парадокс. Как только человек, созвучный этим настроениям, посвящал себя «творчеству», он сразу пускался в погоню за «самым главным», «на последней глубине», переворачивая всю пирамиду ценностей вверх ногами, доказывая единым существом своим, что именно искусство есть самое важное в жизни: ему-то суждено всё преобразить, всё объяснить, спасти! Иначе не стоит вообще этим заниматься.
- Вот на такого рода противоречия и хочет обратить наше внимание Ходасевич. Читали его статью в «Возрождении»? Логика его целиком между Аристотелем и Ньютоном.
- Не забывайте, что Адамович ведет критический отдел в лучшей и наиболее приличной газете.
- Это «Последние новости» – лучшая и приличная? Насквозь совдеповским духом пропитана!
- Вы, дорогой мой, преувеличиваете!
- Ничего подобного! Ну, пусть не совдеповским духом, но левыми идеями – точно.
- Да Бог с ним, с Адамовичем, ну перехвалил Шаршуна, пусть потешится...
- Но панегирик Иванову – это возмутительно! Иванов вышел из Фета (и не лучшего Фета). Кроме того, именно Георгий Иванов по своим нравственным особенностям опровергает всю эстетику Адамовича... *что бы Толстой сказал?..*
- Графоман...
- «Голуаз жон» курю, из приличных сигарет это самая дешевая...
- Ну, рассказывайте последние новости...
- Оцуп и начал хамить, даже полез драться, так что пришлось вмешаться.
- Ходасевич в последней статье написал, что Оцуп занимается делячеством и живет с «Чисел».
- Как ни странно, Оцуп, по-видимому, ожидал, что мы поддержим его.
- Он потерял контакт с действительностью.
- Раньше собирались в «Ле Болле»...

– Бахрах написал, что в нем грязно...

– Сам он грязный...

– Графоман...

– Читать вирши Бунина, восхищаясь их монолитностью? Ни за какие коврижки!

– Бунин прошел мимо всего русского символизма, не задетый им нисколько, упорно продолжая переключаться с дубравами, березками и жаворонками.

– Не сомневаюсь, что для сталинского политбюро стихи Бунина понятнее и ближе, чем поэмы Андрея Белого или Анненского.

– Но, господа, к чести Ивана Алексеевича надо признать, что он не кривлялся, не подражал, не бежал за модою.

– Да, всегда гордый зубр...

– Обреченный на вымирание.

– Бунин делает свои вещи, пожалуй, лучше самых великих предтеч.

– Это закон эпигонов!

– Как так?

– Бунин описывает ветлы на заливном лугу и щиколотки баб, может быть, удачнее Тургенева или Толстого.

– У него вино пьют из фужера...

– Но заслуги Тургенева и Толстого не в этом...

– Или не только в этом.

– Это судьба эпигонов. То ли дело первые циркачи, которым приходилось кувыркаться с трапеции на трапецию без спасительной сетки внизу.

– А «последователь» Бунина Зуров? Вот уж эпигон эпигона!

– Графоман...

– Я видела Бунина на собрании, он наряден и любезен. Тщательно выбрит, с белым лицом, седой, во фраке, подчеркнуто сухой и подтянутый...

– Ну да, дворянин, европеец.

– Это он после того, как ему вырезали геморрой, начал себя так держать!

– Ходасевич помирился с Цветаевой, написал о ее стихах хвалебную статью.

– Цветаева – умная баба, а вот муж у нее – тот еще тип...

– Да уж, во все глаза на Москву смотрит...

– Хочет вернуться, вот и глядит, как бы повыгоднее продаться, многие хотят вернуться...

– Куда, в Совдепию?

– В Россию, милый, в нашу родную Россию.

– Кто хочет вернуться?

– Все, все хотят...

– Не сочиняйте.

– Ну, многие хотят...

– Только те, кто социально неприспособлен, не знает и не хочет знать языка страны пребывания...

– Не желаю знать языков проклятых лягушатников!

– ...не имеет нужной профессии.

– Не желаю разгружать вагоны на товарной станции!

– Но жить как-то надо. Не хотите разгружать вагоны – красьте стены, убирайте мусор, никакая работа не бывает ненужной. Я чистил сортиры на железнодорожных станциях, и ничего – не умер.

– Не желаю убирать мусор и красить стены в Париже! Лучше буду красить стены и мыть полы в Саратове или Томске.

– Пожалуйста, полковник. Если вы хотите укреплять большевистский режим, то – пожалуйста. Идите, красьте дома, за стенами которых люди умирают от голода, мойте полы в казармах, где расстреливают невинных.

– Это всё красивые слова. А я желаю приносить пользу России. Вы же дворянин, князь! Разве вы не желаете служить и приносить пользу России?

– Нет, не желаю приносить пользу СССР, потому что России нет с 25 октября 1917 года.

– А я, как дворянин и офицер, считаю, что Россия всегда остается Россией, кто бы ею ни правил, и считаю, что должен в любом случае приносить пользу своей родине.

– Родины у нас с вами нет с того самого дня, как мы покинули крымский берег.

– Графоман...

– А у тебя все графоманы.

– Все и есть графоманы.

ПРЕССА

Шоферы такси

Депутаты департамента Сены, Малэнг и Жан Лонге, представили министру труда Жакье делегацию шоферов такси, берущих клиентов группами. Как уже сообщалось в «Возрождении», накануне депутаты департамента Сены решили обратиться к правительству с просьбой о разрешении шоферам такси возить в пригороды клиентов группами. Министр заявил делегации, что он с благосклонностью отнесется к ее ходатайству, и обещал изучить вопрос в ближайшем же будущем.

Национальный Союз нового поколения

В пятницу, 22 февраля, в 20 час. в помещении Союза (кафе де Бульвар, пл. де ля Мери Виллербан) состоится очередное собрание. Доклад: «О промышленности в СССР». Гости по рекомендации членов.

Вечер «Современных записок»

В пятницу, 1 марта, в залах Эрмитаж Комартан – блины, организуемые друзьями «Современных записок». Во время ужина разнообразная музы-

кально-вокальная программа. Два оркестра, джаз, танцы. Все билеты проданы. Запись на столики принимается по телефонам Отей 54-26 и Трокадеро 26-06.

Роман комиссара и белой поэтессы Куйбышев и Марианна Колосова

Смерть Куйбышева вскрыла одно обстоятельство не столько политического, сколько романтического характера.

Здесь проживает фанатичная националистка, поэтесса Марианна Колосова. Девушка, живущая аскетически, почти целиком отдала свою лиру на службу политической борьбе. Подобная, весьма почтенная по настроению, тенденция всё же не могла не отразиться на некоторой односторонности дарования харбинской поэтессы.

Некоторое время назад ею было опубликовано стихотворение «Письмо к наркомму». В подзаголовке значилось: «Товарищу Куйбышеву». Посвящение не прошло незамеченным. После получения телеграмм о смерти «вождя» к поэтессе нагрянули журналисты.

Вот что они потом рассказали:

– Да, вы можете написать, что я предсказала смерть Куйбышеву. Я действительно часто думала о том, что он скоро должен умереть. Что значит «часто думала»? А вот прочтите эти четыре стиха:

Но я твой след подкараулю
И обещаю, как врагу,
Что в черном браунинге пулю
Я для тебя приберегу.

– Он очень любил вас?

– Думаю, что да. Я знаю, что я ему очень нравилась.

– А вы тоже любили его? Ведь вы пишете в ваших стихах «И молодость мою и нашу (Ты тоже молод был тогда) Любовной памятью украшу...»

– Да, но в конце стоит «похоронивши навсегда», – заканчивает поэтесса. – Он нравился мне потому, что я ему нравилась. Это часто бывает с молодыми девушками. Я же была тогда совсем глупенькой девчонкой. Но ненависть всё же победила. Ведь он красный комиссар. Враг моей России. Агент связи тайной организации.

– И долго длилось ваше знакомство с Куйбышевым?

– Около трех месяцев. Но мы виделись каждый день.

– Расскажите, пожалуйста, как это случилось?

– Это было в 1920 году. Я работала тогда в тайной офицерской организации. Нас раскрыли. Посадили в ГПУ. Угрожал расстрел. Случайно наше дело попало на ревизию Куйбышеву. Он тогда ревизовал ряд городов и приехал инкогнито. На допросе мы встретились. Я еще не знала его имени. А он обратил на меня внимание. Я в нашей организации работала в качестве агента связи. Белые в то время часто пользовались услугами женщин для этой цели; вот, будучи под арестом, я решила прибегнуть к моей опытности в такого рода делах.

Увлечшийся мною Куйбышев отнесся ко мне по-джентльменски – тогда у красных еще не было звериного отношения к женщинам. Благодаря его заступничеству меня и моих сообщников выпустили на свободу, но оставили

в качестве поднадзорных. Конечно, не только интерес ко мне заставил Куйбышева так поступить. Был тайный расчет, что мы войдем в сношения с оставшимися непойманными офицерами и невольно выдадим их ГПУ.

— Вы сказали, что знали только три месяца. Что же было потом?

— Он всячески пытался не отпускать меня далеко от себя. Уговаривал поступить в сел.-хоз. институт в Москве. Развивал в беседах со мной грандиозные планы о строительстве, стараясь заразить меня своим коммунистическим энтузиазмом. В то время он не был таким, как в последние годы. Помню, он рассказывал, что какое-то время был личным секретарем Ленина. Вот если бы я могла показать вам его письмо ко мне, вам легко было бы составить мнение о нем. Но я уже теперь плохо помню, что он писал. Письма имели историческую ценность, но я боялась взять их с собой, потому что Владивосток, куда я пробралась из СССР, был в руках белых, и переписка с Куйбышевым могла быть превратно понята и скомпрометировала бы меня.

— Быть может, вы вспомните какой-нибудь характерный случай из встреч с Куйбышевым.

— Он не прочь был иногда иронизировать над советским режимом. Случалось это, конечно, в своей компании, среди таких же комиссаров, Куйбышев любил под веселое настроение рассказать последний анекдот про Ленина или вообще про советскую жизнь. Бывало, вдруг запоет: «С красным знаменем вперед оголтелый прет народ». Другие комиссары в долгу не оставались. Видно, веры-то в конечное торжество коммунизма не было. Думаю, нет и сейчас...

Харбин

«Возрождение», 26 февраля 1935

MÜNCHEN. КНЯЗЬ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ

Они пришли днем, громко стучали в дверь.

— Мы пришли с обыском, — заявил высокий штурмовик.

Другой посмотрел на портрет на стене.

— Это кто?

Олонецкий с удивлением взглянул на него — не зная собственных героев!

— Это Шойбнер-Рихтер.

— Еврей, — процедил штурмовик.

Другой отодвинул его в сторону.

— Помолчи. Он не еврей. Откуда у вас портрет Шойбнера-Рихтера?

Олонецкий взял себя в руки.

— Он мне его подарил. На оборотной стороне есть надпись.

Штурмовик кивнул.

— Вы что, участник движения?

Олонецкий сглотнул.

— Сочувствующий, — соврал он, проклиная себя.

Княгиня смотрела на них широко открытыми глазами. Штурмовик снял портрет и громко прочитал надпись на обороте: «*Моему другу и соратнику. Макс Шойбнер-Рихтер, 12 сентября 1923 года.*»

Он вздохнул и повесил портрет на место.

– Извините, вышла ошибка. Мы старых бойцов помним. Понимаю, вы сейчас не в наших рядах... А! – он махнул рукой. – Пошли, – позвал второго.

Они вышли.

– Я понял, – тихо произнес второй, – старик, наверно, сторонник Штрассера.

– Тсс! – оборвал первый. – Думай что хочешь, а язык засунь в задницу.

Князь относился равнодушно к антисемитской демагогии нацистов. Когда они затрагивали международные вопросы, употребляя еврейские имена, то и он кивал головой, повторяя: Ротшильд, конечно, Ротшильд – еврей, согласен.

Ну и что Ротшильд? Но что плохого в Ротшильде? Прекрасная банковская система. Один играет на бирже, другой дает в долг, мой парикмахер тоже еврей – кстати, очень умный человек, с ним приятно позубоскалить, сидя в его парикмахерском кресле... Вот наши эмигрантские подголоски нацистов твердят, что в России засилье евреев. Чепуха. (Роман Николаевич следил за событиями в Совдепии, специально недавно купил советскую «Правду» с фотографиями всех членов большевистского правительства.) Может, когда-то оно и было, но после изгнания Троцкого все евреи исчезли с руководящих постов. Ну, Литвинов, ну Каганович, ну, Ягода. И всё. С Кагановичем понятно – пишут, что Сталин живет с его сестрой...

Собственную жену застрелил, спит с сестрой соратника... Тьфу на него... Может, газеты и врут. У властелина одной шестой суши может быть не одна подружка, а целый гарем. Может и не один... А тут какая-то Роза Каганович! Да что с него взять! Азиат, чудовище... Бедная Россия! Какие противные рожи! Министры... Тьфу! Народные комиссары! На-род-ны-е... Они пешки, которых назначает политбюро. Вот – политбюро, большая фотография. Где здесь евреи? Один Каганович. У остальных такие мерзкие рязанские да псковские морды... Бандиты... Где же засилье? Может, на низших должностях и остались евреи, но не на верхах большевистской партии. Понятно, что Сталин избавлялся от сторонников Троцкого – всех этих каменевых, зиновьевых, радеков... А они в своем большинстве – евреи.

Фамилии троцкистов всплыли у него в голове – Смирнов, Муралов, Преображенский... Какие они евреи? И главный царевубийца Белобородов – русский. А другие царевубийцы – да, евреи: Голощекин, Войков, Юровский... Имя им легион...

Смешно говорить, как наши правые, что октябрьский переворот совершили евреи. Русские, косопузые морды, а во главе мой одноклассник Ульянов – русский дворянин, – вот кто совершил переворот!

Как же не помнить те дни – неудачная война, Распутин, кошмарное казнокрадство, нерешительный император... – но он таким раньше не был, он стал таким, я помню, – под влиянием Распутина... Глупость пришла на ум: Государь всегда был себе на уме.

Князь вспомнил одну из редких аудиенций императора, свое впечатление – вроде мягкость, уступчивость, а на самом деле – всё сделать по-своему.

А евреи... Ну что ж – дело, наверно, в Троцком. Троцкий! Жуткий тип. Рассказывали, что во время войны, Гражданской, все офицеры на службе у красных были заложниками, а их семьи подавно. Это Троцкий придумал. А децимация, которую он взял из Древнего Рима? За отступление расстреливать каждого десятого. Разумеется, Сталин не лучше, тоже инородец, но Троцкий хоть чему-то учился, а Сталин — обычный кавказский разбойник.

Роман Николаевич вышел в теплый майский день, который он бы назвал летним.

Май в его петербургской памяти всё еще оставался весенним месяцем, хотя и теплым, но все-таки предтечей лета. Да и какое лето в Петербурге? Вот в детстве, в Симбирске – там лето.

Я уже становлюсь каким-то анахронизмом, уже хочу сказать: а вот в наше время, а вот я помню в мое время... Тьфу. Так могут говорить какие-то отставные политики, а я – простой германский обыватель, беженец из России. И меня, как обычного обывателя, должны интересовать сугубо обывательские вопросы – повышение цен, новые товары, порядок на улицах. Я простой обыватель. И пора забыть, что когда-то, в другой жизни я был директором департамента, действительным статским советником, кавалером орденов и приглашен во дворец. И прочее, и прочее... И не надо об этом вспоминать. Я и не буду вспоминать прошлую жизнь. А что вспоминать?

Зелень в этом году необычно пышная, различных оттенков, определить и назвать которые просто не находилось слов.

Князь подходил к кустам, внимательно всматривался в узоры листьев, даже трогал пальцами, и не мог поверить, что это натурально, а не нарисовано художником-импрессионистом. Импрессионистов он любил, дома лежали два французских альбома, привезенных сыном Георгием, который знал об отцовской привязанности. Сыну в этом отношении повезло – в любой момент пошел в музей и посмотрел на импрессионистов. Лариса собирается проводить сына, он ее должен сводить в Лувр – они посещали перед войной, когда я ездил с миссией во Францию, взял с собой Ларису, хотя раньше никогда такого не позволял, на меня бы косились...

Он радовался теплу, зелени, отмечая одновременно, что тридцать пятый год, пятнадцатый год жизни в Германии, начался для семьи хорошо и пока ничем дурным не грозит.

Жена собирается навестить младшего сына в Париже, заодно повидать старую приятельницу – баронессу Корф. Что ж, он поехал бы вместе с ней, но зачем смущать сына столь многочисленными визитерами?

PARIS. МИШЕЛЬ

Ушла, ушла зима, радовался Мишель, – не только для меня, но и для машины хорошо – ездить безопаснее. Сразу вспоминалась страшная зима 1919-20 годов, когда тифозная, голодная, замерзшая Северо-Западная армия умирала в нетопленных эстонских бараках. Тиф и испанка уничтожали людей, от роты осталось семеро; он даже не помнит, как выкарабкался из горячего жара и туманного бреда. Когда весной окончательно пришел в себя, то обнаружил свое тело на лесопроделках, а сознание осталось под Гатчиной, в бараке.

Бывшие солдаты и офицеры валили лес, за что получали гроши. Через неделю он снова заболел – теперь возвратным тифом. А когда выздоровел, узнал, что в Польше нужны офицеры в русскую армию, и он на все заработанные деньги купил билет и приехал в местечко под Варшавой. Там командовал Пермыкин. Он сначала не узнал Мишеля, потом рассмотрел его:

– Да ты же командовал третьей ротой!

– Так точно, господин полковник.

Пермыкин понимающе похлопал по плечу.

– Досталось вам...

Мишель согласно кивнул.

– Два раза болел.

Пермыкин вздохнул, смотрел на выходца с того света.

– А я, грешным делом, считал, что весь наш полк от сыпняка...

Мишель хмыкнул.

– Неделю назад из моей роты семеро живыми лес валили в Эстонии.

* * *

Мишель ждет пассажира, который вышел за деньгами, чтобы расплатиться. Мишель уже возил его, кажется, даже сюда возил. Вот из дома вышел... Нет, кто-то другой, в макинтоше и кепке, оглядывается по сторонам и сразу же исчезает за углом. Что-то застонало внутри.

Он ждет еще несколько минут и вылезает из кабины.

Консьержка в клетчатом платье смотрит вопросительно и насто-роженно.

– Где живет господин... – Мишель пытается описать его наружность. Но вспоминает только галстук. – Я шофер, я жду, – заканчивает он.

– Я поняла, о ком вы, – кивает женщина. – Третий этаж, квартира слева.

Мишель смущается.

– Проводите меня, пожалуйста.

Женщина морщится и поводит плечом, дескать, что за причуды.

– Пожалуйста, – соглашается она. – Вы можете подождать здесь, – добавляет она, словно Мишель рвется вперед.

Она поднимается. Он слышит скрип ее домашних туфель на деревянной лестнице, или это лестница скрипит.

Потом он слышит крик. Женщина кричит. Мишелю кажется, что на весь дом. Или даже на улицу.

Он бежит вверх.

Консьержка стоит, схватив дверь обеими руками.

– Что?... – начинает Мишель и видит человека, лежащего у входа. Из-под него течет кровь.

Такого же цвета, как красная клетка на платье консьержки.

Это пассажир, которого Мишель привез.

PARIS. ГЕОРГИЙ ОЛОНЕЦКИЙ

Георгий вышел из дома в еще полусонном состоянии, без какого-то определенного плана на день, тупо смотрел на зелень распустившихся цветов на клумбе возле подъезда, потом заметил проезжающего велосипедиста на улице и вспомнил – надо выпить кофе.

Он всего неделю жил в районе, который рекомендовал Зуев, – дескать, спокойно и тихо, и много русских, даже две русские лавки есть. А Олонецкому, наоборот, не хотелось общаться с русскими. Он только кивал головой соседу по дому, пока тот однажды не спросил на плохом французском:

– Простите, мсье, мы знакомы?

Юрий пожал печами.

– Нет. Но мы живем в одном доме, – ответил он по-английски и пошел дальше.

Сосед смотрел вслед.

Наверно, я ему кого-то напоминаю, мелькнуло в голове.

В русской лавке, разумеется, никакого кофе не могло быть, его не могли здесь даже представить. В лучшем случае – чай. Дальше оказался русский портной, через два дома – русская механическая мастерская, как гласила вывеска.

Но через три дома оказалось французское кафе, и он буквально вбежал в него.

Он взял большую чашку крепкого кофе и круассан, сунул его в чашку, медленно стал жевать, рассуждая, что общение с русскими неизбежно выбивает из колеи налаженной французской жизни. Сейчас он переводчик у Ситроена, твердая зарплата, двухнедельный отпуск, с восьми до пяти – служба.

В русском районе нет ничего плохого. Но нет и ничего хорошего. Раз русский – значит, под наблюдением полиции. Впрочем, почему он должен быть под наблюдением полиции? Разве китайский район, Чайнатаун, под наблюдением полиции? Китайский – может быть, а русский нет. Да и какой это русский район – три лавки и двадцать жителей, говорящих по-русски! – разозлился он. Китайцев – сотни, тысячи, может, а русские разбросаны по всему городу, вот в 16-м

арондисмане, говорят, даже названия улиц на русском языке. Но, наверно, шутка.

Вчера с очередного эмигрантского сборища пришел потрясенный Зуев.

– Знаешь, Жорж, – признался он, – я был на литературном вечере...

Юрий захохотал.

– Ты? На литературном вечере? Что ты там забыл, Кока? Или кого, если не скрываешь...

Зуев попытался объяснить.

– Там одна женщина...

– О! Так я и думал, Кока...

– Нет, нет, всё не так, как ты думаешь... Понимаешь, она читала стихи... Ой, она – жена этого типа...

– А... – понял Юрий. – Эфрона?

– Да. И ты знаешь, Жорж, – Зуев ушел во вчерашний вечер, – она читала стихи про Перекоп. Ты не можешь себе представить, она же там не была! А я там был. Представляешь, словно я снова со своими пулеметчиками... Ветер, пурга. Второй расчет убит... Третий расчет убит... Сам бросаюсь подавать ленту, а красные прут и прут стеной... По трупам... По своим же... Почему не заминировали Сиваш? Не могу понять, что произошло... Как она смогла? Не понимаю. Со вчерашнего вечера не могу в себя прийти... Как у нее получилось... И главное – как же Эфрон с ней живет?..

Олонецкий хмыкнул.

– А как она с ним живет?

Зуев встал, прошелся по комнате.

– Не понимаю! Как она с ним живет? Ведь он же всё время врет. По любому поводу. Делает скорбное лицо... Тьфу... Не понимаю.

– Может, из-за детей? – осторожно спросил Юрий.

Зуев пожал плечами.

Олонецкий вспомнил этот разговор, но тут пришла Катя и притащила в одной руке сумку русских книг и журналов, в другой руке она несла этажерку.

– Совсем новая! – объявила она, стесняясь Олонецкого. – Я сюда поставлю журналы и книги.

Олонецкий продолжал молчать.

– Почему ты молчишь? – воскликнула Катя. – Тебе не нравится этажерка?

Он пожал плечами.

– Ты молчишь? Ты такой противный, что тебя даже клопы не кусают! Ты такой противный и вредный, что никому не нужен!

– А что ты скажешь о Цветаевой?

Та сразу насторожилась.

– А что Цветаева? Ты про ее стихи? Она, по-моему, писать не умеет, выискивает какие-то странные слова, ломает размеры...

Олонецкий ехидно поинтересовался.

– Это у вас на Монпарнасе так говорят? Наверно, Поплавский в своих черных очках под опереточного злодея или вечный насмешник Иванов...

Катя обиделась.

– Борис иногда может и преувеличивать, а Георгий Владимирович очень тонко понимает современную поэзию.

– Но раз революция сломала старый синтаксис, так может и Цветаева ломает старое отношение к размерам и ритмам?

Катя возмутилась.

– Что ты говоришь! Синтаксис! Да что ты понимаешь в поэзии! Ты же ничего не понимаешь в поэзии!

Олонецкий попытался снизить градус спора.

– Извини, дорогая. Я вчера случайно взял журнал, который ты забыла, «Часовой», и прочитал стихи одной поэтессы... Нет, нет, не Цветаевой и не твоих подруг с Монпарнаса. Она откуда-то с Дальнего Востока. Очень хорошие стихи.

Катя махнула рукой.

– Да это Колосова! Марианна Колосова. Сразу видно, что ты в поэзии профан. Кто она такая? Провинциальная поэтесса из Харбина. Глагольные рифмы.

Юрий не понял.

– Погоди. О чем ты говоришь? Что значит *провинциальная поэтесса*? Разве в литературе есть такое понятие – *провинция*? Ты что-то путаешь, Катя.

Но та безапелляционно прервала.

– Ты ничего не понимаешь в стихах, поэтому не лезь в эти вопросы. Лучше пойдем послушаем Морфесси, прекрасно поет.

– А где?

– В «Кремле».

– Где-где?

– Ресторан так называется – «Московский Кремль». На авеню Ваграм, рядом с площадью Терн.

Однако когда на другой день она пересказала свой спор с Юрием приятелям и приятельницам в кафе Ле Болле, то Иванов задумался и произнес:

– А вы знаете, Катя, ваш друг-князь в чем-то прав. Мне всегда нравились его парадоксальные оценки. А тут Марианна Колосова, ха! Из Харбина, друзья? – его иронию поддержали смешками.

Действительно, какие поэты могут быть за тридевять земель, когда всем известно, что центр русской поэзии – Париж, а точнее – Монпарнас.

– Интересно, а что скажет Адамович?

– Как что? – подал голос Поплавский. – Что может хорошего ска-

зять Адамович про других? Да ничего! Он же никого не признает, кроме своей школы. Ха! «Парижская нота»!

– Перестаньте, Борис! Вы преувеличиваете, – закричали со всех сторон.

Поэт отмахнулся.

– Перестань, перестаньте... Ну и перестану. Кто мне нальет вина?

Ответом было молчание. Денег ни у кого не оказалось.

PARIS. КРАСИЛЬНЯ ПРОЦЕНКО

– Нет, мне Вертинский нравится, – признался Варфоломеев.

– Ха! – воскликнул Кальчужный. – Что ты нашел в этом салонном эстете? Вот Петр Лещенко из Румынии – это класс.

– Да ну эту кабацкую музыку... Или вот Морфесси. Или Брюно, я его знаю по Югославии, военные песни он здорово исполняет.

– А я будто не знаю? Недавно гостевал у родителей...

– В Югославии много талантливых наших осело...

Кальчужный хмыкнул и поднял голову от куска воска.

– Особенно Суворин с его «Новым временем».

Варфоломеев удивился.

– А что Суворин? Газета как газета. Я в ней печатался.

– Мало ли кто где печатался. Я вот стихи отнес в «Возрождение», Ходасевич обещал опубликовать.

– А меня обещали в «Современных записках» напечатать.

– Ха! Так тебя и пустят в журнал. Там только непризнанных гениев с Монпарнаса печатают. Тон задает Адамович; он им всем протежирует.

– Да кого там печатают? Кого?

– Ну, Смоленского... Раевского... Софиева...

– Тьфу, тоже мне поэты!

– Цветаеву.

– Цветаева – особая статья, поэт сложный, высшего класса. Это я тебе как поэт говорю.

Кальчужный оторвался от работы.

– А я разве не поэт?

Варфоломеев хмыкнул. Кальчужный уточнил.

– Я тебе признаюсь: не понимаю ее стихов. Особенно, когда читаю. Некоторые строчки есть... честное слово! – гениальные! *«Где были... громом грянет – на Дону»*. А? Ты был на Дону?

– Не был на Дону. Я тогда в тифу лежал. А у Смоленского какой ассонанс – «И ангел плакал над мертвым ангелом, мы уходили за море с Врангелем». Здорово!

Молчание нарушил Проценко, который подошел к своим работникам.

– Я был на Дону. В Дроздовском полку. Еще в дивизию полк не был развернут. Красные со всех сторон ползли, гады. Они же людей

не жалеют – гонят на наши пулеметы... Ну что ты делаешь, что ты делаешь? Убери отсюда воск, и отсюда... Ну не работнички, а просто какой-то кабак!

– Скажешь – кабак.

– Да-да, кабак, и твой любимый Лещенко в нем поет.

– И Вертинский тоже. «Ваши пальцы пахнут ладаном». Не сердись, Леонид, сейчас исправлю. Я вижу...

– А разве плохо? *И в ресницах спит печаль!* Красиво!

– Ну, конечно, там в Петербурге... он даже на стихи Георгия Иванова поет.

– «Принесла случайная молва»... *Случайная молва* – тьфу! До вашей Пензы нам далеко, точно.

– А что Пенза? Знаменитый Иван Мозжухин, знаешь, кино-артист, тоже из Пензы. Хороший город, я в нем родился, учился... к большевикам служить не пошел, уехал к отцу в деревню...

– Это где девки сисястые и жопастые?

– Именно туда.

– И как тебя девки приняли?

– Хорошо приняли.

– Я забываю – где твоя деревня?

– Как где? В Пензенской губернии. Сорок верст от Пензы. Ты воском прокладывай, прокладывай, да больше, не жалей... И по рисунку...

– Не учи ученого.

– Вот так. А говорят, нельзя зайца научить играть на барабане!

– А по шее не хочешь?

– Кстати, недавно знакомого пензяка встретил. Гуля, Романа, я с его братом дружил. А он – журналист, пишет для кино. Спросил, купил ли его книжку, я ее читал, забыл, что книжка Романа... Про Азефа и про эсеров. А он мне свою новую книжку подарил. Осторожно, осторожно погружай... так, так... Книжка новая, про совдеповских палачей.

– Про палачей? Интересно?

– Только начал читать про Дзержинского, Ягоду...

– Про всю ихнюю сволочь!

– Да. Ты палкой, палкой пошевели, чтобы равномерно краска ложилась...

– Не учи...

– Деревня наша сорок верст от Пензы. Хорошо в деревне... Мы все из простых. У отца молотилка на бензине была. Отец любил современную технику, выписывал через журнал. Трое батраков у нас... Хорошие мужики, мы их не обижали... Нет, нет, что ты... Они не к красным подались, а к Деникину, как на собственной шее большевистский хомут почувствовали – так и подались... У нас вся деревня зажиточная, бедных не было. И с чего им появиться? Всякие комитеты, комбеды – на дух нет такого! Всяк всякого знает, жили дружно, слажено, хорошо жили. Эх! Молотилку помню, а что еще у отца в сарае стояло?.. Забыл! Я же в городе учился, к отцу на каникулы толь-

ко и приезжал. Но часто... Жил у родственника Тимофея Степаныча, он лавку мучную держал, справный хозяин... А в деревню приедешь – простор, лес, поля, а девки какие...

– Да слышал я, слышал про твоих девок. Небось не одну испортил?

– Это ты брось. У нас так не принято. Строго с этим делом. Хотя девки были лихие... Одна... Ух, как мы с ней... Да... А папаня с маманей где – Бог знает. Большевики куда-то законопатили. На север. Уезжайте, уезжайте, я им писал. А они не верили. Маманя говорила: так долго продолжаться безобразие не может, Господь не допустит... такое не навсегда... А я твердил: навсегда. Тимофея Степаныча шлепнули в чрезвычайке, мне Гуль сказывал. А маманя говорила: это не навсегда...

Слышавший рассказ Проценко вздохнул. Помощники посмотрели на него.

– Навсегда не навсегда, а надолго, – глухо произнес он. – Лет на сто – точно.

– А на сто – считай навсегда, – подытожил Кальчужный.

Варфоломеев снял перчатки, вынул бумагу и табак, стал скручивать сигарету.

– Послезавтра Новый год. Ты где справляешь?

Кальчужный усмехнулся.

– Имею пару приглашений, еще не выбрал.

Проценко прокашлялся.

– Я дома, с женой и сыном. Как всегда... Новый тридцать шестой год. Уже тридцать шестой! Пятнадцать лет на чужбине... Так и задумаешься над прошлыми годами...

Варфоломеев закурил и улыбнулся.

– Да уж... Досадно иногда за свою загубленную жизнь.

– Почему загубленную? – не понял Проценко.

Варфоломеев встал в позу.

– Как почему? Ну почему не сделали из меня в ранней молодости коммуниста? Почему не выгнали из гимназии? Не научили грабить казначейства? Работать в качестве германского шпиона во время войны? То ли дело, если бы кто-нибудь занялся как следует моим воспитанием. Принес бы сначала книгу Карла Маркса. Затем Энгельса. Затем Каутского...

Кальчужный ехидно усмехнулся.

– И тот, кто принес, пошел и донес, что ты читаешь нелегальную литературу.

– Да! – согласился Варфоломеев. – И дали бы мне распрекрасный волчий билет, отпустили бы на все четыре стороны. И пошел бы я по правильному историческому пути по прямому направлению к «светлому будущему». Сначала посидел бы в тюрьме. Вырос, окреп бы. Был бы сослан в Сибирь.

– Там получал бы казенное денежное пособие выше оклада околоточного надзирателя, – улыбался Проценко.

– Именно! Возмужал бы окончательно, еще больше набрался бы

сил, чтобы дожить, подобно другим царским политкаторжанам, до девяностолетнего возраста... И после революции – какая карьера! Какой почет! Назначили бы куда-нибудь полпредом!

– Или министром... – уточнил Кальчужный.

– Точно. Короли жали бы руки. Солдаты союзников, которых я продавал неприятелю, брали бы на караул. В Лиге Наций каждый справлялся бы о моем драгоценном здоровье: «Как поживаете?», «Как почивали?» Фотографы щелкали бы аппаратами. Репортеры...

– И никто бы тогда не сказал, что ты нежелательный иностранец и никто не заявлял, чтобы ты убирался ко всем чертям.

– Всем известно, что теперь в Европе только одни коммунисты могут без страха взирать на свое будущее. Сохранится капиталистический строй – они останутся невредимыми, здоровыми, веселыми. По-прежнему будут любимцами Лиги Наций. Рухнет капиталистический строй – они станут еще здоровее, еще веселее, перестреляют всех членов Лиги, всех бывших министров и всех коллег по парламенту. А мы? При капитализме едва существуем. При коммунизме окончательно исчезнем с лица земли... Нет, нет, в самом деле: почему в юности не сделали из меня коммуниста? Почему не выгнали из гимназии? Почему не научили грабить казначейства?..

Проценко улыбнулся и добавил:

– И вообще: какое право имели родители внушать всем нам идеи о чести, о верности слову, о приличиях, порядочности, о греховности грабежа и разбоя?

Варфоломеев докурил и закончил:

– Вот я и говорю: разве не возмутительное отношение к детям? Неправильно нас воспитали!

Они засмеялись.

Кальчужный стер улыбку с лица и поднял руку.

– А я вот что вспомнил. Я этот год в одиночестве встречал, так получилось. Пошел в бистро, взял водки, закуску хорошую... Представляете, да? Один, без компании. Сижу, мрачно пью, молча смотрю на публику. Выпил водку, съел закуску. Заказал еще бутылку вина. И в два часа ночи объединился с каким-то одиноким соседом, тоже мрачно пившим и тоже молча смотревшим на публику.

– Вы итальянец, наверно? — после краткой беседы спрашиваю его.

– Да, мсье.

– А я русский. Вы отчего же живете здесь, а не в Италии?

– Да я от Муссолини бежал. Я коммунист. А вы отчего не в России?

– Да так. Я тоже бежал. От коммунистов, я белый.

Итальянец нахмурился. С минуту помолчал. Но затем поднял бокал, улыбнулся и растроганно произнес:

– Всё равно, мсье. Вы человек хороший. За переворот в Москве и за ваше возвращение в Россию!

– Благодарю вас, синьор. Вы тоже мне нравитесь. За переворот в Риме и за ваше возвращение в Италию!

Проценко хмыкнул и заключил:

– Это хорошая примета. Уж если даже коммунист пожелал переворота в Москве, то отчего Новому году тоже не пойти нашим желаниям навстречу?

ПРЕССА

Объединенный Союз русских шоферов

В пятницу, 10 мая в 19 час. состоится выдача справок по всем вопросам, связанных с получением карт д-идантитэ, к каковому времени и приглашаются члены Союза в канцелярию.

«Народный вождь»

«Народный вождь – Иосиф Сталин»

Из младоросской «Бодрости»

Чего уж, Господи, прости,
Зачем водить, куда вести?
Уже давно привел товарищ
К дымящим головням пожарищ,
К руинам сел и городов,
К печали срубленных садов,
К пустым хлевам, клетям, амбарам,
К бичам, цепям, тюремным нарам,
К Нарыму, Кеми, Соловкам,
К пинкам, затрещинам, плевкам,
К чека, расстрелу на заре,
К холодной дьявольской игре,
Бездушной и не русской власти,
Ко всякой пагубной напасти,
К Белморканалу, стройке «Бам»,
К погостам, кладбищам, гробам,
К забитым лавкам без товаров,
К разгульным бабам комиссаров.
К позору, грязи, нищете,
К последней горестной черте,
Когда мужик под плетью пашет,
Когда предатель бодро пляшет,
И пожирает комсомол
Зерна последнего помол.
Ослиной глупостью кристален,
Уже привел товарищ Сталин!
Куда уж, Господи прости,
Еще Россию завести!
И всё же называет кто-то
Вождем рвача и идиота.

Валентин Горянский

«Возрождение» (Париж), 15 июня 1935

* * *

Иstekший год был годом начального расцвета социалистического гуманизма. Социалистический гуманизм есть фактор величайшего значения именно в наше время.

Н. Бухарин, «Известия» (Москва), 1 января 1936

PARIS. ВЕСНА 1936

Лариса Владимировна по-хозяйски открыла платяной шкаф – пиджак сына, пальто, костюм, рубашки... А здесь... Она вынула женский халат на плечиках.

– Жорик, это что? Откуда?

Юрий вышел из кухни и сразу всё понял.

– Это, мама, знакомая барышня повесила. Когда она у меня остается, то ходит в своем халате.

Мать поджала губы.

– Какая-нибудь белошвейка... – протянула она.

– Почему обязательно белошвейка? – забирая халат и водружая на старое место, произнес сын. – Она поэтесса.

Мать хмыкнула.

– Поэтесса! Что за профессия? А кроме стихов, чем она занимается?

Юра пожал плечами.

– Ах, не всё ли равно. Где-то прислуживает, подает в русском ресторане...

– Ну конечно, более приличной барышни ты не нашел. Ты все-таки князь...

Юра улыбнулся.

– Не всем твоим сыновьям спать с графинями.

– Какая пошлость, – поморщилась Лариса Владимировна. – Ты опошил в своем Париже. Ты просто ревнуешь брата.

Теперь поморщился Юрий и попытался объяснить.

– Ты преувеличиваешь. Брата я люблю и прекрасно отношусь к Лиде.

Мать возмущалась:

– Никогда не думала, что ты станешь завистником. В тебе говорит самая обычная зависть. Ты завидуешь брату и Лиде, что они хорошо устроились, что у них есть хорошая работа...

Юрий поморщился:

– И много денег...

– Да, и много денег! Они их зарабатывают собственным трудом.

– А вот это уже расхожая пошлость, – парировал Юрий. – Я тоже зарабатываю, пусть не доллары, а франки.

Мать не слушала.

– У них всё есть, пусть там, в Америке, но есть. А ты никак себя не найдешь, мечешься – то туда, то сюда. Зачем ты плавал на корабле? И теперь еще белошвейка...

– Мама, она не белошвейка, – засмеялся Юрий, – она даже в тканях не разбирается.

– Это всё равно. Ты меня, Жорик, расстроил.

– Чем я мог тебя расстроить? Я же не собираюсь на ней жениться. Он ласково обнял мать.

– Этого еще не хватало! Жениться тебе, князю Олонецкому, на какой-то парижской белошвейке!

Юрий откровенно рассмеялся.

Он не баловал родителей своими приездами, но пару раз в год обязательно навещал их. Он знал, что им так легче и спокойнее – видеть его рядом, а когда с ними жил Олег, видеть обоих сыновей.

Катя не умела ничего – ни готовить, ни учиться, ни работать.

Иногда Олонецкий думал, что она даже не умеет жить, как он ни старался ее этому научить.

Она умела только писать стихи, которые Олонецкому не нравились, но про стихи он Кате, конечно, никогда не говорил; не восторгался и не критиковал. Он обычно произносил «хорошо», и Катя оставалась довольной.

Она была совершенно неопытна, несведуща в самых простых вопросах хозяйства: не умела поджарить кусок мяса, не представляла себе, как разжечь в камине кругленькие мячики из угольной пыли (а другого вида отопления в квартире не было), как выстирать мужскую пижаму, как одной выходить на улицу, где много арабов, а они задевали и приставали весьма решительно.

Спасала ее консьержка дома, самоуверенная и презирующая всех особа; она иногда поднималась и начинала учить Катю: сковороду надо сперва разогреть, а не класть мясо на холодную; белье надо замочить, а потом уж его стирать... Она учила Катю, как с одной спички разжечь камин, как влажной метелкой подметать жалкий, потертый ковер...

Катя работала подавальщицей в русском ресторане «Кругосвет», который считался и не дешевым, и не нарочито дорогим. Днем в воскресенье готовили дешевые обеды для своей публики, главным образом с *rue Dari* – русский собор находился близко. После литургии приходили целые семьи, прибывались и одинокие, которым в воскресенье некуда деться, – тихие люди, одинокие, жившие в самых дешевеньких и подчас подозрительных отельчиках; впрочем, если у них «заходилась денюга», то могли и кутнуть, закусить с графином водки, и уж обязательно появлялась музыка, песни.

Несколько раз Катя замечала четырех пожилых, очень скромно одетых дам, они говорили по-французски, с удовольствием ели борщ и обязательно потом котлеты – платили, уходя, вскладчину. Что-то в них чудилось давно знакомое. Катя, конечно, подошла к ним, спросила, довольны ли они всем, нравится ли им сюда ходить? И оказалось, что это гувернантки, жившие до революции – кто двадцать, а кто и

тридцать лет – в России! Они начали наперебой рассказывать, у кого именно они служили, в каком имении проводили лето, каких чудных вывели питомцев: «И всё, мадам! Ах! Какое несчастье! Как мы были счастливы там; подумать только, этого бедного генерала жестоко убили; у вас мы снова едим все эти вкусности – никогда не забудем, мадам, никогда!»

По вечерам публика была иная – однако тоже приличная и, конечно, с деньгами.

Катя работала плохо, поэтому ее через пару месяцев выгнали. Вместо нее русские хозяева «Кругосвета» наняли какую-то девицу из Алжира. Та в первый же день запустила руку в кассу, была поймана, отправлена в полицию. Снова взяли на работу Катю.

Но всё проходило мимо Кати, мимо ее сознания; она жила в искусственном мире, искусственными отношениями. В результате ряда таких искусственных выдумок и получалась ее весьма искусная поэзия.

Поэты собирались в кафе на Монпарнасе; удивлялись Олонецкому: как можно жить с Катей? Поплавский просто называл ее сумасшедшей, а злоязычный Яновский говорил, что Юрию надо поставить памятник с надписью: «Он жил с Катей» – и проставить количество дней.

Когда роман затянулся, Яновский заговорил не о днях, а о неделях.

А Катя жаловалась друзьям:

– Я больше не могу! Я больше не могу жить с этим человеком! У него нет критического анализа моих стихов! Ему всё нравится. А так быть не может!

– Значит, он тебя обманывает, – подзуживал Иванов, – значит, ему ничего не нравится.

Олонецкий всегда молчал, когда попадал с Катей на поэтическое сборище; он считался другом Кати, потому поэты привыкли у него стрелять сантимы на кофе, и Олонецкий всегда давал мелочь, но не больше. Его считали хорошим парнем и говорили, что Катьке с ним повезло. Олонецкого уважали – именно он нашел мецената для издания журнала «Числа». Поплавский незадолго до смерти заявил, что Олонецкий напоминает ему покойного Пьера Батшева, тот тоже молчал в компании умных собеседников (умным Борис, разумеется, считал себя), чтобы не показывать свой дилетантизм в литературных спорах.

– Пьер от кокаина умер, – говорил в таком случае собеседник Поплавского.

– Да что ты газетное вранье повторяешь! – вскидывался Борис. – Сердце у него прихватило. А жена его, Дениз, с любовником в тот день кувыркалась – как его звали-то?.. Ну, поэт французский, ты его знаешь, как же его... А Пьер... уж я столько с ним общался, мы и выпивали, помню, с Пашкой Горгуловым, ни к свету помянутого; утром стартовали, встретили Пьера, он нас угостил тогда на славу, мы

пошли по кабакам... щедрый мужик был, жаль, помер; ну, сердце есть сердце, новое не вставишь... Никогда он не потреблял наркоту. А Олонецкий похож на него, такой же молчун...

– Раз молчит – значит, стучит, – подавал реплику Яновский.

– Кто стучит? Юрий? Не смей меня, Вася. Кому стучит? На Гренель, что ли? Товарищу Потемкину? Или в «Сюрте»? Ха-ха-ха! На кого тут стучать можно, а? На тебя, что ли? Да про тебя одно только можно сообщить – что ты вместо покойника живую бабу в прозекторской зарезал!

Поэты хохотали. Такие шуточки здесь любили.

Когда надоедало сидеть в «Селекте», отправлялись дальше – в «Доминик».

– Мы – доминиканцы, – улыбалась Катя. – Не монахи-доминиканцы, а потому что мы ходим в «Доменик», мы – доминиканцы.

Олонецкий смеялся.

– А ты, значит, доминиканка!

– Да, – согласно кивала Катя.

В зависимости от наличия денег в кошельке, «доминиканцы» располагались за стойкой, где, помимо напитков, можно было заказать и горячее, или шли во внутренний зал, размещались в отводимом для них особом месте. Другие посетители «Доминика» – большей частью свои, русские, – с любопытством смотрели на писателей, зная по именам каждого из них, но редко когда решались с ними заговаривать. Да и «доминиканцы», желая быть в своем кругу, неохотно откликались на такие попытки.

Однажды, когда они веселой группой вошли в ресторан, какой-то подвыпивший господин вдруг обратился к ним по-русски:

– Господа писатели! Позвольте приветствовать в вашем лице надежду русской литературы! Гарсон, подайте каждому из них по бокалу шампанского – кроме этих жидов! – он указал на Георгия Иванова и скульптора Головина, даже внешним видом уж никак на евреев не походивших.

Но это привело обоих в восторг. На Монпарнасе история потом долго вызывала бурю смеха.

Катя пошла к стойке взять себе «кир». Олонецкий заказал кофе.

– Георгий Владимирович, я вчера не был у Мережковских. Расскажите, было интересно на очередном собрании «Зеленой лампы»?

Иванов скривился.

– Как всегда, дорогой друг. Я вам вот что расскажу: Мережковский допытывался у Адамовича, как тот мог написать хвалебную статью об одном явно бездарном писателе...

– О ком?

Иванов секунду размышлял – назвать имя или нет. Решил не называть.

– Неважно! Дмитрий Сергеевич допытывается: «Неужели он

правда нравится вам?» Я смотрю на Адамовича, он буквально изворачивается, говорит: этот писатель не так уж плох... Кстати, господа, я тоже так считаю. Но Мережковский не унимается, наседает, и наш милейший Адамович, выведенный из себя, сознается: «Просто из подлости, Дмитрий Сергеевич. Он мне не раз помогал». Мережковский обрадовался: «Так бы и сказали! А то я испугался, что он вам действительно нравится. А если из подлости, то понятно, тогда совершенно не о чем говорить. Мало ли что из подлости можно сделать!»

Юрий Фельзен, считавшийся знатоком языков и чрезвычайно положительным человеком, вдруг обратился к Олонецкому:

– Я и не знал, что вы, Юрий Романович, так хорошо говорите по-английски, совсем как англичанин. Вчера ведь вы были у «Доминика» в зале с тремя англичанами и двумя дамами и что-то весело рассказывали им?.. Нет, уверяю вас, это были вы! Я даже приостановился, проходя мимо, – послушать, как вы говорите...

Олонецкий пожал плечами.

– Это – клиенты Ситроена... Никогда не думал о языке. Вы мне льстите.

Английский!? Олонецкий даже смутился. Ну, французский, немецкий – это с детства; ему нравились иностранные языки, он в них с удовольствием купался, как в ванне. Кто и владел хорошо английским – это Олег, а с французским у него шло не так гладко, как у младшего. Родители с детьми говорили за завтраком по-французски, за обедом – по-немецки, но заставляли заучивать Пушкина. А английский в доме не прижился. И когда Юрия отправили в парижский пансион, он был удивлен царившими в нем английскими нравами – и в быту, и в разговорах, и в общем настроении. А он, назло, говорил по-немецки, и товарищи дразнили его где-то услышанным:

– Бош! Бош! Немец-перец-колбаса!

Юрий отвечал другим, подхваченным с улицы:

– Англичанка гадит! Англичанка гадит!

Почему ему не нравились англичане? Он не находил ответа. Итальянский, испанский для него оказались легкими, он быстро схватывал суть любого нового языка. Но любви к языкам не испытывал. А тут говорят об английском! Ух, англичане...

Английский язык хочет стать международным, еще бы – империя! Но пока международный – французский, и слава Богу. И у Англии есть мощный конкурент – Северо-Американские Соединенные Штаты. С большим современным флотом – с авиаматками, гидрокрейсерами, авиатранспортом. Кстати, изобрел эти гидросамолеты русский инженер Игорь Иванович Сикорский. А англичане... Они выдали Колчака на расправу, сорвали поставки снарядов Деникину. И, в конце концов, они отказались принять Государя после его отречения. А ведь родственники!..

Он поешился. Представил себя в похожей ситуации и не поверил, что брат Олег отказался бы его принять. Конечно, нет. Брат Олег преуспевает в Америке. И его жена Лидия тоже. У Олега с детства

мечта о дальних странах – Майн Рид, Купер, индейцы с томагавками, пионеры, золотая лихорадка, бизоны, ковбои, небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг... И жену такую же себе нашел, поклонницу Америки, с хорошим английским. А откуда у меня английский? Язык пришел в Сорбонне, непонятно почему он вдруг увлекся им. Почему?

Вспомнил! Вспомнил: сокурсники постоянно упоминали какой-то популярный английский роман, и чтобы не казаться белой вороной, он решил роман прочитать – и набросился на язык. Ложился спать со словарем и к концу семестра тоже мог цедить сквозь зубы: «Да, бывает... Помнишь, там в третьей главе одна бабенка изменяет любовнику...»

– Что вы сейчас читаете? – поинтересовался Фельзен, перебив его воспоминания.

– Селина.

– Прекрасный писатель.

– Я тоже так думаю.

– А кого еще читаете?

– Поль Моран, Жироду. Но Селин мне особенно нравится.

– А Пруст?

– Нет. Скучно, неинтересно. Вы сейчас спросите про Джойса.

Фельзен улыбнулся.

– Угадали! Так как с Джойсом?

– Я начал читать «Улисса» и понял, что не готов к его восприятию. Впервые попенял себе, что мой английский не настолько хорош. Потом догадался, в чем дело, и начал с самого начала – с «Дублинцев» и «Портрета художника в юности». Через два месяца я смог следить за Улиссом.

Фельзен в задумчивости протянул:

– Восприятие... Да, готовность к восприятию художественного произведения есть не у каждого. Мне интересно беседовать с вами, Юрий Романович! – воскликнул он.

Олонецкий в знак согласия наклонил голову.

– На прошлой неделе мне попала книга этих... да-да! – смешное название, не правда ли? Я ничего не понял, какая-то чепуха, жонглирование фразами. Но некоторые метафоры просто поражают. Сумасшедшие образы, я такого не встречал в поэзии.

Подошла Катя. Она слышала последние слова Олонецкого.

– Вы его не слушайте, – обратилась к Фельзену, – он в стихах не разбирается. Ему понравились сюрреалисты.

– Они сплошь коммунисты.

– Да, как ни странно. Но люди талантливые. Мне понравился Бретон. А у других... Идеология просто лезет из стихов... Как его?.. – попытался вспомнить Юрий.

– Арагон, – подсказала Катя. – Представляете, Арагон написал гимн ГПУ!

Олонецкий кивнул.

– Арагона надо послать к советчикам на жительство, сразу бы перестал хвалить большевистскую охранку.

– У него жена русская, – сообщила Катя. – Наверно, она его и толкнула в объятия ГПУ.

Фельзен усмехнулся.

– Если бы не хотел, никто бы его и не толкал в такие объятия.

Олонецкий усмехнулся в ответ:

– В объятиях можно и задушить.

Все засмеялись.

– Что вы любите из русской классики, князь? – задал неожиданный вопрос Фельзен. Ему очень хотелось понять, чем дышит Олонецкий.

Тот протестующе поднял ладонь.

– Давайте без князей. Ладно? Я не люблю русской классики. Ни Достоевского, ни Толстого, ни Гоголя. Может, только Вельтмана перечитал бы.

Фельзен удивился.

– Вельтмана? Но... второстепенный писатель!

– Мне нравится. Особенно роман про похищение невест, про наследство, про приданое, – смешно и наивно. Авантюрный роман девятнадцатого века. Интереснее «Мертвых душ».

– Тебе бы, Юрий, только авантюрные романы... – заметила Катя.

– Я с ними засыпаю, – парировал Олонецкий.

– А советских писателей читаете? – спросил Фельзен.

– Никогда. Даже в руки не беру.

– А за тамошней жизнью наблюдаете?

– Нет, – покачал головой Олонецкий, – неинтересно. Проглядываю новости в «Возрождении». Но не более того.

Не будет же он рассказывать малознакомому Фельзену, что состоит членом Национального союза нового поколения, что уже один раз (пусть и неудачно) ходил в Россию...

А писатель Фельзен догадывался, что князь Олонецкий не так прост, что человек с таким нестандартным мышлением не просто многое скрывает, а *очень* много скрывает. И упрямо продолжал расспрашивать:

– А из современных писателей?

– Я прочитал вашу книгу, которую вы мне подарили, потом читал книгу Яновского, которую он подарил Кате.

– Ну и что скажете? – отхлебнув кофе, ждал писатель.

Олонецкий вздохнул – так не хотелось давать оценки.

– Мне нравится, что вы нерусский писатель.

– Как нерусский? – не понял Фельзен.

– Нерусский. Для вас не было Достоевского и Льва Толстого. Вы – европейский писатель. И дело не во влияниях. Стилистика вашей прозы иная, чем... ну, скажем, у Зайцева или Шмелева. У них стилистика сугубо русской литературы, корни видны...

Фельзен поморщился при упоминании имен.

– ...А ваши корни – европейские. Пруст должен вам очень нравиться. – Заметил Юрий.

Фельзен улыбнулся.

– Меня в этом упрекали критики.

– Значит, я не первый.

И закончил диалог неожиданно для собеседника:

– Я считаю, что писатель должен писать на языке страны проживания. Кому нужны здесь, в Париже, книги на нашем родном языке? – Нам с вами и еще сотне любителей литературы.

Фельзен уже сталкивался с подобными взглядами и возразил:

– Думаете, у французских писателей читательская аудитория больше?

– Гораздо больше! – убежденно произнес Юрий.

– А я так не думаю, – заключил Фельзен.

Шум отвлек Олонецкого. Фельзен тоже повернулся.

Борис Поплавский в своих темных очках и с эспандером в руках наседали на неизвестного черноволосого парня.

– Ты что, ты что?.. – старался тот остановить поэта.

– Я тебе покажу, как за чужими барышнями ухлестывать! – Поплавский взял эспандер в кулак наподобие плетки.

Олонецкий терпеть не мог драк и подошел к ним.

– Господа, в кафе не дерутся. Выйдите на улицу и там выясняйте отношения.

– Правильно, – согласился кто-то.

Те, не глядя на присутствующих, пошли к выходу.

Соперник Поплавского вышел из «Доминика» на улицу и ждал, сжав кулаки, нападения. Двое или трое коллег, выбежавших вслед за ними, увидели неожиданную, как в кинематографе, развязку.

Едва Поплавский, приблизившись к противнику, занес руку, как она оказалась в клещах мощной руки появившегося неизвестно откуда блюстителя порядка.

Полицейский укоризненно покачал головой:

– Господа, не заводите драки на улице. Иначе я вас обоих оштрафую.

Поплавский кивнул, уныло отправился прочь; его соперник перешел через улицу и скрылся в гостеприимных дверях «Ротонды».

Незадолго до разрыва Олонецкого с Катей случилась очередная полубабная история, о которой в литературных кругах русского Парижа долго и с интересом говорили.

Ежегодный бал русской прессы – в ночь на 14 января нового 1936 года.

Яновский и Смоленский помогали Марии Самойловне Цетлиной, заведовавшей организацией «Бала прессы». В русском Париже телефон еще не распространен. Чтобы нанять оркестр или заполнить

артель гарсонов, надо послать нарочного. Автомобили не по средствам. Так что за мелкое вознаграждение молодые литераторы бегали по городу, помогая дамам-распорядительницам.

Надо было нанять людей для буфета, и Яновский не придумал ничего лучшего, как пристроить туда Олонецкого, – увы, дилетанта во всех отраслях труда, кроме знания иностранных языков, как считали на Монпарнасе.

Привлекательность работы заключалась не в мизерном вознаграждении, а в том, что предоставлялась возможность как следует «выпить-закусить, одним словом, встряхнуться», по словам Олонецкого, который пил редко и немного. Но иногда мог себе позволить.

Даже в самый день бала литераторы выполняли сложные поручения в разных концах города.

Итак, синий мертвенный парижский день – из тех, что никогда французской школой живописи не был воспроизведен. Яновский и Смоленский бегают по гастрономическим магазинам, собирая полударовую закуску. И в каждой русской лавчонке Смоленский изрекает:

– Что же это, в самом деле, выпьем наконец...

– Неловко, – Яновский жмурится в ответ. – Ведь придется отчитываться.

Но тут же чокаются.

Смоленский, как бухгалтер, уверяет, что всё это входит в графу расходов по разъездам. Они расстанутся вечером, чтобы привести себя в порядок перед балом.

Приехали на бал к десяти часам. Смоленский, несмотря на свой порхающий фрак, был уже на «втором взводе». Сразу вышел конфуз с отчетностью. Мария Самойловна никак не могла понять, почему издержано так много. Начало не предвещало ничего хорошего.

Олонецкий вошел в роль бармена, вспоминал повадки полужнакомых хозяев рюмок и бокалов, в очередной раз перетирал блюда и рассматривал пришедших.

Мимо прошел с негнущейся спиной и красиво посаженной головой Бунин. С ним шла чуть полноватая женщина, сохранившая следы былой красоты, – жена, Вера Николаевна, понял Олонецкий и поклонился знаменитостям из-за стойки. Те любезно-равнодушно кивнули в ответ.

Художница Гончарова попросила стакан лимонада. Юрий улыбнулся, открыл бутылку, подождал, когда напиток осядет. С Гончаровой поздоровался какой-то художник, прокашлялся и громко потребовал стакан белого вина. Олонецкий потянулся за бокалом, но художник отрицательно помахал пальцем.

– Только в стакан.

От него пахло нафталином. Юрий поморщился, но в стакан налил, понимая, что костюм выкуплен из ломбарда, где лежал в залоге долгое время. Не мог же он и дальше лежать, когда наступил торжественный день эмигрантского бала!

Вон Сергей Сергеевич, бывший приват-доцент – во фраке. Боже мой! Фрак! Профессиональный нищий, выкупил в том же ломбарде, что и художник, свой старый фрак, чтобы никто не мог догадаться о степени его падения. Сергей Сергеевич обвел взглядом стоявших у стойки; Олонецкий, конечно, принял равнодушный вид постороннего. Человек во фраке благодарно кивнул.

Неряшливость одежды отмечает русских. Пожалуй, даже не самой одежды, но как они ее носят. Скифская рубаха наложила на русского печать тысячелетий. С ней он не может расстаться до сих пор. Одежда менее всего заботит женщину, которая идет... с кем она идет? С Эфроном. А, значит, Цветаева.

Сразу видно, что идет поэт, которому наплевать на одежды и приличия. Сразу видно, что она никогда-никогда не думала о внешности (и это притягивает). В Цветаевой нет женского обаяния, отсюда и ее внешний вид. Если бы она попыталась ридиться, было бы только смешно. Она сознает это и не огорчается.

Платье на ней простое-препростое, только наглухо прикрывает ногу, заставляет забывать о ней, – уверен, другого выходного платья у нее нет. Известный парижский портной, славившийся своими женскими нарядами, превосходно определил свою задачу в живом, хотя и пошлом, изречении: «Нужно достигнуть того, чтобы, одев женщину, мы чувствовали ее раздетой».

Никто не умеет носить переброшенный через плечо плащ с большей непринужденностью, чем итальянец; никто, кроме кавказского горца, не знает, в чем заключается живописность башлыка; никто не выглядит естественней в доломане, чем венгр.

Эфрон помахал ему рукой, Олонецкий учтиво поклонился.

А бал протекал с обычным успехом.

Бунин во фраке изящно закусывал, поглядывая на обнаженные плечи бывших и будущих поклонниц. Оркестр пел о невозвратном.

– Иван Алексеевич, как у вас обстоит сексуальный вопрос? – спрашивал выпивший Яновский с проникновенностью.

– А в глаз хочешь? – миролюбиво отвечал нобелевский лауреат.

Иванов указывал на бритого человека в смокинге и шептал со своей вечной ухмылкой:

– Вот самый бездарный мужчина в эмиграции.

Все смеялись: он показывал на Алехина.

Яновский бродил от компании к компании, от приятеля к знакомому, от Лифаря к Ларионову с Гончаровой, скучал. Его остановила Катя, строила ему глазки. Он обрадовался.

– Пойдем, я тебя угощу, – вдохновенно пригласил и повел к буфету, где в белом кителе и колпаке возвышался Олонецкий.

– Юрий! – заявил Василий чересчур громко, радуясь отчетливости своей речи. – Георгий! Два, понимаешь! — и показывал пальцами количество, чтобы не было ошибки.

Юрий понял и наполнил водкою два пивных бокала. Яновский с

Катей чокнулись. Впрочем, тут же прозаик заметил недоумение во взгляде поэтессы и удивление спутника ее жизни из-за стойки...

Василий честно осушил свой «бок» и, сообразив, что Катю порция убьет, отнял ее стакан – она успела только пригубить – и по-рыцарски, жертвенно сам проглотил содержимое. Он собирался закусить, чтобы противостоять опьянению, и ухватился за куриную ножку...

Но здесь наступило затмение.

– ...Затмение у него! – похохатывал лукавый Эфрон. – Пленка рвется, как говорят у нас в кинематографе.

Эфрон подрабатывал участием в массовках и любил остроты и шуточки из мира кино. Олонецкий не входил в круг друзей Эфрона, но познакомился с ним именно на киносъёмках.

Когда на другой день Юрий приехал на киностудию, удивился, что статисты, вместо того, чтобы переодеваться и гримироваться, выстраиваются в очередь перед кассой.

– Отменили съемку! – сообщил встреченный им довольный Эфрон. – А деньги всё равно выплачивают!

Олонецкий пожал плечами, но получил в кассе свои сто франков и – так получилось! – вместе с Эфроном вышел на улицу.

Позже он несколько раз попадал в те же компании, где Эфрон (всегда без жены!) вел себя удивительно развязно (нагло, думал Юрий) и вызывал неприязнь. Тот же несколько раз недвусмысленно делал попытки к сближению, но подчеркнутая «левизна» Эфрона отталкивала Олонецкого:

– В ваших приятелях уже есть один князь – Святополк-Мирский, – посмеивался он. – Зачем еще один? Тем более, что я не намереваюсь идти по коммунистическому пути.

О том, что Святополк-Мирский вступил в английскую компартию, все знали.

Как потом передавали многочисленные друзья и заступники, Яновскому не дали упасть, а, подхватив под локти, повели, понесли через все залы, а он, судорожно сжимая в руке куриную ножку, плевал и охал.

В шикарных залах Noches в центре есть площадка – может, для большого оркестра... Туда и положили Яновского, на виду у всех. Там часа три он отлеживался, как некое грозное предостережение ликующим вокруг. Время от времени поэты и прозаики наведывались к нему, давали технические советы...

Классический русский интеллигент, с чеховской бородкой, всю жизнь занимавшийся не своим делом, Илья Николаевич Коварский на балу заведовал чайным столом; стол «дешевый» и помещался в коридоре. Но рядом с Коварским пристроился известный старый и больной меценат.

– Зачем вы здесь сидите на сквозняке? Пройдите лучше в залы, где танцуют, – уговаривал Коварский мецената.

Но тот решительно отказывался:

– Нет, нет, я пришел на бал с единственной целью – посмотреть на современных русских писателей, и здесь я всех увижу.

– Только что он это произнес, – радостно вспоминал Коварский, – и вот уже Яновского несут в таком виде, ха-ха-ха. Вот, поглядел на современных писателей!

В последующей своей жизни – в Испании, во Франции, в Америке – всюду, куда забрасывала – нет, не забрасывала, а швыряла – судьба, Олонецкий постарается не вспоминать парижский отрезок жизни.

С Катей они расстанутся спокойно и даже как-то растерянно.

– Катя, – мягко начнет Олонецкий, – всё, что Бог ни делает, – к лучшему. Это твой очередной роман. Не в первый раз. Мы с тобой вместе жить не можем. Так получается. Ты знаешь, что «Ситроен» разорился. Я – безработный, денег мало. Жить без денег и без работы я не умею.

Он сразу вспомнил месяцы своей клошарной жизни, когда спал под мостом или в будке садовника в сквере на Севастопольском бульваре, а ранним утром уходил с мешком собирать пустые бутылки на набережных Сены и канала Сен-Мартен, рылся в урнах... Но не рассказывать же об этом Кате!

– Да? – равнодушно спрашивает она. – И что ты придумал?

– Мне предложили работу в другом городе...

Непонятный стыд обуревают Юрия, ему неудобно произносить пошлые фразы. Но он увидит, что лицо подруги расцветает.

Она бросится к Юрию и искренне его поцелует.

– Как здорово! Как хорошо, что ты уезжаешь! И мы расстаемся! А я не знала, как тебе сказать...

– Что сказать? – не поймет Юрий.

– Что я полюбила другого человека! – сообщит Катя с непонятной радостью, которая нападает на человека, когда тот сбросил тяжелый груз и облегченно выдыхает, расправляя усталые плечи.

Юрий погладит ее по плечу.

– Ну, не в первый раз тебе влюбляться. – Иронично и по-доброму улыбается Олонецкий. – Все поэтессы регулярно влюбляются. Им это надо для вдохновения. Сама рассказывала про Цветаеву...

Катя перебьёт:

– Ах, что ты пристал со своей Цветаевой! У нее постоянные влюбленности! Если бы романы... а то – обычные фантазии! А у меня по-настоящему! А у меня по-настоящему! Нет, это настоящая любовь! – уверенно произносит Катя и улыбается.

Олонецкий равнодушно кивает; он уже несколько раз слышал подобные Катины откровения. Сейчас незакрытый чемодан волновал его больше ее влюбленностей.

– А когда ты уезжаешь?

– Завтра.

– Здорово! Далеко?

– В Толедо.

– Толедо? Где это?

– В Испании, – неожиданно признается Олонецкий.

Катя замрет.

– Здорово! – воскликнет она. – Я никогда не была в Испании.

Там, говорят, очень красивые женщины, а мужчины – галантные кавалеры, все – Дон Жуаны. Да, а как же квартира?.. У меня сейчас нет денег платить за нее.

Олонецкий даже не вздохнет – будто у Кати когда-то бывали деньги!

– Я заплатил за два месяца вперед.

– Очень любезно с твоей стороны. А дальше? А если ты через два месяца не вернешься? Найдешь себе испанку и будешь с ней танцевать... танец... как его...

– Фламенко.

– Да! Фламенко.

Олонецкий аккуратно раскладывает в чемодане свои рубашки и два галстука, один из которых – подарок Кати.

– Извини, но ничем не могу тебе помочь. У меня денег только на дорогу.

– А как же буду жить я?

Юрий пожмет плечами.

– Наверно, человек, которого ты полюбила, позаботится о тебе.

Катя растерянно скажет:

– Он женат, у него семья, дети...

Потом увидит на столе деньги.

– Это ты мне оставил? Двести франков! Как благородно с твоей стороны. Сразу видно, из какой ты семьи...

Олонецкий состроит гримасу. Ему не удавалось закрыть чемодан. Выбросить что-то из вещей? Но он оставил самое необходимое...

– Перестань.

– Не перестань, а князь есть князь, не какая-то шантрапа... Погоди, дай я тебе помогу, застегну чемодан.

Она присядет перед чемоданом и тут же защелкнет замки. И поднимет на него улыбающееся лицо.

И Георгий Романович Олонецкий с удивлением почувствует, что ничего в душе не шевельнулось, ничего не изменилось, что перед ним не Катя, совсем недавно близкая ему женщина, а просто его знакомая поэтесса, которую он знал много лет назад.

В том времени, которое ушло.

Нина Косман

ХАРЬКОВ

Два стихотворения в прозе

1.

Ты, чужая в каждой стране, в каждом месте на земле, в котором ты хотела быть дома, в каждом городе, в каждой деревне, где ты так недолго жила, на каждой горе, с которой ты падала, в каждом море, в котором ты тонула, пока я ждал тебя здесь. Я ждал твоего возвращения с того дня, как ты родилась, от матери, которая родилась здесь, а она, в свою очередь, родилась от матери, которая также родилась здесь, от матери твоей матери, и бабушки бабушки, и так далее, десятки поколений матерей. Почему ты так долго не возвращалась ко мне? Я, город, в котором родилась твоя мать, город твоих бабушек и дедушек, все эти годы я хранил для тебя особое место, маску с твоего лица и с твоего не родившегося тела, чтобы ты вписалась в меня, чтобы ты восклицала на каждом углу: «Я помню это!», хотя ты никогда здесь не была, хотя ты родилась в той холодной столице, чье правление мы считаем корнем всех наших бед, и ты, родившаяся от матерей, родившихся здесь, ты, кого в юном возрасте увезли жить за океан, ты вернулась ко мне, ты пришла ко мне, наконец; твое место здесь, здесь на каждом углу ты встречаешь себя, ту самую, которая здесь никогда не жила, то своё «я», которое осталось в детстве, застывшим во времени, на полвека, пока ты искала свой дом во многих странах, городах, зданиях – некоторые, построенные из песчаника, были красивыми, некоторые были так себе, из унылого красного кирпича, но во всех них ты была чужой, человеком без имени, прохожей без прошлого, и только здесь ты дома, потому что только здесь тебя ждут могилы твоих бабушек (в каждой из могил – тысячи бабушек, захороненных заживо), и только здесь тебя жду я, город, для которого ты предназначена. Я – твой город. Я ждал тебя с того дня, когда твоя мать родилась в моей утробе; я ждал тебя с того дня, когда ты, в свою очередь, родилась из утробы твоей матери, а еще сильнее я ждал тебя с того дня, когда ты пересекла океан, с того дня, когда ты поселилась в городе, который не только не ждал тебя, но и не узнал тебя, так же как и ты не узнала его. Это для тебя я сохранил себя молодым; это для тебя я остался красивым, словно застывшим во времени, в отличие от тех городов, которых ты, от нелюбви к ним, зовешь «скучными и уродливыми» (не отрицай, есть у тебя такая смешная привычка). Всё это я сделал для того, чтобы ты узнала меня, чтобы ты полюбила меня, чтобы ты приняла меня, как я принимаю тебя, свою блудную дочь,

ребенка, которого у меня не было никогда. Ты принадлежишь мне. Я открываю себя для тебя. Я покажу тебе тайные улицы и здания, которые никто, кроме тебя, не видел и не увидит. Останься здесь. Не уезжай от меня. Ты дома.

2.

Я долго ждал твоего прихода. Ждал с того дня, как твоя мать родилась во мне в год несчастья и с тех пор несчастьем была отмечена вся ее жизнь. Знаешь ли, где сейчас твоя мать? Не спеши с ответом, ибо пока человек жив, от него сокрыто местонахождение душ ушедших. Молчание лучше, чем фальшивый ответ, в который я всё равно не поверю. На твое молчание я отвечу своим, и только ты будешь знать, что говорит тебе город о местонахождении ее души. Знай, что родившая тебя была праведницей, и что такие, как она, не приходят в мир, а если и приходят раз в сто лет, долго в нем не задерживаются. Знай, что она была последней из семи праведных душ, рожденных во мне. Анкеты, нужные душе для полета, не похожи на советские паспорта – в них нет пятой графы, ведь у душ не бывает национальности. Зато у нас есть способ измерения личности, мы ставим ее в графу номер семь: по бескорыстию у твоей мамы был самый высокий балл; знай, что его не получал никто – ни из родившихся здесь, ни из родившихся в той далекой стране, куда тебя увезли, думая обещать тебя от несчастья, которое преследовало ее всю жизнь. Как, спросишь ты, измеряется бескорыстие? Разве можно измерить то, что существует только в душе? Отвечаю: это зависит (помнишь это излюбленное выражение русско-израильских олим первой волны?), это зависит от качества души, и поверь мне, что когда я говорю, что таких душ не бывает, то это так. Говорю тебе это я, ангел города, в котором она родилась; я, встретивший ее рождение и все эти годы хранивший память о ней, неизвестную другим, в своих сокровенных глубинах; я, проводивший ее душу в последний путь – не на кладбище в нелюбимом тобою городе за океаном, в котором хранятся ее останки, а в Sanctum sanctorum, святая святых, обитель душ, бескорыстие которых превышает самый высокий балл. За то, что ты пришла ко мне в трудный час, я открою тебе то, что ты никогда не узнала бы; за то, что ты пришла ко мне сама, за то, что ты пришла ко мне, когда я был слишком слаб, чтобы самому тебя звать. Ты пришла ко мне, несмотря на то, что не слышала моего зова, ибо я умирал от ран и не мог не только позвать тебя, но и приветствовать. Я, город, говорю тебе, чьи предки захоронены во мне: я помню как дышала земля, когда ртами, забитыми землей, дышали тысячи детей, захороненных во мне заживо, ибо я, город, в котором родилась твоя мать, я часть той земли, в которой они дышали, и я всё помню! Ты прошла полный круг и теперь ты здесь. Слушай! Я приведу тебя в тот дом, где она сделала первый шаг, в тот дом, где она впервые открыла глаза. Ее душа вернулась сюда издалека, потому что души возвращаются

туда, где они воплотились в человека, и только души праведников идут дальше. Хотя я привел тебя сюда, ты не найдешь ее здесь, но теперь ты хотя бы знаешь, где ее не надо искать.

НОВЫЙ ЦИКЛ О ГОЛОВЕ

I.

Если ты не успел вынуть шею из ящика,
а голову – из пластикового мешка,
то не стой, как дурак – или как тот пилот,
узнавший, что в его самолет подложили бомбу
террористы – или просто-люди
с т.н. «промытыми мозгами»
(промытыми кем? – Террористами!),
да нет, дорогой, просто глупцами,
так как глупость – это то самое «наше всё»,
будь оно русское или мусульманское –
общее, человеческое;
все мы сотканы из глупости, пошлости
и всего такого, о чем не стоит говорить в стихах,
белых, черных или верлибрах в крапинку.
Так что, давай, дорогой, не стой
с окровавленной головой в руках,
раздумывая что теперь делать:
ведь ты уже мёртв,
а смерть, дорогой, каждый
обязан репетировать тысячу раз
до ее появления –
с косой в руке или с бомбой.
А если ты о ней никогда не думал
и она тебе явилась вдруг,
как пресловутый *deus ex machina*
– вот она я! сюрприз, сюрприз! –
то дело в тебе, наивный пилот, пассажир, простой человек,
ведь уже поздно оспаривать очевидный факт,
что ты также глуп, как твой ручной террорист,
и когда на земле будут собирать останки,
вряд ли отличат твои руки-ноги
от его рук-ног и прочих частей.

II.

А ты, что бросил мою голову своре диких собак,
музыку погромче поставь, чтобы заглушить мой крик,
синелищый торговец молоком и паром,
и поблёскивающим на солнце мясом свиней,
где ты научился мешать человечью кровь с поросенковой?

Мол, никто не заметит – кровь красная у тех и других.
Вишь, как много мешков тугих с частями животных,
как много голов ты успел засолить, ведь скоро праздник,
пригодятся все.

Потираешь ладони в предвкушении славной выручки.
Хватит с лихвой и на подарок жене и на игрушку мальцу.
Голова моя, меж тем, в мешке со свинными рылами,
с залитыми кровью кишками, с алыми лужами мертвых глаз.
На стол ее подадут на блюде под луковым соусом,
с фаршированными оливками и специями а ля кебаб.
Нежные щеки мои жена запечет –

«Что сухарики божьи, будут хрустеть во рту!»
– Вкуснятина, – скажет сынок торговца, – эти человечьи головы,
почаще бы ты их, папаня, приносил домой!
Размечтался синелицкий торговец,
мол, как хороши эти головы с их нежными девичьими ртами,
всеми этими их еврейскими штучками,

вот не надо было думать что вы всех умней,
и кто теперь в чей суп угодил и чью свежую кожу жена запечет,
и чьи лакомые кусочки под зубами захрустят словно жареный хлеб?
Похлопал синелицкий торговец себя по набитому пузу,
покрыхтел, завязал мешок, взвалил на тележку,
прикрикнул на шпану, что играла в футбол головами моих друзей.
Тут появились псы, залаяли бешено, «Отдай наше, ты бездушная
синелицкая тварь
с алым человеческим ртом, шакальим хвостом и ожерельем
из костяка белки!»

Торговец развязал мешок, долго рылся в плавающих в крови рылах,
выудил мою голову и, кряхтя от досады, бросил под прилавок
причитающуюся псам дань.

III.

*«Налево пойдешь — коня потеряешь,
направо пойдешь — жизнь потеряешь...»*

А ты, что зашел так далеко налево,
что не только коня потерял,
но и голову (если честно, не только свою),
каяться поздно уже, сынок,
но и не каяться тоже поздно;
ты всё потерял – до последней нитки.
А разве не говорили тебе –
не уходи далеко налево,
ближе к центру держись?

Потому-то и не соблазняйся,
не слушай,
не поддавайся влияниям,
не давай себя охмурить...
Впрочем, советы эти не для тебя,
чепушинный всадник,
а для тех кто будет стоять у этого камня позже.
(Факт, что будут стоять,
но не факт, что внемлют.)
А тебе, друг мой, уже поздно советовать —
башку-то твою так и не нашли в лесу,
а тело по косточкам растаскали волки.

Ара Мусаян

Плач Иеремии

О *плаче*. Недавно покинувший сцену театра жизни популярный французский философ Мишель Серр в беседе с ведущей музыкальной передачи о *Leçons de ténèbres* – «Темных утрений»* – Куперена, вспоминал «Плач Иеремии»:

«*Плач* – это когда иссяк потенциал ненависти, и остается лишь сокрушаться, что такое чувство вообще *существует*, но не сетовать, не восставать – мириться с его неискоренимостью в сердцах людей...» – *цитирую по памяти...*

* * *

Как и почему людям, даже образованным, воспитанным, «открытым», так трудно перебороть в себе отвращение к нищим, калекам, уродам? – Вспоминая поистине возмутительные скетчи дебютирующего Чаплина, совершенно неожиданные – у Боккаччо (которого, с опозданием, читаю...), совсем досадные – и *плачевные* – у Сэй-Сёнагон?..

Иные чуть ли не в обмороке от одного вида рыжеволосых, чернокожих; в Африке до смерти бьют альбиносов – и, куда ни глянь, люди сторонятся всего из ряда вон выходящего: одежда, запахи, иностранные (и не только) *акценты*... которые почему-то смешат, как оступившийся на ровном месте даже не человек – животное (популярные сценки с кошками и собаками в наших социальных сетях)...

Смеемся, правда, беззлобно, и уже готовы протянуть руку.

* * *

Нетерпимость (презрение, ненависть, непримиримость...) – не главнейшая ли черта в человеке, в его с грехом пополам мирном сосуществовании с себе подобными – с людьми?

* * *

Злободневная тема французских СМИ – *идентичность*, по-русски – *принадлежность*: кто мы, французы, – европейцы, христиане, дети Вольтера, Руссо, или, в перспективе, – африканцы, арабы... короче: *за* или *против* ношения мусульманского платка мамами-сопроводительницами на школьных экскурсиях?

* Жанр во французской сакральной музыке, приуроченный к трем последним дням Страстной недели.

Три полных страницы (из 12, чуть ли не в $\frac{1}{2}$ м².) в «Мире книг» – литературном дополнении газеты «Монд»: «Отстаивать идентичность – чтобы что?» – «Идентичность как аутентичность» – «Называть ближнего – это заключать его в карцер слов»... Точки зрения – разносторонние и разноречивые, среди которых не хотелось бы обойти вниманием «По ту сторону идентичностей – отстаивать достоинство Я»...

В соседней рубрике – о Жераре Женетте (Gérard Genette), лингвисте, а на самом деле, вижу, скорее критике и искусствоведе... «Фигуры» – сборник из восемнадцати этюдов, написанных в 60-е годы:

- 1 – Реверсивный мир
- 2 – Комплекс Нарцисса
- 3 – Золото сдает перед железом
- 4 – Палимпсест Пруста и др.

Первые три отправляются от малоисследованного барокко во французской поэзии (Сент-Аман, Вио...), итальянской архитектуры и скульптуры (Бернини) – чем, без сомнения, заслуживают интерес такого неопита, как автор сих строк. Но причем тут, скажут, «идентичность»?..

Во 2-м этюде, посвященном фигуре Нарцисса, узнаем, что дело тут вовсе не в *самовлюбленности*, а в поиске собственного, устойчивого в отражении, – *бытия*, т.е. той самой «идентичности» (дословно: *равенства* с самим собой), за которую хотя сегодня зацепиться, как за щепку, французы, всматриваясь в себя в обманчивом зеркале истории.

Неуловимая идентичность, или – невозможная неизменчивость. И понятен смысл 11-го этюда, где Женетт вспоминает Бергсона, у которого, как у Гераклита (и в гораздо менее престижном *диалектическом материализме*), всё сводится к *движению*, изменчивости, непостоянству – во времени и пространстве.

Удивляюсь, но и понимаю, что Женетта нет в русском переводе: с одной стороны, слишком французский автор (у французов есть меткое выражение «франко-французский»), с другой – сквозь толщу сугубо литературоведческого материала, к тому же, не первостепенной важности, просвечивают, однако, такие пронзительные – *спекулятивные* (от лат. *speculo*, *зеркало*) – наблюдения.

* * *

Рус. *злободневность*... Неплохо подмечено – на повестке дня наших жизней – *злоба дня*... Русский язык обнаруживает обратную сторону всякой новости – *злобу дня*. Что вовсе отсутствует во французском *actualité* и в английском *news*.

* * *

В философии, математике последствия *вытекают*, в поэзии, искусстве, науках – к ним *восходят*.

* * *

Фр. *acier* – сталь; лат. *aciarium* – *острие*; арм. *асех* – игла... Что

отменяет вопрос о том, как произносилось латинское *c*: как русское или как устоялось у немцев – *ц*, или как у итальянцев (непосредственных преемников римлян) – *ч*.

Что лучше звучит – *эксе омо* или *эчче* – Пилат, представляющий Христа толпе словами *Ecce homo* – «*Се человек*»?

* * *

Когда-то – еще до изобретения письменности и ее далеких от повседневных забот применений в поэзии – такое обыденное явление, как восход солнца, одновременно воспринималось *поэтически*, благоговейно – О, Заратустра! – ни в коем случае не как следствие некоего «закона природы»...

Отсутствовала успешная восторжествовать с тех давних пор *уверенность в завтрашнем дне*, породившая рутину – *руину души*...

Русский научный лексикон слегка скрадывает эффект «*железности*» пресловутого, вводя в обиход более вместительное и менее категоричное понятие *закономерности*.

* * *

«Практичность философии» – померещился такой, иные скажут – *оксюморон*... А ведь что, как не философия, упорядочивает мироздание и нашу мирскую и духовную жизнь, благодаря аристотелевским и кантовским *категориям*!.. Вооружившись оными, отмуштровав мысль розгами этих четких словесных разграничений, мы со временем узнаем, что куда отнести, на какой полке расположить – тем самым упраздняя смертельный эффект неожиданности, на каждом шагу нас подстерегающей...

* * *

Спекулятивная – поистине *философская* – глубина рус. *причина*, в сравнении с лат. *causa* – простым в своем построении (в отличие от сложного – русского), со временем сгустившимся в непроницаемый мысленный сгусток, в итоге ввергший всю европейскую философию в бездушие схоластики – с ее «формальными», «материальными», «конечными» и бог весть еще какими *причинами*, – пока в дело не вмешался холодный ум Юма, проникшегося, видимо, той же, что древний росс, интуицией: нет «чина», «почина», «зачина» вещам, нет демиурга, который бы их лепил нам из глины, а лишь обстоятельства *при* их возникновении в нашем сознании.

То же самое – с гениальным рус. *зарядка*, подразумевающим, что мы повышаем в нас уровень энергии – заряжаем батареи, когда лат. *гимнастика* совершенно ничего никому не говорит (этимологически – «раздевание»... Правда, от одного *раздевания* иной раз может резко повыситься тонус...)

* * *

Истина – этимологически (слышал от медийного философа –

того же, что выше) – это *а-летя*, или то, что «не подлежит *забвению*». А сегодня я бы хотел добавить – *старению*, имея в виду *непреходящую новизну* бессмертных достижений Искусства...

Чтобы вещь была *истинной* – носительницей истины и *бессмертной*, в ней должен быть заложен зародыш Смерти, как в изначальных – Илиаде, античных греческих и более современных – шекспировских – трагедиях, Страстях Христовых...

* * *

Окольный, несколько скабрёзный вопрос: какая из восьми «страстей» определила смерть Распятого?..

И – не забыли ли отцы Церкви об еще одной – девятой – *страсти истины*?

* * *

«Что есть истина?» (мимоходом отметим созвучие глагола «есть» – *й-эсть*, и существительного «истина» – *исть-ина*). Пилат был, очевидно, не чужд витиеватостей философии, софистики, умел расставлять ловушки – здесь: Иисусу Христу.

Истина, или – «естина»: не *предмет*, в своем форменном костюме, а *слово*, являющее его *истину*, – что она *есть*, стоит перед нами, как Христос – *на своем*...

* * *

На фронтоне иерусалимской мечети новые власти вывесили, в адрес христианского населения: *Да, Иисус был посланником Бога, но раз и навсегда – забудьте вашу Троицу...*

* * *

Египет, Карнак...

Из телепередачи об этом святилище Древнего Египта, узнаем:

1. Упадок режима фараонов и, заодно, «египетской цивилизации» как таковой, начался с момента, когда в государстве возрос до критического удельный вес жречества (от которого фараоны держали свою правомочность перед народом, как, позже, европейские государи – от Папы Римского), на содержание и торжества которого уходило всё больше государственных средств, что вылилось в откровенную узурпацию власти около 1000 года до н.э., а через без малого тысячелетие Египет был завоеван Антонием;

2. Все эти храмы, обелиски, скульптуры, фрески, надписи (а в древнем царстве – пирамиды) строились, создавались не столько во славу богов, сколько фараона, власть которого ежегодно должна была подтверждаться верховным жречеством (как Перикл ежегодно баллотировался в демократической Греции – кажется, 15 раз подряд), особенно, когда отсутствие войн могло поставить под вопрос целесообразность центральной власти.

Мир – обессиливает, физически и морально. Нужна духовная подпорка: курения, фокусы, фейерверки; нужны пирамиды, обелиски; нужен Карнак – не только для внушения *народу* божественной природы *государя*, но и – подсознательно – самому фараону и придворным (архитекторам, художникам, поэтам, за единственным возможным исключением самих духовников, знающих, что всё это – собственных рук дело; и, конечно, – за исключением грабителей гробниц).

Отсюда – что и заинтересовало в этой на редкость поучительной телепрограмме – раскрытие подлинной роли творческого человека: своей наукой, искусством, фокусами впечатлять рядового египтянина, но и, как сама политическая верхушка (не исключая полностью духовенство, часть которого кончала тем, что верила в свои же выдумки), – уповать на собственное бессмертие.

Сами же скипетродержцы – зачастую лишь делавшие вид, что верят во все эти загробные жизни, молебны, заклинания, – со временем решили отменить разорительную традицию возведения пирамид, отныне память о себе оставляя выгравированными на поверхностях стен и обелисков – *словами*.

* * *

В «Каплях на стекле» я связывал имя *Иисус* с авестийским «хизу», арм. «лезу», рус. «язык» – что прямо отсылало к фигуре Христа-Логоса. А сегодня – документальный фильм о культе Иисиды (широко распространенном по всей Римской империи в период около первого года н.э.), наводит на мысль о родственности имен – Исида (с символом престола на голове) и Иисус (некоронованный царь иудейский), и недаром в корпусе Евангелий содержится по сей день малоосмысленный эпизод *бегства в Египет* – в страну фараонов (от которых не так давно Моисей сам спасал народ) – и волхвов, у которых и была заимствована, по всей вероятности, дотоле отсутствовавшая в Палестине – вера в загробную жизнь.

* * *

«Не ищи бессмертия, а нежно люби жену» и – «гляди, как дитя за твою руку держится»...

Удивительная эволюция – со времен эпопеи Гильгамеша до эпохи христианского Средневековья (читая жизнеописание Абеяра и его переписку с Элоизой)...

Наперекор морали шумерской эпопеи – Элоиза, пренебрегая родительским чувством, отвергает предложение Абеяра (от которого у нее уже ребенок) – из чистой заботы о научной карьере возлюбленного: «...не подобает ученому быть обремененным попечительством о семье, воспитании детей»...

Бессмертие – после самопожертвования Христа на кресте – отныне не в продлении рода, как внушала герою две тысячи лет до этого бактрийская жрица, а уже в более утонченных, рассчитанных

на грамотную публику, делах, проповедях, философских трактатах и историографических трудах, что дало толчок к небывалому, в итоге, взлету наук и искусств – о, Гегель! – в нашу эру.

Поистине феноменальное развитие... Тем более, что вскоре Руссо обременится-таки всеми этими «семейными радостями», нисколько не подорвав свое литературное и философское призвание, – наоборот, существенно обогатив себя жизненным опытом; а в наш век и вовсе произошел возврат к первозданным временам Гильгамеша, когда поэты экономили писчим на глине – слова, и творчество вновь допытывается *истины бытия*, требующей самоотверженности, пусть – о, Кафка! – ценой канцелярской каторги.

* * *

Работа (заработок, добыча средств на жизнь) – конкретная мистика, «метафизика жизни»... Ничего не познал из жизни тот (та), кто не работал (не рожал) – ставя не на жизнь, а на смерть...

* * *

Если память не изменяет, был философ, из немецких, всю свою теорию выстроивший вокруг (выдвинутого им же?) – понятия *прекраснодушия*, в каком-то смысле, антитезы «ненависти», в котором он винил *их* как в смертельном *грехе* подвижничества, – неминуемо приведшем его к подножью Креста, а сегодня, можно сказать, и всё человечество – к краю пропасти...

Прекрасная душа – Я: *после меня – потоп*.

Этот же Светило – которого современники величали «Новым Аристотелем» (как в свое время Христа – «новым Адамом»), вполне логично – автор «Науки логики»! – видел в войне не столько погоню за наживой, сколько борьбу за самоутверждение – борьбу, как между гладиаторами, – *не на жизнь, а на смерть*, где невозможно без горячего *ненависти* и где нет места сосуществованию на одном миллиметре земли.

* * *

Упрекать Верди в «оперности» его «Реквиема» (сто лет как слышу: «опера в сутане» и др. более или менее остроумные высказывания, а ведь снискавшего самого радушного приема от кого-кого, как от Брамса – «Только гений мог сочинить такое!»), – слегка, я бы сказал, *несерьёзно*, если иметь в виду, что эти же «пуристы» пропустили два-три такта откровенно – увы! – *опереточных*, – в самом пике злобы Судного дня, вкрапившихся Бог весть какими неисповедимыми путями (то ли к рукописи кто-то посторонний руку приложил, как в случае моцартовского, – но Верди жил еще годы после первых исполнений, в Милане в 1875 и далее по всей Европе) – но это единственные «уступки светскости», которые мне послышались в этом абсолютном произведении Искусства – не более и не менее «духовном», чем те же баховские Страсти.

То же самое мог бы сказать о Монтеверди, внедрившем в церковную музыку ритмы светских танцев и проложившем, тем самым, путь к созданию жанра – оперы.

...как если бы сама идея театральности была чужда религиям, их церемониям, обрядам, торжествам!..

* * *

Что есть искусство, искусство?

Политики завоевывают нам всё новые «жизненные пространства», приковывая к земле, – искусство возносит в небеса.

Странно, как это первохристиане Христа уподобили рыбе – хладнокровному животному, – всю жизнь проповедовавшего лишь тепло и любовь среди людей.

* * *

Каждое утро (еще темно) раздвигаю настежь балконные окна – плотнуть свежего (зимнего) воздуха и насладиться, в «прямом эфире», начинающимся концертом моих ранних шарманщиков – скворцов.

Холодно. Закрываю окна, включаю радио, и попадаю – везет! – на один из шести последних квартетов Бетховена, где тоже каждый исполняет свою партию в контрапункте с соседними...

А сегодня – 31 декабря – что-то нелегки на подъем мои «ранние»: 8.30 – и едва слышатся первые трели...

* * *

Несколько иное восприятие, мимоходом отмеченное между «без четверти три» на стрелочном циферблате в передней, и «14.46» на цифровом – в гостиной.

Разница в приближенности первого, излишней точности – второго.

* * *

До последней минуты будем удивляться происходящему – пока «происходящее» не унесет нас с собой целиком, упразднив последние миллиметры дистанции между ним и нами.

* * *

Бедняжка, вся сгрудившаяся у подножья стены, с отвернутым от прохожих, законопленным ветошью лицом, – и я, идущий мимо, со списком рождественских покупок в кармане.

* * *

Не знаю, к какому «светлому» будущему движется/катится человечество, но в ушах вдруг послышалось: «Бог не решает без нас».

* * *

Травинки принимаются в промежутках между булыжниками мостовой, в щелях стенных, – наперед не беспокоясь о будущем.

* * *

Когда мы идем навстречу ближнему с уже готовой улыбкой на лице, то наверняка считаем, что и у него все поводы улыбаться жизни.

На деле, едва процент-другой довольных своей долей людей – в этой поистине «юдоли слез»...

* * *

Как в моей ежедневных прогулок двухметровой ширины «зеленой аллее» – пожилая чета с маячащими у мужчины за спиной длинными руками, которую не удалось, не прибавив шагу, «ни догнать, ни перегнать», – так и Америка вот уже сто лет маячит, словно привидение, перед Россией.

* * *

Пока книга пишется – дело жизни – жизнь продолжается. Но по мере приближения к заветной цели, физически приближается и срок освобождения от всех прочих наших интересов и целей в жизни; и каждый новый шаг (а чем ближе финишная линия, тем они неуверенней и шатче) грозит оказаться последним.

* * *

Пароксизм внутренней раздвоенности – Целан, пишущий на немецком и могущий только на языке страны, допустившей невообразимое: измену избранницы сердца, с ее пантеоном великих мыслителей, поэтов, которой он чаял без остатка посвятить остаток своих дней...

Прошли годы после Второй мировой, увенчавшейся воскресением всего еврейского народа, – и поэт бросается в Сену – с аполлинеровского моста Мирабо, окончательно порывая с хмуроглазым богом предков, в пользу радужного языческого – бога Поэзии.

* * *

Чего «бежал» Бах в своих *фугах*?.. Боясь застрять на одной ноте, одной *теме*, при той массе вариаций, которые ему в них открывались – не дожидаясь коды, тему еще только начав, приступает уже к вариации – одной, другой; каждая дает повод к новому от нее – превратившейся в «тему» – отступлению, так что всё искусство фуги композитора сводится, в моих глазах, к искусству *дигрессии* (перед глазами, на экране – Мария Чех), и, наконец, доходят слова Стравинского о том, что со временем ему стало невозможно слушать музыку, *не видя* игру исполнителей, а в моем случае – пальцев пианистки, бегущих по клавишам, – периодически исчезающих с поля охвата камеры – и тогда лицо артистки, на которое устремляется ее внимание, может напоминать встреченную утром на улице – цветочницу, тоже, по-видимому, из восточных рубежей Европы – хотя ни слова от нее не слышал, кроме цены за букет подснежников, жонкили или сирени, низводя нас с небесных высот музыки – в самую что ни на есть земную *прозу*

жизни – пока вновь на экране не возникнут колдовские персты ворожей...

* * *

Ведущий музыкальной передачи, запрограммировавший *The unanswered question* Чарльза Айвза, задается вопросом – и слушателя хочет заинтриговать: *что же это был за «вопрос, оставшийся без ответа»?* Из года в год он регулярно прослушивает эту семиминутную вещь, а всё не может вообразить...

Сам я впервые слышу, *вслушиваясь* (в машине, с гулом мотора в фоне) и – недоумеваю: как можно недоумевать от такой ясной, как день, музыки – паскалевское «вечное безмолвие бесконечных пространств».

Вещь длится семь минут – как неделя Элогима?

* * *

В «Монде»: «На днях выходит том с совместным новым французским и нидерландским переводами ‘Этики’ Спинозы, сделанными с рукописи, недавно обнаруженной» – где же это? – в подвалах Ватикана!..

Интерес мероприятия в том, что рукописные материалы первого издания (1677), согласно тогдашним издательским нормам были уничтожены, к латинскому тексту Спинозы был приурочен нидерландский перевод, и до последнего времени специалисты сталкивались с серьезными расхождениями между этими двумя первоисточниками, пока в 2010 году чудом обнаружился полный *рукописный* вариант, с тех пор проливший немало света на эти сомнительные моменты и значительно ожививший стиль (не всегда удачно «подправленный» досточтимыми докторами Церкви)... Так, «невозможно, не руководствуясь умом, вести жизнь, достойную жизни» – в рукописи «*vita vitalis*» достопочтенные прелаты решили заменить на «*vita rationalis*» – «жизнь разумную», видимо, во избежание мнимого повтора...

Удаляясь от сугубо журналистского интереса публикации: да, «жизнь, достойная быть прожитой» – это, отныне, не жизнь «праведная», согласно давно потерявшим силу религиозным предписаниям, а та, которая каждое утро нас чему-то *учит*, требуя от нас не столько *послушания*, сколько тонкости *слуха* (по-фр. «способность слышать» равноценно «способности разуметь»).

Неизвестна дата поступления уника в архивы Ватикана, но сам факт интереса католической иерархии к сохранению документа мог предвещать то, что свершилось триста лет спустя, на Втором Ватиканском соборе, где был положен конец тысячелетнему противостоянию христиан и иудеев – под эгидой, стало быть, амстердамского философа-пантеиста...

Париж, декабрь 2024 – апрель 2025

Алексей Кудряков

Из книги «Блошинная почта»

*Стихи с эпиграфами из открыток,
найденных на блошином рынке*

*Дорогая тетя Муза!
От всей души поздравляем Вас
с Новым, овечьим, 1991 от Р. Х. годом!*

В новоовечьем,
Рождества Христова, году
Агнец заклания вымолвил первое слово –
имя младенческое своё –
Агу-Агу,
пересобрав алфавит спасения,
азбуку веры,
букварь прописных дошколярских истин.
Убрали шпаргалки.
Пишем с красной строки:
голод – духовный,
слово – в начале,
муза – не тётка.
Агу-Агу.

* * *

*...очень свирепствует грипп,
надо быть осторожнее
и ты, мамашенька,
сейчас не выходи на улицу,
долго ли до беды.*

Не выходи на улицу, долго ли до беды.
Лучше оконных стёкол – ставни, бельмо слюды.

Шитая белыми нитками, вся на дырявых швах,
память: рукой дотронешься – и разойдётся, швах.

Что там в прорехах – молодость, детство ли нагишом,
думы о малой родине, сны о себе большом...

Тесно в парадной комнате, если она – твоя,
в бане тесней заполненной пакинебытия.

Дранки сквозной узорочье, ласковые силки.
Взглядом вяжи растерянным петельки, узелки,

в трещинах штукатурки, словно во льдах Папанин,
тонущий. Где вы нынче, мамашенька и папаня?

* * *

*Это было 2 мая. Надеюсь, узнаешь меня!
Было очень тепло и хорошо на Неве.*

...за уличным пианино в четыре руки крупным планом венгерские танцы нет я не умею под аркой камчатка вишнёвое пиво в подвале цой это не любовь с кассеты я знаю как срезать следы на песке лахта отпущенный поводок со спины вдоль залива чуть смазался в шляпе мужчина и женщина жан-клод лелуша смотри как похоже театр марионеток смеётся и плачет сандалик расстёгнут с мороженым мама а что с ним он ожил на эскалаторе вполоборота с улыбкой джоконды ты шутишь последний трамвай на бегу мы успеем дворцовая ночью саксофон из-за ширмочек спрятался ах какой нелюдим на одной и то издали если не уберёте я милицию на вас ладно что вам сыграть гудящая свадьба возьми меня под руку грустный довлатов бутылка чинзано с герберой оставим ему чуть замёрзла гирлянды на окнах латтэ или латте огни с рубинштейна на невский прокатимся катер качает...

* * *

жизнь здорово идет под уклон...

В памяти да под спудом
как тебе было тесно.
Нынче же – неподсудна,
дондеже – повсеместна.

Ожили кости, упокоенные под тахтой,
рентгеном высвеченные, точно хной
пряди цыганские за грошовой заколкой.

Вот брак непорочен и ложе нескверно:
друг друга познав, как себя, достоверно,
уже не зеркалом в гадании – насквозь
увидеть, сродниться в единую вязкость,
в лимфому, ветвление тайной грибницы,
на ватном матрасе, под скрип половицы.

Твоя клетка грудная в оконной нише,
светом исполненная, как прежде, дышит –
по-сиротски, крестик зажат в зубах.

Посмертье не в пору христовой невесте.
Прожитое нами, и порознь, и вместе,
что ветхие ризы, скелет в шифоньере –
простимся, разденемся, дабы по вере
воздалось живущему кровом отверстым
на плоской земле под сияньем отвесным.

Берег, отданный на откуп глазастым бутылкам,
белый снег под бесплотным твоим затылком:
Переделкино, река Алёшинка, февраль.

Не Чёрная речка, не Лета... Отныне
уже не лежать нам на общей перине –
плыви же бестрепетно мимо ковчегов,
заборов, чертогов, ловцов человеков,
не зная имён и последнего моря,
волненью стремнины с волнением вторя.

Всё во всём: издалека долго
жизнь здорово идет под уклон.

Сергей Золотарев

* * *

человек — это плач по всему живому
потому состоит из одной воды
а точнее из слез раствора бездрожжевого
чтобы не забродили ни я ни ты

ибо есть с чего — тут такое дело
чуть провиснешь ягодой пьяной — птиц
налетит безумье склюет всё тело
от подушечек пальцев до горювиц

и как ТЭЦ ты будешь зимой дымиться
а на самом деле душа не пар
а вода которой пресушиться
не даст в вино ее Божий дар

* * *

в человеке нет ничего святого
он как в мире животных
Николая Дроздова

он как Поль Мориа
обезьянками прыгая с веточек нотных
ищет свой ареал
обитания — двигая всем нотным станом
звуковых обезьян по линейкам-лианам

и мелодия юности как Мариам
обращается к Елизавете
если всё это — равенство знака мирам
что тогда происходит на свете?

описать это словом и грамотой нот
как отдать в лапки переносящих
свое ловкое тельце посредством длиннот
всей природы божественный ящик

понесли бандерлоги заветный ковчег
словно Маугли над глухоманью
если век это волк, то на стаю один — человек
но святого в нем — только внимание

ноты прыгают с ветки на ветку и Поль
Мория искажая Вивальди
дирижерским катком перекатную голь
распинает на нотном асфальте

* * *

снег состоящий из ледяных
и лубяных табличек
тексты содержит миров иных
к прошлому безразличных

мертвый язык как и человек
в сердце своем заика
лишь посмотри на потуги век
выговорить смотри-ка

снежное падает текстом вниз
и по закону мёрфи
самое важное для страниц
нам достается мертвым

* * *

женщина похожа на грибницу
столь ее система развита
в наших лицах
словно красота
всем довлеет а не единицам

точно ее дерево во чреве
на само себя разветвлено
стерео познания в каждой деве
в женщину стучится как в окно

каждый шаг кладет она на люки
а под ними в гулкой пустоте
затухают юноши как звуки
в сточной намокающей воде

словно бы и реквием не моцарт
а его констанция сплела
из сети невидимых эмоций
и тогда при родах умерла

* * *

ничего не происходит
тишина с ума не сводит
человек с ума не сходит

теплый воздух и холодный
лишь меняются местами
наши легкие листья

день и ночь еще зависят
от присутственного света
заключенного в дефисе

но еще не проронили
ни частички звездной пыли
ни сомненья или-или

как сказал ротмистр Лемке
сквозь разбитые коленки
это нужно одному
чтоб и сердцу и уму

впрочем золото молчанья
как подкладка у плаща
заполняется мячами
Божье имя полоща

и недаром тройской унцией
называли ту змею
Спиридона Тримифундского
что отпущена в раю

если золото молчание
то и ротмистр ползя
в звуковое обмельчание
воскликает только зя

зя зя зя под Асися
лучезарного кося

впрочем тут уже развилка
свет такая же рассылка
как реклама или спам
солнце светит слишком пылко
чтоб читали по губам

НОВОЕ ВОЛШЕБСТВО ДЕТСКИЙ ЦИКЛ

1.

последнее деяние апостола
ближнего круга –
письма Постуму,
римскому другу

2.

чисто евангельская история
воспоминание возвращает к жизни
второй известный случай воскресения

*шел ежик
забыл как дышать и умер
потом вспомнил и дальше пошел*

3.

что знают облетающие листья
или в бездействии слоненок
растущий – о погибшем альпинисте
спиной к гималаям прислоненном?

по осени в садах мешки с листвою
чернеют так же к яблоням прижаты
похожей на погибшего судьбою
и где-то засыпают медвежата

4.

если долго на тебя смотреть не отрываясь
словно на огонь и воду наконец
может разглядеть и пеннивайза
и властелина колец

5.

по егорьевскому шоссе
мистические буковки отписаны мне
то прочту «откорм аров»
вместо
«от комаров»
то еду и шепчет
«не замер,
зайка?»
незамерзайка

пусть походят ножками ложными
по периферийному зрению втемную
а в ненаписанном можно бы
поселить нерожденных

* * *

бабочка прямо в яблочко
вечно попасть норовит
как половинка яблока
крыльев раскрытых вид

словно играя в салочки
с сестрами на лугу
сделалась вдруг русалочкой
произнесла агу

и поднялась как узница
над собственной немотой
и налилась капустница
яблочной кислотой

с косточками на крылышках
с мякотною пыльцой
вдруг появилась силушка
бег заслонить трусцой

так и летает грустная
словно бы положив
крылья свои капустными
листьями на ушиб

этот полет — напутствие
в белый расти налив
крылышки как напульстики
в воздухе а на пузике
выведено ЦОЙ ЖИВ

впрочем присела рядышком
и через беглый взгляд
вся перешла на радужку
в яблочко — говорят

Александр Беляев

Как покинуть мрак

памяти Льва Рубинштейна

Всякий раз теперь, заходя на «зебру»,
вспоминаешь улицу Образцова:
ощущение, будто разверзлись недра,
и крошечный мрак в голове свинцовой
шелестит на дне черепной коробки,
коротит, искрит, вышибает пробки.
Как покинуть мрак? Ни единой тропки.

* * *

памяти Алексея Кубрика

...пусть земля будет пухом...
...и земля стала пухом и снегом
тренированным слухом
и последним приютом-ночлегом

нет лекарства от страха
вроде лёгкого крыльего взмаха
но зато есть рубаха
есть птаха
деревяха
и музыка Баха

* * *

мне приснилось но сна не могу наверстать
что-то вроде игры цифровой идиотской
дело техники ездить садиться взлетать
весь измученный этой картиной уродской

я проснулся прошел в коридор на часы
(пять утра) посмотрел и склонился над деткой
тихо спящей вдруг слышу жужжанье осы
я прихлопнул осу бадминтонной ракеткой

за окном кто-то громко кричал в мегафон
затевая какую-то тухлую гадость
я лежал проклиная кретина но он
не хотел униматься и что оставалось...

* * *

око в окулярах птическое
 ты следишь за ним в оптическое
 пейзажно приспособление
 и сквозь веток колебание
 цвет плюмажа высветится
 что за птица что за птица
 или это ослепительные блики
 на воде и подвиг не великий
 отыскать их где в определителе
 о момент ли(с)таний длительный
 то присядет то возвысится
 вся представится в деталях
 цевка восковица
 а потом взлетит и растворится
 в дальних далях

* * *

Г.Д.

1.

этими вот острыми по краям
 а так белыми плоскими со шрифтом
 сохраняется жизнь на потом

складки простыни мрамор антички
 сады и парки памяти методички
 с надгробными плитами (прохожий, остановись)
 деревьями безлист-
 венными и мостом
 с шоколадными ароматами
 с эскалатором
 с кладбищем или кладбищем

что мы здесь ищем?

2.

плоскость и условность
 лицо, число
 добро и зло
 да и нет готовность

выйти на свет (в свет)
 и говорить на свету

петь песенку ту

3.

ту про папиросы
про от шкафа ключ
да или нет:
вот тебе ответ на все вопросы

поздние растворы кухонных куч
на складах которые велик и могуч
точно мусорный курган на Хованском
обнаружатся вдруг среди извёстки

фрагменты тёмно-красного плаща
или (надо выполоть) плюща
или фонаря на перекрёстке

ХАНЬДАНЬСКИЕ СНЫ

не жди просто так пока сварится каша
приляг на подушку спасибо старик
подушка-ларец в нём вся жизнь эта наша
предстанет во сне не узнаешь из книг

ты бедный крестьянин ты всем недоволен
тут бац император заметил и вот
ты в чине министра отныне ты волен
отвешать поклонов отведашь щедрот

жена и наложница горы и воды
опала завистники замкнутый круг
походы захваты природы народы
пора и на отдых не так ли мой друг

покой только снится не будь малодушен
вставай а не то не сносить головы
оставить нитьё поднебесной ты нужен
но смерть наступает под утро увы

проснись оглянись вот и кашка поспела
пожалте к столу валит пар из котла
спасибо старик за подушку в чём дело
теперь я всё понял такие дела

* * *

«Не сравнивай, живущий не сравним...»
 А что с ним делать, выкинуть на свалку?
 Мудрец пусть будет клоун или мим,
 Пусть палочник перегибает палку.

«История расставит по местам»,
 Пополнятся ряды незаурядных,
 И мальчики представятся к крестам,
 И девочки все в платьицах нарядных.

БЕЛОРУССКАЯ – ВЫСТАВОЧНАЯ (D-4)

дождик мелкий морозящий
 ветерок сквозящий
 листик жёлтый шелестящий
 как ненастоящий
 шум осенний состоящий
 из одних шипящих

в октябре слова просты
 как облезлые кусты
 и железные мосты
 по которым ехать боязно

я смотрю из окон поезда
 на город с высоты

* * *

... а сегодня уплыл на остров.
 Так что ж теперь, все будут
 уплывать на остров, а?
*«Добро пожаловать, или
 посторонним вход воспрещён»*

«Большие волны в Канагаве»
 (гребцы – горошины в стручках):
 гори-сияя в нетленной славе
 на маечках и рюкзачках.

Весь лагерь пусть наденет тапки,
 и – прыг на метр от земли,
 где пенный гребень снежной шапки
 кристаллизуется вдали.

ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Жорж Шерон

История одной антологии

Письма Издательства имени Чехова к В.Ф. Маркову

В 1951 году благотворительный Фонд Форда основал Издательство имени Чехова. Целью этого русскоязычного издательства была публикация хороших, интересных и полезных книг, которые были недоступны новым беженцам из Советского Союза, так называемым Ди-Пи¹. С 1952 года по 1956 год издательством было выпущено 178 книг 129 авторов, что сделало его самым успешным проектом такого рода во всей истории русской эмиграции².

Поэзия стала одной из категорий текстов, которые издательство намеревалось издавать в первую очередь. В конце сентября 1951 года главный редактор издательства, Вера Александрова³, обратилась к молодому поэту и критику из второй волны эмиграции Владимиру Федоровичу Маркову⁴ с предложением заняться составлением антологии советской поэзии. Сборник должен был быть сосредоточен на произведениях тех советских поэтов, которые подвергались преследованиям со стороны власти. Несмотря на явный политический подтекст издания, Марков был готов принять предложение. В письме (27.X.1951) Глебу Струве⁵ он признался, что «работа приятная и не слишком трудная»⁶. А в другом письме (9.X.1951) он пытается прояснить концепцию книги: «Я уже писал Александровой, что преследование – вещь весьма растяжимая, и очень трудно установить, кто и как преследовался. Нельзя было бы обойтись без Маяковского в таком сборнике – но разве он преследовался? Пастернака можно отнести к таковым, но тоже с трудом, т.к. в тюрьме он не сидел, его только критиковали в газетах, но ведь то же самое недавно делали и с К. Симоновым, которого уж никак не отнести к преследуемым». Со временем у Маркова выработался список поэтов, которых он намеревался включить в свою антологию. Собралось всего четырнадцать поэтов: Ахматова, Волошин, Сологуб, Мандельштам, Клюев, Есенин, Хлебников⁷, Маяковский, Пастернак, Багрицкий, Тихонов, Сельвинский, Васильев⁸, Заболоцкий⁹. Также он присоединил переводы Лозинского, Маршака и Пастернака¹⁰. Но собирание самих текстов оказалось не такой легкой и простой работой, как представлялось. Проблема состояла в том, что многие необходимые книги и журналы были труднодоступны в Америке, тогда как в Советском Союзе они давно исчезли из библиотек и были изъяты из продажи. Выручила Маркова университетская библиотека в Беркли (University

of California, Berkeley) с богатейшим русским книжным фондом. Также Струве и Александрова снабжали его книгами, списками отдельных стихотворений – и своими советами. Марков назвал книгу «Антология русской поэзии в советский период». В письме Струве (13.XI.1951) он разъяснил это: «Думаю назвать антологию ‘Антология русской поэзии в советский период’. Это оправдывает многое – на вопрос ‘Почему помещен Сологуб?’ ответ – ‘Потому что – советский период’; ‘почему помещен ранний Тихонов?’ – ‘п.ч. это поэзия’; ‘почему не помещен Сурков?’ – ‘п.ч. это не поэзия’ и т.д.».

В конце февраля 1952 года рукопись антологии была готова и отослана в издательство. Рукопись приняли, но Издательский совет решил переменить название книги (на более вызывающее) – «Поэзия за железным занавесом (1917–1950)». Окончательным стало: «Приглушенные голоса – поэзия за железным занавесом». Марков пожаловался Струве (29.IV.1952): «Александрова писала мне, что на их издательской конференции было решено назвать мою антологию ‘Поэзия за железным занавесом’, чтобы избежать в прежнем названии прилагательного ‘советский’, которое будто бы отпугнет покупателя. Я ответил, что не хотел бы такого названия прежде всего потому, что оно совсем не подходит к книге: как раз на том времени, когда можно говорить о железном занавесе, я и кончаю антологию. И тогда уж совсем идиотским будет казаться мое включение некоторых дореволюционных стихотворений. Я просил, чтобы, если возможно, назвали ее ‘Поэты послереволюционной поры’ или в этом роде».

Антология Маркова вышла в августе 1952 года. Вдумчивое предисловие открывает сборник. В нем Марков объясняет свой подход к теме и оправдывает свой выбор поэтов и стихотворений: «За последнее время в зарубежной прессе не раз делались попытки составить мартиролог советской литературы. Почти всегда такие списки пестрели спорными именами, но в их основе лежит большая и скорбная правда: список лучших имен советской литературы в самом деле читается как мартиролог, как перечисление жертв величайшей в мире расправы над культурой. Неудивительно поэтому, что и оглавление нашей антологии выглядит таким списком. Может быть, не все из них подходят под термин ‘жертва’, но границу часто бывает трудно провести. Творческое самоубийство, даже не вполне осознанное автором, иногда тяжелее физического»¹¹. Струве написал Маркову (29.VIII.1952) о своих первых впечатлениях от антологии: «Мария Семеновна (жена Струве. – Ж.Ш.) читает сейчас Вашу антологию. Я почти всю уже прочитал. С Вашим выбором далеко не всегда согласен, но это неизбежно во всех антологиях. И у Есенина, и у Багрицкого я бы выбрал многое другое, а кой-чего не давал бы (например, ‘персидских’ стихов Есенина). Не совсем согласен я и с выбором из Мандельштама. Очень хорошо представлен у Вас Тихонов – очень ‘выигрышно’, я бы сказал. Из Пастернака у Вас отсутствуют некоторые из моих самых любимых стихотворений – и

из ранних, и из 'Второго рождения'». В своем ответе (5.IX.1952) Марков признался: «Вы правы, выбор в антологии все-таки оказался субъективным, несмотря на все мои стремления к обратному (я много поместил такого, что лично не люблю)».

Получив авторский экземпляр антологии, Марков пришел в ужас от печатных погрешностей издательства, как он выразился в письме Струве (18.X.1952): «Боюсь, что мне во всех рецензиях припишут теперь промахи издательства: опечатки, название и фамилию на обложке – и совершенно испортят репутацию». Всё получилось так, как он и предсказал. Струве письменно (8.XI.1952) передал возражения эмигрантского поэта Дмитрия Кленовского относительно Антологии: «Ругает Вас в письме мне и Кленовский, и в одном отношении совершенно, насколько я понимаю, незаслуженно, о чем я хочу ему написать. Вот что он пишет: 'Друзья прислали мне антологию, составленную В.Марковым, но я ею не удовлетворен. Принцип построения антологии лишь на стихах перворазрядных поэтов я считаю неправильным, где же иначе познакомиться с "второразрядными", у которых встречаются отличные стихи? В отборе Маркова вообще много несообразностей. Почему, например, Мандельштам представлен стихами дореволюционными? И если вообще представлен Сологуб, оформившийся как поэт еще до революции <...> Что меня удивило, так это великая редакторская нескромность Маркова. До сих пор в таких антологиях лишь скромно отмечалось петитом, кем они редактированы, а Марковская антология подана внешне так, будто Марков – автор всех 416 страниц! Это производит совершенно недостойное впечатление. Не говоря уже о том, что Заболоцкого я не принимаю никак, шок не переходит у меня в восторг!'» Струве в том же письме комментирует: «Я согласен с Кленовским насчет Сологуба и Мандельштама, о неправильности и непоследовательности Вашего выбора и говорил Вам и раньше. Насчет же 'редакторской нескромности', то, как я понимаю, Вы тут, как и в названии, не при чем. Со стороны издательства было неправильно давать Вашу фамилию как автора. Надо было после заглавия и подзаголовка поставить: 'Под редакцией и с вступительной статьей В.Маркова'». Марков ответил Струве (18.XI.1952): «Относительно Кленовского всё иначе. Его возражения или основаны на недоразумении или являются его личными воззрениями, с которыми я не согласен. Я ведь с самых первых строк начинаю в предисловии защищать качественный отбор в противоположность репрезентативному, и с этой точки зрения, по-моему, как-то оправдывается и включение стихов ранних. Я должен сказать, что я прекрасно сознавал всю 'ненаучность' подобного действия, но я просто физически не мог делить Мандельштама и Хлебникова пополам, потому что они для меня живые люди, а не арифметическая сумма 'периодов'. Мне больно было это делать. Да в конце концов и задание издательства было на антологию для читателей, а не для научной работы (для последнего, конечно, надо было бы включить и второсте-

пенных поэтов, как хочет Кленовский), а читатель так мало знает Мандельштама, что было бы с моей стороны жестокостью лишить его возможности знакомства со всем Мандельштамом (один поздний Мандельштам еще отпугнул бы читателя). <...> Я понимаю, что наш читатель ленив, и если план антологии хоть немного отличается от обычного снотворно-хрестоматийного, то он сразу предполагает недоработанность или анархичность. <...> А что касается моей фамилии на обложке, то, конечно, я не знал об этом до получения ее. И меня это резануло, когда увидел. Но я быстрее с этим примирился, чем с названием. Может быть, в русской литературе это не принято, но в американской, по-моему, это сплошь и рядом. <...> Относительно Заболоцкого вполне понимаю, что многие не смогут его принять, а Кленовский особенно. Хотелось бы лично написать ему и поговорить по душам. Я с ним не знаком. Не могли бы Вы дать мне его адрес.» Получив адрес, Марков написал Кленовскому и всё объяснил. Кленовский быстро откликнулся: «Рад был получить Ваши разъяснения, полностью Вас ‘реабилитировавшие’. И Вы были правы, их прислав, ибо неверные суждения рассеивать нужно! Надеюсь, Вы не в обиде на меня за то, что, не будучи в курсе дела, я превратно кое-что себе объяснил?»¹².

В письме Струве (18.XI.1952) Марков всё еще не смог успокоиться: «Кровь мне всё это действительно немного портит. Я никак не предполагал, что кто-нибудь обратит внимание на эту несчастную антологию, кроме двух-трех равнодушных рецензентов. Я даже выбросил большинство черновиков и считал, что ‘подписано и с плеч долой’. Кроме того, в Чеховском были и совсем скверные книги. А теперь оказывается, что самая-то скверная моя». Зря Марков так сетовал на промахи издательства – в общем, рецензии на антологию были благожелательными. Глеб Струве начал свою рецензию с перечисления недостатков книги (название сборника, имя Маркова на обложке и титульном листе как автора самой книги, ошибки в датировке нескольких стихотворений), но потом он заговорил о достоинствах антологии (обстоятельное предисловие и тщательный отбор поэтов и стихотворений). Струве подчеркнул, что «чувствуется и любовь к поэзии, и тонкое ее понимание». Также он отметил: «Все эти замечания не умаляют ценности и интереса этой антологии, дающей возможность зарубежному читателю познакомиться в полном и хорошем отборе с наиболее выдающимися русскими поэтами советского периода»¹³. И. Тартак в своей рецензии для газеты «Новое русское слово» (1953, 13 сентября) похвалил Маркова за то, что он «выполнил свою задачу со вкусом и поэтическим чутьем. Его статья и примечания дадут много читателю его антологии». Другому рецензенту, Юрию Иваску, понравился отбор стихотворений и поэтов. Он особенно выделил присутствие большого количества стихов Мандельштама и Клюева. Иваск воспринимал сборник Маркова как встречу двух эмиграций: Марков – бывший советский человек и

читатели «в рассеянии». Антология подчеркивает тот факт, что «советский или подсоветский опыт составителя реализовался на Западе как опыт верно понятой и верно оцененной свободы»¹⁴. Борис Филиппов раскритиковал неподходящее название книги. Он указал на некоторую непоследовательность в подборке стихов, но в то же самое время обратил внимание на присутствие стихотворений Мандельштама, Клюева, Павла Васильева и Заболоцкого. Несмотря на некоторые ошибки в датировках нескольких стихов, Филиппов пришел к заключению, что антология «полезная»¹⁵. Главный редактор журнала «Грани» Е. Романов-Островский охарактеризовал сборник как «ценный опыт». Он особенно подметил важность предисловия, где всё объясняется – и подбор, и состав книги. Рецензия заканчивается на положительной ноте: «Исключительная ценность его труда – пионерского и потому особенно важного для Зарубежья, где советскую поэзию знают мало, иногда и упорствуют в незнании, со всеми вытекающими отсюда последствиями, – несомненна»¹⁶.

Струве в предновогоднем письме (31.XII.1952) посоветовал Маркову не задерживаться на всех «придирках» критиков; также он похвалил книгу как образцовую: «...хотя у Вас нет ни степени, ни академического положения, у Вас есть задатки литературоведа, а Ваша антология с ее предисловием – более серьезный вклад в литературоведение, чем некоторые труды здешних литературоведов, которых, во всяком случае, раз-два и обчелся». Эмигрантский критик Эммануил Райс тоже очень высоко ставил сборник Маркова: «Ваша книга ‘Приглушенные голоса’ была для меня большой радостью. Наконец-то появился в эмиграции человек, глядящий на поэзию более широко и открыто, чем все, свободный от тиранически господствующего близорукого и провинциального литературно-критического трафарета всех остальных наших критиков»¹⁷. Не осознанное это современниками тогда, марковская антология внесла значительный вклад в русскую культурную жизнь. Она открыла целый пласт поэзии, который в то время оставался неизвестным для большинства почитателей русской поэзии за границей. А когда стало возможным и сборник проник за железный занавес, тогда уже советский читатель стал знакомиться с забытыми произведениями преследуемых и уничтоженных режимом поэтов советской эпохи.

Письма Издательства им. Чехова, от В. Александровой и Т. Терентьевой, к В. Маркову особенно ценны, так как они являются единственным источником, рассказывающим о процессе создания марковской антологии советской поэзии. В Колумбийском университете, где в основном сохранился архив издательства, нет никаких материалов, относящихся к сборнику (см. Bakhmeteff Archive of Russian and East European History and Culture, Columbia University, Chekhov Publishing House papers, boxes 1-3). Также нет ничего в той части архива, которая попала в Израиль (благодарю проф. Вл. Хазана за информацию). Письма печатаются по оригиналам, хранящимся в

Российском Государственном архиве литературы и искусства в Москве (фонд 1348: Собрание писем писателей, ученых, общественных деятелей). В данном материале не комментируются общеизвестные факты, которые каждый любитель русской поэзии должен был бы знать.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. DP, Displaced Persons – перемещенные лица (англ.)
2. Базанов, П. «Издательство имени Чехова» // *Новый Журнал*. 2014. Кн. 276 (сентябрь). С. 276–287.
3. Вера Александрова – псевдоним Веры Александровны Шварц (урожденной Мордвиновой, 1895–1966). В молодости она писала стихи, переписывалась с философом и критиком В. Розановым. Много места уделяется этой переписке в недавней публикации: Хазан, В. «... У меня страшное чутье на то, что художественно» («От корреспондента В.В. Розанова до главного редактора Издательства им. Чехова: Материалы к биографии В.А. Александровой-Шварц». *Русская история и культура в архивах Израиля*. Под редакцией Вл. Хазана. Кн. 3. Jerusalem, 2023. С. 363–409). В 1922 году Александрова была выслана из Советского Союза со своим мужем С.М. Шварцем (1885–1973), видным меньшевиком. Очень скоро в эмиграции главной специальностью Александровой стала история советской литературы. Ее современник отметил: «Уже тогда господствовало почти всеобщее убеждение, что в лице Веры Александровой мы имеем не только неутомимого труженика по изучению советской литературы, но, может быть, лучшего знатока её» (Аронсон, Г. «Памяти В.А.Александровой: в годовщину со дня смерти». *Новое русское слово*. 1967. № 19928 (1 октября). С. 3). Она публиковала свои статьи о советской литературе не только в журнале «Социалистический Вестник» в течение почти сорока лет, но и в других эмигрантских изданиях: «Новый Журнал», «Новое русское слово» (ее обзоры советской литературы появлялись в воскресных номерах газеты), журнал «Новоселье», альманахи – «Мосты» и «Воздушные пути». Публицистическая деятельность Александровой распространялась и на видные англоязычные журналы – *The Saturday Review* и *The New Leader*. Она даже выпустила книгу на английском языке, которая пользовалась популярностью: Vera Alexandrova. *A History of Soviet Literature, 1917–1964. From Gorky to Solzhenitsyn*. Translated by Mirra Ginsburg. New York: Anchor Books, 1964. За весь срок существования Издательства им.Чехова Александрова занимала пост главного редактора. В издательстве вышли два сборника о советской и эмигрантской прозе, составленные ею: «Пестрые рассказы» (1953) и «Опальные повести» (1955).
4. Владимир Федорович Марков (1920–2013) – поэт, критик, литературовед. Выпускник Ленинградского государственного университета, попал во время войны в плен и оказался в Германии. Переехал в Америку в 1949 году. Шесть лет (1950–1956) работал преподавателем русского языка в Военном институте иностранных языков (Defense Language Institute) в городе Монтерей (Калифорния). Защитив докторскую диссертацию по Хлебникову, получил место профессора русской литературы в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA), где проработал до выхода на пенсию (1957–1990). Академическая карьера Маркова была блестящей. Он написал первые истории русского футуризма и имажинизма, выпустил собрание сочинений Кузмина и

Бальмонта, что способствовало переоценке этих двух поэтов. Его перу принадлежит приблизительно сто публикаций преимущественно по русской поэзии. (Шерон, Ж. «В.Ф.Марков». Энциклопедия русского авангарда. М., 2013. Т. 2. С. 108-109) Выбор Маркова как редактора намеченной антологии советской поэзии кажется не таким уж и неожиданным, если принять во внимание наблюдения главного редактора газеты «Новое русское слово»: «Когда было основано Чеховское издательство, В.А. Александрова заняла в нем пост главного редактора. Задача была не из легких и не всегда ей удавалось отстоять тех авторов, которых она считала достойными издания. Особым ее покровительством пользовались писатели молодые, появившиеся из Сов. Союза после Второй мировой войны, первые их рукописи прочла, отредактировала и выпустила в свет Вера Александрова» (Седых, А. «Памяти В.А. Александровой». «Новое русское слово». 1966. № 19566 (4 октября). С. 2).

5. Глеб Петрович Струве (1898–1985) – профессор русской литературы в Калифорнийском университете в Беркли. Очень способствовал продвижению Маркова в академический мир Америки. См.: «Встреча двух эмиграций. Переписка В. Маркова и М. Карповича». Публ. Ж. Шерон. «Новый Журнал». 2017. Кн. 389 (декабрь). С. 134.

6. Здесь и далее цитируются выдержки из обширной переписки между Марковым и Струве по оригиналам из следующих архивов: письма Маркова – Hoover Institution Archives, Stanford University, Gleb Struve Papers; письма Струве – Рукописный отдел Института русской литературы (Пушкинский Дом) Российской Академии наук; личный архив В.Ф. Маркова (фонд 920). В тексте настоящей публикации указана только дата письма. Письма Струве Маркову были выборочно опубликованы. См. «‘Ваш Глеб Струве’. Письма Г.П. Струве к В.Ф. Маркову». Публ. Ж. Шерон. «Новое литературное обозрение». 1995. № 12. С. 118-152.

7. Примечательно, что Марков впервые познакомился с поэзией Хлебникова при составлении своей антологии, как он признался поэту Ю.Терапиано: «На Хлебникова я натолкнулся случайно, в связи с Антологией». «‘...В памяти эта эпоха запечатлелась навсегда’. Письма Ю.К.Терапиано к В.Ф.Маркову (1953–1966)». Публикация О.Коростелева и Ж.Шерона. «Минувшее: исторический альманах». СПб., 1998. № 24. С. 244. Через шесть лет после выхода антологии Марков защитил докторскую диссертацию по большим поэмам Хлебникова («The Longer Poems of Velimir Khlebnikov»).

8. Для современного читателя имя «новокрестьянского» поэта Павла Васильева (1909–1937) мало что говорит, но в свое время он имел круг читателей. Васильев был арестован и расстрелян в годы Большого террора.

9. Марков открыл для себя поэзию Николая Заболоцкого (1903–1958) будучи студентом Ленинградского университета, где в его студенческом кругу царил «культ» Заболоцкого. См. Марков, В. «Et ego in Arcadia». «Новый журнал», 1955. Кн. 42 (сентябрь). С. 174. В письме Струве (15.X.1951) Марков оправдывал свой выбор: «Не совсем согласен только с вами насчет Заболоцкого, которого я воспринимаю как нечто редкое и своеобразное, его гротеск близок к ‘поэзии нонсенса’ и, по-моему, является предельной формой ухода от действительности. Так воспринимали его многие в СССР. Кроме того, в нем есть какая-то необычная сатира».

10. В свою антологию Марков добавил выдержки из переводов Лозинского («Божественная комедия» Данте), Маршака (сонеты Шекспира) и Пастернака (Шекспир и из мировой поэзии), как он объяснил Струве (9.X.1951): «Я также стою за включение нескольких переводов Лозинского, Маршака и Пастернака,

во-первых, потому что уход в перевод – значительный факт советской поэзии, часто связанный с ‘преследованием’, а во-вторых, по-моему, в переводе советская поэзия достигла очень больших высот, обойти это трудно, и в России он (перевод) занимает не менее почетное место, чем оригинальная поэзия».

11. Марков, Владимир [Составитель]. *Приглушённые голоса: поэзия за железным занавесом*. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1952. С. 6.

12. «‘...Я молчал 20 лет, но это отразилось на мне скорее благоприятно’: Письма Д.И. Кленовского В.Ф. Маркову (1952–1962)» Публ. О. Коростелева и Ж. Шерона. *Диаспора: новые материалы*. II. СПб, 2001. С. 588.

13. Струве, Г. «Дневник читателя. О двух антологиях русской поэзии. 2. Поэзия советских лет». «Русская мысль». 1953, 4 марта, № 533.

14. Иваск, Ю. [Рецензия] «Опыты». 1953. Кн. 1. С. 199–201.

15. Филиппов, Б. [Рецензия] «Новый Журнал». 1952. Кн. 31. С. 324–326.

16. Романов-Островский, Е. [Рецензия] «Грани», 1952. № 16. С. 181.

17. Коростелев, О. «Если чудо вообще возможно за границей...»: *Эпоха 1950-х гг. в переписке русских литераторов-эмигрантов*. М., 2008. С. 558.

Письма Издательства имени Чехова к В.М. Маркову

1.

[на бланке:]

Chekhov Publishing House

Temporary address:

14 East 28 Street,

Hotel Prince George¹

New York 16, N.Y.

Air-Mail

Mr. V. Markov,

14 F Ord Ave., Ord Village

Monterey, California

Сентября 24-ого 1951г.

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Адрес Ваш я получила через Ю.П. Иваска². Надеюсь, что вкратце он Вас уже ознакомил с целями нашего Издательства, возникшего (вернее, возникающего) в рамках Фри-Роша-Фонда³.

В числе работ, предполагаемых к изданию, нами намечен сборник стихов тех советских поэтов, которые в Советском Союзе подверглись преследованиям и – если некоторые из них еще и живы – обречены на молчание.

Ю.П. думает, что Вы согласитесь взять на себя составление плана издания такого сборника с подбором наиболее характерных стихотворений каждого из выбранных Вами поэтов. Хорошо было бы предста-

вить в таком сборнике – по возможности – больше поэтов, не ограничиваясь 20-ыми годами. Насколько могу судить по статьям советских литературных критиков, все периоды советского развития, увы, богаты именами затравленных поэтов. Стихов Анны Ахматовой можно не включать в сборник, так как мы собираемся выпустить однотомник ее стихов, включив в него ее стихотворения, написанные во время последней войны и собранные нами по разрозненным изданиям⁴.

К такому сборнику необходимо предисловие редактора сборника, т.е. в в данном случае автором его были бы Вы.

Прошу Вас по возможности скорее откликнуться на это письмо, чтобы я знала, когда приблизительно Вы могли бы представить нам такой сборник. Фиксированного размера гонорара за вашу работу нет, гонорар будет определен в зависимости от пожеланий редактора сборника и количества времени, которое потребует от него эта работа.

С искренним уважением,

Вера Александрова

Editor-in-Chief:

Vera Alexandrova

1. В начале своего существования издательство находилось в трех номерах гостиницы *Prince George*.

2. Иваск Юрий Павлович (1907–1986), поэт и критик. Был в дружеских отношениях с Марковым почти сорок лет.

3. Первоначальное название филиала Фонда Форда, которому подчинялось Издательство им. Чехова, было *Free Russia Fund*; в конце сентября 1951 года название сменилось на *East European Fund*. См. Трибунский, П. «Фонд Форда, Фонд ‘Свободная Россия’. ‘Восточно-Европейский Фонд’ и создание ‘Издательства имени Чехова’». *Ежегодник Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына*. 2013. М., 2014. С. 583.

4. Ахматова, А. *Избранные стихотворения*. Издательство им. Чехова. Нью-Йорк, 1952.

2.

[на бланке:]

Chekhov Publishing House (of Free Russia Fund)

Temporary address:

14 East 28th Street,

Hotel Prince George

New York 16, N.Y.

Air-Mail

Mr. V. Markov

Ord Village

Monterey, California

October 5th 1951

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Благодарю за письмо от 1-го сентября. Спешу уточнить некото-

рые вопросы. Не думаю, что нам надо специально договариваться о том, что такое «преследование», и искать «доказательства» того, что данный поэт был в тюрьме или в концлагере. Хотя Пастернак не был в тюрьме (однако Вы не совсем правы, говоря, что оба сборника периода войны – «На ранних поездках»¹ и «Земной простор»² – были встречены дружелюбно: уже в 1947 году оба критика, осторожно похвалившие Пастернака, получили нагоняй в «Культуре и Жизни»³!), всем своим поэтическим строем он чужд официальной советской идеологии и должен быть включен в сборник. То же относится к Есенину: его вновь стали издавать во время войны, но издают только «Избранное», в эти одностомники не включены наиболее ценные стихи из первого посмертного издания Есенина. То же самое относится к Маяковскому (его можно представить двумя стихотворениями, вроде «К звездам»). В еще большей степени это относится к Багрицкому. Его развенчание началось только года два назад, до тех пор он был вполне «своим» поэтом. Между тем известно, что некоторые его стихи из «Думы про Опанаса» пелись в концлагерях. Хорошо было бы включить в антологию его «Стихи о поэте и романтике», которые были включены в первый посмертный том 1934 года и никогда более не были перепечатаны.

Всеми этими примерами я хотела только подчеркнуть основную идею сборника – дать стихи, наиболее ценные с художественной точки зрения (как правило, они в то же время наиболее уязвимые с точки зрения официальной советской идеологии). Ахматову, поскольку будет одностомник, надо представить двумя-тремя стихотворениями, дать побольше Гумилева, Мандельштама, Павла Васильева и т.д.

Труднее ответить относительно гонорара. Думаю, что может быть легче разрешить этот вопрос, если Вы назовете цифру, которую считали бы справедливой, а я доведу об этом до сведения Издательства.

С искренним уважением,
Вера Александрова.

1. Пастернак, Б. *На ранних поездках*. М., 1943.

2. Пастернак, Б. *Земной простор*. М., 1945.

3. Сурков, А. «О поэзии Б. Пастернака». «Культура и жизнь». 1947. 21 марта.

3.

[на бланке:]

Chekhov Publishing House (of Free Russia Fund)
Temporary address:
14 East 28 Street,
Hotel Prince George
New York 16, N.Y.

Air-Mail

Mr. Vladimir Markov,
Monterey, California

October 22nd 1951

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Спасибо за письмо от 14-го октября. Отвечаю по пунктам:

1. Наше Издательство заинтересовано в сборнике советских поэтов, жертв режима по преимуществу.

2. Список поэтов, которых Вы предполагаете включить в сборник – Мандельштам, Пастернак, Хлебников, Клюев, Багрицкий, Заболоцкий, – желательно пополнить именами: Гумилева, Ахматовой, Волошина, Сологуба (имену в виду особенно два его стихотворения, опубликованные покойным Ивановым-Разумником в его посмертной книжке, изданной Нью-Йоркским Литературным Фондом в 1950 г.¹), Есенина, Павла Васильева и др. по Вашему усмотрению. Спорен Сельвинский, хотя Вы и ошибаетесь относительно того, что он теперь в фаворе! Всё же его следовало бы включить.

3. Вообще подбор и количество стихотворений каждого автора принадлежит составителю сборника. По представлении сборника Издательство может просить Вас внести те или иные изменения.

4. Размер антологии не должен превышать 400 страниц. Сборник предназначается для русских читателей, поэтому и предисловие должно быть написано по-русски. Срок представления сборника еще не установлен; думается, однако, чем раньше он будет готов, тем лучше. Во всяком случае, будет хорошо иметь его к марту 1952 года.

5. Поскольку Вы не даете ответа относительно размера гонорара за составление сборника и Ваш вступительный очерк, Издательство, со своей стороны, обращается к Вам с запросом: удовлетворила ли бы Вас сумма в 250 долларов. В случае положительного ответа Издательство готово было бы представить эту сумму на рассмотрение Боард оф Тростис².

В ожидании Вашего ответа.

С искренним уважением и приветом,

Вера Александрова

Editor-in-Chief

(Vera Alexandrova)

1. Иванов-Разумник, Р. *Писательские судьбы*. Нью-Йорк: «Литературный Фонд», 1951. С. 17, 19. Марков включил одно стихотворение («Подыши ещё немного») из этого издания в свою антологию.

2. Board of Trustees – Совет попечителей (англ.).

4.

[на бланке:]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.*

*Temporary Address:
14 East 28th Street
New York 16, New York*

*Air-Mail**LExington 2-7800
Extensions 234-5-6**Mr. Vladimir Markov
14 F Ord Ave., Ord Village
Monterey, California**November 12th 1951*

Многоуважаемый Владимир Федорович,
Большое спасибо за письмо от 6-го ноября. От души рада, что взялись за работу «окончательно» и «бесповоротно». Рада также, что при осуществлении задачи решили отказаться от подхода с точки зрения «личного вкуса». Однако остатки этого подхода мне почудились в Вашем замечании, что нам следовало бы «воздерживаться от помещения в антологию вещей чересчур известных». Антология советской поэзии рассчитана на широкого читателя и на будущих читателей. Сомневаюсь, чтобы то, что известно Вам и нам, было так же известно этим читателям, в частности, чтобы они знали даже «Письмо матери» Есенина, не говоря уже о таком стихотворении, как «В России много троп», или «Обращение к молодежи». Что касается «Страны негодяев» — она была напечатана в первом посмертном издании Есенина и в «Красной Нови» (в отрывках¹).

Все эти вещи, кажущиеся нам столь известными, в действительности знают — и то приблизительно — люди, сегодня принадлежащие к среднему поколению. Сегодняшняя молодежь выросла уже на других поэтах. Но кроме этого соображения у меня имеется еще и другой убедительный аргумент: читатели любят антологию не только за то новое, что она им дает, но еще больше за самое «радость узнавания»; антология — всегда немножко лирическая энциклопедия. Даже в любимых и известных стихах читатели знают часто только две-три строчки и рады, когда могут найти в сборнике такое стихотворение целиком. Параллельно с планом издания антологии современной поэзии мы поручили другому сотруднику составление сборника дореволюционной классической поэзии от Жуковского до Ахматовой, Гумилева и Белого включительно².

Поэтому я не только согласна в Вашем сборнике пропустить Гумилева, но и Сологуба, Белого и Волошина, так как все они представлены в этом сборнике. И вот, подход при составлении этого сборника несколько иной, чем Ваш. В нем представлены лирические стихи Пушкина, Лермонтова, Боратынского, Батюшкова и т.д. Многие стихи, как «Не осенний мелкий дождичек» Дельвига, «Нелюдимо наше море» Языкова или «В одной знакомой улице я помню старый дом» Полонского — давно вошли в репертуар народных песен. Их все знают, но мало кому известны имена их авторов.

Упоминаю об этом нашем сборнике в связи с первой частью представленного Вами плана Вашего сборника. Эту часть придется для избежания повторений сократить. Я бы включила только Блока,

взяв не «Двенадцать», а его последнее стихотворение-завещание «В альбом Пушкинского Дома» с известным в нем четверостишием:

«Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе»³...

Хлебниковский «Ночной обыск» – очень одобряю. Багрицкого «О поэте и романтике» («...Депеша из Питера: страшная весть») пришло Вам. Маяковского «Про это»⁴ я бы дала в отрывках, но не возражаю против включения целиком⁵. Упоминаемое Вами стихотворение Ахматовой «Для того ль сияла сила в голубых твоих глазах»⁶ – я сама не знаю, и была бы рада, если бы Вы его включили, даже если не найдете источника.

Не возражаю, конечно, и против включения наиболее хороших переводов. Сомнение вызывает только Ваше желание «издевательски кончить антологию» стихами из Симоновского «С тобой и без тебя». Не боясь упрека в трюизме, скажу «Над кем Вы смеетесь?» Ведь опять-таки широкий читатель совсем не поймет Вашего намерения, а если поймет – не одобрит. Уж если брать Симонова, лучше дать в отрывках из поэмы его «Первая любовь», которую он сегодня не может сам рекомендовать для советских издательств⁷.

Последний, чисто технический вопрос: мы здесь при составлении сборников, в целях экономии, пользуемся фотографическим способом. Само собой разумеется, что все эти расходы будут Вам возмещены Издательством.

Как видите, я тоже написала довольно пространно, но надеюсь, что Вы не посетуете на меня за это. Итак, в добрый час!

С искренним приветом и уважением,

Вера Александрова

Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

1. Есенин, С. Собрание сочинений. Т. 3. М.-Л., 1926. С. 147-220; журнал «Красная новь», 1926: Кн. 3 (С. 128-133) и Кн. 4 (С. 112-117).

2. Имеется в виду сборник, который вышел немного позже марковского: *Русская лирика от Жуковского до Бунина. Антология русской поэзии*. Под редакцией А.А. Боголепова. Нью-Йорк: Издательство им.Чехова, 1952.

3. Марков использовал стихотворение Блока «Имя Пушкинского Дома» как эпиграф к своей антологии.

4. Маяковский, В. *Про это*. М.-Пг., 1923.

5. Марков в своем сборнике поместил только конец поэмы Маяковского.

6. Стихотворение Ахматовой взято из ее третьей книги стихов «Белая стая» (Петроград, 1917). Марков не включил его в свою антологию.

7. Советский поэт Константин Симонов (1915–1979) не фигурирует в книге Маркова.

5.

[на бланке:]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.*

*Temporary Address:
14 East 28th Street
New York 16, New York*

*LExington 2-7800
Extensions 234-5-6*

Air-Mail

*Mr. Vl. Markov
14 F Ord Ave., Ord Village
Monterey, California*

December 14th 1951

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Спасибо за письмо от 11-го декабря. Спешу ответить Вам, чтобы не задерживать Вас. Отвечаю для краткости по пунктам:

1. Само собой разумеется, что фотостатный способ не обязателен. Если у Вас есть машинка, Вы можете представить сборник, переписанный на машинке.

2. Согласна на включение Есенина, Маяковского и Хлебникова (их дореволюционных стихов) в Ваш сборник. Включите в сборник и Клюева и Мандельштама.

3. Согласна и на то, чтобы Вы взяли в Ваш сборник несколько стихотворений Ахматовой, Волошина и Сологуба.

4. Думаю, что Ваши соображения относительно стихотворения Багрицкого «Разговор с романтикой» – нужно принять во внимание, поэтому не включайте его в сборник. Как видите, я сегодня уступчива.

Предварительный план, изложенный в письме, мне нравится. С интересом жду присылки окончательного списка стихотворений, которые войдут в сборник.

С искренним приветом и уважением,
Вера Александрова
Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

6.

[на бланке]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund*

*Temporary Address:
4 East 28th Street
New York 16, New York*

*LExington 2-7800
Extensions 234-5-6*

*Mr. V. Markov
14F Ord Ave., Ord Village
Monterey, Calif.*

4 января 1952 г.

Многоуважаемый Владимир Федорович!

Спасибо за письмо от 28-ого декабря. Просмотрели предложенную Вами подборку. Не могу сказать точно, что вошло из Ахматовой в другой сборник, так как не дозвонилась к нашему сотруднику¹. Но это и не существенно. Точно знаю, что автор другого сборника взял сологубовскую «Башню и пашню» и «Подыши еще немного».

Прошу Вас не надеяться на то, что нам удастся найти поэмы Маяковского: это вовсе не так легко, как Вы думаете. Лучше снимите фотостат. (Мы вернем расходы.) О Заболоцком тоже спрашивала, но никто не имеет его здесь.

С искренними приветами и добрыми пожеланиями,
В.Александрова.

1. Редактором сборника был Александр Александрович Боголепов (1885–1980) – по образованию юрист; последний свободно-избранный проректор Петербургского университета. Был выслан на «Философском пароходе» (См.: «Приезд высланных из Сов. России». «Руль». 1922, № 604, 27 ноября). В 1951 году переехал в Америку, где занял должность профессора канонического права Свято-Владимирской духовной семинарии в Нью-Йорке.

7.

[на бланке:]
*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.*

*Temporary Address:
4 East 28th Street
New York 16, New York*

*LExington 2-7800
Extensions 234-5-6*

Air-Mail

*Mr. Vladimir Markov
14F Ord Ave., Ord Village
Monterey, California*

January 11th 1952

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Спасибо за письмо от 7-го января и за поздравления к Новому Году. Давайте ждать от новорожденного побольше книг «хороших и разных», которые выйдут в нашем Издательстве. Еще не выяснила,

что из Ахматовой войдет в другую антологию. Зато посылаю Вам четыре стихотворения, которые нам доставил один друг нашего Издательства. Эти стихотворения не вошли ни в однотомник Ахматовой, ни, конечно, в антологию классической поэзии. Парижская «Русская мысль», перепечатавшая их, по-моему, ошиблась, написав, что они взяты из «книги Ленинград». Это не книга, а журнал «Ленинград»¹, который был закрыт после постановления от 14-го августа 1946 года². Но у меня не было номера, в котором эти стихи были напечатаны.

Предисловие, по-моему, должно быть не слишком большое, скажем, страниц на 15, не больше. Не думаю, что в конце нужно помещать «источники», но если Вам кажется это нужным и это займет не слишком много места – дайте. «На ранних поездках» имеется в Нью-Йоркской Публик-лайбрэри³ (sic!), «Земной простор» имеется только в частных коллекциях, но у кого именно – не знаю. Стихи «На ранних поездках», которые я себе списала, пришлю Вам на днях.

С искренним приветом и уважением,

В. Александрова

Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

[От руки:] P.S. Согласна на включение «Подыши еще немного» в Вашу антологию.

1. Ахматова, А. «Пять стихотворений из цикла 'Любовь'». «Ленинград». 1946. № 3-4. С. 10. Марков выбрал одно стихотворение для своей антологии; он писал Струве в письме от 17 января 1952 года: «Я все-таки решил взять последнее из ахматовских стихов, присланных Александровой. Основной метод моего выбора – первоклассность (с моей точки зрения, конечно), но я от него отступаю, когда стихотворение интересно с точки зрения *credo* или 'шума времени'».

2. В постановлении оргбюро ЦК ВКП(б.) «О журналах 'Звезда' и 'Ленинград'» от 14 августа 1946 года выдвигался тезис, что так как журнал «Ленинград» напечатал на своих страницах стихи Ахматовой, а она является «типичной представительницей чуждой нашему народу пустой безыдейной поэзии», то надо закрыть журнал и исключить Ахматову из Союза писателей, что и было сделано.

3. New York Public Library – Нью-йоркская Публичная библиотека.

8.

[на бланке:]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.*

*Temporary Address:
4 East 28th Street
New York 16, New York*

Air-Mail

*LExington 2-7800
Extensions 234-5-6*

*Mr. Vl. Markov
14F Ord, Ave., Ord Village
Monterey, California*

January 22nd 1952

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Получила Ваше письмо от 16-ого января. Не волнуйтесь из-за подбора стихов Ахматовой. Так как Антология классической поэзии будет представлена, по-видимому, позже Вашей, я из нее всегда могу исключить те стихи, которые включены в Ваш сборник. Но, пожалуйста, верните мне стихи Ахматовой, которые я Вам послала.

Прилагаю при сем стихи Пастернака и его сборник «На ранних поездках». Часть их вошла и в «Земной простор», но его у меня нет.

С искренним приветом и уважением,

В. Александрова

Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

9.

[на бланке:]

Chekhov Publishing House

of the East European Fund, Inc.

Temporary Address:

4 East 28th Street

New York 16, New York

Air-Mail

LExington 2-7800

Extensions 234-5-6

*Mr. V. Markov
14F Ord Ave., Ord Village
Monterey, Calif.*

19.3.1952 г.

Многоуважаемый Владимир Федорович,

Спешу сообщить Вам, что присланную Вами антологию прочитала. Отличному внешнему оформлению отвечает как подбор стихотворений, так, в особенности, предисловие. Считаю, что Вы блестяще справились со своей задачей, и я с искренней радостью поделюсь в пятницу – 21-го марта с Николаем Романовичем¹ своими впечатлениями о Вашей работе. Надеюсь, что тогда же Вам будет выслан гонорар. Возможно, что удастся послать Вам несколько большую сумму, чтобы вознаградить Вас за расходы, связанные с перепиской и поездкой в библиотеку в Беркли².

С искренним приветом и уважением,

В. Александрова

Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

1. Вреден Николай Романович (1901–1955), директор Издательства им. Чехова.

2. В письме от 21 марта 1952 года главный администратор издательства по финансовым делам, Lilian Dillon Plante, поблагодарила Маркова за «отличную рукопись» (excellent manuscript) и вложила чек на \$350 за расходы при составлении сборника.

10.

[на бланке:]
Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.

Temporary Address:
4 East 28th Street
New York 16, New York

Air-Mail

LExington 2-7800
Extensions 234-5-6

Mr. V. Markov
14F Ord Ave., Ord Village
Monterey, Calif.

8.4.1952 г.

Многоуважаемый Владимир Федорович,

На последнем заседании нашего Издательства, на котором обсуждался вопрос об издании подготовленной Вами антологии, решено было изменить его заглавие, а именно: «Поэзия за железным занавесом (1917–1950)». Надеюсь, Вы не будете возражать против этого заглавия. Мы остановились на этом заглавии потому, что у нас будет еще две антологии: «Русская поэзия от Жуковского до Бунина» и «Современная русская поэзия»; в эту последнюю войдут поэты как старой, так и новой эмиграции¹. Ваше прежнее заглавие с упоминанием, что в сборник включены поэты советского периода, могло бы вызвать нежелательные реакции у некоторых возможных читателей и покупателей антологии.

С искренним уважением и приветом,

В.Александрова

Editor-in-Chief (Vera Alexandrova)

PS. Пожалуйста, уточните в подзаголовке даты: я не уверена, что можно поставить 1917–1950, хотя переводы Лозинского и Маршака появились в послевоенное время.

1. На самом деле сборник был посвящен только русской эмигрантской поэзии: *На Западе. Антология русской зарубежной поэзии*. Под редакцией Юрия Иваска. Нью-Йорк: Издательство им. Чехова, 1953.

11.

[на бланке:]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.
387 Fourth Ave., New York 16, N.Y., U.S.A.*

*Mr. V. Markov
282 Clay Street
Monterey, Calif.*

9 октября 1952

Дорогой Владимир Федорович,

Ваше грустное письмо пришло несколько дней тому назад, простите, что не сразу ответила. Прежде всего скажу, что «жилетка» моя всегда к Вашим услугам. Я не согласна с поговоркой, что «сколько голов, столько умов», я думаю, что голов столько-то, а умов на них только половина. Этим-то всё объясняется. Если не совсем всё, то многое.

Рецензии в «Русской жизни»¹ я еще не читала. Надеюсь, что на днях прочту (мы написали им и просили выслать номер газеты с рецензией). Могу себе представить, что там написано. Думаю, что огорчаться не стоит. Это обычная вещь в нашей эмигрантской жизни. И, как Вы сами пишете, никто из серьезных людей считаться с этим не будет. С американской же точки зрения, любая рецензия – лучше, чем никакой. Не знаю, утешила ли я Вас. Во всяком случае, мне очень хотелось это сделать. Меня и всех нас тут так ругают, и устно и письменно, и в глаза и за глаза, что я уже покрылась корой и отношусь ко всему с необходимым спокойствием.

По-моему, Вы ошибаетесь относительно Завалишина². Ему просто не понравился подбор стихов и это всё.

Собираетесь ли Вы в Нью-Йорк? Если приедете, приходите к нам. Ваша,

Т. Терентьева³

Денежки вышлите на имя издательства.

1. Рецензент газеты «Русская жизнь» (Сан-Франциско) отметил, что выбор стихотворений не соответствует названию марковской антологии – «Приглушенные голоса». См.: Ростовцов, М. «Нужна ли такая антология? (О книге В. Маркова – «Приглушённые голоса», поэзия за железным занавесом)». «Русская жизнь». 1952. 26 сентября.

2. Непонятно, о чем здесь идет речь. Завалишин Вячеслав Клавдиевич (1915–1995) – критик и поэт. Марков его знал по Ленинградскому университету, где оба учились до войны.

3. Терентьева Татьяна Георгиевна (1908–1986) – заместитель главного редактора Издательства им. Чехова.

12.

[на бланке:]

*Chekhov Publishing House
of the East European Fund, Inc.
387 Fourth Ave., New York 16, N.Y., U.S.A.*

*Mr. V. Markov
282 Clay Street
Monterey, Calif.*

3 декабря 1952

Дорогой Владимир Федорович,

Простите, что долго не отвечала на Ваше письмо. А Вы всё печальтесь. Не стоит, право. Ну напишут и пройдет. А книжка останется – и хорошая. Что Клюева перепутали, ничего¹. До сих пор никто из моих знакомых не заметил. Для утешения могу сказать, что Боголепова за его антологию ругают больше², чем Вас.

Получили ли Вы четыре книги, которые заказали?

Вот появится антология Иваска, тогда на него перекинутся, и Ваша жизнь снова станет прекрасной.

Вера Александрова уже почти поправилась и в середине января возвращается на работу³.

До свидания.

Ваша,

Т. Терентьева

Associate Editor (Tatiana Terentieva)

1. В книге перепутали отчество Клюева, вместо *Алексеевича* написали *Александрович*.

2. Рецензии на антологию Боголепова были в основном отрицательные; даже беглый просмотр подтвердит это. Анонимный рецензент журнала «Грани» (1952, № 16. С. 180) отметил, что книга собрана «небрежно и наспех». Борис Филиппов тоже сетовал, что сборник плохо составлен, с перевесом слабых стихотворений и второстепенных поэтов («Новый Журнал», 1952, Кн. 31. С. 323-324). Глеб Струве был не менее критичен. Он отметил отсутствие поэтического понимания и вкуса у составителя, странный выбор самих поэтов, неудачную подборку стихотворений отдельных поэтов, неточности и ошибки во вступительных заметках. Он пришел к заключению, что «антология неудачная и не соответствует своему заданию» («Русская мысль». 1953, 20 февраля). Владимир Вейдле даже поставил под вопрос само издание такой антологии: «Самый замысел сборника свидетельствует о полной некомпетентности того, кто его задумал. <...> Ясно одно: при столь малом умении мыслить и писать, лучше не браться за составление антологий» («Опыты». 1954, Кн. 3. С. 195-196).

3. У Веры Александровой случился сердечный инфаркт в июне 1952 года. Она смогла вернуться к своим редакторским обязанностям только в начале следующего года.

Полина Брейтер

«Мне никто не дарил таких подарков»

О переписке Бориса Чичибабина и Полины Брейтер

Это началось в 1976 году, когда Борис Алексеевич и его жена Лиля впервые приехали в Одессу. Я водила их по городу и пляжам и щедро дарила любимые улицы и дома, одесские дворики и спокойное сентябрьское море. А вечерами мы сидели в моей хрущевке-«однушке», и Борис Алексеевич дарил нам свои стихи, большинство из которых я до той поры не знала.

«У меня в душе остались на всю жизнь те Ваши первые подарки, – вспоминал он позднее в одном из писем. — Я не хочу Вас обманывать и уверять, что запомнил и найду те деревья, кусты, камушки, дома, которые Вы тогда подарили нам. Если я когда-нибудь приеду в Одессу один, я, конечно, не отыщу сам тех улиц, переулочков, спусков, на которых Вы всё это нам дарили, да и Вы, наверное, уже не помните тех своих подарков, но ведь душе и не нужно никаких конкретных, ‘закрепляющих’, ‘привязывающих’ подробностей. Не на улицах всё это Вы дарили, а в Вечности – и помню и храню я это всё – из Вечности и в Вечности».

С тех пор так у нас и повелось: мы дарили друг другу всё самое любимое, самое нужное. Я ему – Одесский оперный театр, он мне – стихотворение «Моцарт» со строчками «А где еще и слушать Дон Жуана, как не в Одессе». Я – Моцарта и Баха. Он – «всё лучшее, что было и есть в мировой литературе». Я – «Сказку сказок» Норштейна, он – «всё великое, значительное и прекрасное, что принесло людям неожиданное искусство кино». Я – самодельные сборники его стихотворений, которые сама печатала на плохонькой машинке «Москва», он – все свои известные и неизвестные стихи, из которых я и составляла сборники его «полных собраний сочинений». Борис Алексеевич писал мне тогда: «Разве Вы не знаете, как я радовался – и как мне было стыдно, и как я гордился, и опять радовался, радовался, радовался, когда Вы ‘переписывали’ мои стихи?»

В 1980-м году во время весенних школьных каникул я собралась на неделю в отпуск – на Кавказ. Борис Алексеевич прислал мне тогда письмо «на дорожку»:

«...У Вас впереди много радостного – и ожидажно радостного, жданно радостного, и неожиданно радостного, нового, впервые открываемого – Ваше предстоящее путешествие.

Всей душой, всеми молитвами, всеми мыслями и чувствами желаю,

чтоб всё это – предстоящее Вам – оказалось намного лучше, радостнее, светлее, ‘полетнее’, чем Вам это представляется.

Если Вы, как задумывали, поедете на Кавказ, я не сомневаюсь в том, что это так и будет. Это – прекрасная, удивительная и неожиданная, совершенно ни на что не похожая земля. Неделя – слишком маленький срок, чтобы увидеть ее во всех подробностях, иногда разочаровывающих, и Вы вернетесь потрясенная и влюбленная – это я Вам предсказываю наперед.

Наперед же хочу предупредить и ‘подготовить’ к тому, что это очень чужая земля, ‘не впускающая’ в себя, чем-то более чужая, чем Прибалтика.

Мы с Лилей много лет собираемся в закавказские края и никак не выбираемся, потому что без ‘надежного’ знакомого я туда ехать не хочу: без ‘проводника’ там можно увидеть только внешнее, сама же душа – вот хотя бы то, что Вам так полюбили по фильму ‘Не горюй!’ – останется нераскрытой, неувиденной.

Но для одной недели этого не нужно. Вы увидите прекрасные города (Ереван я не видел, а Тбилиси немножко помню, я был там давно, во время войны, но совершенно уверен, что, даже не забывая о том, что на свете есть Львов, Таллинн, Вильнюс, Одесса, Ленинград и крымские города, это один из самых красивейших и невообразимо-чудеснейших городов нашей страны), увидите старинные храмы, увидите горы, ни с чем не сравнимые, от которых одних совершенно ‘обалдеете’ – и вернетесь счастливой и переполненной. Но также и с печальным чувством, что душа народов – грузинского и армянского – стала для Вас гораздо ‘чужее’ и ‘закрытее’, чем была до этой поездки.

К сожалению, я не могу ‘подарить’ Вам тех мест, куда Вы собираетесь. Закавказье я знаю по военным годам и такое, какого Вы не увидите, – не туристское, без храмов, в основном, деревенское. Из больших городов я жил только в Тбилиси, в Армении не был совсем, если не считать Нагорного Карабаха – армянского района, расположенного на территории и входящего в состав Азербайджана. С тех пор прошло почти 40 лет, я был тогда совсем не такой, как теперь, мои глаза смотрели не так и не на то, и в Вашей дороге я не смогу быть Вам ни провожатым, ни спутником. <...> Так что Армении Вы полюбите и за меня».

Вместо путешествия по Кавказу у меня получилась тогда только поездка в Ереван, который стал для меня открытием, откровением, потрясением – и обратился поглотившей меня любовью к Армении на всю мою жизнь. Возвратившись в Одессу, я взалхб рассказывала о своих впечатлениях – и не только и даже не столько о восторге перед открывшейся мне прекрасной страной, сколько о сострадании к ее судьбе. В первые дни просто не могла договорить фразу, потому что меня душило и прерывало изнутри. И, конечно, щедро «дарила» Армению в длинных и многочисленных письмах в Харьков, например таких:

«То, что я узнала об истории страны, вонзилось в меня болью, обидой, жалостью, горечью, досадой, недоумением. Все мои дни в Ереване носила это в себе, где бы ни находилась, что бы ни делала, о чем бы ни размышляла. До этой поездки я ничего не знала об истории Армении. Знала слово ‘резня’. Знала, что армяне рассыпаны по свету. Но всё это было как-то абстрактно.

Да и после поездки знала не намного больше. Но их боль уже стала моею. И уже не могла я удержать слезы, которые проливались у меня над

Армений и армянами. Не успели они принять христианство, как на них напали, разгромили, покорили. И с тех пор, т.е. с V века, до самого присоединения к России, которая тоже не подарила им свободы, их всё время покоряли, громили, на них нападали. Из-за них ссорились и дрались между собой персы, арабы, турки. Их давили татаро-монголы. Господи, кто их только не резал, не грабил, не покорял, не притеснял! И вот так они жили пятнадцать веков, более 1500 лет! Как же они вели себя в эти ужасные полторы тысячи лет? Кто они? Герои? Смиренники? Сопротивленцы? Мне так хотелось понять и узнать это, когда, читая в музее очередную надпись о новом расцвете армянской архитектуры (VIII–IX век), наткнулась на перечень средневековых монастырей, городов, церквей, крепостей. Их описывали и перечисляли по названиям. И я уже шептала в ‘алчном’ недоумении: ‘Где же это? Как туда проехать? Мы должны непременно это увидеть!’ Но в самом конце на последней строчке было написано спокойно и буднично: ‘Сейчас находится на территории Турции’. Когда я прочитала это в первый раз, до меня не дошло даже, что это значит. Как? Что значит ‘сейчас’? Что они – эмигрировали, что ли? Что они – ушли из Армении? Храмы, города, дома? Как это возможно? А когда поняла, то во мне за клубилось что-то душасщее болью, как бывает перед тем, как заплакать. И с той минуты мне уже не надо было узнавать и пытаться понять. У меня пропал познавательный интерес. Я перестала быть посторонним. Мне стало так больно, так обидно, так горько, будто это у меня из рук, из дома, из сердца вынули эти храмы и города и отдали чужим, нет, не просто чужим, а врагу, убивающему меня и моих братьев. Мы ходили и ходили по залам музея. И всё читали и смотрели. И каждый раз эта фраза была как новый шквал боли. И хуже всего, страшнее всего было почему-то с городом Ани. Там у них в музее стоит большой макет под стеклом. Макет средневекового города. Мы разглядывали, смотрели, представляли себе, как там жили. Мы читали все описания. Как я обрадовалась, что увидела этот Ани! И как простодушно снова воскликнула своей подруге: ‘Ну сюда-то мы уж обязательно пойдем или поедем! Где он? Где он находится?’ И она с горечью прочитала мне в ответ все то же: ‘Сейчас находится на территории Турции’.

Но почему, почему армянский город должен быть на территории Турции? Почему турки должны ходить мимо армянских плененных церквей? И что чувствуют армяне, когда воздвигают макеты своих полоненных храмов и городов, что чувствуют армяне, когда смотрят на фотографии армянских древних памятников, находящихся сейчас на территории Турции? Если я плачу над этим, я, не армянка, я, которая месяц назад не подозревала о существовании города Ани, я, которой не может быть так дорога память о каждом армянском камне, как она дорога им? Если я плачу от бессильной горькой обиды, от жгучей досады, то как же плачут армяне?

Только что сказала ‘хуже всего, страшнее всего было почему-то с городом Ани’, но и это неправда. Есть еще хуже, еще страшнее. Арарат. Гора Арарат, которую видно из любой точки Армении. Гора Арарат – главный символ, сакральный символ страны, их святыня. Их любимый Масис. И они видят его, но тоже ‘на территории Турции’.

Ну вот, так и знала, что снова буду плакать, когда начну писать об этом. Плакать и думать о том, как горько армянам видеть его каждый день и не иметь возможности подойти к нему, коснуться его пальцем, стать перед ним на колени. Знаю, что мои мысли очень наивны. Там, в Армении, мне думалось примерно так. Турки имеют свою сторону Арарата, зачем же им нужна другая сторона, которой они всё равно не видят! Ну пусть Арарат турецкий, пусть.

Но пусть граница проходит по горе, чтобы армянам тоже достался свой кусочек. Пусть то, что видят турки, будет турецким, а то, что видят армяне, будет армянским. Пусть хоть краешек, хоть подошва останется армянам, чтобы они могли к нему подойти. Чтобы они хоть знали, что могут к нему подойти. Нельзя же, чтобы око каждый день видело то, что так недоступно. Ну что им стоит уступить кусочек горы. Так нет же, граница проходит не по горе и не у самой горы, а по реке Аракс, которая течет у подножья. И армяне смотрят на свой Арарат, как если бы пришли на свидание к заключенному: через расстояние, через двойную решетку-границу. Ну да, понимаю, там всякие взрослые архиважные политические соображения, и границу отодвинуть нельзя. Только лучше бы они поделились, как дети, честное слово, и тем, и другим лучше.

Знаю, что вся история человечества такова. Знаю, что карта мира всё время перекраивалась. И мне могут сказать, что, плача над трагедией армян, нужно плакать над всеми другими трагедиями, творящимися в мире. Но я не могу так. Стоя в Армении, я плачу над Арменией. Я не могу плакать обо всем сразу».

У Чичибабиных первая поездка на Кавказ состоялась позднее, осенью 1981-го. Борис Алексеевич рассказывал о ней в нескольких письмах, как и о следующей, в 1985-м. Гораздо чаще они с Лилей ездили в Крым, который он полюбил еще подростком, который стал чуть ли не самым любимым его местом на земле и который он тоже, конечно, дарил мне. Почти каждый год, начиная с 1974-го, они ездили на отдых в Коктебель. А в 1988-м, после восстановления в Союзе писателей, Чичибабин приехал туда уже не опальным подпольным, а признанным, известным поэтом – и впервые жил по путевке в писательском Доме творчества. Здесь ему не хотелось думать о бурных и грозных перестроечных событиях. «...А потом было море, тихое, спокойное, родное, – и душа сразу подчинилась покою и тишине, причастилась Вечности», – писал он тогда из Коктебеля. Увы, эти отрешенность и покой не могли длиться долго: впереди ждали страшное землетрясение в Армении, кровавые события на Кавказе, в Прибалтике, распад Союза, хаос и нищета в стране, разочарование в новой реальности, в которую он сначала с такой надеждой поверил.

«Уходящий год уходит со слезами и горем миллионов людей в нашей Армении, уходит, унося с собой десятки тысяч недожитых жизней, – писал Борис Алексеевич в конце 1988-го о Спитакском землетрясении. – Об этом страшно думать, представить себе это невозможно. Но то, как на эту боль, на это горе отозвался весь мир, не может не вызвать в душе чувства умиления и благодарности, радости за людей. Да что весь мир! Давайте признаемся, что мы с Вами слишком плохо о нем думали, о нашем технизированном, материалистическом, ‘прогнившем’ мире: оказалось, что для них – французов, англичан, американцев и прочих – привычно, естественно откликаться на ‘чужое’ горе, сострадать, бросаться на помощь.

Но и наше правительство – молодец! Это ведь впервые за всю советскую историю понятия гуманизма, милосердия перестают быть словами, ложью, обретают реальность, превращаются в дело. Воздух очищается, жизнь наполняется каким-то смыслом, какой-то надеждой, интересней становится жить в нашей стране – вот какие дела! И поэтому, не забывая об

армянской трагедии, по чистой совести следует помянуть добром уходящий год. Это уже второй такой год при нашей жизни, я и прошлый добром поминал, и с прошлым расставался с благодарностью и грустью» (*Декабрь 1988*).

«Воздух очищается», «наше правительство – молодец», «с благодарностью и грустью»... В этих словах – всё еще остаточные капельки эйфории и надежды на лучшее. Но уже в начале 1992-го тон писем Бориса Алексеевича меняется: «В общем, все плохо и гадко, и лучше об этом не думать». И потом:

«Мне еще больно за нашу Армению. На Кавказе вообще всё страшно, там уже давно льется кровь и убивают друг друга*, но, когда это делается в Тбилиси, я не могу быть ни на чьей стороне: кто б там ни победил, и те и другие убивают и будут продолжать убивать осетин, и мне глубоко противен их – и тех и других – надменный и жестокий национализм. А за Армению, может быть потому, что я открыл ее для себя, узнал и полюбил и она давно уже стала ‘моей’ Арменией, мне по-особенному больно: уже в который раз в истории этой маленькой и одинокой страны все – и в первую очередь Россия – предали ее и отступились от нее. Страшно подумать, что с ней будет...» (*Январь 1992*).

Грустными стали и подарки Бориса Алексеевича:

«Я не очень радуюсь подарить Вам всё то, что мы с Вами, отчасти вместе, читаем в журналах, смотрим в кино, слышим и видим по телевизору, – всё это не стоит одного ‘Котлована’, который мы с Вами прочитали еще в первый год нашей дружбы, или даже не очень Вам нравящегося ‘Подростка’.

Я всё равно дарю Вам все это – все-таки всё это хорошо – но в литературе, например, ничего, равного ‘Покаянию’ в кино, пока еще не появилось» (*Август 1987*).

А на прощание, перед моей эмиграцией, Борис Алексеевич писал:

«Дарю Вам на всю жизнь всё только вечное и непреходящее, а назвать или перечислить не знаю, не могу. Вы же сами видите, **вот это**, истинное, Божье: Женю Кисина, который как Моцарт, Толстого, Пушкина, Шекспира, все деревья и цветы, и кусты, и травы, в лесах, и в полях, и у Вашего моря, и золотистых шурков, и дроздов, и всех птиц, и всех любящих, и всё любящее, и Вами любимое, и Вами желанное. Понимаете, что я Вам дарю? Только вечное, только Божье, только **общее и единое**».

Понимаю, Борис Алексеевич. Помню. И не забываю никогда.

Нью-Йорк 2024

* Грузино-абхазский конфликт, конфликт в Нагорном Карабахе, Сумгаитские погромы, осетино-ингушский конфликт.

Борис Чичибабин

«Я хотел бы подарить Вам...»

*Из писем к Полине Брейтер
о поездках в Крым и на Кавказ*

Из писем 1980–1985 гг.

С любовью и радостью дарю Вам Тбилиси и Баку – два великолепных и прекрасных города, два чуда, сотворенных временем, и трудом, и искусством людей.

Я, наверно, уже писал или говорил Вам о моем чувстве великих городов, о том, что для нашей страны, где нет ни Рима, ни Парижа, ни Флоренции, ни Праги, каким-то подобием этих великих городов можно представить себе Вильнюс, Львов или Таллинн. Не мне говорить Вам о чувстве, с каким проходишь по улицам этих городов, заходишь в их соборы и храмы, слушаешь их душу. Вы сами были там, мы дарили их друг другу. Вы сами всё это знаете.

Ну так вот, Тбилиси и Баку – еще два таких города, и в этом смысле они осязаемо, видимо стариннее, интереснее, больше совсем молодого Еревана. Но только в этом смысле.

В Ереване я любил Армению, в которую влюблялся с первого взгляда, которую с первого взгляда, совсем сразу принял как *святую землю* и которая так и осталась *святой и единственной*.

Ереван, конечно, тоже великий город – как же можно забыть его площади, его здания из розового туфа, его фонтаны с самой вкусной водой в мире, его музеи, памятник жертвам геноцида с музыкой Комитаса? – но он по-другому великий: ведь есть же и совсем не старинные, совсем юные великие города – Ленинград, Одесса.

И Ереван – очень армянский город. Он гораздо больше армянский, чем Львов – украинский, или Таллинн – эстонский, или Баку – азербайджанский, он ведь почти на наших с Вами глазах так и построился как столица Армении, как город армянской истории, армянской культуры, армянской души.

В Ереване просто нельзя любить еще что-то, кроме Армении, и так не только для меня, приехавшего в этот город по железной дороге и еще за несколько часов до приезда в Ереван увидевшего и полюбившего эту пустынную, солнечную, каменную, трагическую, Божью землю, но и для Вас, прилетевшей в этот город самолетом, и для любого впервые попавшего туда.

В Тбилиси и Баку я любил Тбилиси и Баку сами по себе (как в Таллинне – Таллинн, во Львове – Львов). Конечно, Тбилиси – очень грузинский город, грузин в нем (в процентном отношении к другим

национальностям) гораздо больше, чем было в старом Тифлисе, чем это было еще в том Тбилиси военных лет, который я запомнил (когда армяне составляли почти половину его населения), – в этом отношении Баку гораздо более интернациональный город. Тбилиси всё равно очень красивый город. «Мне Тифлис горбатый снится» – помните? Узкие, кривые восточные улочки, петляющие по горам и сбегаящие с гор к Куре, к проспекту Руставели. Дома над Курой, где передние стены сливаются со скалами. Древние храмы и крепостные стены посреди современного города. Грузинский храм, армянская церковь, мусульманская мечеть, еврейская синагога почти рядом, в одном районе старого Тифлиса. Пантеон великих поэтов, художников, артистов на горе Давида с могилой нашего Грибоедова. Ради всего этого стоит поехать в Тбилиси. И отдельно храм Свети-Цховели во Мцхете – в древней столице грузинских царей, куда надо ехать из Тбилиси автобусом (электрички тоже ходят туда, но очень редко, с большими промежутками).

Тбилиси должен производить впечатление большее, чем Баку. В него можно влюбиться, его есть за что любить. Но я его видел раньше, и, хотя из того времени я почти ничего не помню и многое, самое лучшее и красивое, тоже видел впервые, Тбилиси все-таки не стал для меня открытием, откровением, чудом.

Он не был бы откровением, если б даже я и не видел его раньше: о нем столько написано. И если бы Вы захотели, чтоб я рассказал Вам о нем, мне помогли бы и Пастернак, и Мандельштам, и нерасставанный мой Паустовский, – да господи, кто не писал о Тифлисе! А влюбился я в Баку.

Баку – фантастический город. И рассказать о нем никто не поможет. Баку – столица Азербайджана. А Азербайджан – это настоящий Восток, это пустыня, как в Средней Азии, это темная, мусульманская, дикая страна, страна темных и диких людей, страна верблюдов, ишаков, шакалов, страна, у которой не было своей культуры (те поэты, которыми она гордится, – Низами и другие, жили на территории Азербайджана, но писали по-ирански и по-арабски, это иранские или арабские поэты). И вдруг – Баку.

В нем есть восточная, мусульманская старина. Сразу же, на берегу моря, на знаменитом приморском бульваре – Девичья башня, средневековая мечеть, средневековая рыночная площадь со старинными башнями, крепостные стены, а немного пройти пешком по старинным же, узким восточным улицам (киношники снимают на них Турцию или арабские страны) – Дворец ширваншахов. Но это небольшой участок огромного города, ну примерно как в Риге – район старой Риги. А выкарабкиваясь из этого крепостного средневекового, мусульмански-средневекового лабиринта – и попадаешь на совершенно европейские, петербургские, идеально прямые, ровные, широкие проспекты, один прекраснее другого, с католическим костелом, с великолепными зданиями, с чувствующейся перспективой моря, с его дыханием.

Лиля даже решила, что это самый красивый город, который она видела в своей жизни, но это ей показалось. Она забыла Львов или Одессу. Но это самый фантастический город, который я видел. Он ни на что не похож. Какой-то кусочек какого-то района мог бы быть в Ленинграде, другой во Львове, третий в Одессе, но всё это – Баку, и в целом ни на что в мире не похоже.

А за двадцать минут езды электричкой (это тоже считается Баку, один из его нефтяных пригородов) – Сураханы, храм огня. Его построили огнепоклонники-индусы в XVIII веке. На каменных плитах на входных воротах, и над самим храмом, и над нишами, где жили поклонники, – надписи на санскрите. А огонь – вечный, это горит газ, сопутствующий нефти.

Потом мы поднялись на фуникулере на высокую гору с чудесным парком, и оттуда был виден весь вечерний город, большой, светящийся, раскинувшийся над морем, над синей бухтой, как какой-нибудь Рио-де-Жанейро. Фантастический город Баку.

А тот край, где я провел большую часть моего отпуска (в Гагре мы прожили 16 дней: на 12 у нас была путевка и на 4 нам удалось еще продлить ее), я очень долго не мог полюбить, таким он чувствовался чужим и неинтересным.

Вам будет трудно понять меня, потому что такое мое предубежденное неприятие этого, кавказского, побережья связано с моей любовью к Крыму, который для Вас так и остался неоткрытым или полуоткрытым, которого Вы так и не полюбили, – слишком мало видели его.

Абхазия по-абхазски Апсны, страна души, – так вот, не Абхазия, а Крым стал для меня на всю жизнь *страной моей души*.

В Крыму всё мое и всё любимо. В Крыму я знаю, что вот здесь проходил Пушкин, здесь жил Чехов, на эти скалы смотрели Мандельштам и Марина, этот город любил Грин, этот залив и эти холмы рисовал Волошин, а еще раньше, на много сот лет раньше, здесь были греки, звучали гомеровские гекзаметры, томилась Ифигения.

И – простите мне, что мешаю «небесное» с «земным», – по своим природным условиям сухой и жаркий Крым (уникальное явление в субтропической зоне) подходит мне больше, чем влажное и душное кавказское побережье.

Мне очень захотелось подарить Вам Крым. Вы мало его видели и по-настоящему приняли в себя, сделали своим только Восточный – Коктебель с Карадагом, Старый Крым с могилой Грина и развалинами армянского монастыря. Это очень мало. А мне, конечно, очень хочется, очень нужно, чтоб Вы полюбили его, как я. Для этого, наверное, немножко нужно представить себе, что Вы родились и выросли и живете не в Одессе, не возле моря, а где-нибудь подальше от него, как я, как большинство людей на свете.

Одесситу, может быть, и в самом деле «незачем» любить Крым.

Но Вы ведь не только одесситка, Вы же умеете мечтать, думать, жить «в сказке».

Вы чего-то не увидели, не поняли в Крыму. Может быть, Вам мешала человеческая масса, эти пляжные муравейники. Ну а Вы не видите их. Вы видите только море, камни, кипарисы, горы с петляющими между рощами и виноградниками дорогами.

Вы знаете, Крым, конечно, не самое дорогое и святое, что я увидел в жизни, я не скажу о нем, как об Армении, что я родился для того, чтобы в конце концов открыть ее для себя. Но если бы Бог спросил меня, где – из всего «везде», где я хотел бы быть в первую очередь, вот сейчас, сию минуту, и больше всего на свете, – я сказал бы, что в Крыму. Всё равно где. Я тоже считаю, что Восточный Крым – самое красивое, самое поэтическое место, но я был бы рад быть и в Алупке, и в Севастополе на Херсонесе. И я б тогда показал Вам, почему, за что я люблю Крым. И Вы бы обязательно полюбили его.

Ну хотите, я признаюсь: меня, как-то давно уже, огорчило одно Ваше замечание. Оно было, в общем-то, законное, совершенно справедливое, но ведь мы-то должны понимать друг друга с полуслова и вопреки словам, а Вы не поняли, не услышали меня.

Я говорил об Армении с восторгом, с любовью, и, между прочим, обмолвился, что для меня подготовкой к Армении был Крым.

А Вы не услышали. Вы резонно возразили в том смысле, что как же можно сравнивать. Как будто я сравнивал Крым со страной Арменией, страной с трагической историей, с культурой, с храмами. Да нет же! Я как поэт, как художник сравнивал. Зримо, чувственно, осязаемо, сам ландшафт, сам воздух. (Кстати, историей крохотный Крым тоже не обделен – храмов, правда, не сохранилось, но греческие колонны одни и те же в Гарни и в Херсонесе.)

Я Крымом меряю друзей и знакомых, как Пушкиным. Кто что любит – Крым или Кавказ? И если Кавказ – значит, не мой, значит, чужой. Понимаете? Я тоже с трудом понимаю, словами и вовсе не могу объяснить, вот только так меряю, так чувствую – и всё.

Крым, как и Армения, — это сухость, выжженность, голизна, каменность.

Я как увидел – после Грузии, после обсаженных пальмами и цитрусами Эльбрусов и Казбеков – армянские горы, как родным обрадовался: они же совсем как крымские, как те, что Вы видели, когда ехали из Коктебеля в Старый Крым. И климат похожий, не такой сырой и душливый, как в Гагре, Сухуми и Батуми.

Но я не только за это люблю Крым, не только за скалы, прямо в море обрывающиеся, – такого не увидишь на всем кавказском побережье.

Крым – это Эллада, это колонии древних греков, это *наша Эллада*, как и чувствовали ее Пушкин, Мандельштам, Марина (это она о Мандельштаме: «петербуржец и крымец» – как хорошо!), наше Средиземноморье, и другого нигде нет. И я это чувствую, «помню».

Крым – это Пушкин (и это роднит его с Одессой, да и нельзя, любя Одессу, не любить Крыма, – и наоборот). Крым – это Грин со всеми его городами, с Зурбаганом, с Бегущей по волнам. Крым – это Толстой в Гаспре, Чехов в Ялте, Куприн в Балаклаве, Сергеев-Ценский в Алушке (Вы не знаете этого писателя, а если знаете, то по «Севастопольской страде», а Вы возьмите и прочитайте «Валю» – какая прелесть, какая красота!). Это Волошин и его Коктебель – ведь это он его создал, обжил, превратил в место паломничества.

Господи, да разве Севастополь, и похожий и не похожий на Одессу, – не красавец, не чудо?!

Да разве та же Ялта, пусть опошленная, загаженная голым человеческим стадом, но не смотрите Вы на них, смотрите на набережную, на дачи, на армянскую церковь, – разве Ялта не красавица, не прелесть?! Когда я в первый раз увидел, чуть с ума не сошел от восторга и радости: белая, солнечная, промытая, вся в кипарисах, как в минаретах.

А Феодосия?!

Для меня Крым неотделим от всего, что я полюбил, – от Одессы, от Армении (армянские колонии, церкви, Айвазовский), от Пушкина, от Эллады, от Гомера, Софокла и Платона, от Льва Толстого, от Чехова, от Грина, от Мандельштама, от Марины, от Паустовского, который так любил эти места, от многого и многих, что я забыл и пропустил. В нем чувственное, языческое, эллинское перемешано с духовным, евангельским, христианским.

Вот какой Крым я дарю Вам.

А в Абхазии, в тех местах, где мы в этот раз отдыхали, когда-то, еще до меня, была Лиля, и они ей запомнились и полюбились, она всё время меня туда звала, а я упирался, не хотел изменять моему Крыму. В какой-то степени мне еще и поэтому не хотелось ехать туда.

И поначалу и долго всё было для меня так, как представлялось. Лиля спрашивала: «Ну ведь красиво же?», «Посмотри, как красиво!» – а я видел действительно красивое море, действительно красивые (не такие, как в Ялте, чахлые, а могучие, сочные, высокие) пальмы, видел заросли бамбука, бананы, лианы, эвкалипты – и всё это было ненастоящее, не только мне чужое, но и Абхазии чужое, завезенное, насаженное в прошлом веке или чуть раньше, не здешнее, не исконное, не то, что видели здешние люди двести, триста, пятьсот, тысячу лет назад.

У них нет своих храмов, каких-то материальных памятников их истории. Я спрашивал у экскурсоводов об их вере, и никто ничего не мог сказать.

Абхазцы родственны не грузинам, а другим кавказским национальностям, таким как адыгейцы. На берег моря они пришли с гор, вероятно, были сначала язычниками, а потом принимали веру других, более сильных народов; они и сейчас, по-моему, наполовину магометане, наполовину христиане, а в общем, безразличны к вере.

Мы приехали в Гагру вечером 13-го. Была хорошая погода, мы этот день были «в Сочах», и всё было хорошо. С балкона нашей комнаты открывался прекрасный вид на море, и мы радовались, что так хорошо начинается отпуск. Но на утро следующего дня всё переменялось, небо было затянуто сплошной пеленой, шел дождик, у меня разболелась спина и стало ныть сердце, и так было целую неделю. В это время мы ездили в Новый Афон, в Пицунду и в Сухуми (на прославленную Рицу я ехать не пожелал), и все эти поездки были по своему интересны. И постепенно, незаметно, в конце концов я принял от Бога в подарок и полюбил этот край, эту землю, эту Апсны, абхазскую страну души. Полюбил, чтобы подарить ее Вам, – и подарить с радостью и любовью.

Во-первых, оказалось, что это гостеприимная, дружелюбная, веротерпимая страна, на земле которой – и в самой Гагре – живут не только абхазцы, а и грузины, и армяне, и почему-то эстонцы (есть даже эстонские школы), ну и, конечно, русские и евреи. И пальмы, бананы, эвкалипты, пусть и посаженные относительно недавно, растут здесь все-таки больше ста лет, и для нескольких поколений людей, для маленьких абхазят они здесь *всегда* росли, *всегда* были, это уже их родное, часть их пейзажа, их воздуха, и они, сами ведь относительно недавно спустившиеся в эти места с высоких зеленых и снежных гор, воспринимают всю эту пальмовую красоту не как экзотику, а как Богом им подаренное, как то, без чего нельзя представить себе жизни, как мы с Вами – наши тополя и наши платаны. И – это я оценил уже в Тбилиси и в Баку – на каждом шагу можно было выпить кофе «по-восточному», как и в Армении варят (в Тбилиси мы с трудом нашли одно кафе, где можно было выпить кофе и где его пили в основном армяне, а в Баку кофе вообще не пьют).

Когда мы приехали, на магнолиях наливались, набухали почки, но мы не верили, что они распустятся при нас, и я даже не посмел загадывать на них. Но в последний наш день, 29 мая (а 30-го утром мы уехали), на некоторых деревьях – не на всех, а на некоторых – расцвели прекрасные большие белые цветы. Я так и не выяснил, когда ей положено (по цветочным законам) цвести, было ли это нормальным явлением или Божьим чудом, но 29 мая на нескольких деревьях в Гагре расцвела магнолия, и я дарю Вам это белое цветение. Вот и за это цветение я полюбил в конце концов эту маленькую красивую страну.

...А еще я хотел бы подарить Вам Армению.

Вы скажете: «Ишь какой хитрый! Это ему уже нечего дарить, и он придумывает. Это я вам подарила Армению. Я первая ее увидела, открыла и подарила вам. Как же вы смеете дарить мне мой же подарок?»

Смею. Смею – и дарю Вам **мою** Армению, великую и святую страну, **самую святую** в моей жизни, в том мире, который мне дано узнать.

Я знаю, я всегда помню, что это Вы подарили мне Армению, но Вы были в ней очень короткое время, Вы не могли так впустить ее в себя, вобрать в свою душу, она не стала для Вас тем, без чего Вы уже не можете. И не от бедности, не от того, что мне уже «нечего дарить», а по самой первой, самой главной задумке – я дарю Вам Армению.

Вы помните мои стихи о Таллинне, о Чернигове, о Судаке? Вот это и есть то, что я могу о них рассказать. Но это можно только стихами. В письме я не смог бы. Об Армении еще нет стихов, не знаю, будут или нет*, но прозой, в письме, я не могу передать главного об Армении.

Я не знаю, суждено ли мне еще раз увидеть ее (а очень хочу!), я совершенно не уверен, что я хотел бы жить там (хотя иногда кажется, что хотел бы и мог бы), – но я знаю, что это **моя страна, моя святыня**, что я не мог уйти из жизни, не увидев ее, что без этого моя жизнь была бы неполной, неоконченной, несостоявшейся.

Я должен был узнать Армению. Я уже говорил и писал – и не только Вам, я повторяю это всем, кому рассказываю про Армению, – что я и сейчас, по прошествии года, не готов говорить о ней. Я дарю ее Вам, а **что** дарю, что для меня значит эта страна, почему она в моем сознании **единственная** из всех, какие я видел и смогу еще увидеть, **избранная святая**, – я не могу сказать. Ведь это не Израиль, не Палестина, куда привел из Египта свой народ Моисей, где жили пророки, Соломон со своей Суламифью, Иисус Христос. Не Индия Кришны и Будды. За трагизм ее истории и судьбы? Но ведь, наверное же, были страны и народы с не менее трагичной судьбой, – ну хоть наша Россия с татарским нашествием, с Грозным, с Петром, со Сталиным.

Не знаю. Были – да не так, да не то.

Трагизм Армении **религиозен** и космичен, он и в природе ее, в этой обожженности, в камнях, как будто растущих из земли.

Достаточно увидеть этот пейзаж, пустынную, сухую, солнечную землю в камнях и колючках и беловершинный, беловенечный Арарат над ней, над Ереваном, чтобы понять это.

Я не видел и не увижу ни Индии, ни Палестины**, но кроме – ручаюсь – нет и не может быть другой такой земли, такой страны.

О ее трагизме, жертвенности, о ее избранничестве незачем вычитывать в книгах, я их и не читал почти, я всё это вычитал из самой земли, из этих камней, из воздуха над Севаном, в ее сплошь живых храмах, сколько бы веков им ни было, на ее хачкарах.

Мое чувство Армении – странное и таинственное, я сам не могу в нем разобраться.

Ну вот начну с самого «плохого», я уже, наверное, рассказывал

* «Псалмы Армении» написаны в 1983–1985 годах.

** В 1992 году Б.Ч. ездил в Израиль, увидел его, полюбил и, конечно, написал стихи о нем: «Земля Израиль», «Когда мы были в Яд-Вашеме», «Не горюй, не радуйся...»

об этом, но повторяю. Вы знаете, что я не люблю всего, связанного с деторождением, с беременностью. Мне физиологически противно, что человек рождается из чрева матери, что человек выходит, выползает на свет Божий из другого человека, как матрешка из матрешки. Я убежден, что это не так. Это физиологический акт, а не творческий; рождение, а не рождество. Это так выходит из плоти плоть, мясо, неодушевленный комок. Христос, Моцарт **не так** рождаются. Ну ладно, не в этом дело. А в Армении культ деторождения, культ плодородия, какое-то обилие, пир рождающей и рождающейся плоти. И мне не противно. Я принимаю это. Потому что и на этом печать трагизма судьбы. Потому что это культ **религиозный**.

И еще больше, еще хуже. Они ведь очень «материалистичны». Они любят богатство, богатую обстановку, дорогие вещи. У них не считается стыдным «хорошая» жизнь, богатая, «удачливая», «привилегированная». Они стыдятся бедности, неудачливости, неспособности к «хорошей» жизни. Когда в семье, в доме умирают, родственники и близкие из всех сил, любой ценой, вплоть до разорения, тужатся, чтоб могила, памятник, поминки были лучше, богаче, чем у соседа.

Это всё так, я видел, я знаю. И опять-таки, это мне... ну не знаю, как сказать, не то что не противно, это противно им самим, лучшим из них, молодежи, которая ссорится из-за этого с родными, даже уезжает из Армении, но это как-то по-особому противно, не так, как если бы это было в другой стране, у другого народа.

Ведь и это связано с судьбой, с веками истории, с чем-то трагическим и высшим, **с избранностью**. И этот «материализм» тоже как религиозный культ. Он в крови, в генах, во всей истории, которую, может быть, и не знают, но чувствуют, несут в крови.

И кровавые жертвоприношения – всё оттуда же. И поэтому хоть и страшно, хоть и противно, но возвышенно и не только не мешает любви, не умаляет, не омрачает ее, а – и в этом какая-то мистическая тайна – увеличивает, усиливает любовь. Потому что и любовь к этой **от Бога** трагической стране должна быть трагической, необыкновенной, сложной. Не такой, какой мы любим ну хоть тот же Крым, или Таллинн, Львов, другие места и города. Понимаете?

Ведь плохие люди то же самое говорят о евреях. Армяне, в моем представлении, вообще – «евреи Кавказа», «евреи» этого региона. Очень много общего.

А среди тех отрывков, которые я Вам мысленно «писал», пока делал свой отчет, было рассуждение об армянском и грузинском национализме. В самом деле, ведь, в конце концов, любой национализм есть нечто ограниченное, мерзкое и страшное, а национальное чувство со всеми его смешными, жалкими, неприятными сторонами присуще армянам ничуть не меньше, чем грузинам. Почему же для меня Армения осталась святыней, несмотря на кровавые жертвоприношения и прочее? <...> Почему любовь к своей земле, любовь к своему у армян не вызывает протеста и осуждения? Почему я тут же, сразу раз-

делил ее с ними? Армяне – в своей непривлекательной массе – ничуть не менее «материальны» и «плотски», чем грузины, скорее всего, даже больше: в Ереване больше частных автомобилей, чем в Тбилиси. Армяне – в той самой массе – любят деньги, любят материальные блага.

Но они не хвастают своим богатством. Они гостеприимны, я это испытал на себе. Но и гостеприимством они не хвастают назойливо и всемирно-оглушительно. <...> Они другим гордятся, другое любят.

Они любят свою землю, о которой знают, что она бедна и скудна, что она «страна камней и солнца». Они любят свои святыни, свои храмы, из которых – в единственной стране в мире – нет ни одного мертвого, все живые, все «действующие», все не для туристского обозрения, а для живых молитв. Они любят свою судьбу, трагическую, кровавую, с геноцидом и рассеянностью по всему миру. Они гордятся – и справедливо гордятся, завидно гордятся – тем, что в условиях геноцида и рассеянности собрали и сохранили свои святыни и духовные ценности, гордятся Матенадараном, гордятся памятником жертвам геноцида, гордятся музеями и картинными галереями, которые воистину богаты, единственны и прекрасны, гордятся своей столицей, построенной на их памяти, на их глазах, но такой прекрасной, какими могут быть только вечные города.

Грузинская любовь к своему говорит: «Мы маленькая страна, но мы великая нация, и нам никто не нужен; у нас были Руставели и Сталин, и мы лучше всех на свете, мы красивые, богаты, сильны, мы настоящие мужчины и мы презираем тебя, потому что ты ни в какое сравнение с нами идти не можешь, проваливай, откуда пришел, а мы будем жить по-своему, лучше всех».

Армянская любовь к своему говорит: «Больше всего на свете мы любим свою землю, свои горы, свои песни, свою судьбу, свою культуру, мы хотим жить по-своему и ни от кого не зависеть, но мы хотим, чтоб ты тоже любил нас и наше; мы маленькая страна, и поэтому нам приятно, когда кто-то не наш любит наш Гегарт, или нашего Сарьяна, или нашего Нарекаци, или наш Ереван, наша любовь к своему никого не обижает и не унижает, а зовет и других разделить ее с нами».

В старом Тифлисе половина или даже больше нерусского населения были армяне. Их было, во всяком случае, не меньше, чем грузин (они претендовали на установление Тифлиса столицей Армении и до сих пор огорчаются, что этого не получилось). И почти сплошь это были купцы, ростовщики, уличные торговцы и разносчики, ремесленники, то есть были тем, чем были евреи в старых русских городах и местностях. И при всем этом – **великая духовная культура**, очень тонкое и возвышенное, в самых простых и грубых людях, чувство Армении, ее истории, ее судьбы, чего Вы не могли не почувствовать.

Я уже писал – да Вы и сами знаете, но ведь это так удивительно, так необыкновенно, – что у них нет **ни одного храма**, который был бы «мертвым», музейным. Любая развалина, пусть одни стены, – это

не просто святыня, а **живая**, действующая церковь, где можно принести жертву, поставить свечу, помолиться, совершить тот или иной обряд. Пусть это Гегард, пусть это что угодно. Ведь такого – на территории нашей страны – нет нигде. Я не знаю, может, есть где-нибудь в Европе, может быть, в Индии, но у нас точно больше нигде нет.

А какие у них поэты! Я уже не успею как следует подарить Вам Армению – вот опять «не судьба», и в этом тоже какая-то тайна, не допускающая празднословия, легкомыслия в обращении к этой стране. Я еще буду много говорить с Вами об Армении, рассказывать о ней, дарить ее Вам.

А Вы знаете о Наапете Кучаке? Знаете, что это один из четырех самых великих поэтов Армении? Только, если Вам захочется с ним познакомиться, заранее знайте, что русские переводы никуда не годятся. В Ереване вышло хорошее, очень красивое издание, где кроме параллельного армянского и русского стихотворного текста приведены точные подстрочные переводы, и по ним видно, как отчаянно плох русский стихотворный перевод. Это небо и земля. Небо, конечно, армянское.

Айрен – это очень короткое стихотворение, что-то вроде длинного четверостишия, и в переводе очень трудно, невозможно сохранить эту «эпиграммную», афористическую, поговорческую краткость и цельность. Эти айрены – чувственные и лукавые, озорные, нежные, сладострастные – очень емки, в эти четыре строки много вмещается, каждый – это целая новелла, исповедь, признание, любовное поддразнивание, заразительная любовная игра. Есть и печальные, но все – светлые, все – жизнерадостные. А ведь Армения и тогда была трагической страной, страной, отмеченной Богом, как Иов.

Армения – особенная земля, единственная на свете, для меня единственная на свете, это и в самом деле доказательство того, что есть Бог, это Вы очень хорошо сказали... Но не только потому, что об Арарате написано в Библии, даже, наверное, совсем не потому. Ведь о других местах, которые я видел, там не написано, но эта сухая, обожженная, вся в камнях, горная земля – вся библейская, горная, Божья.

Как раз меньше всего храмы. Они прекрасные, они святые, но они построены людьми, и это видно. А горы, камни, история, дух нации – вот это Божье, и такого нет нигде на свете. На том свете, который я знаю. Наверное, есть в Палестине, в Индии, еще где-нибудь, где мы не были и не будем, но в том мире, который нам доступен, который мы можем увидеть глазами, пройти, прикоснуться, такого больше нет.

И Вы обратили внимание, как связаны земля и народ, как народ вписан в эту страну? Такого тоже больше нигде нет.

Я знаю, что армяне расселены по всему миру, что в Армении их не больше трети или четверти всей нации, но ни в одной другой нашей республике главная нация не составляет такого абсолютного большинства.

Но дело не в арифметике. Когда я думаю, как вписан народ в страну, в ее воздух, в ее простор, я совсем не арифметику имею в

виду. Просто люди в Армении, как деревья, выросли корнями в эту каменную землю, их оттуда не вырвать, не представить в других условиях. А и в других условиях они – всё равно сердце здесь, хотя и не здесь родился. Да нет, опять же не в этом дело. Это и русские на чужбине тоскуют по родине и хотят хотя бы похороненными вернуться в родную землю. Я что-то другое имею в виду, но – чувствую, а как сказать – не знаю. Только это единственная страна.

Вы летели в Армению в самолете, а для меня она начиналась с дороги, которая была длинной, долгой, о которой мне тоже невозможно рассказать. Мы проезжали места, о которых писал Паустовский, и думали о Таганроге, о Ростове. А на другой день почти всю дорогу за окнами поезда было море.

<...> Тбилиси мы проехали ночью, а утром уже была Армения, с горами (которые оказались совсем не высокими, не такими, какие я помню по своей солдатской юности в Грузии и на Северном Кавказе и какие видел вчера из окна поезда), со скудной и бедной зеленью и вся в камнях, вся в камнях. Я сразу полюбил ее. <...>

За несколько часов до Еревана в наше купе сел мальчик-армянин, который обаялся не оставить нас в Ереване, пока мы не устроимся в гостинице. У нас было несколько адресов, но все ненадежные. Первый звонок был неудачным: человек оказался больным и ничем нам помочь не смог. Потом выяснилось, что он все-таки звонил и договорился о месте в гостинице, но тогда мы этого еще не знали и, конечно, огорчились.

Наш провожатый привел нас в несколько гостиниц, но там не было мест. Тогда он вспомнил, что есть специальное бюро по устройству с жильем приезжих, и там Лиля дала пятерку, а нам дали место в гостинице. И уже с направлением в гостиницу (когда наш провожатый уже оставил нас) мы «просто так» позвонили еще по одному адресу, где жили две юные женщины, знающие Генчика, которые приезжали в Харьков, где мы их однажды видели.

Женщин этих звали Каринэ и Сусанна, и мы о них ничего не знали, просто видели. Мы позвонили, Сусанна оказалась в Перми, а Каринэ на работе, но нам обрадовались и велели приезжать. Мы все-таки взяли рабочий телефон Каринэ и позвонили ей. Она велела ждать ее на том месте, где мы стоим, и скоро прибежала к нам, возбужденная, веселая, хорошенькая, не слушая нас, усадила в такси и повезла к себе домой.

В этом доме, армянском, состоятельном, своем доме, мы и жили неделю, а потом оттуда поехали в Севан, но об этом я расскажу как-нибудь потом.

На второй наш ереванский день мы встретили Юлика Даниэля* с супругой. Они совершали деловую поездку (по своим литературным,

* Юлий Даниэль (1925–1988), поэт, писатель (псевд. Николай Аржак), переводчик (псевд. Юрий Петров), диссидент. В 1966 г. приговорен к 5 годам заключения за антисоветские публикации («Процесс Синявского и Даниэля»).

переводческим делам) Баку – Ереван – Тбилиси. Юлик оказал нам честь, пригласив нас в ресторан, где мы выпили несколько рюмок водки, и еще в гости к своим ереванским знакомым.

Мне хочется без слов и без усилий и без конца рассказывать Вам о нашей Армении и о Вашей Одессе, о том, как мы летели над морем, любимым и вечным, над Крымом с Кара-Дагом, с Коктебелем Волошина и Марины, с Пушкиным и Грином, и опять над вечным и любимым морем, над пальмами и виноградниками Абхазии – в Армению, в страну камней и храмов, к библейскому беловершинному Арарату, в Божью Тишину и Святость. В Армению, в ту страну, которой – вот такой, какой мы ее полюбили, какую почувствовали – может быть, и нет на свете, и все-таки мы ее не выдумали, а так же, как Моцарт, как Пушкин, как Паустовский, открыли своим внутренним зрением и поэтому увидели более настоящей, более истинной, чем она есть со своими богачами и спекулянтами. В Божью Армению, в Вечную Армению, родную страну Иисусовой Палестине и Святой Индии, в нашу Армению, с белым Араратом, синим Севаном, фонтанами Еревана и его зданиями из розового туфа.

То, что я написал Вам в свое время «на дорожку» о Кавказе, относится главным образом к Грузии и грузинам. О них я тоже вряд ли имею право рассуждать, но в Грузии я хотя бы провел несколько лет жизни и читал о ней какие-то книги. Что-то родственное в этих народах есть (очень немногое, не больше, чем, скажем, во всех «южных» народах, чем у грузин и итальянцев), но, вероятно, еще больше различного, непохожего. Это очень разные культуры, хотя в каком-то смысле я, наверное, немножко прав, относя оба эти народа к «ветхозаветным» нациям. И в том, что я называл «возрожденческим духом», то есть в том, что вся их культура, духовность, Дух очевидно материальны, чувственны, плотски, есть какая-то правда, очень примитивно и неграмотно выраженная: дико звучит «Дух – плотский», но что-то есть; давайте, если хотите, вместе подумаем. Я могу сказать еще менее точно и еще более неграмотно, понимайте, если можете: это народы не белого снега, а земной темной наготы. Среди грузин и армян (как и среди ветхозаветных евреев) невозможно явление Будды, невозможна утонченная индийская «тихая, неподвижная» духовность. В то же время из этих двух наций армяне, по-видимому, более духовны, менее воинственны, более созерцательны. Не смейтесь, я умолкаю...

Вы много узнали от своего друга, а он хотя и не фанатик, но у него есть свои пристрастия, своя узорность. Он был влюблен в Индию и открыл ее Вам. Но Индия и античность вовсе не враждебны друг другу. И они вообще никому не враждебны, всем открыты, широко, бесстрашно и готовно распахнуты. А то, что я называю «ветхозаветностью», противоположно и античности, и Индии. Пережитки язычества – жертвоприношение у армян, кровная месть у многих народов – только один из ее признаков, и притом не главный (пережитков язычества хватает и в православии, и в католичестве, но там они другие). Но это еще и закры-

тость, замкнутость, сам свет Ветхого Завета – свет темный, закрытый. Это и еще многое, что я чувствую, но не могу назвать словами.

Дух Ветхого Завета сохранился во всех мусульманских народах – и вот, наверное, у грузин и армян (из христианских). Впрочем, я ведь говорю «из головы», от какого-то «книжного», непроверенного представления, потому я и не хотел разговаривать с Вами об Армении, пока не увижу ее. Вот Вы много написали об армянской вежливости, доброжелательности. Это как будто противоречит моим мыслям. Нужно пожить там, почитать об Армении, мы еще поговорим когда-нибудь.

Представляю, как Вы огорчаетесь, сердитесь от возмущения и нетерпения спорить, возражать, прочитав, что для меня, оказывается, армяне, чьи храмы, чей Арарат отняты турками, отчего Вы тосковали и плакали, и сами турки, резавшие армян, отнявшие их храмы и их святую библейскую, единственную Гору, – одинаково «ветхозаветные» народы и культуры.

Но для меня – по крайней мере пока – это так, так же, как одинаково «ветхозаветны» воюющие друг с другом Израиль и арабы.

...Мы с Вами уже выяснили, уже знаем, что о многих «главных» и поэтому «неназываемых» или трудно называемых вещах мы начинали спорить потому, что называли их по-разному и вступали в спор не о самих вещах, а об их названии.

Я думаю, что то, что я назвал «ветхозаветным», а Вы называете «языческим», это одно и то же или почти одно и то же. Ветхий Завет ближе к язычеству, чем Новый.

Когда я назвал грузин или армян «ветхозаветными нациями», я одновременно говорил и об их «возрожденчестве», а это уже совсем близко к «язычеству». Евреи, особенно Ваши, одесские, описанные Бабелем, – тоже ведь в каком-то смысле «язычники».

Но тут есть и оттенки. Как раз на Новом Завете, на Евангелиях лежит отсвет античной культуры, во всяком случае, в Евангелиях, кстати сказать, написанных на древнегреческом языке, больше духа античности, чем в книгах Ветхого Завета.

«Язычество» – это не обязательно плохо. Я и Вас называл язычницей. Для меня вообще в этих понятиях не столько и уж во всяком случае не только временные различия (язычество, потом – Ветхий Завет, потом – христианство), но и территориальное. Ветхий Завет – это восток, Азия, мрачные и мистические (даже до единобожия, даже в язычестве мистические) восточные деспотии, это Египет, Двуречье, Арарат. И я называю Вас язычницей так же, как говорят о язычестве «олимпийца» Гете или нашего Пушкина, имея в виду светлое (таким оно нам представляется) среднеазиатское язычество. Но, конечно, если понимать буквально, то и всякая вера в идолов – это тоже язычество, иначе не назовешь.

...Если бы я был с Вами в Армении, я бы тоже плакал. Все-таки

Турция – чужая, а Армения – наша, – вдвойне, втройне наша: и потому, что мы открыли и полюбили ее, и потому, что христианская, и потому, что в нашем государстве, в Российской империи. И, может быть, больше всего наша, потому что их, армян, резали, их города захватывали и уничтожали, у них отняли Арарат, храмы, землю с городами и селами.

И я не буду Вам говорить о карте мира, я только спрошу Вас: а как быть с турками? Когда армяне строили свои храмы, те, которые сейчас на территории Турции, их просто не было. То есть где-нибудь они были, но никто о них не знал ни в Армении, ни в Европе.

Я не знаю истории, но, вероятно, Армения соседствовала с христианской Византией – наследницей Эллады и Рима, и всё было хорошо и ладно. А турки откуда-то пришли уже около третьего или четвертого столетия христианского летоисчисления, как потоп, смыли Византию со всеми ее храмами, с великой культурой и государственностью, да так смыли, что ничего от этой страны не осталось, кроме наших старых русских церквей да нашей же иконописи, – она же от них, византийцев, а сами они даже неизвестно кто и были: греки, римляне, перемешанность тех и других, да еще и восточных рас?

Что это – Византия? Кто они – византийцы? У них, наверное, были более прекрасные храмы, чем у армян, и их было больше – и все они в Турции. И в Турции же самый прекрасный, самый славный храм Софии. И весь этот накат Турции, этот потоп был страшным, кровавым, и, конечно, это грешная нация, виноватая нация. Но что же делать? <...> Армян мало, им хватает своей республики. Турок, наверное, в несколько раз больше, зачем же у них отнимать землю? Вот Арарата, правда, жалко, он, по-моему, должен вернуться в Армению. А храмы – какая разница, на чьей земле они будут, лишь бы их не разрушали, не оскверняли, как мы, русские, в своей России свои святыни...

Из писем 1988–1990 гг.

...Как это может быть? Вот еще совсем недавно, почти вчера, мы только и говорили, что о текущих событиях, что прочитали в журналах, увидели по телевизору, и это было важным, и в этом была наша жизнь. Нам казалось странным и непонятным, что кто-то может этим не интересоваться, не делить с нами наших радостей, сомнений, тревог. А вот эти три дня я живу без газет, без телевизора, вижу перед собой вечное море, вечное небо, вечный Карадаг <...> – и мне больше ничего не надо. Как же это? <...> Неужели же для того, чтобы почувствовать Вечность, чтобы приблизиться к Богу, нужно и впрямь уйти от людей, от ежедневных забот, уехать из большого города с его суетой и шумом в тишину, в праздность, в «пустыню»? Неужели отпуск, три недели безделья, три недели отдыха так меняют человеческую жизнь, человеческую душу? И хорошо это или плохо?

Вы знаете, а я ведь и не хочу брать в руки газету, не скучаю по

телевизору, оказывается, и без «Огонька» могу прекрасно обходиться. Да и не в этом же дело!

Понимаете, то, что вчера казалось важным, было важным, не выходило из головы, мучило, радовало, огорчало – революция, перестройка, социализм, национализм, – перестало, сразу перестало быть таким перед морем и небом, перед Карадагом и волошинской могилой над морем и под небом.

Я ведь и раньше всё это знал, я всегда это знал, – так что же, забывал, забыл? Что это? Как это может быть? Возьмите, перечитайте или вспомните мою «Коктебельскую оду», она же не сегодня написана. <...> И я тогда же про всё это знал! Как же это знание потом вытесняется временным и мнимым? Или это и есть двойной путь восхождения и снисхождения?

Но так или иначе, а сегодня я не хочу жить ничем другим, кроме моря, неба, высоты и Вечности. Не буду, просто не могу, не дано мне загадывать, как мы будем жить завтра, а сегодня я живу если не в небе, наверное, еще все-таки не в небе, то в поднебесной вышине над морем, которое ласково качает меня в сиянии солнца.

Может быть, это мне так, счастливому, кажется, может быть, я и ошибаюсь, но сегодня я думаю, что в небе, в море, в деревьях и травах есть Бог. Он во всем этом дышит, сияет, живет. А в революции, в перестройке, в социализме – нет Его. Не ощущаю я сегодня в них Егодыхания, Его света, Его духа.

Может быть, я завтра другое буду говорить, противоположное, – но сегодня я так чувствую, так думаю.

Человек может вернуться к Богу, может спастись – так я сегодня думаю – только Вечностью, только вечным. Любовью, а любовь – как море, как небо, как солнце, и не надо, и нельзя ей опускаться в суету и ложь, в невечное, а значит, мнимое, искажающее, умертвляющее.

Другое дело (и страшное «дело»), что отпуск бывает у человека раз в году, и только на это время ему дано (да и то одному из ста, если не из тысячи) причаститься Свободе и Вечности, а всё остальное время нам, смертным, назначено (значит, Богом?) жить в деле, в трудах и заботах, во времени и несвободе.

«Не хочу!» – это я Вас слышу. И я не хочу. Но, наверное, нужно, наверное, и в самом деле назначено. Пока не опомнимся, не повинимся, не возжаждем, – тогда и вернемся к небу, к деревьям, к Свободе, к Вечности...

Когда мы ехали сюда, я еще наполовину, а может быть и больше, был еще в этом «не отпускном», временном со всеми его заботами и тревогами. Пытался размышлять о трагедии и вине времени, до которого мы дожили, об этом странном времени переоценок, растерянности, недоумения.

Мне никто не мешал, но размышление протекало неуверенно и вяло: все-таки наполовину-то я уже был в другом, в высоком и вечном, и хотя в сознании и в чувстве еще не было ни моря, ни Карадага,

я не думал о них и не помнил, не представлял, но что-то во мне, видимо, уже сопротивлялось моим же мыслям и словам, уже принадлежало Вечности, которую мне предстояло снова открыть и пережить.

<...> Вышли мы из поезда, не доезжая одной станции до Феодосии, в Айвазовском, где выходили все едущие в Коктебель, потому что именно там расположен автовокзал. Ближайшего автобуса надо было ждать два с половиной часа, а нам уже не терпелось, тем более что я не знал, как нас примут: ведь ехал я в писательский дом первый раз в жизни, без путевки на руках (ее должны были нам из Москвы выслать прямо на место), – и мы, от отчаяния и нетерпения, решились на отчаянный поступок: за десятку взяли частную машину и за несколько минут добрались до Коктебеля.

Первое, что мы увидели, – еще из машины, еще не видя моря, – был, конечно, Карадаг, неописуемо прекрасный, сразу узнанный и каждую минуту новый, меняющийся – от расстояния, от освещения, от нашей точки зрения и нашего настроения, состояния, – и видимо, зримо вечный, принадлежащий не человеку, не человеческому, а чему-то высшему, таинственному и непостижимому.

В Коктебеле было хорошо, т.е. насколько это было возможно в писательском привилегированном доме «творчества», где всё время перед глазами были эти самодовольные бесстыжие невежественно-бездарные существа, обласканные уже отмирающим режимом, там были и тишина и свет, были минуты или даже часы, когда я оставался наедине с морем, Карадагом, деревьями и цветами, с Богом.

В одно время с нами там жил Приставкин. Я не общался с ним по причине своего замкнутого характера и, как думаю, нашего духовного несовпадения, но тем не менее я по его просьбе дал несколько стихотворений для четвертого выпуска альманаха «Апрель», в том числе «Оду водке» и «Петра».

<...> Почти всё время моего пребывания в Крыму стоит прекрасная погода и так легко и радостно любить всё окружающее и Божье. С ясного синего неба ласково и не свирепо светит солнышко. Иногда его на короткое время (и это тоже приятно и славно, чтоб не было так уж жарко) закрывают белые облачка. Море здесь совсем не синее и совсем не такое, как в Алушке, памятной мне из прошлого, и все четыре дня спокойное, тихое. Температура воды – 18-19°, вероятно, будет повышаться, а воздуха – 21-22°, и тоже становится жарче. А перед моим приездом, говорят коктебельцы, прошла полоса дождей. Купаюсь мало, но это и не нужно: море видно почти отовсюду, а уж дыхание его точно ощущается везде. И отовсюду виден Карадаг и гора с могилой Волошина.

Кофе нет совершенно, как совершенно нет простой газировки. В писательской столовой кормят вкусно, но, на мой отнюдь не писательский аппетит, не обильно, порции для меня маловаты, и после ужина – он в семь часов – успеваю проголодаться. <...>

Писательские домики, в одном из которых и я живу, расположе-

ны в большом и красивом парке. Вы его, наверное, знаете, потому что он самый большой и красивый в Коктебеле, и, хотя на входе сидят «сторожа», обязанные проверять курортные книжки-пропуска, днем в него пускают, по-моему, всех людей.

Недалеко от моего домика стоит памятник Ленину: на розовом постаменте огромная серая голова, как отрубленная, как в «Руслане и Людмиле», одна голова с большими злыми глазами из серого сернистого камня. В течение дня я десятки раз прохожу мимо этой головы, и волей-неволей она заставляет думать о ней, о ее хозяйне и его делах.

В парке есть кинотеатр, в котором каждый вечер показывают фильмы, старые и неинтересные, я еще туда не ходил. Боюсь и грущу, что так и не удастся посмотреть «Асю Клячину».

Переписку Ариадны и Бориса я здесь точно не прочитаю: в здешней библиотеке очередь на эти журналы уже на месяц расписана.

Как с совершеннейшей очевидностью явствует из сего письма, прекрасная пустота не только сохранилась в моей душе, но и распространилась в ней. Вы, наверное, ждали от меня чего-то более серьезно, важного, более достойного нашего сложного и странного времени.

<...> И вот Вам мой подарок – не знаю, открытие это (ведь мы **нового** ничего не открываем, «открываем» мы только то, что есть, как Колумб Америку) или напоминание, или просто подарок, но только – **всё хорошо**.

Как же мы с Вами забыли про это, про то, что есть Бог, и есть у нас с Вами ответ на все вопросы, как же мы забыли, что **всё хорошо**. Для верующего, для верного, для любящего, для любимого – **всё хорошо**. То есть в мире и в жизни всё как раз скорее очень плохо, чем очень хорошо, и гадко, и мерзко, и страшно: каждый день, каждый час, каждую минуту кого-то убивают, мучают, насилуют, обижают, льется невинная кровь, в Ливане, в Африке, в Латинской Америке и у нас, в Средней Азии, в Армении, в Азербайджане, – всё это правда, и все-таки для нас, и для многих таких, как мы, узнавших, открывших, поверивших, верующих, **всё хорошо**. Это не наивное и малоубедительное утешение, не самообман, не сказка, это истинная правда.

Да, в мире есть зло – оно ведь всегда есть и всегда было, и может быть, и даже наверное, сейчас его больше, чем когда бы то ни было; есть зло, есть смерть, льется кровь, уничтожается природа, жизнь, земля, вода, воздух, – но есть же добро, есть же любовь, есть свет, есть Христос и его заповеди, есть Шекспир и Моцарт, Пушкин и Толстой, философы, мудрецы, влюбленные, любящие.

Всё хорошо: есть Бог, и есть мы у Него.

Публикация – Полина Брейтер

КУЛЬТУРА. ИСТОРИЯ

Лариса Вульфина

Художник Федор Рожанковский*

ПОЛТАВА. 1917–1919

Два года (1917–1919), проведенные Рожанковским в Полтаве, совпали с годами революции, хаоса и братоубийственной бойни. Находясь в эпицентре Гражданской войны, город тогда неоднократно переходил из рук в руки, и при каждой власти с калейдоскопической скоростью устанавливались свои порядки и законы. «Война христиан с христианами не укладывается в понятия... У большинства интеллигентов во лбу вместо глаз тускнели идеологические точки зрения, за которыми правды не увидеть», – напишет он много лет спустя о тех событиях в одном из своих альбомов. И вот еще лишь несколько строчек о пребывании в те годы на территории Украины, оставленные им в письме другу в начале шестидесятых:

«Жизнь коротка, искусство вечно» (*ars longa, vita brevis est*) – так мы, профсоюзные художники города Полтавы, написали на красном первомайском знамени, украшенном в центре головой Аполлона полуведерского. Был этот девиз утвержден одним из комиссаров полтавских, и было это 1 мая 1918 года»¹.

Этот период в биографии художника долгое время оставался малоосвещенным. С родными о войне Рожанковский говорить не любил, воспоминаниями не делился. Приоткрыть отдельные страницы полтавской жизни в те роковые годы помогли запросы в украинские архивы, устные беседы с сотрудниками музеев и библиотек, работа с эпистолярными текстами. Так, постепенно выяснилось, что Федор вместе с братом Павлом много времени проводили в доме их полтавского друга, молодого украинского ученого Михаила Рудинского², проживавшего с двумя сестрами – Марией и Евгенией³. По соседству с ними на той же улице Мало-Садовой жил и писатель В. Короленко⁴. Здесь, где собиралась вся интеллектуальная элита Полтавы, можно было встретить и В. Вернадского, троюродного брата Короленко⁵. Тут же обсуждалась и координировалась работа Педагогического бюро Полтавского губернского земства – центра возрождения украинской национальной школы. Одной из главных задач Бюро было обеспечить учеников школ украинскими учебниками.

* Продолжаем публикацию глав из новой книги Л. Вульфиной, американского исследователя истории культуры эмиграции, о Ф.С. Рожанковском (1891–1970), известном франко-американском художнике, русском эмигранте.

Во времена УНР⁶ в Полтаве была собрана плеяда талантливых художников, которых Рудинский привлек к оформлению украинской книги. Так, помимо братьев Рожанковских, над иллюстративным созданием учебного пособия «Ясні зорі» («Ясные зори»)⁷, составленного М. Рудинским, трудились лучшие художники того времени: Евгений Балута (1880 – ?), Петр Бутко (1898–1922/23), Иван Бутник (1881–1927), Степан Бутник (1873–1951), Борис Ромберг (1882–1935). «Ясные зори» были изданы Педагогическим Бюро в четырех выпусках по названиям времен года и предназначались в качестве начальных пособий для учащихся.

На протяжении 1918–1920 гг. Бюро издавало произведения украинских писателей, учебники, хрестоматии, буквари и сказки для детей разного возраста небывалыми для украинских изданий тиражами, доходившими до ста тысяч экземпляров. Пребывание Рожанковского в Полтаве совпало с периодом ренессанса украинского книгоиздания (1917–1921), и Рудинский был первым, кто рассмотрел в Рожанковском настоящего мастера книжных страниц. Сегодня можно уверенно говорить: карьера Рожанковского как иллюстратора детских книг впервые началась в Полтаве. В фондах Полтавского Художественного музея им. Н. А. Ярошенко до Второй мировой войны хранилось множество рисунков Рожанковского, но, к сожалению, после войны большая их часть бесследно исчезла.

Из сохранившихся двух десятков графических работ Рожанковского 1918 года, которые сегодня определенно являются шедеврами детской книжной полиграфии, важно назвать иллюстрации художника к произведениям М. Коцюбинского (например, к рассказу «Харитя» – о храброй девочке, взявшей на себя все хлопоты во время болезни мамы); В. Винниченко («Федька-халамидник»)⁸; М. Вовчок («Сестра»); Г. Хоткевича; к сказкам Х. Андерсена «Соловей», О. Уайльда «Счастливый принц»; Мамина-Сибиряка «Серая шейка»; к рассказу Н. Лескова «Неразменный рубль»; к стихотворениям Я. Щоголева «Колядка» и «Под Великдень»; рисунок обложки украинской «Граматики». Большинство этих работ поступили в музей в 1919–1921 гг., некоторые были приобретены в 1972 году у Евгении Яковлевны Рудинской. Любопытно, что среди них есть и рисунок брата Федора, Павла Рожанковского, к стихотворению украинского поэта Дм. Загула «Перед осінню» («Перед осенью»).

Чтобы заработать на жизнь, художнику приходилось трудиться и в полтавских периодических изданиях. Находясь уже в Америке, среди других полтавских проектов Рожанковский упоминал и иллюстрации к украинскому изданию Г. Флобера «Саламбо». Но в то трудное для украинской истории время эта книга, по-видимому, так и не вышла из печати.

Именно к Рожанковскому обратился Рудинский с просьбой проиллюстрировать и свой первый монографический очерк «Архитектурный облик Полтавы»⁹. Изданная небольшим тиражом, первая

научная работа Рудинского была воспринята современниками как необычное новаторское исследование. Виртуозно выполненные в технике черно-белой графики рисунки Рожанковского прекрасно передавали объем и динамику архитектурных сооружений. Очень скоро это издание стало настольным для местных краеведов и музейных работников и долгие годы считалось библиографической редкостью. В советские времена (после высылки в 1934 году семьи Рудинских из Украины на поселение в Архангельскую область) книга многие десятилетия пролежала в библиотечных спецхранах, а иллюстрации Рожанковского были названы условными и далекими от механично-точной передачи оригинала фотографией.

Во второй половине 1919 года Федор Рожанковский в звании старшего лейтенанта был мобилизован в Добровольческую армию. Долго воевать ему не пришлось, вскоре он заболел тифом и в бессознательном состоянии попал в лагерь для военнопленных недалеко от Львова, на бывшей тогда польской территории.

«Я свои кресты за кампанию 14-17 года продал с мечами и бантами в Гусятине¹⁰ и проел эти деньги рядом в кондитерской (цукерне), так как после тифа душа жаждала сладкого. Мои Станиславы, Анны, Владимеры были такими же, что получали чиновники¹¹. Их отличие состояло в мечах и бантах. И когда в Гусятине, голодный после тифов, я их продавал часовщику, мечи сильно прибавили к остальному лому (в котором эмаль и банты не оценивались)» (*Из письма Ф. Рожанковского к В. Сосинскому. Париж. Февраль-март 1962.*)

Рожанковскому повезло – белогвардейцу с польскими корнями было разрешено остаться на территории Польши. Здесь в 1920 году война для него закончилась, путь домой был отрезан. Возвращение на родину к большевикам было равносильно приговору.

Так, не по своей воле, а обстоятельствами войны, он превратился в эмигранта. С этого времени начался отсчет зарубежной полосы его жизни.

ПОЛЬША. 1920–1925

Оказавшись после освобождения из лагеря во Львове, Рожанковскому посчастливилось познакомиться с польским книгоиздателем Рудольфом Вегнером¹². С тех пор их профессиональные и дружеские отношения не прекращались, они длились почти двадцать лет (до начала Второй мировой войны). О Р. Вегнере известно относительно мало, в большинстве источников его имя связывают, главным образом, с деятельностью Польского издательства (*Wydawnictwo Polskie*), которую он начал во Львове в 1917 году и после 1920-го года продолжил в Познани. Вегнер высоко ценил профессионализм Рожанковского, назначая художника в разное время на должность арт-директора для выполнения множества значимых проектов.

Для дополнительного заработка Рожанковский сотрудничал и с польским журналом «Szczutek» («Щутек»),¹³ одним из немногих сатирических журналов, которым удалось в те годы занять прочные позиции на издательском рынке и удерживать их в течение длительного времени. «Щутек» издавался во Львове с 1869 по 1926 годы. В то время, когда в нем трудился Рожанковский, главным редактором журнала был польский карикатурист Казимир Грус¹⁴. Издание специализировалось на политической сатире, в первую очередь направленной против главных врагов молодого польского государства – Германии и Советской России. Главным объектом сатиры в еженедельнике этого периода (1919–1921) была внутрисполитическая жизнь России и польско-советская война. Мишенью едких пародий и карикатур были военные и политические деятели (Брусилов, Буденный, Ленин, Троцкий). Рисунки Рожанковского в «Щутеке» комментировали стихи, визуализировали памфлеты, в равной степени их можно отнести как к политической сатире (например, изображение Троцкого – рисунок «Привидение», или рисунок «Голод в России»)¹⁵, так и к общественной (буржуазный быт, адюльтеры и проч.). Главная их сила и ценность заключается в том, что они заставляют смеяться над персонажами и сегодня так же, как смеялись над ними их современники в прошлом веке.

В тот же период Рожанковский иллюстрировал и сочинения польского поэта Генриха Збжеховского¹⁶. В 1921 году он оформил сборник его стихов для детей и подростков «Глазами ребенка»¹⁷. Это была первая проиллюстрированная Рожанковским книга в Польше. С середины 1920-х годов имя художника в соответствии с польской транслитерацией писалось как *Teodor Różankowski*, рядом с подписью на рисунке указывалось и новое место проживания Рожанковского – Познань, куда он переехал в августе 1920 года по приглашению Вегнера. Польский издатель перенес свой основной бизнес в город с хорошо развитой полиграфической и издательской промышленностью, пострадавший гораздо меньше от войны, чем Львов и Варшава. В Познани Рожанковский проживал по пяти адресам. Один из них (Rynek Łazarski, 12) был расположен вблизи рынка и Ботанического сада в популярном среди художников районе Лазаж. Приезжая в Познань, они селились недалеко друг от друга в зеленой зоне Лазажа, открывая свои мастерские; так со временем здесь сформировалась большая художественная колония.

В 1922 году в издательстве Вегнера вышло эксклюзивное издание Адама Мицкевича «Крымские сонеты»¹⁸, для которого Рожанковский и его приятель немецкий график Эрнст Черпер¹⁹ создали 18 цветных автолитографий в стиле *art déco*.

Вместе с «Сонетами» в тот же год в оформлении Рожанковского вышла и поэма Антония Мальчевского «Мария». Авангардный стиль литографий в этих изданиях высоко оценили критики, обе книги экспонировались на книжных выставках в Варшаве, Лейпциге, Нью-Йорке, где было представлено современное польское книжное искусство.

Рожанковского и Черпера в Польше объединяли самые разные творческие проекты. Вместе они несколько лет работали декораторами в оперном театре Познани (Teatr Wielki). Вдвоем создавали цикл современных фресок, расписывая по заказу директора местного винокуренного завода Юзефа Грабовски (*Józef Grabowski*) его личный кабинет в большом старинном здании на улице Мостовой в Познани (Mostowa street, Stare Miasto, Poznań). Корреспондент польского еженедельного журнала «Świat» («Мир») в репортаже о винокурне писал:

«Господин Грабовски принял нас в своем кабинете, расположенном на первом этаже заводского здания на улице Мостовой 15. Мы сразу же очутились в творческой атмосфере, так как кабинет украшают красивые изображения довольно футуристического стиля, которые представляют сцены сбора винограда и производства коньяков, переплетенные с повседневными сценами. Это работа известных познаньских художников-живописцев: Теодора Рожанковского и Эрнста Черпера. Украшение кабинета стало живым свидетельством симпатии художников к директору Грабовскому»²⁰.

Текст сопровождали фотографии трех больших настенных панно, на которых художники изобразили историю создания польского бренди, начиная от сбора винограда на солнечном юге до потребления этого напитка в вечерних кафе Познани. Точно такие же фотографии 1922 года сохранились и в архиве Ф. Рожанковского. Старинное здание, давно переоборудованное в жилые дома, сохранилось и по сей день, но фрески, к сожалению, не уцелели.

Начиная с 1921 года в Познани проходила ежегодная ярмарка *Targi Poznańskie*, переросшая через несколько лет в международную встречу промышленников и торговцев из разных стран мира. Эта крупнейшая индустриальная выставка в Польше проводится и сегодня. Рожанковского приглашали создавать рекламные постеры для второй (1922) и четвертой ярмарок (1924)²¹. В подготовке выставки 1923 года художник не участвовал, и это имеет объяснение: в том году Рожанковский уехал в Берлин. Что заставило его оставить Польшу почти на год – можно только строить догадки. Это могли быть и финансовые причины, и профессиональные амбиции. В начале 1920-х Берлин из-за гигантского наплыва эмигрантов превратился в город русских издательств, театров, книжных магазинов. К художественно-графическому оформлению театральных постановок и печатных изданий активно привлекались талантливые художники-эмигранты. Находясь в общем хаосе послевоенной Европы на положении беженцев, они отчаянно хватались за любые подработки. Есть предположение, что в Берлин Рожанковского вызвал его давнишний приятель Андрей Худяков, вместе они учились в МУЖВЗ. Худяков тогда работал главным художником-оформителем в театре-кабаре «Синяя птица». Сценические декорации и костюмы к сезону 1922 года разрабатывали Павел Челищев, Ксения Богуславская и Андрей

Худяков. В 1923 году труппа, которой руководил актер Яков Южный²², готовилась к осенним гастролям в Лондоне и, возможно, Худякову, получившему неожиданный контракт на работу в Нью-Йорке, требовался помощник или тот, кто сможет его заменить. Но случившаяся в том же году в Германии гиперинфляция, видимо, помешала закрепить Рожанковскому «на западе». Худяков отправился за океан, а его приятель вернулся в Познань.

Имя Андрея Тимофеевича Худякова (1894–1985) будет еще не раз встречаться на страницах этой книги. Близкий друг семьи Рожанковских, прекрасный живописец, театральный декоратор, иконограф заслуживает более подробного рассказа о его судьбе и творчестве.

Родился он в Орловской губернии (г. Трубчевск, ныне Брянская обл.) и был младшим ребенком в большой крестьянской семье. Свой первый художественный опыт он получил в семь лет: обнаружив в старой телеге немного парафина, смешал его с кирпичной пылью, синькой для белья, сажей из печи и небольшим количеством растительного масла и написал этой смесью свою первую картину и с тех пор не переставал рисовать. Молва о крестьянском мальчике-художнике вскоре дошла до губернатора, и после обучения в Трубчевском городском училище при поддержке губернатора Андрея отправили в Москву. Одним из его любимых преподавателей в МУЖВЗ, где Худяков учился с 1910 по 1914 гг., был Леонид Пастернак. В 1917 году художник искренне поддержал Февральскую революцию, был автором самого первого февральского революционного плаката и одного из первых портретов А. Ф. Керенского.

После октябрьских событий того же года А. Худяков оказался в Одессе. Занимая открытую антибольшевистскую позицию, он безоговорочно принял сторону белогвардейцев, служил писарем в штабе ВСЮР и после занятия Крыма большевиками эвакуировался на одной из подводных лодок с частями Белой армии из Севастополя в Константинополь. По устным воспоминаниям Худякова, средств даже для самой скромной жизни у него тогда не было совсем, зато были мелки и бумага, и в ближайшем кафе он стал предлагать нарисовать портреты посетителей. Зарабатывал он так неплохо, что вскоре смог снять просторную светлую комнату. Но будущего в Константинополе Худяков для себя не видел и с помощью Красного Креста смог перебраться в Германию. С 1921 года он жил в Берлине, работал художником по костюмам и декорациям у Якова Южина, оформлял постановку «Борис Годунов» в дрезденской опере по приглашению дирижера И.А. Добровейна. Предложение американского импрессарио Морриса Геста о работе в Нью-Йорке стало кульминацией мечты всей его жизни (еще в юности он много читал об Америке и много раз представлял себя свободным гражданином свободной страны)*.

* О творческой карьере А. Худякова в Америке будет рассказано в следующих главах книги.

Увидевшись с Худяковым в 1923-м в Берлине, Рожанковский встретится с ним лишь через два десятилетия в Новом Свете и уже не расстанется до последних дней жизни.

В письмах Рожанковского очень коротко упоминается и то, как, находясь в Берлине, он иллюстрировал две детские книги – одну оставшуюся для нас безымянной, а вторую – «Детский остров» Саши Черного. Вероятнее всего, С. Черный планировал почти одновременно с первым вариантом представить и второй вариант этого издания, т.к. в 1921 году в Данциге уже вышла такая же книга с иллюстрациями Бориса Григорьева. Но работа эта по каким-то причинам не была завершена. Через несколько лет Рожанковский проиллюстрирует другие книги своего друга Черного. Но это будет уже в Париже.

Известно, что до отъезда во Францию он успеет оформить еще одну сказку – «Маленький лорд Фаутерлой» Фрэнсис Ходжсон Бернетт.

Вернувшись в 1924 году из Берлина в Польшу, Рожанковский продолжит сезонную работу в театре. Несколько его театральных эскизов к оперным постановкам наряду с тридцатью двумя живописными работами, графикой и гравюрами на дереве будут представлены в том же году в варшавском салоне Чеслава Гарлинского (Salon Garlinskiego)²³. В одном из писем Рожанковского нашлось и упоминание об этом дебютном показе: «Когда-то, работая декоратором в Познанской опере, я устраивал свою выставку в Варшаве – приятные воспоминания о хозяйне галереи. Писал его портрет позже. Газетные рецензии хваливали, но одна левая – особенно, я же тогда был левым в своем творчестве»²⁴.

Действительно, в варшавской газете «Wiadomości Literackie» («Литературные новости») сообщалось:

«Неизвестный у нас до настоящего времени Рожанковский представлен как карикатурист и декоратор с живым темпераментом и широким художественным жестом. Правда, в его рисунках иногда сбивает с толку чрезмерно выраженное влияние России, где художник провел продолжительное время, но, тем не менее, впечатление от этих работ весьма положительное. О настоящем таланте художника свидетельствуют также его натурные наброски, очень живые, напряженные, с характерной тонкостью, напоминающей работы французских карикатуристов. Эти работы заявляют о большом будущем Рожанковского»²⁵.

Рассказывая об экспонатах выставки, в рецензии назывались и имена польских художниц-авангардисток Софии Бодуэн де Куртенэ (Zofia Baudouin de Courtenay) и Хелены Шрам (Helena Schrammówna). Рожанковский хорошо знал обеих художниц. София Бодуэн де Куртенэ была знакома с его братом Павлом еще в Хельсинки до революции²⁶.

В том же 1924-м – начале 1925-го продолжилось и сотрудниче-

ство Рожанковского с Рудольфом Вегнером. Одним из крупных и успешных проектов польского издателя был выпуск популярной серии «Cuda Polski» («Чудеса Польши»), выдержавшей большое количество переизданий. Богато иллюстрированное издание с превосходным эстетическим оформлением, грамотной и привлекательной подачей материала популяризировало красоты Польши для иностранных туристов. Среди тех, кто участвовал в создании и оформлении «Cuda Polski» были выдающиеся представители польской художественной и интеллектуальной элиты: писатель Станислав Василевский²⁷, художник Рафал Мальчевский²⁸, писатель, путешественник и журналист Фердинанд Оссендовский²⁹. Большинство обложек для книг этой великолепной серии оформил Федор Рожанковский. Всего с 1925 по 1939 гг. было издано четырнадцать томов форматом 21х16 см.; полиграфия каждого тома была выдержана в единой цветовой гамме: слегка кремовый оттенок плотной высококачественной бумаги сочетался с цветом сепии в печати и фотографиях. Выход пятнадцатого тома был прерван войной.

В качестве частных подработок Рожанковский как художник-график получал заказы и на создание личных экслибрисов. Некоторые из них вошли в польские каталоги экслибрисов (один из них, например, был разработан для Станислава Василевского).

Рожанковский участвовал и в создании серии модных среди издателей в те годы акварельных открыток, изображающих памятники архитектуры, исторические центры древних городов (Груденз, Овинск, Познань, Торунь и др.), живописные морские побережья, горные вершины. Наибольшее количество таких открыток выпустило Польское общество железнодорожных книжных магазинов «Рух» в Варшаве (Polskie Towarzystwo Księgarni Kolejowych *Ruch*).

Над воспроизведением самых очаровательных уголков Польши вместе с Рожанковским работал художник из Бобруйска Илья Ильинчик (Ilia Pjińczyk), польские живописцы и графики Ежи Рупневский (Jerzy Rupniewski), Бронислав Копчинский (Bronisław Korczyński), Адам Мендзыблочки (Adam Międzybłocki), Мариан Тшебинский (Marian Trzebiński). Вместе с Ильинчиком и Рупневским в 1925 году Рожанковский трудился над альбомом из двадцати акварельных работ с видами Познани, рынка и Ботанического сада в Лазаже. Десять из двадцати открыток были созданы Рожанковским, восемь – Рупневским, две работы – Ильинчиком. Использование трехцветной печати позволяло воссоздать самые изысканные цвета акварельных оригиналов. Это был последний творческий проект, выполненный Рожанковским в польский период его жизни. За работу над открытками он получал солидный гонорар, да еще и в американской валюте. Поднакопив доллары, художник принял решение о переезде, но теперь уже не в Берлин, а в Париж – город, с которого начнется его настоящее большое будущее.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Из письма Рожанковского к Сосинскому. Париж. 1963.
2. Рудинский М.Я. (1887–1958), историк, археолог, педагог, первый директор Полтавского краеведческого музея (1922). Весной 1917 года вернулся из Петрограда в родную Ахтырку (укр. – Охтирка, город в Сумской области) и вскоре возглавил Педагогическое Бюро Полтавского губернского земства.
3. М. Я. Рудинская (1894–1968), младшая сестра Михаила и Евгении Рудинских; Е. Я. Рудинская (1885–1977), старшая сестра Михаила и Марии Рудинских, историк, литературовед, переводчица.
4. В. Г. Короленко (1953–1921) жил в Полтаве на улице Мало-Садовой с 1903 года до конца жизни. В семейном архиве Федора Рожанковского хранится фотография его брата Павла и Владимира Короленко в доме писателя, которую с большой долей вероятности можно отнести к 1917–1919 годам.
5. В. И. Вернадский (1863–1945), один из основателей и будущий президент Украинской Академии наук.
6. Украинская Народная Республика (УНР) – украинское государство со столицей в Киеве, провозглашенное на части юго-западной территории бывшей Российской империи III Универсалом Украинской Центральной Рады после свержения Временного правительства 7 ноября 1917 года.
7. Михайло Рудинський. *Ясні зорі. Читанка для другого і третього років шкіль початкових*. Ч. IV. Літо. Полтава: Друкарня І. Л. Фрішберга. 1918.
8. Дословно – «Федька-сорванец».
9. Михайло Рудинський. *Архітектурне обличчя Полтави*. Рис. Ф. Рожанковського. Полтава: «Рідне слово», 1919.
10. Гусятин – городок на границе с Австрией, входивший еще зимой 1918-го в состав Западноукраинской народной республики, перешел летом 1919 года под власть Польши.
11. Здесь имеются в виду орден Св. Станислава, Св. Анны и Св. Владимира, которыми награждались в Российской империи не только за военные отличия, но и за гражданские заслуги.
12. Rudolf Wegner (1877–1941), основатель издательства Wydawnictwo Polskie R. Wegnera.
13. *Szczutek* – «щелчок» (русск.).
14. Kazimierz Grus (1885–1955), польский карикатурист, иллюстратор детских книг, в 1917–1918 гг. работал в российских сатирических журналах «Будильник» и «Новый Сатирикон».
15. Рисунок Троцкого «Привидение» на обложке в журнале *Szczutek* (1921. № 33); рисунок «Голод в России» (Там же. 1921. № 35. С. 12).
16. Henryk Zbierzchowski (1881–1942), поэт, драматург, редактор еженедельника *Szczutek*. Известен под литературным псевдонимом Немо.
17. Henryk Zbierzchowski. *Oczyrna dziecka. Opowiadania wierszowane dla dzieci i młodzieży*. Lwów, 1921.
18. Mickiewicz Adam. *Sonety Krymskie*. Lwów – Poznań 1922. Wyd. Polskie.
19. Эрнст Черпер (Ernst Czerper, 1899–1933), родился в Мангейме. До начала работы в издательстве Вегнера в 1922 году был декоратором в театре Познани. Как и Рожанковский, он участвовал в Первой мировой войне, но на другом фронте. О своей военной жизни в окопах на Западном фронте Черпер напишет мемуары, которые будут напечатаны в нескольких газетных публикациях в Берлине незадолго до его смерти. Интересно отметить, что

Эрнст Черпер – автор самого раннего из всех сохранившихся писем в архиве Рожанковского (1926).

20. *Świat*. № 11, 18 марта 1922. С. 38.

21. Это были офсетные литографии, изображение одной из них опубликовано в сборнике *Хроника города Познань* (Plakaty Targowe Od I Targu Poznańskiego do 68 Międzynarodowych Targów Poznańskich (1921–1996). Kronika Miasta Poznania. 1996. R.64 Nr2. P.110).

22. Яков Давидович Южный (1883–1938), конферансье и режиссер театра-кабаре «Синяя птица» («Блау Фогель») в Берлине.

23. Czesław Garliński (1878–1954), известный варшавский антиквар, библиофил, коллекционер, владелец художественного салона, где с 1922 года выставлялись произведения известных и начинающих художников.

24. Из письма Федора Рожанковского к Наталье Папчинской (внучатой племяннице) 4 февраля 1966 года.

25. Garliński W. «Salon Garlińskiego». *Wiadomości Literackie*. 1924. № 22. С. 5.

26. София Бодуэн де Куртенэ (S. Baudouin de Courtenay, 1887–1967), художница-монументалистка, ученица Яна Ционглинского в Петербурге и Пьера Пюви де Шаванна в Париже, дружила с Михаилом Бойчуком и Софьей Налепинской, участница российских и французских выставок – Салон Независимых (1910), «Бубновый валет» (1910–1911), Салон Стриндберга в Гельсингфорсе (Хельсинки) в 1917 году; была знакома с Полем Рожанковским. В 1918 году С. Бодуэн де Куртенэ репатрировалась по праву происхождения в ставшую независимой Польшу и поселилась вместе с отцом в Варшаве. Вокруг Бодуэн де Куртенэ собралась группа художников, увлеченных монументальной живописью, среди которых была и Хелена Шрам (1879–1942). Вместе они проектировали полихромии для костела в Стараховице. Эскизы этой работы выставлялись в 1924 в салоне Ч. Гарлинского в Варшаве.

27. Stanisław Wasylewski (1885–1953), польский публицист, автор множества книг о Львове. До 1927 года жил во Львове, редактировал сатирический журнал «Szczytek», затем переехал в Познань, работал в издательстве Вегнера, редактировал серию Библиотеки Нобелевских лауреатов, серию *Cuda Polski*, в рамках которой издал очерк «Львов» (Wasylewski Stanisław. «Lviv». *Cuda Polski*. Poznań: R. Wegner Polish Publishing House. 1931). В библиотеке Рожанковского эта книга сохранилась с автографом писателя: «Дорогому Теодору – милому товарищу 1920 года во Львове. 10. IV.31».

28. Rafał Malczewski (1892–1965), пейзажист-акварелист, сын знаменитого художника-символиста, академика живописи Яцека Мальчевского. Как и Рожанковский, Рафал Мальчевский впервые выставил свои работы в салоне Чеслава Гарлинского в 1924 году, и уже в 1930-е гг. ведущие арт-критики называли Мальчевского самым талантливым и многообещающим польским художником.

29. Ferdynand Antoni Ossendowski (1878–1945), родился в Витебске, жил в России до 1922 года, затем переехал в Польшу. Автор книги о Гражданской войне в Сибире и Монголии «Звери, люди и боги», которая принесла ему в начале 1920-х гг. мировую известность.

Елена Дубровина

Евразийский рыцарь*

To that Eurasian Knight Paul Léon
with the thousand and one thanks of
that most distressful writer.

James Joyce. Paris, 4 May 1939.

Евразийскому рыцарю Полю Леону
с тысячей и одной благодарностью от
этого самого многострадального писателя.

Джеймс Джойс. Париж, 4 мая 1939 г.

Исчерпано, всё будет прощено,
И свежей станет боль, и новым лес,
И, может быть, неведомым друзьям
Бог счастье даст, обещанное нам.**

Леон-Поль Фарг

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В американском фильме «Молодые львы» («Young Lions», 1958 г.), снятом по одноименному роману Ирвина Шоу, действие развивается между 1940-м и 1943-м годами на Ближнем Востоке (директор картины – Эдвард Дмитрук, сын украинских эмигрантов). При обыске у одного из американских солдат еврейского происхождения был изъят роман Джеймса Джойса «Улисс» как запрещенный. Известно, что этот роман вызвал в Америке «культурный шок» и был действительно запрещен в стране с 1920-го по 1933-й годы.

В 1933 году федеральный судья в Вашингтоне, внимательно прочитав роман, пришел к выводу, что «Улисс» не является непристойным романом в юридическом смысле слова, а наоборот, является произведением «высокого литературного достоинства». В заключение судья добавил: «Сочиняя 'Улисса', Джойс намеревался провести серьезный эксперимент в новом, совершенно новом жанре». В дальнейшем суд назвал роман хотя и «великолепно написанным», но «скучным»¹. Однако даже после такого заключения, в последующие годы репутация романа как скандально-порнографического не угас-

* Такое дружеское прозвище дал Полю Леону Джеймс Джойс. Все переводы с англ. сделаны автором статьи.

** Перевод с французского М. Кудимова.

ла. В Англии запрет продолжался до конца 30-х, тогда как в Австралии книга была изъята из обращения до середины 50-х годов.

И все-таки роман ирландского писателя был принят с энтузиазмом во многих странах мира, в то время как о жизни и творчестве самого писателя было еще недостаточно известно, как и о его секретаре и помощнике, эмигранте из России, который, рискуя собственной жизнью, спас архивы писателя. Сегодня все знают имя великого ирландского писателя. Но многие ли из нас знают о судьбе и подвиге Павла Леопольдовича Леона?

Массовый исход интеллигенции из послереволюционной России внес изменения в культурную жизнь Европы, и особенно Франции. Многие литераторы, покинувшие свою родину, нашли пристанище в Париже, центре культурной жизни, влившись в общеевропейский литературный процесс. Самуэль Путнам, известный американский издатель, приехал в Париж в 1926 году. Став частью культурной жизни города, он писал, выражая мнения многих новопришельцев: «Paris... was our spiritual mistress, a wise and beautiful one»².

Во французской литературе появились новые имена переводчиков русских классиков, а также романистов, литературоведов, эссеистов, художников, музыкантов, философов – выходцев из Российской империи. Судьбы их часто складывались трагически, а ранняя смерть в Освенциме и других лагерях смерти во время оккупации Франции навсегда вычеркнула их имена из памяти живых. Сколько их было – талантливых, одаренных, высокообразованных, на пике литературной и художественной славы затянутых в водоворот военных событий, погибших на чужой земле и... навсегда забытых. Современным историкам и всяким «ведам» еще предстоит огромная работа по ознакомлению читателя с их именами. Однако, к сожалению, интерес к их творчеству и судьбам, возросший после российской перестройки в начале 90-х, стал постепенно ослабевать.

В этом году отмечалось 80-летие со дня освобождения Освенцима. В связи с этим я хочу рассказать читателю о судьбе одного из тех русских эмигрантов, кто погиб в этом чудовищном лагере смерти. Именно Полю Леону, его жизни и деятельности в эмиграции, трагической гибели и судьбе его семьи, связанной тесными узами с ирландским писателем Джеймсом Джойсом, посвящается эта статья.

«Понимание и преданность моего мужа Джойсу, как человеку и как художнику, были такими, что положить конец этой дружбе могли только война и смерть. Мы разделили вместе много радостей и горестей, наслаждаясь беззаботными днями и переживая трагические времена, предвестники грядущих еще более мрачных лет. Джеймс Джойс был избавлен от этих последних. Моего мужа не пощадили», – вспоминает жена Поля Леона, Люси Леон (Нозль)³.

Павел Леопольдович Леон (фр. Поль Леон), бывший петербуржец, юрист по образованию, человек разносторонних знаний,

необыкновенно талантливый, философ, полиглот, переводчик, писатель, с которым Джеймса Джойса связывали личные и профессиональные отношения, — один из многих, кого вычеркнули из памяти вскоре после его гибели в Освенциме, куда он попал, спасая архивы ирландского писателя. Благодаря подвигу малоизвестного русского эмигранта сохранилась огромная переписка, фотографии, черновики Джойса. Однако имя Поля Леона почти не упоминается в воспоминаниях его современников, и лишь мельком в многочисленных изданиях о Джеймсе Джойсе, хотя сам писатель высоко ценил эту дружбу и неустанную работу Поля как своего личного секретаря. Так, например, существуют многие сотни деловых писем Поля Леона различным корреспондентам и издателям писателя, от Джойса сохранилось лишь несколько десятков, причем Поль работал без оплаты. Он не только посвятил много времени и усилий решению всевозможных практических вопросов, связанных с Джойсом и его семьей, но и был самым близким его другом и поддержкой в трудные для писателя годы. Хотя Поль Леон сам был личностью творческой, а непрерывная занятость делами Джойса отнимала у него много времени и сил, которые он мог бы посвятить своей собственной работе и семье, он никогда не жалел, а тем более не жаловался на такую загруженность: «Вполне возможно, что Поль проводил с Джойсом больше времени, чем с кем-либо из членов своей собственной семьи в любой период жизни», — вспоминает Люси Леон⁴.

Как указывает немецкий журналист Юрген Шнайдер в недатированной записке для своего биографа Герберта Гормана, хранящейся в Специальных фондах Библиотеки Морриса Университета Южного Иллинойса, Джеймс Джойс писал о Поле Леоне: «Следует не забывать, что последнее десятилетие, и в болезни, и в здравии, ночью и днем, он был абсолютно бескорыстным и преданным другом. Я никогда не смог бы без его щедрой помощи создать то, что я создал»⁵.

Перелистывая самое маститое, монументальное издание-исследование о жизни и творчестве Джойса (в книге ок. 900 страниц) известного американского джойсоведа Ричарда Элмманна, я насчитала немногим более 30 упоминаний имени Поля Леона. Именно упоминаний, без всяких подробностей о нем или его семье. Полстраницы посвящены его биографии, а краткие сведения о гибели Поля и о спасении им архивов Джойса даны только в сноске. Привожу частично содержание этой сноски:

«Леон продолжал оставаться в Париже во время нацистской оккупации. Он спас некоторые книги и бумаги Джойса из квартиры на улице 34 rue des Vignes и купил другие книги на аукционе, который незаконно проводил хозяин квартиры. Затем, желая сохранить тайну своего друга, а также его имущество, он передал его бумаги графу О'Келли, послу Ирландии в оккупированной Франции, с указаниями передать их в Национальную библиотеку Ирландии, где они должны храниться в запечатанном виде в течение пятидесяти лет. Леон скрытно жил в Париже до 1941 года»⁶.

Книга вышла в 1959 году, и с тех пор имя Леона постепенно стиралось из памяти джойсведов. Ценным документом для исследований жизни и творчества Джойса являются неоконченные из-за ранней гибели воспоминания Поля Леона о друге. Книги о его дружбе с ирландским писателем, написанные Люси Леон, женой Поля, были изданы в Нью-Йорке в 1950 году⁷ и переизданы в Англии в 2022 году⁸. В предисловии к книге ирландский джойссовет Лука Криспи отмечает такой факт: в то время как Джеймс Джойс стал автором с мировым именем, чья биография была подробно отражена в монументальной книге Ричарда Элмманна, имя Поля Леона остается забытым:

«Когда после смерти Джойса Париж был оккупирован немецкой армией, Поль совершил еще один, последний, самый значительный поступок... Трудно переоценить смелость и преданность делу, которые он проявил, спасая книги и рукописи Джойса из последней квартиры писателя на улице 34 rue des Vignes. Если бы не самоотверженный поступок Поля, то наши знания о творчестве и жизни Джойса были бы существенно ограничены».⁹

Этот же факт отметила более шестидесяти лет назад близкий друг обеих семей – Джойса и Леона – издатель журнала *transition* Мария Джолас¹⁰. В приложении к журналу *James Joyce Quarterly* в 1959 году были напечатаны восемь страниц ее воспоминаний о Поле Леоне под названием «Малоизвестный Поль Леон» (рукопись хранится в единственном экземпляре в архивах Йельского университета)¹¹.

Как теперь известно, Сильвия Бич, хозяйка популярного в Париже магазина-издательства «Шекспир и Компания»¹², была не только другом Джойса, но и издателем его произведений. Она называла Джойса «крестным отцом» своего магазина. Однако всю переписку писателя и его издательские и финансовые дела она вела с Полем Леоном. В книге Н. Фитча *Sylvia Beach and the Lost Generation. A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties*¹³ автор пишет о подвиге Леона в одном (!) предложении: «В течение двух последних месяцев... некоторые материалы из коллекции Сильвии Бич и все материалы Джойса были спасены Полем Леоном»¹⁴.

В то время как основные страницы книги посвящены Джеймсу Джойсу, имя Поля Леона упоминается (именно упоминается) всего 11 раз. Один небольшой параграф автор «щедро» отдал его биографии, причем одна и та же информация кочует из книги в книгу. И еще... тот важный факт, что Поль Леон спас «некоторые материалы из коллекции Сильвии Бич», больше нигде не появляется.

Теперь возьмем, к примеру, другую книгу – *The Letters by Sylvia Beach*¹⁵, в которой биографии Поля Леона уделены ровно три строчки, несмотря на то, что в книгу включена обширная переписка между Полем и Сильвией Бич, касающаяся издательских дел Джойса. Вот отрывок из одного письма Сильвии Бич Полю Леону от 28 ноября 1932 года, в котором она просит его взять на себя все дела Джойса:

«Дорогой господин Леон, ...я буду очень рада, если Вы возьмете в свои руки все дела мистера Джойса, касающиеся различных континентальных издательств, а я, в свою очередь, оповещу их об этом. И еще, не будете ли Вы так добры взглянуть ко мне в магазин для передачи Вам некоторых документов...»¹⁶

В 1962 году был снят документальный фильм – интервью с Сильвией Бич о ее дружбе с Джеймсом Джойсом¹⁷. На протяжении всего фильма имя Поля Леона, как ни странно, не было произнесено ни разу.

В книге Р. Элмманна «James Joyce» я обратила внимание на такую фразу: «Поль и Люси Леон... виделись с Джойсами чаще, чем с кем-либо еще...»¹⁸. То есть, о тесной дружбе обеих семей были хорошо уведомлены почитатели ирландского писателя. Так, например, Самуэль Путнам, американский интеллектуал, издатель и основатель в Париже американского журнала *The New Review*¹⁹, был большим поклонником таланта Джойса. Он оказался в Париже одновременно с Полем Леоном. В его воспоминаниях *Paris Was Our Mistress*²⁰, написанных в 1947 году, вскоре после окончания Второй мировой войны, имя Поля Леона среди окружения Джойса не значится, хотя имя ирландского писателя появляется на страницах небольшой книги (260 стр.) 24 раза. С. Путнам и П. Леон часто пересекались в книжном магазине Сильвии Бич, а Поль, как *самый* близкий друг и секретарь писателя, юрист и полиглот, был хорошо известен среди литературной элиты Парижа.

В 1948 году Люси Леон сделала доклад о дружбе Джеймса Джойса и Поля Леона в Дублинском обществе джойсоведов. Через 50 лет, в 1998 году, туда же был приглашен для выступления сын Люси и Поля, Алексис Леон. Однако интерес слушателей касался в основном Джойса. Стенограмма этого выступления вошла во второе издание книги Люси Леон. В 2017 году Лука Криспи, джойсовед, профессор Дублинского университета в Ирландии, опубликовал подробную статью о Поле Леоне в местном журнале *Dublin James Joyce Journal*, однако для широкого читателя недоступную²¹.

О Джеймсе Джойсе, великом ирландском писателе, написано множество книг, сняты документальные фильмы, в которых имя Поля Леона едва звучит. О самом Поле Леоне пока, к сожалению, не написано ни одной книги, хотя без его участия у нас не было бы сегодня достаточной информации о жизни и творчестве Джойса и его произведениях, которые до последнего дня помогал ему редактировать и издавать эмигрант из России – Павел Леопольдович Леон (Поль Леон). После смерти Джойса, когда Париж был оккупирован немецкой армией, Поль совершил последний, самый значительный акт личной и профессиональной преданности – он спас ценные архивные материалы ирландского писателя.

И всё же еще одна недавняя попытка воскресить память о Поле Леоне была сделана, как ни странно, в Германии – немецким журналистом, писателем, художником и переводчиком Юргеном Шнайдером.

«Стена безразличия» к судьбе русского эмигранта, как пишет Шнайдер, побудила его к поиску новой информации о жизни и подробностях гибели Поля Леона. В результате тщательного исследования Юрген Шнайдер написал статью под названием «Paul Léon and the Career of SS-Heinrichsohn in the Post-Nazi Federal Republic of Germany»²², в которой он не только подробно рассказывает о гибели Леона, но идет дальше событий, приведших к его смерти в Освенциме. Автор долгое время работал в архивах Auschwitz and Yad Vashem, а также с International Tracing Service (ITS), где сосредоточены наиболее полные архивные материалы, относящиеся к жертвам нацистских преступлений. Однако большую часть статьи он отводит послевоенной жизни и судьбе тех нацистов, которые принимали участие в поимке и убийстве Поля Леона и его соотечественников.

Статья у «великих» джойсоведов интереса не вызвала. Из письма Ю. Шнайдера устроителям конференции «Joyce Without the Borders»²³, проходившей в Мексике в июне 2019 г., в котором он довольно резко высказывает свое возмущение по поводу умалчивания подробностей гибели Поля Леона:

«Дорогой мистер Рэми, спасибо за ваше сообщение. Если я правильно понимаю, вы говорите о том, что мое предложение не соответствовало высоким академическим стандартам. Эти ‘высокие’ академические стандарты так же недавно привели к решительному отклонению в лондонском издательстве Блумсбери (Bloomsbury) моего эссе об убийцах Поля Леона. Для меня более чем отвратительно узнать, что академики и ученые из сообщества Джойса с таким пренебрежением вспоминают Поля Леона. Это действительно очень ‘высокий академический стандарт’ – убийцы Поля Леона были бы весьма вам благодарны»²⁴.

Как указывает сам автор статьи, ее отклонили не только для представления на конференции под названием «Joyce Without the Borders», но и издатели, вернее переиздатели, книги Люси Леон (Ноэль), хотя статья Шнайдера предназначалась именно для нового издания 2022 года, посвященного дружбе ирландского писателя и малоизвестного эмигранта из России: «Лондонское издательство «Блумсбери» (Bloomsbury) решительно отказалось опубликовать статью о гибели и убийцах Поля Леона, друга Джеймса Джойса, который более десяти лет без усталы работал вместе с ирландским писателем в Париже», – пишет Ю. Шнайдер²⁵.

Лука Криспи, один из редакторов книги и авторов предисловия, объяснил отказ слишком насыщенной информацией о нацистских преступниках. Но Юрген Шнайдер поставил перед собой именно задачу рассказать правду о гибели Поля Леона и привлечь читателей и литературоведов к героическому поступку российского эмигранта и его соотечественников. Заслуга Ю. Шнайдера заключается в том, что, работая в международных архивах, посвященных преступлениям нацистов, он конкретно установил факты, где и как погиб Поль

Леон. Его статья дает подробное описание ареста нацистами Поля Леона в Париже и пребывание его в лагерях Дранси и Компьень, откуда он был депортирован в Освенцим, и, наконец, о его расстреле в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау 5 апреля 1942 года. Вот что пишет Шнайдер в предисловии к своей статье:

«...Поль Леон был расстрелян в концентрационном лагере Освенцим-Биркенау. Я исследовал точные обстоятельства его депортации и убийства в международных архивах, посвященных преступлениям нацистов. В литературе о Джойсе часто ошибочно говорится, что Леон был убит во время транспортировки в Силезию».

В 1978 году французский писатель и исследователь нацистских преступлений Серж Класфельд, выходец из Румынии, отец которого погиб в Освенциме, и жена Сержа, Беата, издали книгу под названием *Le Mémorial de la déportation des Juifs de France*²⁶. В книгу был включен список французов еврейской национальности, убитых нацистами и погибших под Парижем в лагерях для интернированных или депортированных из страны между 1940-м и 1944-м годами. Имя Поля Леона вошло в список погибших в лагере Освенцим.

В своих воспоминаниях Джордж Веллер, известный французский ученый, выходец из России, дал список французов из русских, находящихся в то же время, что и он, в лагере смерти²⁷. Среди перечисленных имен стоит имя Поля Леона. Вся эта информация опровергает версию о том, что он погиб *по дороге* в Освенцим. Действительно, в литературе о Джойсе часто ошибочно говорится, что Поль Леон был убит во время транспортировки в Силезию. Эту ошибку повторили и архивисты в описании документов Д. Джойса, хранящихся в Ирландии. Так же считала и жена Поля, Люси Леон. Она писала: «Между тем 27 марта 1942 года Поль был депортирован из Компьеня в Силезию, где он был убит нацистами 4 апреля 1942 года по пути из Освенцима в Биркенау...»²⁸

Согласно фактам, приведенным Шнайдером, Поль Леон погиб в Освенциме 5-го, а не 4 апреля 1942 года. Благодаря тщательной исследовательской работе Ю. Шнайдера удалось точно установить такие важные факты, как причину смерти Поля Леона в лагере Аушвиц-Биркенау. Однако его работа, к сожалению, не привлекла должного внимания ни российских литературных историков, ни специалистов по русской эмиграции, ни многочисленных джойсоведов. Статья так и не появилась ни в одном из литературоведческих изданий.

Впервые 5 апреля 1992 года, в годовщину гибели Поля Леона, в Национальной Библиотеке Ирландии был открыт доступ к архивным материалам Джеймса Джойса и Поля Леона, переданным сыном Леона, Алексисом. Когда сотрудники библиотеки получили доступ к материалам, они нашли 17 больших конвертов, в которых хранились письма на нескольких языках, относящиеся к творчеству великого

ирландского писателя. На конвертах стояла дата 1930–1940 гг. Внутри лежали отдельные файлы, на которых цветным карандашом были обозначены предметы переписки (личная, редакторская, выплаты и т.д.). Каталогизация была сделана Полем Леоном 17 августа 1941 года и отправлена в посольство Ирландии в Париже графу О’Келли с целью в случае необходимости или смерти самого Поля Леона передать материал жене или сыну Джеймса Джойса. Сопроводительное письмо Поля Леона было зачитано на международном симпозиуме памяти Джойса в июне 1992 года.

В воспоминаниях Люси Леон-Ноэль приводятся многочисленные письма Поля, присланные ей из лагерей Дранси и Компьень. Это эпистолярное наследие можно рассматривать не только как редкие документы, которые описывают страшную картину зверств нацистских преступников и борьбу их жертв за выживание, но и как историю любви двух людей, оказавшихся в самом пекле уничтожения еврейского населения Франции.

Эта статья не только о судьбе и гибели Павла Леопольдовича Леона, удивительного человека, интеллектуала, смелого и преданного друга, любящего мужа, но и о его окружении, о членах его семьи, о тех, кто волею судьбы оказался в Париже в начале прошлого столетия. Некоторых из них постигла такая же страшная участь, как и Павла Леопольдовича Леона – гибель в газовых камерах нацистских концлагерей.

КРАТКАЯ СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА

Судьба семьи Павла Леопольдовича Леона заслуживает особого внимания, ибо каждый член этого удивительного клана прожил нелегкую жизнь, связанную с эмиграцией и войной, в результате которой погибли в лагере Освенцим одни из самых ярких представителей этой семьи: Поль Леон, его брат Александр Леон, Александр Понизовский – брат Люси, жены Поля, дядя Люси – Яков Виленкин, и младший брат мужа Ксении Леон-Поляковой – Дмитрий Поляков и его жена.

Павел Леопольдович Леон родился в 25 апреля 1893 года в Санкт-Петербурге в семье торговца зерном, купца 1-й гильдии Леопольда Федоровича Леона, и его жены, пианистки Иды Израилевны Ратнер. Павел был младшим из шестерых детей – четырех девочек и двух мальчиков. Его братьями и сестрами были Ксения (1883–1952), Генриетта (1885–1970), Беатрис (1890–1950), Екатерина (известная как Кэтрин или Катя; 1892(?)–1986) и Александр (1891–1944).

Отец, Леопольд Федорович Леон, родился 20 января 1844 года в Риге в еврейской семье. В столице Лифляндии в это время широко развивалась торговля лесом, льном, зерном, солью, мукой, растительными и минеральными маслами, железом. Молодой Л. Леон начал успешно заниматься торговлей хлебом и мануфактурой. С 1873-го по 1878 годы Леопольд Федорович значился как рижский купец 1-й гильдии. Начиная с 1800 г. Россию охватывает «промышленная рево-

люция». Многие товары в Российской империи в это время стали закупать за границей. Видимо поэтому в 1879 году, в возрасте 35 лет, Леопольд Федорович переезжает на постоянное жительство в Санкт-Петербург, где значится, согласно архивным записям, купцом 1-й гильдии, занимающимся зерноторговлей²⁹. Здесь он открывает свою фирму «Леон и Компания». В те времена, до большевистского переворота, Россия была одной из главных экспортеров зерна в Прибалтику, особенно пшеницы.

В 1881 году Леопольд Леон заключает в Вене брак с некоей Идой Ратнер. В архивах Санкт-Петербурга есть такая запись: «7 августа 1881 года заключен брак русского подданного Леопольда Леона, сына Федора Леона и Евы, урожденной Хирубин, родившегося в Риге, с девицей Идою Ратнер, родившейся в Могилеве, дочери Израиля Ратнера и Богданы, урожденной Гуминер, по израильскому закону, в Вене».

В 1891 году Леопольд Леон подает прошение на получение вместе со всей семьей звания почетных граждан С.-Петербурга. В 1892 году просьба его была удовлетворена. Владелец крупной фирмы «Леон и Компания» (общая торговля хлебом и мануфактурой) слыл человеком образованным, деятельным и заслуживающим уважения горожан. Увлекаясь собирательством произведений искусства, он привил эту любовь и своим детям. Знания антиквара в будущем пригодилось как Павлу, младшему сыну, так и старшей дочери Генриетте. В их доме часто устраивались вечера, звучала музыка. За рояль садилась Ида Леон, прекрасно исполнявшая любимых композиторов.

Надо отметить тот факт, что Леопольд Федорович Леон активно помогал еврейской общине города. В справочной книге о купцах г. С.-Петербурга за 1890 г. сказано, что Леопольд Ф. Леон входил в члены правления молельни С.-Петербургской синагоги, наряду с видными деятелями еврейской общины – такими, как близкий друг Леонов барон Давид Гинцбург, один из образованнейших людей того времени. Ориенталист, гебраист, арабист, писатель, общественный деятель и предприниматель, Гинцбург был также спонсором издания и редактором «Еврейской Энциклопедии Брокгауза и Эфрона». Именно ему в течение всей второй половины XIX – начала XX века принадлежало лидерство в Петербургской еврейской общине. Для любого прихожанина синагоги было честью общаться с бароном Гинцбургом.

В состав правления общины входили крупные еврейские предприниматели, связанные с банками, акционерными и страховыми обществами, и известные люди города. Благодаря деятельности барона в петербургской синагоге царило глубоко религиозное настроение, которое можно было встретить лишь в старых молитвенных домах провинциальных городков и местечек. Преданность Гинцбурга еврейской традиции принесла ему особое уважение в ортодоксальных кругах. Всякое культурное и общественное начинание находило его поддержку, нравственную и материальную; например, он был еще и

основателем «Общества пособия беднейшим евреям С.-Петербурга», в котором принимал деятельное участие и Леопольд Федорович Леон.

До кончины Л.Ф. Леона семья жила в Конногвардейском пер., дом № 4. Именно этот дом упоминает Н.С. Лесков в своей повести «Железная воля». Зять Лескова, англичанин Мори, работал в Торговом доме Сарептского общества по этому же адресу. В 1892 г. дом был продан «Евангелическому Союзу религиозного и нравственного назидания о протестантах». После 1892 г., согласно справочным книгам С.-Петербурга, семья жила на 2-й линии Васильевского острова, дом № 19. В описании дома сказано, что принадлежал он купеческим семьям, выходцам из-за границы – семьям Мальма, Миллера, Кистера, Фирса и др. В 1880-х гг. в этом доме жил известный архитектор Л. Н. Бенуа.

Леопольд Федорович на вид был человеком крепкого здоровья; по делам службы он много путешествовал. Однако на самом деле он долго и серьезно болел диабетом. Умер Леопольд Леон в 1902 году в результате «кровоизлияния в головной мозг, вследствие ушиба, сотрясения организма при хроническом страдании сахарным мочеизнурением», как сказано в свидетельстве о его смерти, выданном его жене Иде Израилевне Ратнер.

В 1911 году в издательстве «Лурье и Компания» вышла небольшая брошюра, в 50 страниц, под названием «Венок на могилу Леопольда Федоровича Леона, представителя Петербургской еврейской общины. Речи при отпевании тела и поминании души Леопольда Федоровича Леона, умершего 9 июня 1902 г., произнесенные С.-Петербургским раввином доктором А. Н. Драбкиным»³⁰. Автором брошюры был Авраам Нотович Драбкин, всеми уважаемый раввин и общественный деятель Санкт-Петербурга. С 1909 года он состоял редактором раввинского отдела «Еврейской энциклопедии» – что, в свою очередь, говорит о том, каким почетом пользовался в России Леопольд Леон. Брошюра хранится в единственном экземпляре в Российской Национальной Библиотеке. Леопольд Федорович Леон был похоронен 9 июня 1902 года на Еврейском Преображенском кладбище в С.-Петербурге. После смерти мужа, оставшись одна с детьми, Ида Ратнер, женщина умная, деятельная, энергичная и властная, взяла дела мужа в свои руки.

Мать Павла Леопольдовича Леона, Ида Израилевна Ратнер, родилась в 1858 году в Могилеве, однако семья долгое время жила в Германии, где отец Иды, Израиль Исидор Ратнер, банкир и купец 1-й гильдии, скончался в 1896 году. Ида была младше мужа на 13 лет. Она окончила Берлинскую консерваторию по классу рояля, была хорошо образованна и свободно говорила на нескольких языках. После смерти мужа Иде Израилевне пришлось взять на себя управление компанией мужа, экспортирующей зерно. Под ее руководством «Леон и Компания» процветала.

Как и муж, она деятельно помогала еврейской общине. В 1872

году в С.-Петербурге был открыт Еврейский сиротский дом. Задачей правления общины стала забота о судьбах девочек-сирот. Был избран Дамский комитет из восьми представительниц знатных еврейских семей города. Председателем Дамского комитета была избрана баронесса Анна Геселевна Гинцбург, почетным секретарем – проф. Илья Фадеевич Цион. В начале 1872 г. Комитет открыл отделение для 20 девочек, к апрелю 1873 г. собрал около 25000 руб. разных пожертвований (сумма огромная для того времени). В состав Комитета входила и Ида Израилевна Леон, щедро жертвовавшая Сиротскому дому и свое время, и деньги.

После революции, в 1919 году, Ида Леон вместе со своими уже взрослыми детьми эмигрировала во Францию, где жила со старшей дочерью Генриеттой Леон (по мужу Гиршман) в Париже. Частый гость семьи, посещавший их в парижской квартире, художник Константин Сомов, явно недолголюбил Иду Израилевну. В своем дневнике он оставил несколько более чем нелестных записей о ней. Вот некоторые из них: «Обедал дома, рядом со мной сидела отвратительная Ида Леон»; «Заходил к Леону взять второй том *Lucien Leuwen*, застал там Иду Исидоровну³¹, но она не успела в меня вцепиться, я сейчас же ушел»; «Пил кофе у Г[енриетты]. Выползла подлая, хвастливая, грязная Ида. Начала болтать свою хвастливую чепуху»; «...Потом перешел к Гиршманам, где на меня набросилась ‘ужасная старуха’ [И. И. Леон]»³².

Так или иначе, Ида Израилевна Леон, любящая и любимая мать, была долгое время стержнем огромной семьи. Она умерла в Париже в 1932 году, пережив мужа на 30 лет.

* * *

Важную роль в жизни Павла Леопольдовича Леона сыграла его сестра, Генриетта Леон-Гиршман (1885–1970). Она была не только любимой сестрой, но и верным другом Поля на протяжении почти всей его короткой жизни. Первая красавица Москвы, очаровательная Генриетта, любимица и модель многих известных художников, она сама прекрасно рисовала и слыла знатоком живописи. Серьезно увлекалась она и коллекционированием произведений искусства. В течение двух лет после окончания гимназии Генриетта изучала языки, музыку и живопись в Дрездене. По возвращении из Германии, по совету друга семьи Ильи Репина, она училась живописи у О. Браза. В возрасте 18 лет неожиданно для семьи Генриетта принимает предложение от одного из богатейших людей Москвы – Владимира Осиповича Гиршмана (1867–1936), старше ее почти на двадцать лет, – и переезжает жить к мужу в Москву. Купец 1-й гильдии, владелец завода по производству швейных иглол, он увлекался коллекционированием русской живописи и антикварной мебели, слыл известным коллекционером. Возможно, что любовь к искусству объединила новобрачных и сделала этот союз успешным. Коллекция Гиршмана находилась в Москве

в его особняке в Мясницком проезде, дом № 6. В 1920-е годы это огромное и ценное собрание произведений искусства было национализировано.

После замужества Генриетта продолжала серьезно заниматься живописью, пением и игрой на рояле. Вместе с мужем она составила выдающуюся коллекцию антикварных предметов русской старины и современной живописи, включая множество картин Серова и Добужинского. Гостеприимный дом четы Гиришман был всегда открыт для молодых художников и артистов. Особенно частыми гостями были художники, писавшие портреты Генриетты, – Зинаида Серебрякова, Константин Сомов и Валентин Серов, который был влюблен в молодую хозяйку и запечатлел ее образ на пяти полотнах. Генриетта Леопольдовна была одним из основателей «Общества свободной эстетики» в Москве. В 1910 году Константин Сомов, продолжавший общаться с Генриеттой и ее семьей на протяжении многих лет, оставил в своем дневнике такую запись:

«...Замечательно милая женщина Генриетта Леопольдовна, чем больше ее видишь, тем больше ее ценишь, простая, правдивая, доброжелательная. Не гордая и, что совсем странно при ее красоте, совсем не занята собой, никогда о себе не говорит. Но, по-моему, она несчастлива...»³³.

После Октябрьской революции Генриетта Леопольдовна Гиришман со всей семьей покинула Россию.

БРАТЯ ЛЕОНЫ – АЛЕКСАНДР И ПАВЕЛ

Старший брат Павла, Александр Леопольдович Леон, родился в С.-Петербурге 5 января 1891 года. Оба брата блестяще окончили Главное немецкое училище Св. Петра – одно из старейших учебных заведений России. Это была первая школа Петербурга, основанная в 1709 году, и ее первоначальное название было «Школа при церкви Святых Петра и Павла», затем «Школа языка, искусства и науки». Однако с 1762 г. по 1918 г. она уже называлась «Главное немецкое училище при церкви Св. Петра»³⁴ и была крупнейшим средним учебным заведением России – здесь училось более 1600 детей, в том числе до 25% русских. Школа пользовалась заслуженной известностью, давала разностороннее образование и особенно славилась отличным преподаванием иностранных языков. Как известно, в дальнейшем Павел свободно говорил на семи языках, включая английский и французский, которые в будущем помогли ему в глубоком изучении английских и французских философов, – а также на немецком, испанском, итальянском, греческом и латинском языках. В гимназии он овладел английским в такой степени, что уже к 17-ти годам говорил на нем свободно. В 1912 году Павел дважды посещает Лондон, пробыв там в общей сложности три месяца. Кстати, в доме Леонов говорили на нескольких языках, обычно по-французски или

по-английски, хотя иногда, будучи уже вне России, они обменивались друг с другом фразами по-русски.

В 1908 году, в возрасте 17 лет, Александр поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. Павел, окончив школу в 1911 году с серебряной медалью, решил поступать на юридическое отделение того же Университета. Богатая студенческая интеллектуальная жизнь привлекала обоих братьев. Так, например, в одной группе с Павлом короткое время учился будущий известный советский писатель Михаил Зощенко, который поступил на юридический факультет в 1913 году, однако уже в 1914-м был отчислен за неуплату. В 1910 году на тот же факультет поступил будущий известный американский социолог и культуролог Питирим Сорокин. Юридический факультет был выбран им не случайно, так как большинство курсов, затрагивающих социологические проблемы, читалось в то время именно на этом факультете. Илья Зданевич, будущий поэт, драматург, писатель-романист, художественный критик, окончил юридический факультет в 1917 году. Среди студентов университета, обучавшихся одновременно с братьями, можно назвать Владимира Верещагина³⁵, будущего поэта и певца, племянника известного художника. В эмиграции во Франции они оставались с Павлом близкими друзьями. На том же факультете учился брат Давида Бурлюка, Николай, позже расстрелянный большевиками. Николай Тимашев получил там же в 1914 году степень магистра права, а после Октябрьского переворота, покинув Россию, он преподавал в Сорбонне и в Гарварде – по приглашению своего соученика П. Сорокина. Прозаик Юрий Фельзен окончил тот же факультет в 1912 году, будучи еще очень молодым (он был старше Павла на один год). Юрий Фельзен жил после революции в Париже, погиб в Освенциме в 1943 году.

В начале XX века в университете преподавали видные ученые России. Деканом Юридического факультета с 1910 года был известный в то время профессор-социолог, один из видных деятелей русского масонства, Максим Ковалевский. В 1912 году его номинировали на Нобелевскую премию. Уголовное право с 1912 года и до самой кончины в 1920 г. преподавал профессор Николай Розин, один из крупнейших специалистов России по криминологии.

В 1915 году Павел Леон окончил юридический факультет Петербургского университета, получив диплом с отличием и защитив диссертацию по ирландскому законодательству, при этом концентрируя свои исследования на жизни и творчестве Жан-Жака Руссо. Наверное, это была воля судьбы, ибо на следующий год он начал работу над диссертацией на тему «Домашнее правление в Ирландии». Именно эту тему не раз обсуждал он в будущем с Джеймсом Джойсом. Однако учеба в докторантуре и написание диссертации прервались, когда 1 августа 1914 года Российская империя вступила в Первую мировую войну.

В 1915 году Павел записался добровольцем в 33-й пехотный

полк Русской императорской армии. С 15 июля 1915 года по 1 мая 1917-го он находился на фронте. За проявленную храбрость Павел Леопольдович Леон, которому в то время было только 22 года, был представлен к награждению Георгиевской медалью 1-й степени «За храбрость». В апреле 1917 года Павел Леон поступил в Академию подготовки офицеров и в сентябре был произведен в прапорщики. Он решил продолжить военную карьеру и поступил в Офицерскую пулеметно-артиллерийскую школу в Ораниенбауме. 1 февраля 1918 года П. Леон был прикомандирован к Военной академии в качестве инструктора артиллерии и пулеметов. Стойкость русской армии сыграла существенную роль в том, что и другие державы смогли выдержать натиск вражеских сил. 6 марта 1918 года в Брест-Литовске с Германией был заключен мирный договор, и Павел Леопольдович Леон был демобилизован.

После окончания войны Павел вернулся к учебе и работе в Московском университете, став ассистентом преподавателя конституционного права. В это же время он начал работать над диссертацией о Михаиле Бакунине «Проблема государства в свете анархизма» под руководством известных профессоров П. И. Новгородцева и С.А. Котляревского. Однако академическая карьера Павла закончилась внезапно. 12 февраля большевиками было принято «Постановление об упразднении юридических факультетов российских университетов», «ввиду совершенной устарелости учебных планов... полного несоответствия этих планов требованиям научной методологии»³⁶. Весь профессорский состав был исключен из университета, в том числе Павел Леопольдович. Семья Леонов стала готовиться к отъезду из революционной России.

* * *

Жизнь брата Александра, одаренного математика, физика, лингвиста, сложилась трагически. Вскоре после революции Александр Леопольдович Леон покинул Россию и какое-то время находился в Константинополе. Известно, что в середине 1920-х он жил в Лондоне, затем в Париже. О его пребывании в Лондоне можно узнать из коротких дневниковых записей К. Сомова 1926 г.: «Вечером с Ксенией и ее братом Алекс[андром] Леоном ездили в китайский ресторан на Oxford Circus»... или: «Я сидел у Поляковых до вечера. Видел у них Тедди Lessing'a и Александра Леонов»...

Женившись на итальянке Марии Фарина, Александр переехал жить в Италию, вероятно, в конце 1920-х – нач. 1930-х годов. В книге воспоминаний Люси приводит отрывок из письма Павла брату в Италию от 3 июня 1930 года. Из этого отрывка можно понять, как близки были братья; с ним делится Поль своими мыслями о Джойсе:

«В настоящее время я очень занят литературой. Я работаю с Джойсом. Это имя, вероятно, ничего не значит для тебя, но он великий, величайший

писатель в мире в наше время. И, прежде всего, он пишет так, что никто не может понять... Это можно назвать своего рода англо-китайским гибридным языком, который, несомненно, совершенен в своем роде. Также очень забавно – переводить в непонятные формулы самые простые идеи и верить, что они являются произведениями искусства»³⁷.

Александр поселился сначала в Милане, но вскоре переехал в Рим, а затем в Венецию, где устроился на работу конторским служащим. И он, и его жена были католиками. У Александра и Марии было трое детей – два сына и дочь, родившиеся между 1931-м и 1935 годами, но счастливая семейная жизнь продолжалась недолго. Мария умерла перед самой войной, оставив Александра вдовцом с тремя маленькими детьми. 30 апреля 1944 года Александра арестовывает гестапо; сначала он попадает в тюрьму, но вскоре его отправляют в пересыльный лагерь Fossoli. Лагерь был построен в 1942 году итальянской королевской армией для военнопленных. В декабре 1943 года он был превращен в концентрационный лагерь для евреев. С марта 1944 года он стал транзитным лагерем (Polizei und Durchgangslager) и использовался СС в качестве перевалочного пункта в нацистские лагеря смерти, то есть фактически стал платформой депортации из Италии. Только через Fossoli прошло более 5000 человек – политических и интернированных по национальной принадлежности; 12 конвоев интернированных депортировали в лагеря Освенцим-Биркенау, Маутхаузен, Дахау, Бухенвальд, Флоссенбург и Равенсбрюк. Первую партию заключенных отправили в Освенцим 2 августа 1944 года. В этой группе под № 14 находился Александр Леопольдович Леон.

6 августа 1944 года он погиб в газовой камере, разделив судьбу брата³⁸. Судьба сыновей Александра Леона неизвестна, но из одного письма Люси Леон, жены Павла Леопольдовича, мы узнаем, что семилетнюю дочь Надю спасла монахиня, спрятав ее в мешке из-под картошки. Дальнейшая судьба девочки неясна.

ПОЛЬ ЛЕОН. ЛОНДОН – ПАРИЖ 1920-30-х гг.

В 1919 году вся семья Леонов переправляется сначала в Финляндию, затем в Швецию, где они пробыли пять месяцев. В апреле 1919 года Павел Леопольдович поселяется в Лондоне, а остальные члены семьи уезжают во Францию. Обладая блестящим знанием английского языка, Павел Леон (теперь уже Поль Леон) быстро вошел в интеллектуальные круги Лондона. В одно из посещений Лондонской библиотеки он знакомится с выдающимся библиотекарем Лондонской библиотеки сэром Чарльзом Хагбергом Райтом (1893–1940). Разговорившись, они находят точку соприкосновения, совпадение их интересов приводит их к совместной работе над библиографическим исследованием «Англичане в России». Поль также принимает участие в подготовке статьи Райта «Герцен: Основатель русского либерализма», которая была напечатана в ноябре 1920 г. в журнале *Fortnightly*

Review. Леоны и Райты оставались друзьями и коллегами на протяжении многих лет, причем Поль часто предоставлял Райту библиографическую информацию и находил для него книги по русской истории и литературе. В одном из писем Райт благодарит Поля за его вклад в подготовку статьи «Бакунин», появившейся в журнале *The Fortnightly Review* в мае 1921 года. Райт пишет Полю, что он ответственен за «большую часть работы». Поль также подготовил английские переводы русских статей для журнала *New Age* в 1920 году.

Здесь же, в Лондоне, Поль Леон знакомится с Елизаветой Люси Понизовской, бывшей москвичкой, такой же беженкой, как и он сам. Люси происходила из известной семьи Понизовских-Виленкиных. Она была дочерью богатого московского купца Матвея Григорьевича Понизовского, выходца из белорусского городка Невель, и Амалии Абрамовны Виленкиной – из Царского Села. Отец Люси владел шестью крупными текстильными фабриками на территории нынешней Беларуси и Польши. Мать Люси рано умерла от испанского гриппа во время русской революции. Один из ее братьев, Яков Виленкин, погиб в Освенциме в феврале 1943 года. Второй брат – Григорий Виленкин – был дипломатом, жил в Англии. Французское правительство высоко оценило работу Григория Виленкина, присвоив ему звание «Officier d'Académie». Александр Виленкин, третий брат Амалии, был блестящим дипломатом и юристом, поэтом, учеником Иннокентия Анненского. Он окончил юридический факультет С.-Петербургского университета в 1906 году. В 1918 году за участие в деятельности антисоветской организации Александр Виленкин был арестован и расстрелян большевиками. Александр А. Виленкин оставил перед смертью на стене тюрьмы такую запись:

От пуль не прятался в кустах.
Не смерть, но трусость презирая,
Я жил с улыбкой на устах
И улыбался, умирая.

После революции главе семьи, Матвею Понизовскому, удалось бежать из России вместе с дочерьми Люси и Женей и сыновьями-близнецами Яковом (Джеймсом) и Александром. Благодаря нансеновским паспортам, которые они получили в посольстве Швеции, они добрались до Англии и остались в Лондоне. Сначала Матвей Понизовский и его семья поселились в гостинице «Kensington Gardens», где они прожили два года. Как и многие эмигранты, они были уверены, что смогут вернуться на родину. К сожалению, этого не произошло. По старой привычке они продолжали вести роскошный образ жизни, и деньги их стали быстро убывать. Таким образом, многие члены семьи были вынуждены искать работу.

Родители Люси, узнав о ее желании выйти замуж за эмигранта, были категорически против этого брака, особенно протестовал отец.

Однако, несмотря на недовольство отца, Люси дала согласие Полю, и они тайно поженились 26 июля 1920 года в ратуше Кенсингтонского дворца.

* * *

В 1921 году семья Леонов переезжает в Париж. Париж 1920–1930-х гг. возглавлял литературную и художественную жизнь, был притягательной точкой для писателей, художников, артистов, музыкантов со всех концов мира. В это время в Париже существует значительная община англоязычных и русскоязычных писателей. Здесь находят свое убежище американцы – Эрнест Хемингуэй и Скотт Фицджеральд, Эзра Паунд и Гертруда Стайн, Генри Миллер, молодой канадский писатель Джон Гласко и ирландцы – Сэмюэль Беккет, Джордж Риви – поэт-сюрреалист русского происхождения, издатель, переводчик и коллекционер произведений искусства, и Джеймс Джойс, будущий великий писатель. Среди русских особое место в литературе диаспоры заняли писатели как старой школы – Иван Бунин, Марк Алданов, Борис Зайцев, Георгий Адамович, так и молодые авторы – Борис Поплавский, Гайто Газданов, Нина Берберова и многие другие. Именно здесь, на берегах Сены, во вновь созданных литературных и артистических кругах, начинается новая жизнь, встречаются и рождаются молодые писатели, поэты, художники, музыканты. По окончании Первой мировой войны наступили «бурные» двадцатые годы, ставшие временем взлета художественного творчества. В книге «*Ciels et décors de France (promenade sentimentale d'un ci-devant)*» («Небоскребы и пейзажи Франции. Сентиментальные прогулки») Андрей Трофимов (Трубников) правильно заметил: «Мир рождается и умирает с каждым человеком, существует столько же Парижей, сколько парижан или туристов, побывавших в Париже»³⁹.

По приезде в Париж Поль и Люси поселяются в квартире Гишманов, которые переехали сюда вместе с Идой Израилевной в 1919 году⁴⁰. Генриетта и ее муж сняли квартиру по адресу 27, rue Casimir-Périer, на втором этаже – ту самую, в которой полвека назад жила знаменитая французская писательница русского происхождения, автор книги «Несчастья Софи», графиня Сегюр.

Владимир Осипович стал заниматься устройством интерьеров в богатых домах. Кроме того, в центре Парижа, на улице St. Honoré, рядом с дворцом Эллис, Гишманы открыли антикварный магазин-салон, где позже стали устраиваться художественные выставки.

Париж 1920-30 гг. был заселен русскими художниками, нуждавшимися в таком покровительстве. Поэтому сам факт существования посредника между художником и коллекционером обеспечивал художнику, по словам Бориса Поплавского, «спокойную рабочую атмосферу». Русские живописцы Парижа представляли самые разные художественные течения. Здесь поселились Хаим Сутин, Марк Шагал, Михаил Ларионов и Наталья Гончарова, Абрам Минчин, Иван Пуни, Осип

Падкин, Хана Орлова и многие другие. Магазин стал центром, клубом любителей русской живописи. Так, например, в 1930 г. в магазине Гиршманов проходила выставка работ Натальи Гончаровой. Констан-тин Сомов, частый гость в квартире на rue Casimir-Périer, вспоминает, что в начале апреля 1930 г. в магазине В.О. Гиршмана открылась коллективная выставка, в которой участвовали почти все мирискусники.

12 сентября 1925 года у Поля и Люси Леон родился сын, которого назвали Алексис Леопольд Александр Леон. Чтобы прокормить семью, Поль, прекрасный знаток искусства, занимается продажей антиквариата, работая в магазине сестры. В 1926-м и 1927 годах Поль Леон получил необходимые дипломы, подтверждающие его докторскую степень по юриспруденции для работы во Франции. Одновременно, с 1926-го по 1928-й, он печатает ряд статей во французской периодике, включая такие журналы, как *Annales de la Société Jean Jacques Rousseau*. Поль Леон был автором незавершенного монументального исследования о Ж.-Ж. Руссо, которое он писал на протяжении десяти лет⁴¹. Он перевел на французский язык и прокомментировал переписку Николая II и его матери⁴². Критическое издание переписки Бенжамена Констана и Жермены де Сталь⁴³, а также биография Констана были опубликованы Полем соответственно в 1928-м и в 1930 годах⁴⁴.

Здесь, в Париже, Поль и Люси продолжали быть в центре культурной жизни, часто посещая русский балет, театры, концерты классической музыки, выставки, встречались с друзьями. Среди самых близких друзей Леонов были американцы Мария и Юджин Джолас. Люси с теплом вспоминает о тех вечерах, которые они часто проводили в их доме:

«Одни из самых запоминающихся вечеров мы проводили в доме Джоласов в Нейи. Мария Джолас – прекрасная музыкантша с красивым голосом контральто, вместе с Джойсом, который обладал мягким ирландским тенором, и его сыном Джорджио, у которого был глубокий баритон, позже превратившийся в прекрасный бас, устраивали вечерние развлечения. У Джоласов в эти вечера, столь наполненные красотой и музыкой, мой муж около часа ночи садился за рояль и играл нам Шопена и свою интерпретацию «Шехеразады» Римского-Корсакова, а затем заканчивал свой репертуар цыганской музыкой»⁴⁵.

Гостеприимный дом Леонов на 27, rue Casimir-Périer также всегда был открыт для друзей. На обедах, устраиваемых Люси, за столом рядом с американцами Марией и Юджином Джолас, Эзрой Паундом и ирландцами Сэмюэлем Беккетом, Джеймсом Джойсом и Джорджем Риви сидели французские прозаики, любители живописи, искусствоведы, поэты, среди них – Филипп Супо, Леон-Поль Фарг и многие другие. Леон-Поль Фарг завораживал слушателей музыкой своих стихов, которые он читал медленно, нараспев, словно предчувствуя будущее всех сидящих за этим столом:

Погаснут наши окна, незнакомцы
По серой улице пройдут неторопливо,
И голоса,
Другие голоса затянут песню,
Глаза другие отуманятся слезами
Под новой кровлей. Будет всё
Исчерпано, всё будет прощено,
И свежей станет боль, и новым лес,
И, может быть, неведомым друзьям
Бог счастье даст, обещанное нам.⁴⁶

Самыми частыми гостями Леонов были старые петербургские друзья – Сергей Каминский, Владимир Верещагин, Константин Сомов, Александр Трубников, Николай Тимашев, Александр Попов, Алексей Струве и его брат Глеб Струве. О каждом из них можно было бы написать отдельную главу. И, конечно же, рядом всегда были братья и сестры Люси и Поля. Возможно, что Поль садился за рояль, а Владимир Верещагин, по просьбе присутствующих, пел любимый романс публики «Уйди, совсем уйди, я не хочу свиданий», положенный на его стихи Львом Дризо.

Круг интересов Леонов был обширным, а темы – неисчерпаемы. Поль Леон – несколько насмешливый, обладавший хорошим чувством юмора, был человеком разносторонних и богатых знаний. Люси, гостеприимная хозяйка дома, накрывала обильный стол. Звучала здесь не только музыка, часто обсуждались последние прочитанные книги. В доме Леонов, в компании русских друзей, царил интерес к французской литературе, которая читалась в подлиннике. Всегда в таких чтениях главенствовала Люси. К. Сомов вспоминает:

«Вчера обедал у молодых Леонов. После обеда пришли Геня [Генриетта] и В.О. [Владимир Осипович], и весь вечер был посвящен Прусту, рассказам о нем и даже чтению отрывков из нескольких его книг. Оказывается, Люси Матвеевна – дикая его поклонница, и удивлялась на меня, что я еще до сих пор его не читал. Она меня так соблазнила, да и читанные отрывки мне понравились, что я сейчас же попросил у нее первую книгу ‘Du cote de chez Swann’⁴⁷...» (*Париж. 23 февр. 1927*)⁴⁸

Среди иностранцев, которым Франция оказывала приют в период между двумя мировыми войнами, русские занимали особое место – русская интеллигенция ярко проявила себя в художественной, артистической и культурной жизни Парижа. Интерес к живописи был настолько велик, что только за май-июнь 1927 года в Париже прошли многочисленные выставки, которые Константин Сомов посетил с четой Леонов и Генриеттой Гиршман. Так, например, в «Салоне независимых» проходила выставка русской скульптуры, в которой приняли участие Архипенко, Липшиц, Цадкин и др. На Монпарнасе – выставки Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Марка Шагала, Ивана

Пуни, Константина Терешковича, др. А также прошли следующие выставки: «Английские художники 18-го века» – Рейнольдс, Гейнсборо, Лоуренс; «Salon. 1800–1900», которая включила в себя работы Боннара, Дюрена, Моро; выставка «Офорты Сальвадора Дали» была устроена в галерее «Quatre Chemins»; а выставка, посвященная королю Людовику XV, представила работы Фрагонара, Латура, Лиотара.

Одновременно происходит расцвет русской философской и религиозной мысли. Во Франции громко заявили о себе такие философы как Лев Шестов, Николай Бердяев, Александр Кожев, Николай Лосский, Георгий Гурвич и другие. Поль Леон, профессор философии и социологии, с 1930-го по 1940 г. был секретарем французского журнала «Международный архив социологии» и принимал активное участие в работе Общества социологов и философов в Париже. Он был серьезным ученым, глубоко изучающим современные философские учения как русских, так и французских философов.

После 1930 года по материальному положению русских иммигрантов очень больно ударил экономический кризис. И хотя время было особенно трудным, эмигранты постепенно проникают во все сферы культурной жизни приютившей их страны. Происходит постепенное сближение с искусством и литературой Запада. Но и людям искусства нужна был работа. А Париж был населен бедными художниками, писателями, поэтами, артистами, многие из которых жили в нищете:

«Во Франции постепенно всем иностранцам становится хуже и хуже. Я совершенно в этом году из художников никого не вижу и не знаю, что они делают. Вероятно, все в дикой нужде. Выставки нашей не будет. Не к чему ее делать: надежд на продажу нет» (Париж. 13 марта 1933. Из дневника К.Сомова)⁴⁹.

Не обошли трудности и семью Леонов-Гиршманов. Теперь, из-за ограниченного бюджета, кризиса 1930 г. и болезни Владимира Осиповича Гиршмана, заказывать картины или покупать их как прежде они уже не могли. Редкие устраиваемые в магазине выставки как-то помогали существованию лавки, но из-за материальной нужды Генриетте приходится переехать с мужем в комнату на всем готовом при русской школе княгини Ирины Павловны Палей под Парижем, где Генриетта нашла работу на очень низкое жалованье. Пришлось ей еще работать в издательстве и в приюте для детей эмигрантов.

В 1936 году умер Владимир Осипович Гиршман, муж Генриетты. В 1939 (1940?), как раз перед войной, Г.Л. Гиршман уехала в Америку, где стала личным секретарем дирижера Бостонского оркестра С. Кусевицкого, с которым была знакома еще по Москве. В 1962 г. Генриетта вернулась во Францию. Старшая сестра Поля Леона, Генриетта Гиршман, умерла в 1970 году в Ницце.

«Мне кажется, со временем много будет написано об атмосфере 30-х годов в Париже, потому что в Париж волей судьбы переместился центр – не русской жизни и не русской литературы, конечно, но некоторый очень важ-

ный центр – ‘человека своего столетия’», – писал Юрий Терапиано в статье «Человек 30-х годов»⁵⁰.

GOOD MORNING, THIS IS JOYCE. IS HE THERE?*

Джеймс Джойс и Поль Леон познакомились в 1928 году. Это стало началом дружбы, которая длилась двенадцать лет и продолжалась бы бесконечно долго, если бы оба они остались в живых. Люси Леон писала о своем муже:

«Мой муж был человеком мира в лучшем смысле этого слова; его ум работал с точностью, и он обладал независимыми выдающимися способностями, что делало его нетерпимым к посредственности и именно поэтому быстро оценившим гений Джойса»⁵¹.

На момент их первой встречи Джойсу было сорок семь лет, Полю Леону – тридцать пять. Но разница в возрасте не стала препятствием их многолетней дружбе и глубокому взаимопониманию. По странной, почти мистической случайности, Джеймс Джойс увековечил имя Поля еще до их первой встречи, в романе «Улисс», где совпали имена его главного героя Леопольда Паула Блума (Leopold Paula Bloom) и Поля Леопольдовича Леона (Paul Leonold Léon). Как же познакомились и подружились два таких разных по образованию и культурной основе человека?

Существует несколько версий, рассказанных членами семьи Леонов. По одной из них, их познакомил брат Люси, Александр Пони-зовский. Красавец, интеллектual, успешный бизнесмен, он часто на-ходил себе друзей в кругах тогдашнего богемного Парижа. Владимиру Набокову, знавшему Александра по совместному обучению в Кембридже и часто бывавшему в доме Леонов, молодой человек нравился за присущую ему «тихую эксцентричность». Так, например, однажды, вспоминает Набоков, он проглотил содержимое пузырька с чернилами, который оказался у него под рукой.

Алекса Понизовского часто можно было увидеть в компании художницы Хейзел Гуггенхайм и ее родственницы, гениальной патронессы искусства, большой поклонницы художественных талантов Пегги Гуггенхайм, будущей возлюбленной Джорджо, сына Джойса. Часто видели Алекса также рядом с очаровательной, кокетливой и сексапильной испанкой, француженкой и американкой одновременно – танцовщицей, поэтессой со скандальной репутацией Анаис Нин. В одной из дневниковых записей Анаис Нин пишет о том, что перед очередным отъездом из Парижа в Англию она посещает магазин Сильвии Бич⁵². Несомненно, что именно в книжном магазине «Шекспир и Компания» Анаис Нин познакомилась с Джеймсом Джойсом, имя которого упоминает в своих еще более ранних дневниках. По одной из версий, Нин познакомила Алекса Понизовского с

*«Доброе утро, это Джойс. Он дома?»

ирландским писателем, который искал человека, способного научить его русскому языку. Об этом пишет в предисловии к лондонскому изданию Анна Мария Леон, жена Алексиса:

«Алекс был очень успешным бизнесменом и известно, что он был другом Хейзел и Пегги Гугтенхайм и Анаис Нин. Именно Нин познакомила Алекса Понизовского с Джеймсом Джойсом, который искал человека, способного научить его русскому языку. У Джима не было времени, и он сразу же вспомнил о своем шурине, Поле Леоне. Так Поль и Джойс познакомились»⁵³.

По другой версии (со слов Алексиса), познакомила Алекса Понизовского с Джойсом Лючия, дочь писателя. Так или иначе, Алекс, зная интерес Поля Леона к Ирландии и ирландскому праву и желание Джойса изучать русский язык и русскую литературу, организовал эту встречу. Таким образом, если верить воспоминаниям сына Джойса, состоялось знакомство Поля Леона и Джеймса Джойса.

Но существует еще и третья версия, самой Люси Леон, о том, что Алекс Понизовский познакомился с Джеймсом Джойсом в доме у Хелен Кастор Флайшман, подруги Люси и невесты Джоржио, сына Джойса. Так или иначе, это судьбоносное знакомство, изменившее жизни обеих семей, имело место быть.

Алексис Леон часто задавался вопросом, что же общего нашел Джеймс Джойс в его отце, что привлекло их друг в друга, и почему они проводили так много времени вместе? В период с 1930-го по 1940 год, то есть более десяти лет, они почти каждый день не только встречались на квартире Поля в Париже, но и виделись в обществе. Поль Леон стал больше чем другом великому писателю — он стал его советчиком, переводчиком, секретарем, порой отправлявшим по 20 писем в день от имени Джойса, касавшихся самых различных деловых тем: финансовых, издательских, юридических и переводческих, а часто и личных.

«Что они находили друг в друге? Думаю, прежде всего то, что они оба были изгнанниками. Джойс покинул Ирландию в начале века, кажется, в 1904 году, и отправился в Триест, а после Триеста — в Цюрих и, наконец, в 20-е годы обосновался в Париже. А мой отец, естественно, был одним из тех русских изгнанников, кто покинул Россию после русской революции. Так что это уже была своего рода связь. Во-вторых, я думаю, что Джойсу нужен был кто-то бескорыстный. Ведь мой отец вообще отказался принимать какие-либо деньги от мистера Джойса; так же, как он не принимал их от тех бедных русских, которые пытались бороться с французской бюрократией» (Из интервью с Алексисом Леоном)⁵⁴.

Когда у Поля спрашивали, почему он посвящал всё свое время Джойсу, он отвечал: «Мне намного интереснее наблюдать за процессом творчества Джойса — он заставляет меня искать слова на разных языках, и его умственный процесс и метаморфозы языка, которым он предается, очень увлекательны»⁵⁵.

Люси Леон лучше всего определила причину их крепкой друж-

бы: Джойсу, считала она, был нужен друг, на которого он мог бы положиться в плане практического совета и духовного утешения. Благодаря своему интересу к творчеству Джойса и глубокой симпатии к самому автору Поль Леон стал именно тем другом, в котором так нуждался ирландский писатель, – умным, образованным, серьезным и часто насмешливым.

Иногда Джойс воспринимал очень серьезно юмор Поля. «Сэр, это может быть гениально, может даже быть искусством, я вам полностью доверяю, но, пожалуйста, не просите меня всё это понять»⁵⁶, – серьезно говорил Поль. Когда он так подтрунивал над романами Джойса, тот обвинял его, что он воспринимает его умственную акробатику недостаточно серьезно. Но Поль, чья память была блестящей, мог цитировать целые абзацы из произведений Джойса и тут же указывать ему на его недочеты.

Почти каждый день в четверть первого или около шести часов Джойс наведывался на квартиру Леонов. Когда горничная вводила Джойса в гостиную, его первый вопрос был: «Он там?» Если Поль был дома, они снова садились за работу: начинали перелистывать гранки, обсуждать написанное, спорить, соглашаться и опять спорить. Споры были негромкие, и очень скоро наступало перемирие. После напряженной работы они иногда направлялись на угол улицы в бistro, чтобы выпить аперитив и просто поболтать о жизни или обсудить какую-нибудь текущую проблему, гонорары или здоровье дочери Джойса Люции. И так каждый день. Вечером Поль провожал Джойса до самого дома писателя, так как уже тогда тот стал терять зрение. На следующий день Джойс обычно звонил по телефону рано утром и всегда произносил одну и ту же фразу: «Good Morning, this is Joyce. Is he there?»

Об одном из очередных визитов Джойса к Леоном вспоминает в своем дневнике К. Сомов, сам не только часто навещавший друзей, но порой и остававшийся ночевать в их гостеприимном доме. Между посетителями, хозяевами и ирландским писателем не раз проходили длинные беседы, тянувшиеся иногда до полуночи. Говорили о «соединении» двух поколений – молодых и стариков, «о добром начале жизни», о «приоритете мужчины или женщины»; о Христе и его роли в человеческой жизни, о Библии, Евангелии; о том, что Наполеон – это «не только зло, но и романтика, сумасшествие и поиск какого-то непонятного идеала»: «...длинная сложная беседа до третьего часа ночи между мною и Джойсом и, отчасти, Люси. Обо всем, в сущности, как умеют говорить только русские интеллигенты и, вероятно, тоже ирландцы...»⁵⁷

Одним из замечательных качеств Павла Леопольдовича было умение легко сходитьсь с людьми, именно поэтому он стал тем посредником, который представил Джойса русским литературным кругам Парижа и, в частности, Владимиру Набокову. О встрече с ним расскажет в своих воспоминаниях Люси Леон, помогавшая Набокову

с переводом на английский язык его романа «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»).

Поль Леон страдал астмой, примерно раз в год у него случался сильный приступ. Обычно приступам предшествовала серьезная простуда, а потом начинался бронхит. В такие дни Полю приходилось находиться подолгу в постели и лечиться горячим чаем, коньяком с лимоном и каплями адреналина, если астма становилась сильнее. «Но если болезнь Поля длилась дольше двух-трех дней, Джойс все равно ‘храбрился’ и приходил к нему в гости...»⁵⁸

Джойс всегда верил в силу совпадений, и, похоже, судьба свела этих двух людей в самое сложное время жизни писателя – как в личном, так и в творческом плане. Без постоянной эмоциональной и психологической поддержки Поля, его грамотных юридических и прагматичных финансовых советов Джойс не смог бы справиться с растущими трудностями, с которыми он и его семья столкнулись в 1930-е годы. Более того, Джойс точно не смог бы дописать «Поминки по Финнегану» (*Finnegans Wake*), если бы Поль не вмешался, чтобы противостоять препятствиям, которые мешали Джойсу «завершить» его заведомо бесконечную «незавершенную работу». Люси Леон выразила это лучше всего: «Мой муж Поль, благодаря своему интересу к творчеству Джойса, своей привязанности и глубокой симпатии к Джойсу-человеку, стал таким другом»⁵⁹.

Поль переписывал и исправлял рукопись, читал Джойсу вслух, занимался деловой и личной почтой, а также следил за выполнением контрактов с издателями. В 1930-е годы он взял на себя множество обязанностей, которые могли бы помешать Джойсу работать над новыми текстами.

Если Джеймс Джойс получил славу всемирно известного писателя, чьи произведения продолжают привлекать внимание читателей и критиков всего мира, а жизнь его описана в монументальной биографии Ричарда Эллманна и не только, то Поль Леон всё еще остается «малоизвестным», если не сказать – «незаслуженно забытым».

* * *

В мае 1939 года в Париже выходит, наконец, из печати книга Джойса «Поминки по Финнегану» (*Finnegans Wake*). А ровно через год, 14 июня 1940-го, немцы без боя входят в Париж.

Незадолго до начала войны произошла неожиданная ссора между Джеймсом Джойсом и Полем Леоном. Расхождение, касающееся женитьбы Джорджио, дошло до того, что Джойс поручил Алексу Понизовскому попросить Поля вернуть доверенности на издание его книг. Разрыв с Полем Леоном очень сильно ударил по деловым и финансовым делам писателя, так как ими полностью занимался Поль.

Вторая мировая война и вторжение немецкой армии в Париж прерывают «золотой век» литературного Парижа. Когда-то многочисленные улицы города вдруг затихают. Поэтесса русского Парижа

Лидия Бердяева, жена философа Николая Бердяева, описала этот город в стихотворении «Париж 40-43»:

Под саваном черным
Труп посиневший,
Труп охладевший.
Ни звона печального,
Ни служб погребальных,
Ни слез прощальных.
Ты умер иль спишь,
О, сын Свободы?
Ты умер иль спишь,
Красавец Париж?

Париж как центр культурной жизни перестает существовать. Закрылась еще одна страничка его удивительной истории. Заколочены двери магазинов, задернуты на окнах шторы. На rue Lauriston теперь располагается гестапо. Предчувствие конца охватило многих русских парижан – они, бежавшие из одного пепелища, попадают в другое. Это состояние очень точно выразил прозаик Василий Яновский, успевший покинуть Париж перед началом войны:

«Магический воздух, которым мы вдруг незаслуженно начали дышать, пожалуй, возмещал многие потери, порой даже с лихвой. Отсюда присущее нам чувство непрочности обретенного счастья и страха, страха перед грядущим...»⁶⁰

16 июня 1940 г. Джойс уезжает в «свободную зону», в Сен-Жеран-ле-Пюи⁶¹, деревню, расположенную в центральной Франции, куда в тот же день приехала Люси. Полю, к всеобщему удивлению, прибыл на следующий день на ослиной повозке. «Господь Иисус Христос въехал в Иерусалим на осле», – воскликнул он, стряхивая с себя дорожную пыль, когда все бросились к нему навстречу.

Тогда, наконец-то, между друзьями происходит перемирие. Леоны и Джойсы находят убежище в доме – вернее, в маленьком отеле Марии Джолас, где она прятала беженцев из Парижа. Место было не слишком удобным: приходилось спать на армейских раскладушках, но зато, как вспоминает Люси, в распоряжении была огромная кухня. По вечерам все спускались в главную столовую и целый час слушали новости по ветхому старому радио. Жизнь двух семей превратилась в однообразный период ожидания без особых надежд. Никто не мог предвидеть будущее достаточно ясно, чтобы строить какие-либо планы. Вскоре Леоны нашли комнату на ферме недалеко от деревни. Джойсы оставались в отеле весь июль и август. Каждое утро около одиннадцати Джойс отправлялся за Полем на ферму, где жили Леоны. Чтобы позвать Поля, он громко стучал тростью по забору. Они прогуливались вместе, рука об руку, потом находили срублен-

ное дерево в каком-нибудь удобном месте и проводили там много времени – иногда разговаривая, но чаще молча.

В те летние дни 1940 года Джойс и Леон были заняты вычитыванием опечаток в «Поминках по Финнегану». Настроение у всех было мрачное, жили в постоянном страхе и предчувствии надвигающейся катастрофы. Джойс переживает за детей, за будущее. Лючия, дочь писателя, находится в клинике для душевнобольных; Джорджо, сын, должен быть где-то в Париже, но от него нет никаких вестей. Джойса мучают постоянные боли в желудке. Денег теперь едва хватает на еду. Люси вспоминает, что с лета 1940 года они с Полем жили за счет продажи коллекций марок, первых изданий книг из коллекции мужа и большей части мебели.

РИСКУЯ ЖИЗНЬЮ...

В сентябре Леоны приняли роковое решение – вернуться в оккупированный нацистами Париж. Джойсы оставались одни в деревне, так как Джоласы навсегда уехали в Америку. В то же время Джойс начинает хлопотать о переезде в Швейцарию. С великими трудностями, при содействии знакомых, дело продвигалось медленно, но все-таки оно достигло благополучного итога, и 17 декабря Джойс с женой и сыном поселяется в Цюрихе. Но начинать здесь снова жизнь ему было не суждено. До этого Джеймс перенес 12 операций на глаза. Перед каждой он говорил всем, что видит их в последний раз, так как был риск, что он навсегда ослепнет. Писать самостоятельно он уже не мог. С каждым днем всё сильнее становились боли в желудке, и никакие лекарства не помогали, ни обезболивающее, ни снотворное. Вскоре после Нового года, 9 января, его увезли в больницу с острой болью в желудке. В ночь на 13 января 1941 года в 2 часа 15 минут Джойс скончался от перитонита, вызванного перфорацией язвы.

Леоны узнали эту новость случайно, будучи уже в Париже. Вечером Поль вышел из дома купить пачку сигарет в бистро, куда он часто заходил с Джойсом. Увидев Поля, хозяйка бистро вдруг разрыдалась – она слышала эту новость раньше и сообщила ее потрясенному Полю: «Какое несчастье, месье, и всё из-за этой ужасной войны».

Поль был настолько подавлен, что несколько дней не мог заставить себя говорить о Джойсе. Люси Леон вспоминает: «Болезненно остро мы все осознали потерю нашего друга... И для нас это было лишь прелюдией к еще более мрачным дням и еще более трагическому периоду»⁶². Горе Поля было безмерным еще и потому, что присутствовать на похоронах друга он не мог, так как находился в это время в Париже. В своих коротких воспоминаниях о Джойсе Поль Леон пишет: «События разлучили нас, и по мере того, как эта разлука становится всё дальше, труднее поверить в то, что я больше никогда его не увижу...»⁶³

Теперь перед Полем встала задача: любым путем не дать про-

пасть, спасти рукописи и архивы Джеймса Джойса. Он понимал, что в сложившихся условиях задача была нелегкой, но рядом были преданная жена, друзья...

Вернувшись в оккупированный немцами Париж, Леоны были шокированы тем, насколько изменился город. Может быть, Полю вспомнились пророческие строки из стихотворения Шарля Бодлера:

Изменился Париж мой, но грусть неизменна.
Всё становится символом – краны, леса,
Старый город, привычная старая Сена, –
Больно вспомнить их милые мне голоса⁶⁴.

Город действительно будто как-то сразу состарился, погрузнел. Присутствие немецких солдат изменило лицо города, Париж выглядел чужим. Огромный рекламный щит с карикатурой на еврея в образе монстра красовался на Елисейских полях. Но этого было недостаточно: для усиления пропаганды антисемитизма на Елисейских полях и Большом бульваре висел внушительного вида плакат, объявляющий о показе в кинотеатрах фильма «Еврей Зюсс». Этот новый шокирующий фильм нацистской пропаганды, один из трех, снятых в 1940 году по заказу Геббельса, был чудовищной пародией на роман великого немецко-еврейского писателя Леона Фейхтвангера, беженца, который в тот момент ютился в местечке Ле Милль, в лагере для интернированных, на юге Франции. Позже он напишет книгу воспоминаний «Черт во Франции» («The Devil in France») о своей лагерной жизни, полной унижений и невзгод.

После того, как 27 сентября был издан указ о переписи еврейского населения, поползли самые разнообразные слухи, пробудившие у многих тяжелое предчувствие. Среди зарегистрированных евреев-иностранцев в большинстве были польские евреи (26158), затем – евреи из России (7228). Более пристальный анализ установил, что евреев-иностранцев с французскими паспортами насчитывалось примерно столько же, сколько французских евреев. Первая цель полицейских репрессий в отношении еврейского населения осенью 1940 года – моральное и политическое разоружение «врага». С осени 1940-го по апрель 1941-го было сделано более 200 налетов на мирное население и различные еврейские организации. В это же время, в августе 1940 года к этим акциям подключилось и гестапо. Обыскивали квартиры евреев по личному указу Герберта Хагена, главы гестапо в Париже. Евреев-иностранцев арестовывали в первую очередь.

Трудно себе представить, что Поль не знал о том, что происходило в стране. Друзья Поля и Джойса, Сэмюэль Беккет и Леон-Поль Фарг уговаривали его как можно скорее покинуть город. Но одной из главных причин возвращения Поля в Париж было спасение архивов Джойса... потом – книги, без которых он не представлял свою жизнь. Люси должна была вернуться к своей работе корреспондентом аме-

риканской газеты *New York Herald Tribune*, где регулярно выходила ее колонка «Мода в Париже» (под псевдонимом «Люси Ноэль»), так как нужны были деньги. Алексису еще предстояло сдать экзамены за первый курс бакалавриата.

Поль Леон никогда не скрывал своего происхождения. Когда немцы издали указ о том, что все евреи должны зарегистрироваться, приехав в Париж, он первым делом надел желтую звезду. То же самое из солидарности сделала и Люси. Затем Поль написал письмо о своем отказе от поста секретаря в «Философских архивах», так как издание уже было под контролем немцев.

Для спасения архивов Джойса Поль неоднократно пересекал Сену, чтобы вывезти их из последней парижской квартиры писателя, расположенной по адресу 34 rue des Vignes в Пасси, и спрятать от нацистов личные бумаги писателя. Во время немецкой оккупации донести мог любой, и при малейшей неосмотрительности можно было попасть в руки французской полиции или гестапо. Один из друзей семьи вспоминал, что в комендантский час, когда евреям не разрешалось передвигаться по улицам ночью, Поля в любую минуту мог поймать немецкий патруль, который всегда с подозрением относился к любому прохожему на улице. Другая опасность заключалась в консьержке, которой пришлось заплатить двести франков, чтобы можно было успеть вывезти необходимые личные вещи писателя. Все-таки с риском для жизни ему удалось совершить несколько поездок. Он периодически приходил с носильщиком и тачкой, потом возвращался снова, потому что в квартире были сотни книг, тысячи страниц ценных рукописей писателя. И каждый раз он подвергал свою жизнь опасности.

Таким образом Полю удалось вывезти много вещей из квартиры Джойса. Все важные бумаги и документы он аккуратно сложил в большой чемодан, затем взял всю личную переписку Джойса за годы их дружбы и положил ее в коричневый конверт, на котором написал: *«Частная переписка между Джеймсом Джойсом и Полем Леоном»*. Многие вещи Джойса Поль отдал на попечение адвокату, а некоторые, более личные вещи, оставил у друга. Поль и Люси составили полный и подробный список вывезенных из квартиры Джойса личных вещей, которые в дальнейшем были переданы жене Джойса, Норе.

Тем временем нужно было решить еще одну проблему – спасение архивов Джойса, всё еще находящихся в бывшей квартире писателя. Неожиданным препятствием стал владелец квартиры на rue des Vignes, который потребовал арендную плату за несколько месяцев. Заплатить такую сумму у Поля денег не было. Никакие уговоры подождать до конца войны не помогали. Более того, владелец-француз, почуяв наживу, решил провести аукцион по продаже всего содержимого квартиры. Примерно в это же время брат Люси, Алекс Понизовский, тоже тайно приехал в Париж из свободной зоны. Он был, по существу, единственным, кто мог помочь им в финансовом отношении. Алекс предоставил в их распоряжение двадцать или два-

дцать пять тысяч франков, что в то время было немалой суммой⁶⁵. Итак, ранним утром 7 марта 1941 года начался аукцион. У Поля было то преимущество, что он знал цену каждой книге, и на средства, предоставленные Алексом, он смог выкупить всё, что считал стоящим, за исключением одной книги. Это был экземпляр *Pomes Penyeach* («Пенни на штуку». Сб. стихов Джойса. 1927).

Чемодан с архивами писателя сначала хранился в квартире Леонов. После ареста мужа Люси умоляла Британское посольство сохранить рукописи Д. Джойса, но получила отказ. Поэтому в отчаянии она, в конце концов, спрятала часть документов, книг, писем и рукописей в чемоданах, которые оставила у друзей. Люси Леон удалось передать 50 папок с документами из квартиры Джойса ирландскому представительству в Париже. Большую помощь Люси и Полю оказывали такие близкие друзья, как Сергей Каминский, Александр Трубников и Глеб Струве. Они выкупали некоторые книги из библиотеки Поля, по сути, заложенные в ломбард.

Позже часть архивных материалов Поля Леона были переданы его женой Люси в университет г. Тулсы, штат Оклахома. Переписка Леона и Джойса была куплена в 1996 году Национальной библиотекой Ирландии у сына Поля Леона, Алексиса Леона, и его жены. На протяжении всей своей жизни Люси хранила оставшуюся коллекцию Джойсов–Леонов в семейной квартире на улице Casimir-Périer, пока Алексис в 2000 году не обнаружил в парижской квартире родителей хранилище с этими драгоценными рукописями. Они тоже были переданы в дар Национальной библиотеке Ирландии.

После смерти Джойса, когда Париж был оккупирован немецкой армией, Поль совершил подвиг, доказавший не только личную, но и профессиональную преданность ирландскому писателю. Он выполнил свой долг, проявив при этом мужество и верность памяти друга. Поль Леон ценой своей жизни сохранил для следующих поколений архивы Джеймса Джойса. Если бы не самоотверженный поступок эмигранта из России, как мало знали бы сейчас во всем мире о жизни и творчестве великого ирландского писателя.

TOUJOURS TON PAUL *

В период между сентябрем 1940 г. и августом 1941 г. гестапо не только вызывало к себе на допросы Люси и Поля, но и не раз наведывалось в квартиру Леонов. С каждым таким визитом допросы становились всё более унижительными и яростными. Несмотря на гестаповские налеты, Поль считал, что аресту он не подлежит, так как никогда не вмешивался в политику и не практиковал как юрист; к тому же, он часто посещал русскую церковь в Париже, став большим почитателем философа, священника Сергея Булгакова.

В тот жаркий день ранним утром 20 августа 1941 года, когда

* «Всегда твой Поль» (Из писем Поля Леона жене).

улицы Парижа заливали лучи яркого летнего солнца, была проведена еще одна жестокая облава на еврейское население. В первую очередь арестовали членов Парижской коллегии адвокатов, прямо во Дворце Правосудия. Облаву проводила французская полиция. Останавливали, в основном, всех мужчин до 60 лет – как французов, так и иностранцев, где бы они ни находились – в домах, на улицах, в магазинах. Проверяли документы даже прямо у станции метро. Только в этот день было арестовано 4232 человека. На следующий день, 21 августа, было схвачено еще 50 видных еврейских деятелей. Поля Леона арестовали ранним утром в его квартире – как заместителя генерального секретаря Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique⁶⁶, которым он был с 1930 года до ухода в отставку в 1940 году. Будучи уверенным, что произошла какая-то ошибка, Поль Леон писал жене из лагеря Дранси, куда привезли всех заключенных адвокатов: «Меня задержали вместе с адвокатами Парижской коллегии адвокатов – конечно, ошибочно, ведь я не француз и не член Коллегии адвокатов...» В то время сообщалось, что арест еврейских адвокатов 21 августа 1941 года был репрессивной мерой. Утверждалось, что еврейские адвокаты и интеллигенция разжигали коммунистическое сопротивление нацистской оккупации.

«Ситуация в оккупированной зоне становится драматической. Шесть тысяч человек еврейской национальности из 11 округа были интернированы⁶⁷, а те французские адвокаты, которые ходатайствовали о предоставлении им льгот, были немедленно арестованы... Чрезвычайные суды и казни; это – политический террор в дополнение к жестокости военной оккупации», – так описывает происходящее в эти дни в своем дневнике Раймон Ламбер, погибший в августе 1943-го в Освенциме вместе с женой и четырьмя детьми⁶⁸.

Итак, все арестованные, так называемая «Группа адвокатов», были доставлены на автобусах в Дранси. Лагерь был во власти немецкого офицера, садиста Теодора Даннеккера. Для проформы комендантом был назначен французский чиновник. С этого момента начинается история лагеря Дранси и его заключенных. Однако лагерь к приему «гостей» готов еще не был: не было ни кроватей, ни матрасов, ни даже кухни. По мере поступления прибывшие, как могли, устраивались прямо на полу. Недаром лагерь называли «Парижским Дахау». И хотя он был еще не приспособлен для принятия интернированных, глава антиеврейской немецкой администрации Теодор Даннеккер уже успел издать указ о том, что контакты между заключенными и жандармами строго запрещены. Также не разрешалось узникам выходить из своих комнат, курить, разговаривать, смотреть в окна, получать письма и посылки. И всё же 22 августа 1941 г. Люси находит первое письмо от Поля:

«Моя дорогая Люси... Мы спим на голых деревянных досках, а я, к сожалению, недостаточно толст, поэтому мои кости страдают. Но нам обеща-

ли, что впереди нас ждет большая роскошь – соломенные матрасы! Ни в коем случае не предпринимай никаких конкретных действий. Главный приоритет – сохранить достоинство... Здесь, в Дранси, нас уже около 8000 человек, и всё время прибывают новые... Пользуюсь возможностью отправить тебе это письмо, хотя и не уверен, что оно дойдет... Так или иначе, ты должна понять, что ни в чем не виновата...»

В этом же письме Поль еще надеется, что вскоре его могут отпустить, но высказывает опасения, что может быть и новый арест. Он просит Люси по возможности прислать тетради и ручку, которые впопыхах не успел захватить. И, конечно же, его донимает недостаток еды. Но разрешения на посылки пока еще нет. В конце письма он передает привет сестре Кате и консьержке. Просит их не переживать за него. В первых своих письмах Поль старается звучать оптимистично, но постепенно, читая его многочисленные послания из лагеря, понимаешь, как уходит надежда, и мрачные мысли уже невозможно скрыть от любимой женщины.

Сразу же после ареста мужа, на следующий день Люси вступила во Французский Красный Крест, задачей которого было оказание первой помощи узникам концентрационных лагерей. Наконец немцы разрешили отправку продовольственных посылок, и она организовала пункт сбора и их распределения по лагерям. После получения разрешения на переписку Люси стала переправлять корреспонденцию и деньги интернированным в различных лагерях, навещала семьи, выполняла поручения и предпринимала самые отчаянные попытки облегчить участь невинных людей, а главное, спасти своего мужа. Она также помогала организовывать «побег» для тех, кто был в списке следующих партий, переправляя их в безопасную зону. Теперь Люси посвятила свою жизнь преследуемым, их семьям и тем, кто находился в лагерях. Несмотря на все ее попытки облегчить состояние Поля, в начале сентября настроение его резко меняется:

«Сегодня я совсем впал в пессимизм. После инспекции и фотосессии, которая оказалась чистым унижением, нам сообщили, что наша камера будет расформирована... Всё зависит от некоего лейтенанта Даннекера... Пожилые люди, те, кому за 60, и молодые, до 18 лет, которые должны были уйти, всё еще здесь, и у меня такое чувство, что мы останемся здесь надолго, если не до самого конца войны».

16 сентября Поль сообщает, что неожиданно немецкая администрация покинула лагерь и на замену им явилась французская полиция, которая оказалась более суровой и коррумпированной. Поль жалуется на страшный шум в комнате, он устал и болен. 30 сентября он просит, чтобы его близкий друг Сергей Каминский навестил отца Сергия Булгакова и попросил его помолиться о нем: «С тех пор как я здесь, только память о Русской православной церкви позволяет мне иногда находить силы», – пишет Поль. Но уже 9 октября он просит у

Люси прощения за свои жалобы, понимая, как трудно ей поддерживать его и морально, и материально:

«Дорогая, дорогая Люси, прости меня, любимая, за мои жалобы, за мою грусть, за мою повышенную чувствительность – единственное мое оправдание в том, что я ослаб морально, физически, да и во всех остальных отношениях тоже. Я дошел до того, что даже задумываюсь, не является ли это состояние необратимым».

Жизнь Люси тоже в опасности. Вскоре французский полицией и гестаповцы, которые узнали о дружбе Поля с Джойсом, явились в резиденцию Леонов в поисках ценных вещей, которые, как они предполагали, должны были там находиться. Особенно их интересовали первые издания произведений Джеймса Джойса, к этому моменту стоившие огромных денег. До этого один из гестаповцев уже посетил магазин Сильвии Бич в поисках редкого издания книги Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану», но Сильвии удалось спрятать книги до того, как немцы опечатали ее магазин. Однако и Люси Леон тщательно спрятала всё принадлежащее Джойсу так, что гестаповцы не смогли обнаружить. Теперь Люси поняла, какая опасность грозит ей. Но, спасая свою жизнь, она должна была предпринимать все возможные меры для спасения мужа.

Один из студентов Поля, участвовавший в Сопротивлении, увидев имя Люси Леон в потенциальных списках на арест и депортацию, успел ее предупредить. По словам Люси, она «вышла из дома с немногочисленными пожитками и восемь месяцев вела тяжелое существование, меняя дома, адреса, постоянно переезжая, и всё еще пытаясь выгнать мужа и помочь остальным. Так продолжалось до 27 декабря 1941 года»⁶⁹. В конце октября связь из лагеря с внешним миром была почти прервана. Однако благодаря усилиям Люси им удавалось обмениваться письмами. Выписка из письма, датированного 22 октября 1941 г.:

«...Не думай, что я совсем сошел с ума, хотя я не так уж далек от безумия. Но важно привести в порядок мой план... Я очень хочу, чтобы Бог коснулся меня Своей благодатью. Я думаю, что мои нынешние испытания, причиняющие физические страдания всему моему существу, в свою очередь, влияют и на мое моральное состояние... Пусть лучше страдаю я, чем потерять кого-то столь дорогого для меня, как Шура потерял Марию⁷⁰. Вот почему я молюсь Богу за всех. Расскажи об этом Катрин⁷¹. Возможно, через что я сейчас прохожу, это те испытания, которые доводят меня до безумия... Я, как всегда, обнимаю тебя. Поль».

Но моральное и физическое состояние Поля ухудшается с каждым днем. 5 и 6 ноября он отправил Люси несколько очень кратких писем, из которых ясно, как глубоко он страдает, и постепенно теряет надежду на освобождение. Выдержка из письма 5 ноября: «Каждый день, каждый час только усугубляют мои страдания. Я чувствую, как меня затягивает пустота. На тебя я возлагаю всю свою надежду...»

Особенно тяжело заключенные переносили голод. В один из октябрьских дней, измотанные до крайности голодом, они устроили демонстрацию протеста. В день выдавали супную жижу, кофе и 250 граммов хлеба. Многие узники от недоедания тяжело болели. 7 ноября он снова пишет жене:

«Люси, дорогая, я получил небольшую работу в одном из лагерей, так что мне стало легче на душе. Но мне всё еще очень тяжело, и я в полном оцепенении. Мне даже трудно думать. Я всё еще надеюсь, что скоро увижу тебя и обниму».

В начале ноября Даннеккер уехал на время из лагеря для заключения брака со своей невестой. Именно в это время врач, назначенный Префектурой, осмотрев больных узников, дал им разрешение покинуть лагерь. Поль в этот список не вошел, что стало одной из причин его глубокой депрессии. До выписки больных заключенных у Поля еще была надежда на свободу. Вот выдержка из письма от 11 ноября 1941 года:

«Дорогие мои, на следующую субботу назначено новое медицинское освидетельствование для всех тех, чье освобождение было опротестовано. Это обследование будет проводиться доктором Тисном из полицейского управления и французским врачом из Бурбонского дворца. После того, как я получил твою посылку, кажется, что в дополнение к моим опухшим глазам у меня появились колики в печени. И колени мои всё еще опухшие. Я не знаю, что это значит с клинической точки зрения... Как бы я ни старался быть философом, я всё равно часами и целыми ночами мучаюсь в полной темноте и оцепенении. И хотя я стал терять надежду, я всё еще держусь».

12 ноября, узнав о транспортировке больных, Даннеккер немедленно ее остановил. Однако в список 800 выписанных больных вошел новый друг Леона, французский философ и поэт Жан Уол (Jean Andre Wahl), успевший выйти на свободу до возвращения в лагерь Теодора Даннеккера. Жан Андрэ Уол, племянник известного французского философа Анри Бергсона, прошел все ужасы нацистского заключения. Допрашивал Андрэ Уола сам Даннеккер. Избитого поэта переправили сначала в тюрьму, а потом в Дранси. Поль Леон посылал жене в письмах некоторые стихи друга, написанные в лагере. Всего Уол написал в Дранси около 70 стихотворений. В письме к жене Поль пишет: «Видела ли ты Уола? О нем у меня сохранились самые теплые воспоминания».

Начиная с ноября 1941 года была снова разрешена переписка и передача посылок. 12 ноября из письма к Люси:

«До двух часов ночи я работал над списком отпущенных на волю. После этого снова начинаются ночные мучения. Если бы я только мог выбраться отсюда! Дорогая моя, я всё еще возлагаю на тебя надежду и молюсь за тебя, за Алексиса и за всех остальных. Как же я хочу всех вас увидеть... Я молюсь,

чтобы это послание дошло до вас сегодня, чтобы не терять времени. Я люблю вас, я хочу видеть вас, и я не теряю надежду увидеть вас. Всегда твой Поль».

Несмотря на невыносимые физические и моральные страдания, Поль не перестает думать о своих незаконченных трудах, в надежде в скором времени снова к ним вернуться. 19 ноября он пишет жене: «Мои мысли все еще работают над четырьмя проектами, которые надо закончить, плюс пятый – пересмотреть перевод на французский ‘Улисса’ Джойса». Его творческая мысль в поиске новых идей, так как без жизни внутренней, интеллектуальной – смерть, полное погружение в темноту, из которой уже нет выхода: «Но есть еще и моя интеллектуальная жизнь, которую я хотел бы сохранить для себя... Это та часть моей жизни, которой больше всего угрожают 14-15 часов полной темноты, и это приходится выдерживать каждый день» (Из письма 15 или 16 ноября 1941). 29 ноября он опять возвращается к той же теме – своим незавершенным книгам, статьям:

«Я одержим идеей, что они могут оставить нас здесь на зиму. Как бы я хотел быть дома, рядом с тобой, иметь возможность продолжать свою работу... Возможно, это всего лишь очередная иллюзия, но есть пять вещей, которые я хочу сделать. Прежде всего, пересмотреть ‘Улисса’ вместе с Беккетом, затем написать мемуары о Джойсе, потом закончить Константа, продолжить Руссо и закончить книгу о Руссо».

Таких людей творческого труда, глубоко мыслящих, настоящих интеллектуалов, в лагере было много. Благодаря им – специалистам во всех областях знаний – в лагере были организованы публичные лекции. Эти лекции вызывали у заключенных большой интерес. Такие минуты, когда можно было опять окунуться в мир литературы, поэзии, послушать стихи любимых поэтов, стали той жизненной необходимостью, которая как-то поддерживала потерявших надежду людей. Особой популярностью пользовались лекции искусствоведа Рене Блюма, сооснователя (вместе с русским эмигрантом В. Воскресенским) парижского «Русского балета Монте Карло», младшего брата бывшего министра Франции Леона Блюма. «Его речь была удивительно ясной, элегантной и всегда утонченной», – вспоминает Джордж Веллер⁷². Рене Блюм не избежал участи многих узников лагеря – он погиб в Освенциме 28 сентября 1942 года.

Одной из самых страшных трагедий для Поля стала та темнота, пустота, в которой он находился. Человеку творческому здесь не хватает воздуха, и он задыхается в этой пропитанной потом комнате – без родных, без общения, без книг. Невозможность услышать голос любимой, увидеть ее снова вызывает еще более глубокие страдания. Она приходит к нему в тяжелые минуты – но только во сне, когда он погружается в тревожное, прерывистое забытие.

«В течение последних 100 дней я находился на грани безумия и до сих

пор не вышел полностью из этого состояния. Оцепенение, амнезия, невозможность написать письмо, страдания и муки, через которые я прошел и которые приношу тебе, – пожалуйста, простите меня за всё это. Но теперь я точно знаю, что значит – погрузиться под воду или почти утонуть в безумии. Меня охватывает острое чувство беспомощности. Я надеюсь, что если мы когда-нибудь вернемся к нормальной жизни, я смогу снова вернуться к здравомыслию, но я знаю – есть риск, что я останусь несчастным до конца своих дней». *(Отрывок из письма от 28 ноября 1941 г.)*

С декабря 1941 года лагерь Дранси служит преимущественно для пересылки евреев в лагеря смерти. С каждым новым днем состояние Поля ухудшается, уходит надежда на освобождение. Условия в лагере невыносимые – лишения, голод, издевательства, расстрел заложников. Узников держали по 35-50 человек в камерах, рассчитанных на двух или трех заключенных. Контакт с внешним миром был практически запрещен. Человек жив, пока живет надежда, – но ее больше нет. 4 декабря Поль жалуется Люси на ухудшение здоровья:

«Дорогая моя, мне принесли весть, что ты снова очень разволновалась из-за моего письма и была у врача. Как я могу не сказать тебе правду, что да, действительно, дела обстоят не лучшим образом, но ты не можешь ничем помочь. Я исключен из списка больных... Парализованный, полусонный, натыкающийся на камни, ступеньки, не могу нормально видеть – вот кем я стал, и вдобавок ко всему – психологически униженным, фактически заживо сгоревшим. Таковы факты... Для меня уже больше ничего нельзя сделать. Остается только ждать... Мы должны смириться с мыслью, что мы попали под жернова, которые нас перемалывают. Страшно об этом подумать, но жаловаться бессмысленно. Я верю – мне нужно верить, – что мы снова встанем на ноги... Со своей стороны, ты должна быть благоразумной и не идти на бессмысленный риск... В первую очередь, ты должна спасти себя и Алексиса. Моя жизнь закончилась или скоро закончится. Что ж, пусть тому и быть... Всегда твой Поль».

Такая тяжелая, монотонная жизнь, без всяких надежд на освобождение, продолжалась для Поля Леона до 12 декабря 1941 года. Потом случилось страшное, непредвиденное... О том, что произошло 12-14 декабря, рассказывает в своих воспоминаниях Джордж Веллер, очевидец этих событий. Он пишет, что в этот день примерно к шести часам вечера прибыл в лагерь Даннекер. Всех заключенных выстроили во дворе с вещами. Растерянных узников выталкивали из жилища взбешенные жандармы. Трудно описать, какое унижение испытывали эти люди, среди которых были известные писатели, философы, художники. Из всего строя Даннекер выбрал 300 человек, которых немедленно увезли из лагеря. Всю ночь встревоженные и потрясенные заключенные не могли уснуть, теряясь в догадках. Через два дня, утром 14 декабря, в лагерь прибыл отряд вермахта, и опять отобрали заключенных, на этот раз из 50 человек, хотя в наличии из списка оказалось только 47. Однако на этом отправка не закончилась. Во второй половине дня в

лагере появился ординарец Даннеккера, унтер-офицер Гайнрихсон (Хайнрихсон).

«На этот раз он и сопровождающие его эсэсовцы увели из лагеря еще десяток заключенных, которых считали ‘важными персонами’, среди них были адвокаты, включая Поля Леона. Только позже стало известно, что все они были отправлены в Компьень, еще один лагерь для интернированных. Почти все из них погибли в Освенциме»⁷³.

Серия писем относится к четвертому месяцу заключения Поля Леона в Компьене, в так называемом еврейском лагере. Условия содержания в Компьене были еще хуже, чем в Дранси. Там Поль ощутил зловещую безысходность, чувство обреченности и ужаса. Он не описывал в своих письмах к Люси физические условия в деталях, но упоминал о крайних лишениях, холоде, ветхой одежде и обуви, и в особенности о голоде и необходимости запира́ть еду или иным образом защища́ть ее от кражи.

Зима 1941-42 гг. выдалась суровой, температура внутри бараков часто падала ниже нуля. Спали прямо на соломе, разложенной на цементном полу, – только в конце января немцы выдали, наконец, кровати и соломенные тюфяки. Не было отопления, и в комнатах было не намного теплее, чем снаружи. К концу января, наконец, установили маленькие печи, и немцы стали выдавать дрова, которых хватало, чтобы отапливать комнаты меньше часа в сутки.

За время пребывания в лагере Компьень состояние здоровья Поля резко ухудшается, болят ноги, ему трудно ходить, вероятно, из-за развившегося диабета – наследство отца (о чем упоминает Люси). Его мучает голод, проблемы со здоровьем, нервное и физическое истощение, тревога за родных и каждодневные унижения и невероятные страдания. Письма, присланные Полем жене из лагеря, написаны по-французски, порой неразборчивым почерком на тонкой бумаге, поэтому часто трудночитаемые, но все они аккуратно датированы. Одним из самых трогательных аспектов лагерных писем Поля является то, что на пороге смерти, понимая, что жить осталось так мало, он возвращается в своих письмах к родному русскому языку. Действительно, его последние письма из Компьеня подтверждают его желания выразить свои чувства к близким на том языке, на котором ему легче найти нужные слова любви и утешения. Всего за время своего заключения Поль отправил Люси около пятидесяти писем. Они представляют собой несравненную летопись человека, столкнувшегося с жестокостью преследований со стороны нацистов, с физическими, психологическими и моральными лишениями, которые обрушились на невинные жертвы. Эти истлевшие листки бумаги, почти дневниковые записи, живо передают последние месяцы жизни Поля Леона, рассказанные им самим. Невозможно читать эти послания к жене без слез и беспредельной жалости ко всем невинным жертвам этого мрачного периода истории.

В течение следующих месяцев Поль и Люси обменивались

душераздирающими посланиями. В них он рассказывал о голоде и холоде, плохом самочувствии и отчаянии, о любви, которая еще дает ему силы жить. Из письма от 22 января:

«Единственное, что поддерживает во мне жизнь, – это надежда увидеть тебя. Я прошел немецкий досмотр (второй). Мне не терпится поцеловать твои руки... Передай родным, как я их всех люблю. Как всегда, твой Поль. Пока мы не знаем, какая судьба ждет нас».

Все отобранные в декабре 1941 года узники оставались в Компьене почти до середины марта 1942 года, после чего их разделили на две группы. 19 марта 1942 первую группу, куда вошли тяжело больные, отправили обратно в Дранси, а оттуда через несколько месяцев депортировали прямо в лагеря смерти. Вторая группа состояла из тех, кого из Компьена депортировали сразу же в Освенцим. Поля обратно в Дранси не перевели. Последнее письмо Поля Леона из Компьена датировано 26 марта 1942 года, накануне депортации в Освенцим-Биркенау.

«Дорогая, нас посчитали, и завтра мы уезжаем. Я надеюсь, что увижу тебя снова, но надежды мало... Я хочу, чтобы ты помнила всю мою нежную любовь к тебе и к Алексису... Передай мою любовь и всем нашим друзьям... Я люблю их всех. Каждый вечер я молюсь Богу за тебя и Алексиса, а также за всех наших друзей. Самое главное для меня – сказать тебе, что я люблю тебя так же сильно, как и 20 лет назад, и если я не увижу тебя снова, знай, что любить тебя я буду вечно. Всегда твой Поль.»

Первый большой транспорт в Освенцим, на котором находилось 1112 узников еврейской национальности, покинул лагерь Компьень 27 марта 1942 года. Поль Леон был среди заключенных под № 27897. Люси и Алексису довелось быть свидетелями депортации Поля. Картина была ужасающая – процессия обреченных была похожа на марш смерти – люди шли на гибель, распевая «Марсельезу». Это была первая транспортировка евреев из Франции в лагеря уничтожения. Позже Алексис вспоминал:

«Мы с мамой видели его в последний раз в Компьене, как раз перед тем, как он должен был сесть в поезд. Это было похоже на что-то из ‘Преисподней’ Данте, все эти люди напоминали призраков. Его должны были поддерживать два человека, настолько он был болен. Моя мама прорвалась через кордон немецкой военной полиции и дала ему поесть, но ее почти сразу же оттеснили назад. Тогда мы перешли на другую сторону станции и помахали ему через отверстие в заборе. Потом мы уже не смогли его увидеть...»⁷³

Эшелон с узниками прибыл в Польшу 30 марта. Жизнь Поля Леона оборвалась 5 апреля 1942 года, когда его, изможденного, тяжелобольного, застрелил немецкий конвоир.

9 декабря 1945 года в заключении покончил с собой Теодор Даннеккер.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. 'Court Lifts Ban on *Ulysses* Here'. *New York Times Books Reviews*, Dec.7, 1933.
2. «[Париж] был нашим духовным наставником, мудрым и прекрасным». См.: Putnam, S. *Paris Was Our Mistress. Memoirs of Lost and Found Generation*. – NY: Viking Press, 1947. P. 7.
3. Noel, Lucie. *James Joyce and Paul L. Léon: The Story of a Friendship. Revisited*. – London: Bloomsbury Publishing, 2022. P. 33.
4. Ibid. P. 110.
5. URL: <http://juergen-schneider.org>
6. Ellmann, Richard. *James Joyce*. – NY, London, Toronto: Oxford University Press, 1959. P. 746-747.
7. Noel, Lucie. *James Joyce and Paul L. Léon: The Story of a Friendship*. – NY: Gotham Book Mart. 1950.
8. Noel, Lucie. *James Joyce and Paul Léon...* (2022).
9. Ibid. P. 9.
10. *transition* (оригинальное название со строчной буквы) – ежемесячный, а впоследствии ежеквартальный международный журнал экспериментальной литературы, издававшийся в 1927–1938 годах в Париже поэтом американского происхождения Юджином Джоласом и его женой Марией Макдональд-Джолас вместе с Полем Эллиотом. На его страницах печатались главы из романа Джойса «Поминки по Финнегану».
11. Jolas, Maria. "The Little Known Paul Léon". In: *James Joyce Miscellany*. Second Series. Ed. by Marvin Magalaner. Carbondale: Southern Illinois University Press, 1959. P. 225-233.
12. О Сильвии Бич и ее магазине «Шекспир и Компания» см.: Дубровина, Е. «Я странником пришел на краткий час». НЖ, № 306, 2022. С. 210-216.
13. Fitch, Noël Riley. *Sylvia Beach and the Lost Generation: A History of Literary Paris in the Twenties and Thirties* [Сильвия Бич и потерянное поколение: история литературы Парижа 20-х и 30-х]. Нью-Йорк: WW Norton, 1983.
14. Ibid. P. 410.
15. Walsh, K. *The Letters by Sylvia Beach*. NY: Columbia University Press, 2010. P.327.
16. Ibid. P. 150.
17. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=R1Zbw39MCm4>
18. Ellmann, S. (1959). P. 662.
19. Здесь это название переводится как «Новое обозрение». Журнал просуществовал 1931–1932 годы.
20. Putnam, S. *Paris Was Our Mistress. Memoirs of Lost and Found Generation*. NY: Viking Press, 1947.
21. Crispi, Luca. 'Paul, Lucie, and Alexis Léon'. *Dublin James Joyce Journal*, No.10. 2017. P. 119-128 .
22. «Поль Леон и карьера эсэсовца Хайнрихона в постнацистской Федеративной Республике Германии».
23. «Джойс без границ».
24. <http://juergen-schneider.org>
25. Ibid.
26. «Мемориал жертв депортации евреев из Франции» / Klarsfeld, S. *Memorial de la deportation des Juifs de France*. Paris: Klarsfeld Foundation, 1978.
27. Веллер, Жорж (Джордж). *От Дранси до Освенцима*. Перевод с фр. В.Колмановского и Е. Веллер. Бостон: M-Graphics Publishing, 2011.

28. Noel, Lucie (2022). P. 12.
29. Источник: *Справочная книга о купцах г. С.-Петербурга за 1890 год*.
30. Драбкин, А.Н. *Венок на могилу Леопольда Федоровича Леона, представителя Петербургской еврейской общины*. Санкт-Петербург: тип. И. Лурье и К°, 1911. 53 с., 1 л. портр.
31. В официальных документах ее называют Идой Израилевной, в семье и кругу друзей – Идой Исидоровной.
32. Сомов, Константин. *Дневник 1928–1929 гг.* Вступ. статья, подгот. текста, коммент. П. С. Голубева. М.: Изд-во «Дмитрий Сечин», 2022.
33. Сомов К.А. *Письма. Дневники. Суждения современников*. Москва: «Искусство». 1979. С. 110.
34. Современное здание школы (Невский проспект, 22/24), построенное в начале 1760-х годов, впоследствии неоднократно перестраивалось и расширялось.
35. О Вл. Верещагине можно более подробно прочитать в «Новом Журнале», № 304, 2021. С. 326-327.
36. Сборник декретов и постановлений рабочего и крестьянского правительства по народному образованию. Вып. 2 (с 7.11.1918 по 7.11.1919). С. 15-16.
37. Noel, Lucie. (2022). P. 103.
38. Книга памяти: евреи, депортированные из Италии, 1943–1945 / Лилиана Пиччиотто. Исследование Фонда Центра современной еврейской документации. 2002.
39. *Trofimoff, A. Ciel et décors de France (promenade sentimentale d'un ci-devant)*. Paris: Hachette, 1938.
40. Многие родственники Люси и Поля также поселились в Париже, включая Александра Понизовского, брата Люси. Однако другой брат-близнец, Яков (Джеймс или Джим), жил в Брюсселе. Поль Леон дружил с обоими братьями, но, к сожалению, семью постигло неожиданное горе – Джим скончался в Бельгии в ночь под Новый год, 31 декабря 1935 года.
41. Поль Леон издал книгу в Париже: Leon, P. *Benjamin Constant*. – Paris: Les Editions Rieder, 1930.
42. Leon, P. *Lettres de Nicholas II et de sa mère l'impératrice douairière de Russie*. Paris: S. Kra, 1928.
43. Leon, P. *Lettres de Madame de Staël à Benjamin Constant : publiées pour la première fois en original*. Paris: S. Kra, 1928.
44. Leon, P. *Benjamin Constant*. Paris: Les Editions Rieder, 1930.
45. Noel, Lucie. (2022). P. 38.
46. Фарг, Л.-П. Стихотворение «Послесловие». Перевод с фр. М. Кудимова.
47. «В сторону Свана» (фр.)
48. Сомов, К.А. *Письма. Дневники. Суждения...* (2022). С. 314.
49. Там же. С. 401.
50. *Русский Париж за полвека*. М.: Изд-во МГУ, 1998. С. 285.
51. Noel, Lucie (2022). P. 34.
52. Nin, Anais. *Incest. The Unexpurgated Diary of Anais Nin, 1932–1934*. NY: San-Diego, London: Hardcourt Brace Javanovich Publishers, 1992. С. 322.
53. Noel, Lucie. (2022). P. XIV.
54. Ibid. P. 222.
55. Ibid. P. 19.
56. Ibid. P. 36.
57. Сомов, К.А. *Письма. Дневники...* С. 325.
58. Noel, Lucie (2022). P. 42.

59. Ibid. P. 34.
60. Яновский, В. С. *Поля Елисейские*. Сост., пред., комм. Т.П. Буслакова. М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 1998. С. 173.
61. Сейчас там находится музей Джеймса Джойса.
62. Noel, Lucie (2022). P. 114.
63. Ibid. P. 115.
64. Из цикла «Цветы зла» (пер. с фр. В. Левика).
65. К сожалению, жизнь Алекса Понизовского оборвалась трагически. Из Парижа во время войны ему удается перебраться в Монако, где его вербует английская разведка. В 1943 году по доносу его арестовывает гестапо и отправляет в Освенцим, где он погиб в газовой камере 7 марта 1943 года.
66. «Институт философии, права и юридической социологии».
67. «Автор ссылается на облаву еврейского населения в 11-м округе Парижа 15 и 20 августа 1941 года. Аресты в других округах были произведены с 21 по 23 августа. Общее число арестованных и тех, кто был отправлен в Дранси, составило 4232. Французская полиция играла активную роль в этих арестах» (Сноска автора из дневника от 7 сентября 1941 года).
68. Lambert, Raymond R. *Diary of a Witness, 1940–1943. The Ordeal of the Jews of France during the Holocaust*. Translated from French by Isabel Best. Chicago: Ivan Dee, Publisher, 1985. P. 70 (7 September, 7, 1941).
69. Noel, Lucie (2022). P. 12.
70. Поль имеет в виду своего брата Александра, у которого до войны умерла жена, Мария Фарина.
71. Екатерина Берлин, сестра Поля Леона.
72. Веллер, Дж. С. 125.
73. Там же. С. 26.
74. <http://juergen-schneider.org/JS/james-joyce-paul-leon>. Цитируется по статье «В память о настоящей дружбе», *The Irish Times*, 29 октября 1998 года.

СПИСОК УПОМЯНУТЫХ ИМЕН

Гиришман Владимир Осипович (1867–1936), предприниматель; муж Г.Л.Гиришман. До эмиграции жил в Москве, владел крупным предприятием по производству швейных иголок, чулочных спиц, стальных булавок, рыболовных крючков и пр. Коллекционер русской живописи: в весьма значительном собрании Гиришмана находились известные работы А. Н. Бенуа, А. М. Васнецова, М.А. Врубеля, В.Э. Борисова-Мусатова, К.А. Коровина, Б.М. Кустодиева, В.А. Серова и многих других, более 80 работ Сомова. В 1919 г. коллекция была национализирована.

Гуггенхайм Маккилли Хейзел (Hazel Guggenheim, 1903–1995), американская художница, член известной семьи Гуггенхайм. Она родилась в Нью-Йорке, позже переехала в Новый Орлеан и была известна своими работами маслом, акварелью и гуашью. В начале 1920-х годов Хейзел Гуггенхайм училась в New York University. В 1922 году она переехала в Париж, чтобы продолжить обучение в Сорбонне. Хотя в 1930-е годы она еще не утвердилась как художник, ее работы начали выставляться.

Гуггенхайм Маргарита «Пегги» (Marguerite Guggenheim, 1898–1979), коллекционер произведений искусства, дочь Бенджамина Гуггенхайма (погиб на «Титанике» в 1912 году), племянница Соломона Р. Гуггенхайма, мецената, основателя Музея современного искусства в Нью-Йорке. Коллекция Пегги Гуггенхайм легла в основу Музея современного искусства в Венеции, Италия.

Джолас Мария (Maria Jolas, 1893–1987), урожденная Мария Макдональд,

американская переводчица, пацифистка, соосновательница журнала *transition* (Париж) вместе с мужем Юджином Джоласом. Юджин и Мария Джоласы познакомились в США и переехали в Париж после свадьбы в 1926 году. Здесь, в книжном магазине Сильвии Бич, они впервые встретились с семьями Джойса и Леонов.

Жиле Луис (Gillet Louis-Marie-Pierre-Dominique (1876–1943), французский искусствовед, критик.

Каминский Сергей Владиславович (1883–1969), юрист, писатель, общественный деятель. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Присяжный поверенный Московской и Санкт-Петербургской адвокатуры. Был арестован, заключен в тюрьму (1918). В 1921 г. эмигрировал через Финляндию во Францию, жил в Париже. Член правления Союза русских адвокатов в Париже (1930-е). Член Административного совета, с 1952-го – Генеральный секретарь Российского музыкального общества за границей. Автор нескольких книг воспоминаний. В 1969 скончался в Париже, похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939), русский историк, писатель, правовед, профессор Московского университета, политический деятель.

Криспи Лука (Crispi Luca), доцент кафедры изучения Джеймса Джойса и модернизма в Школе английского языка, драмы и кино Университета Дублина. Он был сокуратором выставки «Улисс» в Национальной библиотеке в 2004–2005 годах, где познакомился с Леонами. Более двадцати лет работает с архивами Джойса по всему миру. Автор книги *Joyce's Creative Process and the Construction of Characters in Ulysses*. Oxford University Press, 2015.

Леон-Берлин Екатерина Леопольдовна (18?–1986), сестра П.Л. Леона. Ее муж – **Михаил Яковлевич Берлин** (1891–1926), адвокат, масон, основатель парижской ложи «Гермес». Был однокурсником П.Л. Леона, учился на юридическом ф-те Петербургского университета. Во время Первой мировой войны служил в Красном Кресте. В эмиграции семья жила в Стокгольме и Лондоне; с 1923 г. – в Париже. М.Я. работал в коммерческом банке.

Леон-Кан Беатриса Леопольдовна (1890–1950), сестра П.Л. Леона. Ее муж **Александр Александрович Кан** (1873–1952) работал в России в синдикате «Продуголь». В эмиграции семья жила сначала в Берлине, затем в Париже.

Леон-Полякова Ксения Леопольдовна (1883–1952), сестра П.Л. Леона. В эмиграции жила в Англии. **Владимир Лазаревич Поляков** (1880–1956), ее муж. В.Л.П. происходил из известной семьи банкиров, железнодорожных магнатов и благотворителей, был корреспондентом журнала «Таймс» в Лондоне. Младший брат Дмитрий и его жена погибли в 1942 г. в Освенциме.

Понизовская-Леон, Люси (псев. Lucie Noel, 1899–1972). Ее дядя Григорий Виленкин был финансовым атташе при русском посольстве в Лондоне. В 1918-м мать Люси умирает от тифа, и она уезжает в Лондон, где в 1921 году выходит замуж за Поля Леона. В 1922 г. работала консультантом модной одежды; в 1935 г. стала корреспондентом нью-йоркского журнала *Herald Tribune*, где по четвергам появлялись ее колонки «Моды Парижа». Во время Второй мировой войны работала в Красном Кресте, была курьером, доставляющим письма заключенных из лагеря Компьень. Ей удалось перебраться в свободную зону. С 1944 г. работала переводчицей в Американской армии. В 1950 г. в Нью-Йорке вышла ее книга *James Joyce and Paul L.Léon: the Story of a Friendship*. 9 мая 1959 года она получила американское гражданство от президента Эйзенхауэра за ее помощь союзникам. В 1963 г. была редактором отдела моды в Associated Press.

Нин, Анаис (Anais Nin, 1903–1977), эссеист, прозаик, автор коротких расска-

зов и романов эротического содержания. Родилась во Франции, отец – известный кубинский композитор Хоакин Нин, мать – певица Роза Кульмелль. Нин провела детство в Испании и на Кубе, около шестнадцати лет жила в Париже (1924–1940), а вторую половину своей жизни – в США.

Новгородцев Павел Иванович (1866, Бахмут–1924, Прага), российский ученый-правовед, философ, историк, общественный и политический деятель, профессор Московского университета.

Попов Александр Александрович (Popoff, 1885–1964) управлял известным антикварным парижским магазином Galerie Popoff & Cie. Широта его знаний, интуитивное чувство предмета и огромный опыт были легендарны. Александр Александрович Попов был офицером русской армии в Первой мировой войне. В 1919 году Попов эмигрировал во Францию и открыл антикварный магазин в Париже напротив Елисейского дворца. Его бизнес перерос во всемирно известную художественную галерею. В 1935 году знаменитая галерея Попова получила Гран-при Парижа за качество своих выставок и художественных коллекций, состоявших в основном из акварелей XIX века и русского фарфора XVIII века.

Сапо Филипп (Soupault Philippe 1897–1990), французский писатель, поэт, литературный критик, основатель движения сюрреалистов вместе с Андрэ Бретоном.

Струве Алексей Петрович (1899–1976), библиограф, антиктвар.

Струве Глеб Петрович (1898–1985), литературовед, литературный критик, публицист, переводчик, мемуарист, поэт.

Тимашев Николай Сергеевич (1885–1970), юрист, социолог, профессор Гарвардского, затем – Фордемского университетов (США), член-сооснователь корпорации «Новый Журнал». В 1921 г. бежал от большевиков в Финляндию. Жил в Германии, Чехословакии, во Франции. Сотрудничал в газете «Возрождение», преподавал в Славянском институте Сорбонны и Франко-русском институте. В 1936 году по приглашению Гарварда переехал в США. В 1940–1958 возглавлял кафедру социологии в Фордемском университете.

Трубников Александр Александрович (псев. Андрей Трофимов и «Лионель». 1882–1966), искусствовед и литературный критик, журналист, переводчик, французский писатель. Автор книги «Моя Италия» (СПб, 1908). С 1908 года был главным хранителем Эрмитажа и Императорских дворцов, одним из основателей журнала «Старые годы». В канун революции был назначен атташе Российского посольства в Риме. В 1919 переехал во Францию. Здесь он посвятил себя литературной работе, истории искусства, занимался переводами. В 1937 году за книгу *Ciels et décors de France (promenade sentimentale d'un ci-devant)* (Paris: Hachette, 1938) получил премию Французской академии. Первое издание мемуаров Трубникова вышло в 1935 году.

Эллманн Ричард (Richard Ellmann 1918–1987), американский критик и биограф. Преподавал в Northwestern University, University of Oxford, Emory University. Отец – румынский еврей, мать – еврейка из Киева. В 1959 году получил Национальную книжную премию за книгу о Джеймсе Джойсе; в 1982 году переработанное издание было удостоено James Tait Black Memorial Prize.

Фарг Леон-Поль (Fargue Leon-Paul (1876–1947), французский поэт, эссеист, прозаик. Принадлежал к течению символистов. За стихи о Париже заслужил прозвище «парижского пешехода».

КНИГА И ЖИЗНЬ

Людмила Оболенская-Флам

Вики – русская княгиня во Французском Сопротивлении*

Часть 5

ГЛАВА XIV

Обратимся теперь к тому, что произошло с Викиным мужем, князем Николаем Александровичем Оболенским. Вернувшись в середине апреля из поездки в Аррас, где ему удалось увидеть в тюремном окне свою жену, он пробыл на воле до 3 июня 1944 года. В тот день его доставили в штаб-квартиру гестапо на улицу Соссэ. Там его поместили в одиночную камеру. В ожидании допроса Оболенский прожевывает и глотает находящиеся при нем бумаги организации. Потом осматривается и видит: на двери камеры начертанное кровью прежнего заключенного изображено Распятие.

Допрашивает Оболенского немецкий следователь. Он утверждает, что Вики будет выпущена на свободу, если перестанет отмалчиваться. Пусть Оболенский ей об этом напишет и убедит раскрыть всю правду. Николай садится писать и сочиняет нарочито высокопарное послание, уверяя жену в справедливости германского правосудия – пусть Вики посмеется и поймет, что муж писал под нажимом. Следователь цинично утаил от него, что жена его обречена, ей уже вынесен смертный приговор.

Оболенского доставили во Френ. В тюрьме его обдало знакомым по прошлому сидению смрадом спертого воздуха камер. Но вот по тюремному «телеграфу» доходит радостная весть: в Нормандии совершилась долгожданная высадка западных союзников!

Эта беспрецедентная военная операция подготавливалась тщательно и, по мнению Сталина, слишком долго. Он торопил Рузвельта и Черчилля с открытием второго фронта. На самом деле – и об этом часто забывают – после высадки американских войск в Сицилии в сентябре 1943 года и их продвижения на север по Апеннинскому полуострову при участии французских войск из Африки второй фронт в Европе уже был. Правда, высадка в Сицилии не идет ни в какое сравнение с масштабом операции «Оверлорд» – десантом западных

* Окончание. Начало см.: НЖ, № 317, 2024, № 318, 2025.

союзных войск 6 июня 1944 года в Нормандии. Этому в истории еще не было равных. Напомним некоторые факты.

Для того, чтобы перебросить американских и британских пехотинцев, которым предстояло брать штурмом почти неприступные береговые укрепления, была задействована армада из пяти тысяч военных судов. Этому предшествовал десант 13 тысяч американских парашютистов¹. Операция требовала детальной координации между вооруженными силами англичан, канадцев и американцев; для каждой группы был обозначен свой участок побережья Нормандии. Длительная подготовка требовала глубочайшей тайны, благодаря чему Гитлер оказался застигнутым врасплох. Германский Генеральный штаб предвидел возможность высадки в июне, но не ожидал, что это произойдет в Нормандии, да еще в такую скверную погоду. Даже после того, как были штурмом взяты первые укрепления Атлантического вала, Гитлер считал, что это всего лишь диверсия, что развернутая высадка будет совершена в другом месте, и потому сдерживал подкрепление бронетанковых дивизий. В течение одного дня на французскую землю высадилось 175 тысяч американских, британских и канадских войск. Но и потери были огромные: 10 тысяч союзных военнослужащих оставили там свои жизни².

В поддержку десанта генерал де Голль по Би-би-си призвал французов «бороться с врагом всеми возможными способами» и дал сигнал различным силам Резистанса немедленно активизировать деятельность и участить акты саботажа – подрывать мосты и железнодорожные пути, нарушать германские средства связи... А когда в августе под командой генерала Леклерка в Нормандии высадилась 2-я французская танковая дивизия, укомплектованная в Северной Африке, к ней примкнули партизаны-«маки» и другие силы Сопротивления.

Но создававшееся на протяжении нескольких лет военное крыло организации ОСМ, которое должно было вступить в бой, к тому моменту практически перестало существовать. Предшествовавший высадке удар гестапо и немецкой военной контрразведки, нанесенный по Гражданской и Военной организации, оказался сокрушительным; ее выжившие члены смогли принимать участие в военных действиях лишь в индивидуальном порядке. Тем не менее роль ОСМ в победе над Германией нельзя недооценивать.

Об этом мы говорили с досконально изучившим историю этой организации писателем Жиллем Перро, когда мы с мужем посетили его в нормандском городке Сент-Мари-де-Монт, первом городе, освобожденном десантниками. Ныне покойный, писатель считал, что хотя Гражданской и Военной организации не удалось включиться в боевые действия в том объеме, как это замыслилось, она проделала важнейшую подготовительную работу. Ее заслуга заключалась в данных военной разведки, которые она получала по своей широкой агентурной сети и доставляла в Лондон. Особенно ценной, подчеркнул Перро, была детальная информация об оборонительных сооружениях

Атлантического вала. Без этой информации высадка в Нормандии могла иметь иной, трагический для союзных войск исход, и уж, во всяком случае, обошлась бы несравненно большими потерями. В ходе нашей беседы Перро особо выделил роль Вики. Он был преисполнен уважения к ее уму, твердости и преданности делу, назвав ее «правой рукой полковника Туни и левой рукой Блок-Маскара»: в штабе Туни Вики была ключевой фигурой в деле военной разведки, а помогая Блок-Маскару, руководителю гражданского крыла ОСМ, была причастна к разработанной им Конституции, принятой после освобождения Франции.

После высадки западных союзников в Нормандии было еще далеко до полного освобождения Франции; предстояло много боев, в ходе которых союзники продолжали теснить отступавшие силы вермахта. Когда к Аррасу приблизилась британская армия, д-р Шотт и его группа спешно покинули город, уничтожив все письменные свидетельства о допросах, о вынесенных смертных приговорах и произведенных на месте расстрелах. Соккрытие следов производилось по приказу Гитлера и носило название «*Nacht und Nebel*» («Ночь и туман»). Согласно этому приказу, нацистам надлежало ликвидировать всё, что могло свидетельствовать о совершенных ими преступлениях. А те, кто был приговорен к смертной казни, должны были бесследно исчезнуть. Полковник Туни и его сподвижники были расстреляны в тюрьме Сен-Нисэз в Аррасе, без оповещения об этом их близких. Малую горстку руководящих членов ОСМ, чья казнь была отложена, по каким-то соображениям снова перевели в тюрьму Френ, под Парижем. В их числе были Галлуа и Леперк, которые, напомним, ранее проделали вместе с Вики и Софкой путь из тюрьмы Френ в Аррас. Роланда Фаржона в группе Галлуа и Леперка не было. Его, чья роль в судьбе Вики и Софьи Носович оказалась роковой, по решению Шотта перевели в тюрьму, находившуюся в старом замке города Сенлис.

Этот средневековый город связан с именем Анны Ярославны, дочери Великого князя Ярослава Мудрого, супруги короля Франции Генриха I. Там находилась их резиденция и туда, между прочим, члены семейного союза Оболенских, ведущие свою родословную от Рюрика, не раз совершали паломничества. Воспользовавшись близостью к Парижу, Роланд Фаржон из этой тюрьмы бежал. С ним бежал и другой заключенный, который, как и Роланд, спустился из окна тюрьмы по разорванной простыне. Упал он неудачно, повредив ногу, дальше пришлось передвигаться, опираясь на Роланда. Тем не менее им удалось добраться до места, где находилась одна из фабрик, принадлежавших семье Фаржон. Узнав Роланда, директор фабрики отдал соответствующие распоряжения, и вскоре фабричный грузовик доставил в Париж к дому брата Роланда Фаржона большой ящик. Из него выбрался сам Роланд³.

Перекрасив волосы в рыжий цвет, изменив внешность, Фаржон некоторое время остается в Париже. Товарищи по Сопротивлению

отнесли к его побегу скептически, подозревая, что он мог быть совершен лишь при сознательном попустительстве гестапо, чтобы выследить последних оставшихся на свободе членов ОСМ. К тому же Роланд был и ранее скомпрометирован своим привилегированным положением в Аррасе и странным обедом, который главный следователь Шотт устроил в честь дня свадьбы Фаржонов. С предателями в Резистансе расправлялись жестоко, но отношение товарищей к Фаржону было неоднозначным. Одни видели в нем предателя, другие считали искренним патриотом, попавшим в гитлеровскую ловушку. Было решено дать Роланду возможность обелить свое имя в рядах партизан-«маки», и Роланд покидает Париж.

* * *

В июне 1944 года Николай Оболенский всё еще находится в тюрьме Френ. Туда же доставляют и участника другой группы Сопrotивления Игоря Кривошеина. 13 июня, пока его веля по коридору, Кривошеин оказался свидетелем того, как тюремщица заталкивает женщину в крошечную камеру. В этой женщине он узнает Софку, Софью Носович.

Из тюрьмы в Аррасе Софку перевели в Лилль, потом вернули во Френ. 7 июня германский военно-полевой трибунал, заседавший в парижском отеле «Континенталь», вынес Софье Носович смертный приговор. В тесной камере для смертников ее посещает священник. Софка уверена, что близится расстрел. Оставшись одна, она вдруг слышит постукивание в стену. Прижавшись ухом к стене, силится разобрать позывные азбуки Морзе. И вдруг поняла – «Вики»! Софка бросилась к водопроводному крану, развинтила его и крикнула в трубу: «Обнимаю тебя, я умру...» Но стук возобновляется, и Софке удается расшифровать: «Германия... везут вместе...»

Софка ждет, что будет дальше. Наконец в замке поворачивается ключ. Софка видит в коридоре Вики, при ней жандарм и офицер. Всех сажают в крытую машину... Уезжая из Парижа, они еще раз прощались с любимым городом.

День стоял чудесный, летний. Париж, окутанный легкой дымкой, был прекрасен. Одно из последних мест, что им запомнилось, был собор Парижской Богоматери; проезжая мимо него, старались навсегда вобрать в себя всю его красоту, его величие.

* * *

Едва ли Николай Оболенский и Вики знали, что на протяжении нескольких суток в первой половине июня 1944 года они находились под общей тюремной крышей. Затем Вики с Софкой увозят в Германию. Оболенский продолжает оставаться в тюрьме под Парижем. Проходят еще два месяца. До освобождения столицы остаются считанные дни. Несомненно, слухи об этом проникают и в тюрьму, вселяя надежду. Но тут поступает приказ сверху о немедлен-

ной отправке в Германию более двух с половиной тысяч заключенных. Сперва их помещают в палаточный город, потом грузят в товарные вагоны. Собравшаяся на товарной станции толпа кричала, чтобы заключенные сопротивлялись, «американцы совсем близко!».

15 августа 1944 года поезд, до отказа наполненный живым грузом, уходит на восток. В списках депортируемых значатся Николай Оболенский и Кирилл Макинский. Примечательно, что с заключенных, с немецкой педантичностью, еще и взяли деньги за транспортировку! Деньги были изъяты из конфискованных при аресте наличных. У Оболенского взяли немного, всего 40 французских франков. С других удалось получить больше, вплоть до нескольких тысяч⁴.

Вскоре после отхода поезда у заключенных появилась возможность бежать: в результате то ли бомбежки, то ли акта саботажа были повреждены железнодорожные пути, поезд остановился, и дальше заключенных погнали пешком. Многие попытались скрыться. Кое-кому это удалось. Но хромящему Оболенскому побег был бы не по силам. Он провел в пути еще пятеро суток – то пешком, то в переполненных до отказа вагонах для скота. 20 августа 1944 года заключенный № 77185 прибыл в концентрационный лагерь Бухенвальд.

Из архива в Бад-Арользене стараниями современного немецкого исследователя Елены Кулен были получены фотокопии целого ряда формуляров, касающихся отправки Николая Оболенского в Бухенвальд и его оформления там по прибытии. В документе об изъятии его личных вещей перечислены: 1 пиджак, 1 пара брюк, 1 пара нижнего белья, 1 пара носков, 1 пара ботинок. Изъятие заверено подписью Оболенского. По ней видно, в каком состоянии Оболенский прибыл в концлагерь после изнурительного перегона; он написал свое имя по-немецки «*Nikolaus*», но не хватило сил дописать фамилию, подпись обрывается – «*Obole...*»⁵ Взамен его собственной одежды, Оболенскому была выдана полосатая форма узника; вместо его специальной ортопедической обуви – пара деревянных колодок.

А вот другой документ – список заключенных, отправляемых 3 сентября 1944 года в лагерь «Дора» (Dora), где заключенные вынуждены были трудиться в подземелье засекреченного завода, производившего ракеты. В нем под номером 245 значится имя Николая Оболенского. Но мы знаем, что он отправлен туда не был. От этой участи его избавило медицинское заключение, признавшее его неспособным к выполнению работы стоя, в противном случае он разделил бы тяжкую долю попавшего в «Дору» Макинского и вряд ли вышел бы оттуда живым. Помогло Оболенскому пережить концлагерь и то, что на его карточке значилась профессия переводчика, владеющего французским, русским и немецким, – языками, которые несомненно были затребованы лагерной администрацией. Выполнять такого рода работу можно было и сидя. Оболенскому предстояло пробыть в этом лагере смерти до освобождения союзниками восемь долгих месяцев.

ГЛАВА XV

Декрет Гитлера предусматривал, что лица, приговоренные военным трибуналом к смертной казни, вроде Веры Оболенской или Софьи Носович, должны были «раствориться», не оставив после ареста и следа. Но диктаторы страдают общим недугом близорукости, не предусматривая возможных последствий своих решений и думая, что они могут замести следы своих злодеяний. В случае Вики свидетельства о ней не заканчиваются Аррасом, где в казематах тюрьмы Сен-Нисэз Даниель Галлуа видел ее в последний раз. Далее повествование подхватывает Жаклин Рамей. Ее воспоминания, подписанные боевой кличкой *Елизабет Брюне*, как и воспоминания Галлуа, они вошли в скромный сборник, посвященный памяти Вики⁶.

Жаклин пишет, что вернувшись домой 17 декабря 1943 года после несостоявшейся встречи с Вики, на которой она должна была получить тайные донесения, она заподозрила худшее. Это подтвердилось на следующий день полученным известием об аресте Вики и Софки. «Подумал ли кто-нибудь из нас, что нам теперь следует скрыться? – пишет она. – Нет, никто не сомневался в Викиной твердости.» Правда, Жаклин добавляет к этому, что в то время она еще не успела испытать на себе «полного ассортимента» нацистских методов дознания, от физической пытки до морального воздействия.

Какое-то время Жаклин продолжала подпольную работу, несмотря на арест других участников Сопротивления – Симона, Туни, Галлуа... Ее черед настал 25 апреля 1944 года. Сперва Френ и мучительные допросы, а 15 июня – военный трибунал. Суд над Жаклин Рамей происходил в том же «Континентале», где неделей ранее был вынесен смертный приговор Софье Носович. Место действия было иным, но сценарий – «пародия на судопроизводство» – тот же, что и суд над Вики в Аррасе. Жаклин вспоминает:

«Меня взяли прямо с койки, и я набросила на себя жакет поверх моей темно-синей пижамы. Адвокат-защитник (да, был у нас такой!) произнес минутную речь по-немецки. Что он говорил? Не всё ли равно. Игра была кончена. После вынесения приговора переводчик поставил меня в известность, что адвокат составит мое прошение о помиловании. Я не возражала, считая это всего лишь продолжением фарса; несомненно, у столь важной персоны, как генерал фон Рундштед, которому направлялась эта петиция, было достаточно других дел. При этом я всё же отказалась заявить, что сожалею о содеянных поступках. При всем трагизме момента я не могла не съязвить: 'Если я притворюсь, что сожалею, генерал фон Рундштед всё равно не поверит!' Поставила ли я под прошением о помиловании свою подпись или нет, я, по правде говоря, даже не помню».

Позже Жаклин узнала, что и Софка не возражала против подачи прошения о помиловании, считая это всего лишь продолжением пародии на суд. Вики же, напротив, категорически отказалась подать прошение. Жаклин размышляла: «Было ли это со стороны судей проявле-

нием глупости или лицемерия из расчета, что подписавший тем самым уронит свое достоинство? Печальная ирония состоит в том, что Софка и я, равнодушно смотревшие на жизнь, проделали формальность, которая, в конечном итоге, нам ее спасла, тогда как эта молодая очаровательная женщина – ‘отважная, веселая и жизнерадостная’, как ее охарактеризовал один из товарищей, – гордо отказалась просить для себя каких-либо поблажек. Ее прошение о помиловании не было подано. Таким образом, этим негодяям даже не пришлось его отклонить».

Об этом Жаклин вспоминала позже. А в тот день, услышав свой смертный приговор, ее беспокоило другое: выйдя из «Континенталья» на элегантную, даже в военное время, улицу Кастильон, Жаклин Рамей была смущена своим грязным и непричесанным видом: «...я, наверно, была похожа на воровку, которую вел под стражей немецкий солдат». Солдат оказался сердобольным: он дал ей закурить и шепнул: «Не смерть, мадам. Нет. Работы в Германии», – и даже сунул ей газету, которую Жаклин умудрилась пронести контрабандой в тюрьму.

Через три дня Жаклин последовала за Вики и Софкой в Германию. Там всё пережитое ею во многом совпадало с тем, что пришлось испытать и двум ее подругам. Поэтому остановимся на этом моменте подробнее. 19 июня Жаклин Рамей прибыла под конвоем в Берлин. Закованную в ручные кандалы, ее поместили в одиночную камеру в тюрьме Алт-Моабит. Минут через пятнадцать прямо над ней разразилась страшнейшая бомбежка:

«Я насчитала десятка два налетающих волн бомбардировщиков. С каждой новой волной сперва раздавался вой падающих бомб, потом грохот рушащихся зданий. Инстинктивно забившись в угол камеры, я поняла весь ужас моего положения. По прибытии я обратила внимание на то, что тюрьма была уже наполовину разрушена во время одной из прежних бомбежек. Слова ‘приговорена к смерти’ теперь в полной мере дошли до моего сознания... С мыслью о расстреле я свылась, но оказавшись перед перспективой быть заживо зажатой в застенке, да еще со скованными руками, я сама себя удивила прозвучавшими словами: ‘Только святой может с этим смириться!’».

В бомбоубежище, как оказалось, отводили только немецких заключенных; иностранным в такой чести было отказано. В этой тюрьме Жаклин, не зная немецкого, почувствовала себя совсем одинокой, там не было тех контактов с заключенными и чувства плеча, которыми отличалась тюрьма Френ. И трудно было смириться с «потерей» рук: скованная наручниками, она даже ногти себе не могла почистить. Приходилось, положив руки на колени, часами сидеть на деревянной табуретке, готовясь к очередному налету или к раздаче скудного пайка. Жаклин была близка к отчаянию.

Однажды утром за ней пришла надзирательница:

«Она вывела меня на пустой двор, сама села на стул, а мне приказала ходить по кругу. Попав на свежий воздух, я чуть не опьянела. Немного светило солнце. Проходя мимо одного кустика, я умудрилась, несмотря на свя-

занные руки, сорвать зеленый листок, запах которого потом, вернувшись в камеру, долго вдыхала. На прогулку полагалось четверть часа, после чего меня вновь водворили в мою конуру. Это повторялось два-три раза в неделю.

В один прекрасный день надзирательница повела меня в другой двор. Подойдя к ведущей туда лестнице, я заметила двух женщин. Одеты они были, как и я, в синие муслиновые платья; как и у меня, их запястья были в тяжелых металлических обручах, обтянутых черной кожей. И вдруг я узнала: Вики, Софка! Мои товарищи, мои сестры! Всё сразу озарилось. Жизнь показалась прекрасной. Тюрьма, надзирательницы, одиночество – всё получило более светлую окраску. День был серый, но даже если бы светило солнце, он не мог быть более прекрасным!»

Но первый жест подруг Жаклин озадачил: обе, отрицательно качая головой, показали на себя пальцем. А когда она приблизилась, прошептали: «Это не мы тебя выдали». В ответ Жаклин шепотом завестила их, что она это прекрасно знает. Заключенных вывели во двор.

Двор был прямоугольный; заключенных заставляли ходить по периметру, соблюдая дистанцию в пятнадцать шагов. Говорить воспрещалось, они могли только обмениваться радостными улыбками. Поведение трех иностранок, приговоренных к смертной казни, взбесило надзирательницу, и она преждевременно закончила прогулку. Вечером надзирательница появилась в камере Софки, и та, на своем хорошем немецком, бросила ей укор: «Как вы можете быть такой черствой, неужели вы не понимаете, что подруги были рады увидеть друг друга? Неужели даже улыбаться запрещено?» Ответа не последовало.

С этого дня пребывание в Алт-Моабит сделалось для Жаклин более сносным. Она не переставала поражаться Викиной находчивости, умению расположить к себе людей и воспользоваться их услугами. То ей удавалось передать Жаклин «добрый вечер» через заключенную, работавшую в тюрьме уборщицей, когда та приходила затемнить окно, так как свет электрической лампочки продолжал гореть в камерах всю ночь. То оказывалось, что Вики успела познакомиться с одной немкой, тоже сидевшей за сопротивление гитлеровскому режиму. С ней Жаклин встретилась, когда ее, наконец, отвели в тюремный лазарет, чтобы перевязать ее фурункулезные раны. Так у Вики с Жаклин даже в тюрьме возникла общая знакомая. «А мне про вас говорила Вики», – сказала ей в другой раз работавшая в лазарете заключенная бельгийка. Этой бельгийке удавалось узнавать от мужчин, которых выводили на работы в Берлин, последние новости и передавать их дальше через открытое окно Вики. Таким образом и Жаклин узнавала, что русские были уже под Минском, и про бои в Нормандии. Появилась надежда, что, быть может, Германия будет побеждена еще до наступления зимы. Затеplилась надежда и на свое спасение.

Однажды во время прогулки Вики умудрилась сообщить ей радостную новость: убит партизанами ненавистный министр в правительстве маршала Петена, Филипп Энрио, призывавший французскую молодежь записываться на работу в Германии.

А еще было одно замечательное утро, когда Вики, Жаклин и Софку отвели в подвал, чтобы принять настоящую теплую ванну. Надсмотрщица была пожилая сидящая женщина с завернутыми на голове косичками и приятным лицом. Вики ее о чем-то спросила по-немецки. Та утвердительно кивнула головой, и подруги смогли обнять друг друга.

Вики научила Жаклин нескольким полезным немецким словам. Теперь та могла просить книги из тюремной библиотеки; там неожиданно оказалось довольно полное собрание французских книг конца 19-го века, где наряду с классиками были и «новинки» старых времен.

Но вот пришел приказ о переводе в другую тюрьму. За несколько дней до того в камеру Жаклин, за неимением другого помещения, посадили двух молодых женщин. Одна была эльзаска, другая итальянка, их незадолго до того тоже приговорили в Париже к смертной казни. Франсин, из Эльзаса, была на шестом месяце беременности, что не помешало зверскому обращению с ней следователей. Она умела притвориться дурочкой, делая вид, что ничего не понимает, хотя отлично знала немецкий. До ареста Франсин работала чертежницей на предприятии, соорудившем знаменитый Атлантический вал, и копировала все проходившие через ее руки планы укреплений. Подруга Франсин, Моник, принадлежала к той же организации Сопротивления.

Наутро Вики, Софку, Жаклин и ее сокамерниц отвели в помещение, где хранились их вещи. Там им развязали руки и принесли суп. Пока они ели, Софке удалось выпытать у толстой надзирательницы, что их переводят в женскую тюрьму на Барнимштрассе, где, как она сказала, «режим строже, но кормят лучше».

По сравнению с тем, что их ожидало, Алт-Моабит была относительно вольготной тюрьмой. Там было даже некое подобие уюта: зеленые растения при входе, полы коридоров устланы линолеумом, на столиках у надзирательниц вышитые салфетки, библиотека... Тюремщицы, за малым исключением, не были зловредными.

Вот и сейчас, покидая Алт-Моабит, в ожидании транспорта женщины на время были предоставлены самим себе и смогли, наконец, наговориться. Им удалось продолжить разговор и в тюремной перевозке, по пути было несколько остановок. Жаклин узнала некоторые подробности из того, что произошло с Вики и Софкой со времени их ареста. Она услышала, с каким присутствием духа Вики выдержала все допросы, как находчиво старалась запутать немецких следователей, чтобы выгородить своего мужа и товарищей по ОСМ собственной версией о несуществующем любовнике. Вики, смеясь, рассказала про то, как ей удалось вызвать сочувствие следователя, придумавшего, чтобы ее испытать, историю о вероломном поведении этого «любовника». Рассказала Вики и про то, как она встретила Галлуа, Леперка и Рузе при перемещении из тюрьмы города Фрэн в Аррас, как ей удалось сказать им, что ни она, ни Софка никого из своих товарищей не выдали, а от них узнать про арест полковника Туни и дру-

гих... Вот когда их охватило беспокойство: каким образом оказалось возможным произвести столько арестов? Неужели вся их работа, начиная с сорокового года, была напрасной?

Покуда Вики и Жаклин обменивались пережитым, тюремный возок сделал еще один крюк, позволивший им посмотреть на Берлин, который летом 1944 года повсюду являл одно и то же зрелище: каждый третий дом был до основания разрушен, вдоль тротуаров лежали аккуратно сваленные груды кирпичей, черепицы, обломки стен и осколки...

Попав в тюрьму на Барнимштрассе, они сразу ощутили иную атмосферу. Их посадили в приемное помещение, где было около пятидесяти немцев, схваченных еще утром. Причины арестов были всё те же: слушали иностранное радио или в частных письмах высказывали пораженческие настроения... Это сулило смертный приговор. А торговля на черном рынке, работа без удостоверения влекли за собой от месяца тюрьмы до заключения в концлагерь.

На сей раз подруги сидели не в одиночках. Сокамерницей Вики была женщина из Голландии; в камере Жаклин – немка из Мюнхена, которую звали Герминой. В первую же ночь опять завывли сирены. Это было не ново. Новым было то, что заключенных спустили в подвал, где простые арестантки могли размещаться как хотели, а смертниц затолкали в отдельное помещение. В свете ручного фонарика надзирательницы перед Жаклин предстало некое средневековое зрелище:

«Под арками низкого свода десятка два женщин в белых ночных рубашках – почти все с седыми растрепанными волосами и мертвенно-бледными лицами – сидели на корточках, держа перед собою руки, схваченные кольцами наручников. Как только я вошла, дверь за мной сразу закрылась. Оставшись в крошечной тьме, я опустилась на пол, и только позвякивание цепей убеждало меня в том, что это не сон».

Но вот радость – тут оказались и Вики с Софкой! И говорить не воспрещалось! С тех пор вой сирен, предупреждавший об очередном налете, сделался желанным сигналом предстоящей встречи с подругами. В одну из бомбежек Вики решила воспользоваться тем, что они с Жаклин – соседи по камере, и пополнить ее тюремное образование: «Я тебя научу азбуке Морзе; завтра начнем с алфавита». Назавтра состоялся первый урок. Шпилькой для волос Жаклин нацарапала на стене все буквы азбуки Морзе и потом в течение двух суток старалась их вызубрить. На третий день она уже могла начать переговариваться с Вики через стенку. Временами ошибалась, всё путала и сбивалась. Вики смеялась и терпеливо начинала повторять всё сначала.

В подземелье тюрьмы во время налетов образовалась небольшая группа «политических». В нее вошли, помимо Вики, Софки и Жаклин, Аннетт, смертница из Бретани, и молодая русская, врач из Воронежа, которую Жаклин в своих воспоминаниях называет Еленой⁷. Елена рассказала Вики и Софке, что ее оставшиеся в России

родители много претерпели от большевиков. Отец был сослан в Сибирь и там пропал бесследно, а вот она, вспоминает Жаклин, оказалась жертвой гитлеровской машины... Ее насильно вывезли и отправили в рабочий лагерь, потом вменили в вину связь с немецкими коммунистами и приговорили к смертной казни.

«Елена была маленькой, тоненькой, с прелестным овалом лица и светлой короной кос. В ней чувствовались порода, образование, вкус. Вот уже четыре месяца, как она в оковах дожидается смерти. Смерть чуть было не застигла ее в мае, когда было разбомблено одно крыло тюрьмы, и казнь была отложена. Погибло 400 заключенных. Теперь был июль месяц, а размещенные на верхнем этаже немецкие, итальянские и бельгийские заключенные рабочие всё еще вытягивали из-под развалин последние трупы.»

Вики была встревожена состоянием Софки, вид которой был отрешенным. Чтобы как-то поддержать ее, Вики изловчилась посылать Софке сообщения азбукой Морзе, отбивая буквы кончиком пальца на своей ладони. Софка научилась на расстоянии улавливать морзянку глазом. Жаклин поражалась тому, как Вики не упускала ни одного случая, чтобы не подбодрить своих подруг. Размышляя о характере Вики, Жаклин писала:

«Она обладала некими чисто русскими свойствами: легкостью, с которой всё схватывала на лету, страстью к книгам, заглатывая всё вперемешку, хорошее с плохим. Ранее она любила общество, танцы, удовольствия и всегда готова была принять от жизни всё, что жизнь ей дает. До войны можно было подумать, что Вики всего лишь умная и пылкая молодая женщина, обожавшая жизнь. Потребовалось падение Франции, которую она так любила, чтобы в этой богатой и великодушной натуре внезапно выкристаллизировались все ее удивительные качества. С этого момента у нее не было сомнений в сделанном ею выборе; она не отклонялась от своего пути, не отступала перед препятствиями, не раскаивалась в своем решении, когда за это пришла тяжелая расплата. У нее не было ни моего скептицизма, ни Софкиного христианского смирения; ни уверенности гордых, полагающихся на свою счастливую звезду, ни слабых, молящих защиты у Бога. Если Вики обращалась к Господу, это было не за тем, чтобы что-то просить у Него для себя».

И далее Жаклин писала:

«Здесь ни одно из ее главных качеств не пропало даром: страстность натуры вылилась плодотворной энергией; отзывчивость души полностью оказалась в тюрьме, этом наивысшем из всех испытаний, где по-настоящему познается человек. Викина любовь к веселью давала нам минуты разрядки, позволявшие потом вновь собраться с силами. Свойственный ей юмор, которым она раньше блистала в кругу друзей, вместо того чтобы исчезнуть под тяжестью несчастий, наоборот, проявился с новой силой в ее способности находить смешное даже в самых трудных ситуациях. Например, она, смеясь, объявила Софке о том, что в Берлине на них напялят наручники, как будто это была шутка. Софка даже немного обиделась».

Как-то во время одного из допросов Вики старались принудить

описать «Элизабет Брюне», то есть саму Жаклин. Вики пустилась фантазировать и совершенно переиначила ее внешность, сделав из Жаклин высокую блондинку с орлиным носом. А потом, чтобы позавеселиться, добавила такую деталь: «Брюне? Да у нее петушиные щиколотки». Позже, когда военная контрразведка узнала – и не от Вики – настоящую фамилию Жаклин и когда ее, в свою очередь, подвергли допросам, она услышала об этой подробности и искренне посмеялась. Следователи тоже стали смеяться и ткнули пальцем в показаниях Вики на немецкое слово, означавшее «нога петуха». На какие-то несколько минут атмосфера разрядилась.

* * *

Прогулка, как и в старой тюрьме, была во дворе. Заключенных выстраивали по кругу и заставляли ходить в нескольких шагах друг от друга. Около кухни проходили мимо кучи угля и запахов съестного, старались догадаться, какой будет паек. Толстая надсмотрщица в Алт-Моабит была неправа: пища там была не слишком питательная, но она на какое-то время наполняла желудок; здесь же заключенные были постоянно голодны.

– Пахнет горохом. Хоть бы дали сегодня гороховый суп... он немного притупляет голод.

Затем они проходили мимо лужи, где гнили кочаны капусты и картошка, стараясь обойти зловонную жижу, которая липла к тюремным колодкам. Потом шли вдоль здания, где находились их камеры, затем опять мимо кучи угля... За воротами виднелось обычное многоквартирное здание. Иногда в окне показывался кто-то из жильцов.

Кончался июль. Стояла сильная жара. Тюрьма была современной: все ее камеры выходили на открытый коридор, нависавший над такими же открытыми коридорами нижних ярусов. Был слышен каждый звук, сверху донизу. Дисциплина была строгая. Тюремщицы приветствовали друг друга словами: «Heil Hitler!» и вытягивали руку в нацистском салюте. Надевать и снимать ручные кандалы было обязанностью надзирательницы особого ранга, не испытывавшей к заключенным ни малейшей симпатии. Она могла так туго затянуть цепи, что их звенья впивались в запястья. Потом цепи сменили на обручи, стало немного легче. На немок надевали особые наручники, они были гибкие и позволяли им вязать или исполнять другие работы, выпадавшие на долю заключенных. Иностранкам работать не давали, им приходилось сидеть на табуретке, сложив скованные руки. В книгах Жаклин было отказано под предлогом, что французские книги сгорели при бомбежке. Жаклин Рамей рисует такую картину тюремного регламента:

«В шесть утра – побудка. Совершенно беспомощная, с завязанными руками, сижу на моем набитом сеном матраце и дожидаясь, чтобы моя сокамерница кончила совершать свой утренний туалет. Надсмотрщица является в

семь часов и объявляет: '*Guten Morgen*'. Мы должны приветствовать ее стоя и отвечать: '*Guten Morgen*'. Я докладываю: '995 (арестантский номер). *Zwei Gefangene. Eine T. K.*' — 'Две заключенные. Одна Т. К. (приговоренная к смерти)'. Мне снимают кандалы. Я делаю упражнения: вытягиваю руки, вращаю кисти, чтобы их размять. Снимаю с койки сеник, складываю одеяло, откидываю к стене металлическую раму постели. Возвращается надзирательница. Снова кандалы. Кофе-эрзац и черствый черный хлеб. Стучу в стенку и говорю «добрый день» Вики. Утро началось. Бесконечное.

Влезть на табуретку и посмотреть, что ли, в форточку? Двор. Кирпичные стены, в одном углу разрушенные. Утренняя прохлада. Небо серо-голубое. Откуда-то доходит запах капусты, вымоченной в уксусе, смешанный с трупным запахом, исходящим из разрушенного крыла здания. Время от времени пролетает птица. В окна напротив видно, что там заключенные женщины заняты в своих камерах вязанием. Но вот в одном окне появляется надзирательница. Быстрее слезать...

Шагаю по камере: шесть шагов в длину. Находившись взад и вперед, покада не заболели ноги и не закружилась голова, сажусь спиной к стене. Но стенка твердая и холодная. Тогда я сгибаюсь, опираясь на колени. Стараюсь на чем-нибудь сосредоточиться. Вспоминаю стихи, которые когда-то знала наизусть, но в моем ослабевшем состоянии не могу сделать достаточного усилия, чтобы вспомнить от начала до конца хоть одно-единственное стихотворение. Всегда что-то пропускаю. Расстроившись, пускаюсь в воображаемый разговор на английском языке. Задаю себе какую-нибудь тему: рассказать про свое детство или о теперешних злоключениях. Но результат всё тот же: слова ускользают.

Поднимаюсь и опять начинаю ходить. Но эти руки... они как парализованные, беспомощно висят передо мной! Еще раз бросаю взгляд на двор. Там ничего нового. Что делать? Попробовать поговорить через окно? Но эта попытка быстро прерывается энергичным окриком '*Ruhe*'! Попытаться поговорить морзянкой с Вики? Но мы уже с ней сегодня здоровались, а пускаться в длинные рассуждения при помощи азбуки Морзе не очень-то реально: голод притупляет ум, после десяти минут в голове путаются буквы.

Ложусь на пол, но тяжесть сложенных на животе рук становится невыносимой, а пол, несмотря на линолеум, ледяным холодом студит спину. К тому же это воспрещается; не прекращающееся весь день лязганье ключей заставляет всё время прислушиваться. Кажется, что в любой момент могут войти. Одним рывком встаю. Нет, это не к нам... Это рядом. Который может быть час? Хоть бы скорее принесли суп. Кажется, прошла вечность. Входит надзирательница и приносит работу моей напарнице. На ее ручных часах всего только 9:30!

Сажусь и смотрю на Гермину, наматывающую бинты на свои тонкие пальцы. Певучим голосом рассказывает она, как однажды в Мюнхене ударила одного пристававшего к ней эсэсовца палкой по голове, а потом убежала. Ее поймали, и получилась ужасная история.

Утро еле тянется. Очень хочется есть. Чтобы скорее прошло время, впадаю в оцепенение.

Но вот Гермине надоело работать. Она бросает остатки марли в унитаз, прячет для нас вату и заявляет, что кончила. Выглядывает в окно на двор.

— Еда, — докладывает она.

Я вскарабкиваюсь рядом с ней и действительно вижу котлы, которые женщины из кухни несут в наше здание. Пройдут еще убийственных полчаса. Котлы будут стоять внизу, пока их пересчитают. Затем их начнут носить

наверх, один этаж за другим. Потом они будут долго стоять на лестничной площадке каждого яруса. Потом будет слышно, как открываются двери камер сперва на нижних этажах, потом на нашем, как половник ударяется о судки, и слюни начинают течь так, что прямо больно становится. Наконец, открывается наша дверь. Обман! Суп оказывается ужасно жидким, а в нем всего три малюсенькие картошечки. Подозреваю, что надзирательница нарочно дает меньше иностранкам, и нам никогда не перепадает остатков... Гермина встает, чтобы вымыть миски и ложки. Вытирает их и ставит в маленький стеновой шкафчик. Вытирает стол. Всё. Готово. Теперь остается протянуть следующие шесть часов.

Раздается стук. Это Вики говорит мне: 'Вот бы чаю выпить с гренками, да с маслом и с вареньем'. Обмениваемся кое-какими новостями. Среди мужчин пронесся слух, что пришло решение о нашем помиловании и что нас приговорили всего к двадцати пяти годам принудительного труда. Посмеялись над этим 'всего'.

— Через двадцать пять лет я буду прабабушкой, — говорю я Вики.

А она мне в ответ:

— Ах черт, придется поберечь нашу обувь, если она должна продержаться столько лет...

Около двух часов пополудни раздается крик: '*Freistunde!*', потом громыание ключей, затворов, дверей, скрипучих и хлопающих, да стук деревянных колодок на линолеуме. Моя дверь открывается. Выхожу и смотрю влево. Появляется Вики. Она всё такая же. Похудевшая, но всё та же бодрящая улыбка, всё те же живые глаза, такие же блестящие. Она непременно скажет что-нибудь забавное. Я чувствую в себе прилив сил и мне стыдно за свое утреннее отчаянье».

Жаклин наблюдает во время прогулки, как, слегка наклонив голову, усталой походкой шагает Софка, о которой Вики постоянно тревожится. Из-за своей глухоты Софка еще больше изолирована от окружающего мира, чем остальные заключенные. Ходит по кругу и «Елена», маленькая, тоненькая, ее походка танцующая, юбка колыхается. У нее нет решительно никаких иллюзий относительно своей дальнейшей судьбы, и все-таки она остается приветливой и улыбчивой. А ведь ей вскоре отрубят голову... Шагает по кругу и одна арестованная француженка-бандерша, которой всего-то двадцать два года, но она верховодила командой из пятнадцати проституток. Две девицы из ее борделя тоже ходят по тюремному двору. Картину, как писала в своих воспоминаниях Жаклин, дополняют пять-шесть заключенных женщин в обычной одежде — они подследственные.

Есть заключенные, которых приговорили за то, что они слушали передачи Би-би-си. Недаром этой британской вещательной корпорации принадлежит немалая заслуга в победе над Германией. Ее информация на разных языках была правдивой и объективной, а частые выступления де Голля вдохновляли французское подполье. К тому же шифрованные передачи давали конкретные указания различным ячейкам Сопротивления, а «Песня партизан», которую сочинила и исполняла под гитару по Би-би-си Анна Смирнова-Марли, сделалась неофициальным гимном Резистанса.

В 14:30 прогулка закончена. Нужно скоротать остаток дня. По солнцу можно угадать приблизительное время. В 16:30 возвращаются с работ заключенные мужчины. У них бритые головы, одежда черная с желтыми полосами. Их гоняют в город расчищать завалы, а возвращаются они с новостями: немецкие и иностранные рабочие сообщают им последние известия, переданные из Лондона. Проходя по тюремному двору, они делятся услышанным.

К вечеру двор оживляется. Пока надзирательницы ужинают, немецкие узницы смеются. Они высовывают в окно кончики носов и переговариваются с соседками. А потом из кухни начнется шествие котлов. Самое страшное, если принесут вызывающую рвоту вонючую бурду из соленой рыбы, приправленную мятой.

Перед сном придет дежурная надзирательница снять кандалы. Заключенные разденутся. Потом она появлялась, чтобы вновь надеть наручники. Узницы не всегда получали ту же самую пару. Одна особенно сильно сжимала руки, а другая была посвободней, давала возможность ночью высвободить одну руку, предварительно намылив ее. Но если Жаклин получала тесные наручники, она утешала себя мыслью, что, по крайней мере, они не достанутся Вики или Софке. Перед сном Вики и Жаклин пожелают друг другу через стенку спокойной ночи. Прошел еще один день.

Однажды во время прогулки в тюремном дворе появилась надзирательница с бумагой в руках и вызвала Веру Оболенскую. Вики вышла из рядов.

– Вы говорите по-немецки?

– Да, – ответила Вики. И ей разрешили продолжить прогулку.

А когда на следующий день Жаклин вели в душевую, она, как всегда, первым делом посмотрела влево и увидела, что напарница Вики была одна.

– Вики? – спросила она.

– Weg, – ответила та, – забрали.

– Куда?

– Не знаю.

Спустившись по лестнице, Жаклин перехватила встревоженный взгляд Софки. Губы ее сложились в беззвучное: «Вики?». Жаклин пожалала плечами: «Не знаю», – подумав про себя: быть может, Вики у доктора, но ведь туда принимали только по определенным дням и записываться надо было заранее. К тому же в то утро сразу после побудки Вики просигнализировала ей «здравствуй». Она бы дала знать, что больна. Потом Жаклин припомнила, что слышала, как позже открылась дверь в Викину камеру. Должно быть, тогда за ней и пришли.

День прошел в напряженном ожидании и догадках: быть может, Вики в администрации, быть может, комиссия вызвала ее на допрос по новому делу... Хотя бы она вечером вернулась! А на следующий день Жаклин получила по тюремному «телефону» такую весть: один человек видел, как Вики уводили в наручниках из тюрьмы. Она

успела сказать ему, чтобы передал ее подругам – «переводят в лагерь».

Прошел еще день. Сердобольная служащая тюремной администрации, войдя в камеру Софки, тоже сообщила Софке, что Вики направлена в один из концлагерей переводчицей. Жаклин и Софка прикинули: раз Вики была приговорена к смерти примерно три месяца назад, значит, к этому сроку приурочили и ее помилование. И вот почему пришли узнать, говорит ли она по-немецки. Значит, ее действительно отправили в лагерь, чтобы переводить русским пленникам.

Дальнейший ход событий косвенно подтвердил эту версию – девяносто дней спустя после вынесения смертного приговора Софка и Жаклин обе получили уведомление о том, что их смертный приговор заменяется концлагерем.

ГЛАВА XVI

Осенью Софка и Жаклин оказались в Котбусе, потом в лагере Равенсбрюк, всюду надеясь встретить Вики. С прибытием каждого нового конвоя они прокрадывались к бане в надежде, что Вики привезли с очередным транспортом.

Что из себя представлял женский лагерь Равенсбрюк, описано в воспоминаниях племянницы де Голля, Женеьевы, попавшей туда в 19 лет за участие в Сопротивлении. Она могла сравнить это только с дантовым адом: «Я видела, как людей убивали киркой, как натравливали на них собак, швыряли в овраг с нечистотами... Я слышала ужасные жалобные крики и ничего не могла сделать, чтобы помочь»⁸.

Заключенных заставляли вставать в три часа утра и вели под конвоем на работу; смена продолжалась 12 часов. Несколько раз Женеьева подвергалась избиению садистских эсэсовских надзирательниц, у нее началась цинга, раны загнивали, одежда превратилась в отрепья, голод был постоянным, а еще – всегдашнее недосыпание. «Может ли что-то быть хуже?» – задается вопросом Женеьева. Оказывается, да, – «Каково было тем девочкам, матери которых, чтобы сохранить им жизнь, дали разрешение на их стерилизацию?» А стерилизацию производили без наркоза. Согласно британским расследователям гитлеровских преступлений, только за первые два месяца 1945 года стерилизации подверглись 500 цыганских девочек, «тем обеспечив, что они не смогут осквернить чистоту германской расы»⁹, – замечает писательница Сара Хелм, изучавшая документы Нюрнбергских процессов.

Согласно лагерным порядкам, женщин, до предела истощенных и неспособных работать, просто убивали. В этой преисподней Жаклин и Софка провели несколько месяцев. «Быть может, это было эгоистично, но жаждали присутствия Вики, чтобы она поддержала наш дух», – вспоминала потом Жаклин. Но вот небольшая радость: во французском бараке лагеря они повстречались с другом по Сопротивлению, Жаклин Рише-Сушер. Теперь обе Жаклин стали вме-

сте оберегать Софку, чьи силы убывали, и она, как нетрудоспособная, могла быть уничтожена.

А Париж праздновал конец своей оккупации. Были танцы на улице, были толпы народа; женщины целовали солдат-освободителей. Благодаря наплыву английских, американских и канадских военных, а также иностранных корреспондентов и благотворительных организаций, город вновь наполнился иностранцами.

Освобождение Парижа состоялось 25 августа 1944 года. В числе самых первых вошедших в столицу освободителей был один из главрей Гражданской и Военной Организации Сопротивления Мишель Пасто. Действуя после возвращения из Алжира в глубоком подполье, он организовал эффективную службу военной разведки в районе продвижения американской армии под командованием генерала Паттона. Потом Пасто перешел в штаб генерала Леклерка, командовавшего 2-й французской бронетанковой дивизией, которая высадилась в Нормандии, и вместе с Леклерком вступил в Париж. Праздновали это событие также Галлуа и Леперк; их отпустил из тюрьмы германский прокурор, опасавшийся возмездия, и они успели принять участие в битве за освобождение столицы.

Вступил в Париж и Роланд Фаржон, который зарекомендовал себя отважным офицером в рядах партизан-«маки», обелив свое имя от подозрений в измене Сопротивлению. 11 ноября 1944 года, когда генерал де Голль принимал большой парад по случаю освобождения Парижа, Фаржон прошел под Триумфальной аркой во главе партизанского батальона, которым он командовал. Правда, на этом его история не кончилась и к ней еще нужно будет вернуться.

Тем временем Германию всё больше сжимали в тиски наступающие силы союзных войск. До самых последних дней концлагерников швыряли то туда, то сюда. Приказы и контрприказы выбрасывали заключенных на дороги. Прорыв советских войск – лагерников гнали на запад; приближение англо-американских войск – гнали их в восточном направлении. На каждом очередном этапе перемещения половина изнеможденных и лишенных питания людей умирала.

1 марта 1945 года, так и не встретив Вики и не узнав о ней ничего, Жаклин и вновь заболевшая туберкулезом Софка были эвакуированы из Равенсбрюка. После четырех дней и пяти ночей в переполненных до отказа товарных вагонах поезд прибыл в австрийский город Маутхаузен с его жесточайшим одноименным концлагерем. От железнодорожной станции заключенных погнали в лагерь по обледенелой дороге. Это была дорога смерти – отстающих или тех, кто упал, конвоиры добивали из пистолета. Трупы лежали по обочинам. С трудом поднимаясь в гору, Жаклин и еле живая Софка преодолели и этот путь, надеясь на встречу с Вики. Но эта надежда и тут не оправдалась.

Заключительный перегон этих полускелетов для Жаклин и Софки

сводился к вопросу: что наступит скорее – смерть или появление союзных войск? Самые последние залпы Второй мировой войны затихли в нескольких километрах от них. Маутхаузен был освобожден американскими войсками 7 мая 1945 года и Международный Красный крест приступил к эвакуации выживших.

Бухенвальд, где находился Николай Оболенский, был освобожден III Армией США тремя неделями раньше – 11 апреля 1945 года. Снимки ужасающей картины, которую они там застали, облетели весь мир: горы обнаженных трупов и еще стоящие на ногах скелеты еле живых заключенных.

Истощенный и измученный, Николай Оболенский выжил. Спустя четыре дня, 15 апреля, всё еще находясь в Бухенвальде, он слабой рукой пишет по-французски карандашом письмо своей жене, адресуя его по их старому адресу в Нёйи:

«Вики, моя дорогая! Я от всего сердца надеюсь, что ты уже давно на свободе, что ты себя хорошо чувствуешь и что мы скоро будем вместе. Меня всё время поддерживала уверенность в том, что после наших с тобой испытаний мы станем ближе, сильнее и еще более счастливыми, чем когда-либо, и что никакая облачность не сможет нас разлучить. Вот я на свободе и живой, и могу сказать только одно: это чудо Господней Милости. Ты увидишь, что я во всех отношениях изменился и, думаю, к лучшему».

И далее: «...мысли мои тебя не оставляли ни на миг. Я так счастлив, думая, что наши страдания нас еще больше сблизят».

То, что он не погиб в Бухенвальде Оболенский воспринимает как чудо – и возвращается к этой мысли еще раз в конце письма:

«Милая моя, я спасся только благодаря своей вере. У меня имеются твердые доказательства, что мертвые живут и нам помогают..

...Я тебя крепко целую, мою любимую Вики, преклоняюсь перед тобой и тебя благословляю. Твой старый муж Николай».

* * *

В Париж Оболенский вернулся с 75-процентной инвалидностью. Не встретив там жены, он всё еще верил, что она жива. Его, как и многих других возвращавшихся из немецких лагерей и тюрем, поместили в больницу.

Среди вернувшихся был и Кирилл Макинский. Вернулись в Париж и Викины подруги Софья Носович, Жаклин Рамей и Жаклин Рише-Сушер. Софка была еле жива от истощения и туберкулеза. Ее вылечили благодаря недавно изобретенному лекарству – пенициллину. Все они надеялись, что Вики уцелела. Друзья ее вывешивали объявления, обращались в разные инстанции и опрашивали возвращавшихся из немецких лагерей, но Вики исчезла, как камень, брошенный в воду.

Еще ранее первые шаги по розыску Вики были предприняты ее родителями – отцом, который проживал в Нью-Йорке, и матерью в Париже. Об этом свидетельствуют письма, которые были обнаруже-

ны в парижском архиве Союза христианской молодежи YMCA (Young Men Christian Association) и которые теперь хранятся в архиве Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына в Москве¹⁰. Все письма проходили через директора парижского филиала YMCA, Пола Андерсона, который вернулся из США, как только это стало возможным. Тогда еще не было нормальной почтовой связи с Америкой, и Андерсон был связующим звеном.

Из переписки выясняется, что попытки разыскать след Вики принимались через Красный Крест, Союзнический контрольный совет в Берлине и даже было запрошено французское консульство в Одессе. Почему? Думали: вдруг Вики оказалась в советской зоне оккупации и ее, как русскую, могли репатриировать через Одессу в СССР.

Первое письмо датировано 13.12.44, то есть примерно полгода спустя после освобождения Парижа. Оно адресовано Борису Александровичу Бахметеву, бывшему послу Временного правительства в США, впоследствии члену Правления Толстовского Фонда в Нью-Йорке. Видимо, оно было ответом на несохранившееся письмо Бахметева, написанное им по просьбе А.А. Макарова, отца Вики. То, что Макаров обратился к Бахметеву, неудивительно: Борис Александрович был учредителем и одним из директоров той самой спичечной фабрики в Нью-Йорке, где Викин отец работал¹¹.

Супруга его, Вера Алексеевна Макарова, обращаясь к Бахметеву, писала по-французски:

«Месьё,

Я получила письмо от Вашей секретарши г-жи П... (неразборчиво). Благодарю Вас за хорошие сведения о моем муже. Я рада, что у него всё благополучно. Про себя я этого сказать не могу. 17 декабря 1943 года моя единственная дочь, княгиня Оболенская, была по политическим причинам арестована гестапо и заключена в тюрьму Френе, затем Аррас; потом, через Роменвиль, депортирована в Германию. Муж ее тоже был арестован и увезен в Германию. Арест моей дочери, столь для меня неожиданный, нанес мне страшный удар, от которого я до сих пор не могу оправиться. Я целый год провела в состоянии ужасной тревоги и несмотря на все мои усилия, до сих пор не знаю, в каком состоянии находятся она и ее муж. Мне шестьдесят два года, а на моем попечении такого же возраста сестра, наполовину парализованная. Жизнь наша очень нелегкая, и я чувствую себя крайне усталой и подавленной. Мое единственное утешение – знать, что здоровье моего мужа хорошее. Что же касается моей дочери и моего зятя, то после их ареста наше материальное положение стало критическим. Нам удалось просуществовать лишь благодаря нашим друзьям, русской церкви и благотворительности. Сейчас положение улучшилось; мы получаем помощь от Военного министерства и (неразборчиво), покуда не получим деньги от моего мужа. Еще раз благодарю Вас.

Искренне Ваша, Вера Макарова».

8 октября 1944 секретарша П.Б. Андерсона извещает Б.А. Бахметева, что ее шеф пытается навести справки о Вики в Бюро поиска, которое было создано оккупационными властями в разрушенной

Германии, но проходит полгода, а о Вики всё еще ничего не известно – кроме того, что она находилась какое-то время в тюрьме на Барнимштрассе.

Наконец из Союзнического контрольного совета в Берлине Николай Оболенский получает следующее оповещение от 24 мая 1946 года, с копией Андерсону:

«В результате наведенных мной справок я вынужден, к глубокому при-
сору, сообщить Вам, что, согласно новым обнаруженным документам,
выяснилось следующее:

Секретарша Вера Оболенская, рожденная 24.6.11 в Москве, проживав-
шая в Нёйи близ Парижа, была казнена (расстреляна) 4 августа 1944 года в
тюрьме Плётцензее.

Я должен Вас заверить, что сведения эти точные, так как были получе-
ны от главного инспектора тюрьмы Плётцензее».

Под этим стоит подпись Л. Розена, служившего во французской
группе при Контрольном совете в Комитете по делам военнопленных
и перемещенных лиц.

Между тем месяц спустя Андерсон получает письмо из UNRRA
(Администрация помощи и реабилитации Объединённых Наций) от
директора Центрального бюро по розыску. В письме говорится, что ни
в архивах тюрем Моабит, ни в тюрьме на Турмштрассе, ни в Плётцензее
нет никаких следов пребывания там Веры Оболенской. Но на это
Андерсон отвечает, что он уже располагает официальным уведомлени-
ем от французских оккупационных властей в Германии об убийстве
Веры Оболенской 4 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее. «Однако, –
добавляет он, – мы не уверены в достоверности этой информации, так
как одна бывшая заключенная утверждает, будто видела ее 11-го числа,
то есть неделю спустя после того, как она, якобы, была казнена».
Андерсон просит навести дополнительные справки.

В ту же инстанцию обращается из Нью-Йорка и отец Вики. Он
благодарит за полученную информацию, но просит не оставлять
этого дела – ведь видел же кто-то из арестованных Вики и после ука-
занной даты смерти. Поэтому он не может считать окончательным
удостоверение, противоречащее свидетельскому показанию. В при-
ложенном к письму меморандуме отец просит установить: какого
числа Вики была доставлена из тюрьмы Барнимштрассе в
Плётцензее, имеется ли свидетель казни, который мог бы описать ее
внешность? Что могло быть причиной исполнения смертного приго-
вора, в то время как другим в ее группе смертный приговор заменили
концлагерем? Наконец, если действительно она была казнена, хоте-
лось бы знать, что ее, глубоко верующую православную, напутство-
вал священник. Макаров также просит, чтобы впредь была установ-
лена прямая связь с ним, а не через жену, «слабому здоровью которой
может быть нанесен непоправимый удар».

Через некоторое время Андерсону приходит письмо из UNRRA

с сообщением о том, что получено официальное свидетельство о смерти Веры Оболенской, урожденной Макаровой, в котором указано и точное время ее смерти – 13:00 часов 4 августа 1944 года. Копии свидетельства, говорится, были посланы Оболенскому и Макарову.

Факт гибели жены теперь не подлежал сомнению, и Оболенский посылает Мишелю Пасто письмо, обрамленное черным:

«Мой дорогой друг, помня о славных и страшных часах, которые Вы пережили вместе с Вики в сорок третьем году, считаю своим долгом известить Вас, что я получил официальное уведомление о ее смерти. Моя бедная жена была расстреляна 4 августа 1944 года в тюрьме Плётцензее, в предместье Берлина, в возрасте 33 лет. Ее товарищи по тюрьме говорят, что она до конца оставалась преисполненной мужества и надежды, старалась быть веселой и поддерживать в них бодрость духа. Вернувшись тяжело больным из Бухенвальда, я не могу свыкнуться со смертью Вики, навсегда сокрушившей мою жизнь, а я мог бы быть таким счастливым».

Подписано письмо: *Оболенский*¹².

ГЛАВА XVII

17 мая 1952 года на русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа собралась небольшая группа друзей и соратников Вики, пришедших вместе с Николаем Оболенским на открытие кенотафа Веры Оболенской, установленного у подножья памятника русским воинам, павшим за Францию.

Французская надпись на нем в переводе на русский язык гласит:

ВИКИ

КНЯГИНЯ Н.¹³ ОБОЛЕНСКАЯ

УРОЖДЕННАЯ МАКАРОВА

ЛЕЙТЕНАНТ СИЛ СВОБОДНЫХ ФРАНЦУЗОВ

4-6-1911 4-8-1944

РАССТРЕЛЯНА НАЦИСТАМИ В БЕРЛИНЕ

БЕЗ МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ

Слева в круглом обрамлении ее последняя фотография, рядом – изображение высшей французской награды – ордена Почетного Легиона; с правой стороны – медаль Сопrotивления и Военный Крест с пальмовой ветвью.

На открытии мемориала присутствовали: Софья Носович, Жаклин Рише-Сушер и Жаклин Рамей, вдова основателя ОСМ Ивонн Арпоис, Кирилл Макинский и другие. Слово взял глава Гражданского крыла Организации Максим Блок-Маскар¹⁴. Он начал с цитаты из грамоты о введении Вики в орден Почетного Легиона: «Она являла собой пример верности Франции и героизма в борьбе с гитлеризмом». Блок-Маскар продолжил:

«Преданной Франции Вера Оболенская безусловно была так же, как она была предана тем, кого любила и кто любил ее. Франция приняла Вики в

девятилетнем возрасте, когда она прибыла сюда после долгого и трудного пути, вынужденная спастись от насилия, жертвой которого стала ее родина. В свои девять лет она уже испытала режим террора. Несмотря на пройденные ею испытания, Франция дала ей возможность обрести не только физическое здоровье, но и душевное равновесие, впить в себя ее культуру и стать тем здоровым и энергичным человеком, каким мы ее знали. А за это Вики отдала Франции свою кровь. <...> Она всем пожертвовала ради того, чтобы Франция обрела независимость, чтобы французы сегодня и завтра были свободны, как и все те, кому Франция обеспечивает на своей земле приют».

Оболенский долго был убежден, что жену его расстреляли. Ведь именно так и сказано на мемориальной плите. Чем это можно объяснить? Я задала этот вопрос Мишелю Пасто, который рассказал следующее.

Ввиду противоречивых показаний, связанных с гибелью Вики, он выхлопотал разрешение самому отправиться в оккупированный союзными войсками Берлин. Там, побывав в тюрьме Плётцензее, Пасто удостоверился в том, что казнь Вики была совершена на гильотине. Вернувшись из Берлина, Пасто делится этим с друзьями Оболенского. Обеспокоенные и без того тяжелым физическим и моральным состоянием Николая, они решают не опровергать версии о расстреле и умалчивают о страшном способе казни Вики.

У самого Оболенского сообщение Розена, сославшегося на инспектора тюрьмы, сомнений не вызывало. Но посмотрим пристальнее: как именно это сообщение¹⁵ было Розеном получено? Во-первых, оно пришло не непосредственно из тюрьмы, а из штаба британского командования, так как тюрьма Плётцензее находилась в британском секторе Берлина. Во-вторых, туда оно поступило не в письменном виде, а по телефону и только затем в виде записки попало на стол Розена. А в записке сказано, что это – перевод на французский, но с какого языка, не указано. Скорее всего, с немецкого. Датирована записка 21 мая 1946 года. Вот дословный перевод на русский: «Согласно имеющимся у нас служебным документам, секретарша Вера Оболенская, родившаяся 24.6.11 в Москве, проживавшая в Нёйи близ Парижа, была казнена в тюрьме Плётцензее 4 8 44» (так в оригинале). Вверху значится, что информация поступила по телефону от директора тюрьмы, а внизу – что она изначально была заверена подписью «Отто», ее «генерального инспектора».

При всем путаном происхождении этого документа ясно одно: сознательно или случайно, в тюремных «служебных документах» не уточняется, каким именно образом была осуществлена казнь Веры Оболенской. Что неудивительно – применение гильотины во времена Гитлера тщательно скрывалось. Логично предположить, что Розен, не представляя себе иного вида расправы, сам от себя вставил в скобках слово «расстреляна», таким образом надолго закрепив эту версию.

И все-таки, как мог не знать об истинной казни Вики Николай Оболенский, если ему было послано свидетельство о смерти жены?

В полученном мною самой из Городской управы Берлин-Шарлоттенбург свидетельстве о смерти ясно указана причина смерти: «Enthauptung» – «обезглавливание»¹⁶. Но есть разница между точной факсимильной копией свидетельства о смерти, полученной мной в 2009 году, и тем, что было послано Оболенскому вскоре после окончания войны. Его копия машинописная, сделанная на старой пишущей машинке с потертой лентой. Буквы на ней прыгают, слова смазаны, а слово «Enthauptung», поставленное в самом низу бумаги, так мелко и нечетко напечатано, что его трудно разобрать, а можно и вовсе не заметить¹⁷. Не этим ли объясняется, что Николай Оболенский узнал всю правду гораздо позже, когда уже было слишком поздно менять надпись на мемориальной плите.

Перейдем к вопросам А.А. Макарова, которые содержатся в его меморандуме. Почему других женщин отправили в концлагерь, а его дочь казнили? Макаров, очевидно, не знал тогда, что Вики отказалась подписать прошение об обжаловании приговора, считая это унижительной формальностью.

На вопрос, был ли к Вики допущен священник, ответить невозможно. По регламенту это полагалось, но за восемь последних месяцев войны в тюрьме Плётцензее было совершено 680 казней только усечением головы, не считая повешенных. Это была фабрика смерти, едва ли там особенно заботились о душах обреченных.

Почему даже после смерти Вики продолжали ходить слухи о том, что она выжила? Причиной тому была сама Вики: уже зная, что ее ведут на казнь, она, заботясь о состоянии своих подруг, попросила встреченного при выходе из тюрьмы человека дать им знать, что ее отправляют в концлагерь. Софка позже вспоминала: «Тогда я этому поверила. Всюду, куда только не таскали меня по лагерям и тюрьмам, искала я Вики. Теперь я знаю, что нашла она в себе нечеловеческие силы, идя на ужас казни, думать о нас, оставшихся, обо мне. Последний раз поддерживала своих товарищей по беде, своего друга. Ведь смертникам читали приговор заранее. Знала она, куда шла... Это святая ложь ее...» Тюремные стены, как известно, пористые и полнятся слухами. Та заключенная, которая уверяла, будто видела Вики уже после свершившейся казни, несомненно, обозналась, приняв за Вики кого-то другого.

ГЛАВА XVIII

Для того чтобы представить себе последние часы жизни Вики, надо обратиться к немецким источникам. При берлинской тюрьме Плётцензее (Plötzensee) открыт музей «Немецкого сопротивления нацизму», там же находится и Мемориал жертвам нацизма. В этом комплексе имеется и доступный исследователям архив. Директор музея д-р. Йоханнес Тюхель провел исследование казней, совершенных в этой тюрьме со времени прихода к власти Гитлера в 1933 году и до вхождения Красной армии в апреле 1944 года, в общей сложности 2,500 человек. Причем наибольшее число казней пришлось на

последний год войны. В тюрьму Плётцензее доставляли преимущественно лиц, которых нацистское правосудие признавало особо опасными государственными преступниками. Под эту категорию подпали арестованные члены подпольной организации Rote Kapelle «Красная капелла»¹⁸, генералы – участники покушения на Гитлера 20 июня 1944 года, и другие. Привозили сюда и лиц, приговоренных военными судами за сопротивление в оккупированных Германией странах. Что касается Франции, то согласно распоряжению, исходящему из высших инстанций, мужчин расстреливали в самой Франции, а женщин незаметно ликвидировали за ее пределами, чтобы они не обрели среди населения ореола героинь и мучениц.

Известны педантично изложенные правила совершения казней, обязательные для всех тюрем Третьего Рейха, где совершались казни¹⁹. Накануне казни полагалось зачитать смертнику приказ о времени и средстве исполнения приговора, а свидетелям казни надлежало являться в темной одежде. Еще было предписано, что при одновременном совершении нескольких казней приговоренный не должен видеть умерщвления своего предшественника. В связи с этой инструкцией место казни в Плётцензее выглядело следующим образом: в центральном помещении отдельного каменного здания была установлена гильотина. Сегодня там видно только отверстие в полу, куда стекала кровь, но когда в апреле 1945 года в Берлин вошли советские войска, они застали в Плётцензее еще окровавленную гильотину; рядом с ней в корзине лежали отрубленные головы – свидетельство казней, совершенных чуть ли не накануне вступления в Берлин-Шарлоттенбург Красной армии²⁰. В том же помещении на поперечном рельсе у высоких окон задней стены укреплены были восемь крюков для повешения. Обреченных вводили по одному. Коль скоро один был повешен, тело закрывали черной занавеской и в помещение вводили другого приговоренного. К повешению приговаривали преимущественно мужчин, а женщин – к гильотине.

В женской тюрьме Барнимштрассе имелось специальное подвальное помещение, куда накануне казни помещали заключенных женщин и где, согласно регламенту, им зачитывали постановление о порядке экзекуции и остригали волосы. По свидетельству Софки, «в ожидании часа смерти они часто выли, как звери. Вся тюрьма затихала в ужасе, прислушиваясь к их воплям смертной тоски». Вики, человек религиозный, надо думать, провела ночь в молитве.

В штрафную тюрьму Плётцензее Вики доставили из Барнимштрассе в тюремном возке к 10 часам утра. Об этом свидетельствует заполненная в ее присутствии тюремная карточка. Следующие три часа Вики провела за тяжелым замком в тесной камере смертников тюремного корпуса № 3. Около часа дня, без нескольких минут, за ней пришли двое надсмотрщиков. Сковав позади ее руки, они привели ее на место казни и положили лицом вниз на скамью гильотины. Через 18 секунд всё было кончено.

Палача звали Вилли Рётгер, по профессии – коновал. За каждую голову ему причиталось 60 рейхсмарок, а его сподручным по восемь папирос. Один из них, Пауль Дюрхауер, был тем человеком, который своей подписью засвидетельствовал факт отсечения головы Веры Оболенской «в 13:00 часов 4.VIII.1944».

* * *

В свое время я запросила Плётцензее о судьбе Викиных останков. Ответ был, что тело доставили в анатомический театр берлинского университета имени Фридриха-Вильгельма. Это показалось мне странным: неужели в городе, подвергавшемся ежедневным бомбежкам, не доставало трупов для будущих докторов? Оказывается, не для этой цели туда было доставлено обезглавленное тело Вики; оно было нужно директору Анатомического института профессору Йоганесу Стиве для проводимой им научной работы. Предметом изучения Стиве был эффект действия насильственной смерти на половые органы. У мужчин он исследовал предстательную железу, у женщин – матку и яичники. Особый интерес вызывал у Стиве феномен внециклического кровотечения у женщин, вызванного стрессом при объявлении о предстоящей казни. Он и термин такой изобрел – «*Schreckblutung*» (*шоковое кровоизлияние*).

С тюремной администрацией у Стиве была договоренность о предоставлении нужных ему тел. Стиве настаивал на том, чтобы получать свой «рабочий материал» (*Werkstoff*) как можно скорее. Поэтому тюрьма заранее предупреждала его о предстоящих казнях и извещала его, будут ли среди казненных нужные ему женщины детородного возраста – категория, к которой принадлежала и Вики.

Узнав о предстоящей казни (или об одновременных нескольких казнях), Стиве заблаговременно посылал водителя крытой машины в тюрьму. Звали водителя Фриц Пачали. В архиве Плётцензее сохранилась жалоба, поданная им после серийной экзекуции членов «Красной капеллы». В ней он сетует, что ему положены всего три минуты на то, чтобы успеть раздеть труп и погрузить его в возок; ему необходимо было иметь хотя бы пять минут!»²¹ Пяти минут Фрицу не дали, зато повысили зарплату.

Забрав тела, он должен был без промедления доставить их в Анатомический институт, где Стиве и его ассистенты сразу же приступали к работе – проводили вскрытие и брали образчики тканей для дальнейшего исследования. Покончив с работой, Стиве отправлял останки в крематорий. После кремации прах сбрасывали в ничем не обозначенную общую могилу на одном из берлинских кладбищ. Всё совершалось в глубочайшей тайне.

Договоренность между тюрьмой и профессором Стиве всплыла лишь после победы над Германией. И то не сразу. Стиве оказался в советской зоне оккупации. Список имен, чьи трупы ему доставляли, он уничтожил, когда капитуляция Германии была уже неминуемой. После

занятия Берлина его допрашивали, но отпустили, ему даже удалось опубликовать результаты своих исследований. В 1946 году протестантский пастор, который был приставлен к тюрьме, уговорил Стиве по памяти восстановить уничтоженный им список имен. На машинописных листах значатся 182 имени, где за номером 153 – имя Веры Оболенской. Почему-то национальность ее обозначена как немецкая, правда, с вопросительным знаком. В тюремных бумагах Вики проходила как «советская» (ведь родилась она в Москве, значит-де «советская», хоть и в 1911 году!). Вероятно, Стиве не хотел афишировать, что имел дело с советской гражданкой, и предпочел выдать ее за немку. А знал ли он, что ему поставляли тела политических заключенных? Стиве утверждал, будто думал, что это обычные уголовники. Но согласно сведениям д-ра Тюхель, Стиве прекрасно знал, что в стенах тюрьмы Плётцензее казнили преимущественно политических. Более того, одна из его ассистенток узнала в доставленном трупе своего знакомого, после чего перевелась на другую работу.

Стиве умер в 1952 году. Детали его сомнительной научной деятельности, как и список имен, всплыли наружу лишь после воссоединения Германии. Таким образом, Николай Оболенский, скончавшийся в 1979 году, не мог знать, что обезглавленное тело его любимой молодой жены подверглось еще и такому надругательству. Он знал лишь то, что могилы обнаружено не было, и на мемориальной доске кладбища Сент-Женевьев-де-Буа так и значится – «без места захоронения».

Но вот утром 13 мая 2019 года, как обычно по утрам, читаю газету «Нью-Йорк Таймс» и вижу корреспонденцию из Берлина за подписью Мелиссы Эдди (Melissa Eddy). Заголовок гласит: «Они оказывали сопротивление Гитлеру и были казнены. Теперь, наконец, они преданы земле». Оказывается, речь шла о большом количестве сохранившихся у Стиве гистологических срезов. Они были переданы потомками анатома в университетский госпиталь Шарите (Charité), где Стиве проводил свои вскрытия. Госпиталь связался с музеем в Плётцензее. Там определили, что срезы принадлежат бывшим политическим узникам тюрьмы. При этом из общего числа в 300 срезов удалось установить принадлежность двадцати из них. На мой запрос доктору Тюхель, есть ли среди них имя Веры Оболенской, ответ пришел отрицательный. Однако это не означает, что ее нет среди остальных двухсот восьмидесяти. А если так, то имеются все основания считать, что 13 мая 2019 года во время церемонии захоронения этих останков на берлинском кладбище Dorotheenstadt была предана земле и малая частица Вики, княгини Веры Оболенской.

Место захоронения обозначено мемориальной доской.

ЭПИЛОГ

8 мая 1958 г. в городке Рюэй-ла-Гаредльер состоялось торжественное событие – открытие мемориальной доски памяти Веры

Оболенской. Здесь она скрывалась некоторое время после ареста Жака Артюис, продолжая, однако, и тут опасную работу по сбору тайной информации. Сохранились фотографии этого события, на которое приехали гости из Парижа и собралось население города. Шествие открывали дети, они несли в руках большой Викин портрет. Речь держал тогдашний министр по делам ветеранов Эдмон Мишле. Отметив роль ряда русских эмигрантов в Соппротивлении, он сказал: «Княгиня Вера Оболенская принадлежала к тому пламенному сонму людей, которых худшая из тираний изгнала из их собственного отечества <...> и которые по собственному почину целиком и с самого начала отдались Соппротивлению»²².

Франция хранит память Вики, отдав должное ее заслугам и ее жертве рядом посмертных наград. Как и Вики, муж ее, князь Николай Оболенский, тоже был возведен в Орден Почетного Легиона в знак «выполнения им неоднократных и опасных поручений в ходе подпольной борьбы с противником» и за его «служение делу свободы». Он тоже был представлен к медали Соппротивления и награжден Военным Крестом. Брат его, князь Александр Александрович (мой свекор), который пошел на фронт добровольцем во французскую пехоту, был награжден Военным Крестом и двумя боевыми свидетельствами «за проявленное мужество в рядах французской армии». Их медали и награды были 26 марта 1947 года переданы военным губернатором Парижа, генералом Шато, во Дворец Инвалидов.

Сослужили Оболенские Франции и еще одну службу – правда, произошло это помимо их участия и без их согласия. Когда после победы над Германией генерал де Голль поехал с официальным визитом в Москву на встречу со Сталиным, вместе с ним отправились туда и хранившиеся в подполье французского Государственного банка ящики мингрельских сокровищ. Их де Голль поднес Сталину в знак дружбы двух народов. Судя по фотографиям из музея бывшего дворца князей Дадияни в Зугдиди, предметы исторического значения попали туда, а что случилось с их легендарными драгоценностями?

В конце 1976 года я впервые посетила землю своих предков, будучи посланной в командировку от радиостанции «Голос Америки». За тридцать дней я побывала в Москве, Ленинграде и Тбилиси, где, конечно, посетила и Национальный музей. Там один из кураторов заверил меня, что драгоценности Дадияни находятся в фондах музея, и показал их фотографии. Однако он добавил, что родственники семьи Дадияни за границей хотят их отсудить. Я постаралась заверить его, что в настоящий момент законным наследником мог бы быть мой муж, прямой потомок князей Дадияни со стороны своей бабушки, но он отнюдь не собирается предъявлять на них свои права. Напротив, он будет рад узнать, что драгоценности находятся в сохранности грузинского музея, где им и место.

Вернувшись в Вашингтон, я рассказала об этом мужу. Его реакция была именно такой, какую я и ожидала. Вернись я чуть позже, я

бы уже не смогла поделиться с ним этим – спустя четыре дня после того возвращения он скорострительно скончался. Валериан Александрович Оболенский умер 12 января 1977 года и был похоронен на старинном вашингтонском кладбище Рок-Крик.

В наши счастливые времена мы с ним не раз ездили во Францию и посещали его родных. Его отец к тому времени переселился в Чили. Там *Don Alejandro Obolensky y Dadiani* составил себе репутацию выдающегося знатока породистых лошадей и автора многих статей о них. Мать мужа, красавица Ольга Валериановна, урожденная Бутурлина, рано скончалась и покоится на кладбище Сент-Женевьев. Зато в Париже жил его дядя Ника – Николай Оболенский, с которым муж был особенно близок; с Ники жила бабушка, княгиня Саломея Николаевна. Застали мы в Париже еще двух бездетных сестер его отца – Нину и Мию (Саломею).

Забыв про «грузинское золото», мать и сын Оболенские жили скромно на пособие Николая по инвалидности и небольшой его заработок в фотоархиве иллюстрированного журнала «Пари-матч». Квартира их в парижском предместье Аньер находилась на седьмом этаже дома без лифта. Не забуду, с какой легкостью бабушка Саломея Николаевна взлетала по лестнице на верхний этаж с двумя авоськами и кричала мне с верхней площадки: «Ма шер, не торопись!»

Оставшись в 44 года вдовцом, Николай Оболенский после Вики не имел других связей или увлечений. Но будучи человеком общительным, в Париже он был окружен широким кругом знакомых и друзей. Самыми близкими были уцелевшие соратники по Сопротивлению, особенно те, кто помнил Вики: Ивонн Артюис, Софья Носович, Кирилл Макинский... Со временем все вернулись к более-менее нормальной жизни. Блок-Маскар занял ответственный пост в послевоенном правительстве, а разработанная им в подполье Конституция была принята французской Генеральной ассамблеей. Князь Кирилл Макинский стал председателем Организации франко-американской дружбы, а Софья Носович, как рассказывала ее племянница Софья Михайловна Дурново, посвятила себя уходу за бывшими соратниками – слепым читала вслух, для парализованных готовила и убирала. Жаклин Рамей, чьим воспоминаниям мы обязаны описанию Вики в тяжелых условиях берлинских тюрем, сделалась постоянным автором бюллетеня *La Voix de la Résistance* (*Голос Сопротивления*). Бюллетень выходил при бюро, учрежденном выжившими членами ОСМ, где также находился и их архив.

Я посетила это бюро в 1996 году. В то время оно было еще довольно многолюдным и встретили меня тепло. Там меня и связали с Мишелем Пасто, который пригласил прийти к нему побеседовать. В гостиной Пасто на небольшом столике, покрытом белой скатертью, стояли обрамленные фотографии Вики и Софки; тут же и подаренная ему Софкой иконка Архангела Гавриила. «Мы с женой, – сказал Пасто, – никогда не забывали, что они спасли мою жизнь.»

Ему я обязана подробностями об аресте обеих женщин; он вызвался быть моим гидом «по Викиным местам» в Париже. В нашу последнюю встречу Пасто отдал мне подаренную Софьей Носович икону. Она висит теперь над моим письменным столом. Он передал мне и адресованные ему письма Николая Оболенского. Одно из них касается Софки. В нем Оболенский просит Пасто подать ходатайство о присуждении Софье Носович ордена Почетного Легиона. «Она, как никто, — писал он, — заслуживает этого; преданная несчастными Роландом и Дювалем (молитесь о душах их!), она перенесла пытку, была приговорена к смертной казни, но до самого конца оставалась твердой. Ни один человек не пострадал из-за нее.» Ходатайство Пасто возымело успех; имя Софьи Носович пополнило список кавалеров ордена Почетного Легиона.

А что случилось с «несчастливым» Фаржоном? Этому персонажу и его судьбе посвящена упоминаемая не раз книга Жилля Перро «Долгая погоня». Коснемся ее главных моментов.

Проехав победоносно на джипе с войском генерала Леклерка в освобожденном Париже под Триумфальной аркой, Фаржон вернулся на фронт и продолжил воевать против германских войск. После серьезного ранения гранатой в бедро его отправили на излечение на юг Франции, куда к нему приехала жена. Несмотря на ранение, это было для супругов счастливое время. Моник ожидала четвертого ребенка. Их будущее представлялось благополучным — Роланду предстояло назначение во французский гарнизон в Марокко, куда должна была последовать и его семья. Но случилось неожиданное: Фаржон получает повестку с требованием предстать перед судом в Лилле по обвинению в предательстве.

Обвинение было предъявлено группой членов ОСМ, считавших Роланда причиной их ареста немцами и даже — смертной казни нескольких товарищей. Потрясенный таким поворотом дел, Фаржон дал честное слово офицера явиться в Лилль в назначенное время. Ему разрешили приехать из Парижа на собственной машине. При выезде из города он велел своему шоферу остановиться на пару минут у подъезда одного дома близ Сены. Фаржон вошел в парадную дверь дома и больше не вернулся.

На следующий день из реки выловили тело утонувшего мужчины. Наскоро произведенное вскрытие подтвердило, что это был Роланд Фаржон. Неподалеку был найден портфель с письмами, адресованными его жене, матери и Блок-Маскару. В них Роланд настаивал на своей невинности, но писал, что не в состоянии смириться с мыслью оказаться в той самой тюрьме, куда был заключен нацистами, и находится под стражей своих же французов.

Несмотря на несостоявшийся суд, вопрос виновности Фаржона живо обсуждался в прессе и среди бывших соратников. Более того — шли упорные слухи, что самоубийство было им инсценировано, что

на самом деле, решив уклониться от правосудия, Фаржон бежал, а тело уопленника было чужим. Кое-кто утверждал даже, что видел живого Фаржона собственными глазами, другие выслеживали Моник, надеясь застать ее во время свидания с мужем.

Заинтересовавшись этим делом, писатель Жиль Перро стал производить собственное расследование, попутно вникая в историю создания и деятельности ОСМ. Он неоднократно интервьюировал членов семьи Фаржон и многих ветеранов Гражданской и Военной Организации, в том числе Оболенского, Макинского, Софку Носович, Галлуа...

А слухи о выжившем Фаржоне не утихали. С момента его исчезновения прошло тридцать лет. Книга Перро близилась к концу и нуждалась в развязке. Чтобы раз и навсегда положить конец домыслам, семья согласилась произвести эксгумацию. На сей раз останки подверглись тщательному обследованию патологоанатома, обладавшего безупречной репутацией. Он вынес заключение, что тело, без всякого сомнения, принадлежало Роланду Фаржону, отметив детали, опущенные первым врачом, делавшим вскрытие, — щербинку в переднем зубе и повреждение бедренной кости, соответствовавшее его ранению.

С вопросом виновности или невиновности Фаржона дело обстояло сложнее. Жиль Перро был по профессии юристом. Изучая возбужденное против Фаржона дело, он нашел в нем ряд противоречий и недоказуемых утверждений. Кроме того, Перро считал, что в то время трудно было бы рассчитывать на объективное судопроизводство: атмосфера в стране была накаленной, повсюду выискивали предателей и коллаборационистов, нередко занимаясь самосудом. Так, за связь с оккупантами женщинам брили головы и голыми выгоняли на улицу, на поругание толпы. Не в пользу Фаржона говорило и его привилегированное положение в Аррасе, как и подозрительное бегство из тюрьмы в Сенлис. В итоге, по мнению писателя, если подойти к делу Фаржона беспристрастно и объективно, то его можно обвинить в излишней самоуверенности и непростительной небрежности, но не в предательстве.

Почему же Фаржон говорил другим, чтобы они не таились, ибо гестапо и так всё знает? На это Перро приводит свой довод: гестапо уже выбило из ранее арестованных достаточно информации, а бумаги, добытые на конспиративной квартире Фаржона, дополнили картину. Поэтому Роланд хотел избавить товарищей от возможного применения пытки, если они будут отпираться, а дела это всё равно не изменит.

Предал ли Фаржон Вики и Софку? Перро считает, что между арестом Роланда и арестом Вики и Софки прошло слишком много времени. Если бы Роланд их выдал, они были бы арестованы раньше. Оболенского эти доводы не убедили. Не убедили они и Софку, которая помнила утверждения гестаповца Руди, что Фаржон всё выложил, и не только на словах, но и письменно. Отмечая в своей книге убежденность Оболенского в том, что арест жены лежит на совести Фаржона, писатель не мог не прокомментировать, что при этом у

Николая Оболенского не было и тени озлобленности или желания свести счеты.

Черты эти не были присущи Оболенскому. Характер у него был вспыльчивый, он часто горячился, особенно если сталкивался с несправедливостью, но никогда не был озлобленным или мстительным. Показательны его отношения с Ивонн Артюис, вдовой Викиного шефа. Когда-то она считала его «светским бонвиваном». Убедившись за годы войны в проявленном им мужестве, преданности делу Сопротивления и беспредельной любви к Вики, она стала ему близким другом. Что не мешало им временами громко ссориться по разным принципиальным вопросам. На следующий день от него приходили розы, и мир восстанавливался... до очередной баталии, свидетелями которой бывали их общие знакомые. Надо отметить, что бушевал он подчас и дома. Мать его придерживалась консервативных убеждений, Николай Оболенский – либеральных. Мы смеялись, что каждый из них читал свою ежедневную газету, не признавая направления другой. А если наш «дядя Ника» начинал громко негодовать по тому или иному поводу, то бабушка с невозмутимым видом удалялась в свою комнату или закладывала в уши вату.

Я уже отмечала, что у Николая Оболенского был в Париже широкий круг друзей и знакомых, которые знали, что за его горячностью скрывалось доброе отзывчивое сердце. Он любил пошутить, иногда не совсем удачно. Помню, как-то мы остановились на ночь в маленькой гостинице в старинном городе Монтелимар. Наутро, перед тем как расплатиться, дядя Ника принялся расхваливать гостеприимство хозяйки: «Вы нас так хорошо приняли, что мне даже неловко предлагать вам деньги!» На лице француженки отразился испуг.

* * *

В декабре 1961 года умирает от рака старая княгиня Саломея Оболенская. Всё последнее время Николай находился при ней. Похоронив мать, Оболенский стал готовиться к священству. Оказывается, решение это он принял давно – вскоре после гибели жены. Как рассказывала в Париже его близкий друг писательница Зинаида Шаховская, Оболенский считал, что ему необходимо искупить свой тяжкий, с христианской точки зрения, грех молодости – попытку покончить с собой. Епископ Евлогий пытался снять с него бремя этого греха: «Вы же живы, значит, Бог простил». Размышляя над своей жизнью и беседуя со своим духовником, Оболенский пришел к заключению, что Бог дважды спас ему жизнь – в Бухенвальде и при попытке самоубийства – для того, чтобы посвятить себя служению другим. Покуда жива была мать, которая нуждалась в его поддержке, Оболенский не считал себя вправе принять сан. Теперь его больше ничто не связывало.

Рукоположение князя Николая Оболенского состоялось в марте 1963 года в соборе им. Св. Александра Невского на рю Дарю, где 9 мая

1937 года он обвенчался с Вики. Своей пасторской деятельности о. Николай посвятил себя с полной отдачей. Паства его распространялась далеко за пределы Парижа: к нам в Америку шли его открытки из Ниццы, Биаррица, Бордо, куда о. Николай приезжал, чтобы обслуживать православные приходы. Совершал он богослужения и в православном храме во Флоренции, сохранилась видеозапись службы, совершенной в средневековой капелле на острове Сен-Мишель, в Нормандии.

Верующие охотно шли на его службы. Привлекал он их не своим громким голосом при не очень хорошем слухе, а своей духовностью и отзывчивостью. Прихожане ценили о. Николая и как исповедника. Случалось, к нему приходили за исповедью прямо домой, в его маленькую квартиру, находившуюся во дворе собора. Он беседовал с пришедшим, отпускал грехи и сразу мчался куда-то дальше: в больницы – причащать больных, в тюрьмы – навещать заключенных, в психиатрические лечебницы или еще – на занятия с детьми, которых он очень любил и которые отвечали ему тем же.

Вскоре о. Николай стал настоятелем собора, а это означало не только насыщенный распорядок богослужений и треб – крестины, молебны, панихиды, венчания, отпевания, – но и всевозможные административные дела. Как-то он пожаловался в письме, что к нему обращаются с самыми невероятными вопросами: «На днях одна француженка позвонила спросить, что я знаю про русскую водку! Я сказал, что про русскую водку я могу ей всё рассказать, а вот насчет польской пускай обращается к Папе Римскому». В то время на папском престоле был Иоанн Павел I, из Польши.

Помимо чисто пастырской, развивал он и общественную деятельность: состоял в объединениях бывших участников Сопротивления, был членом совета Союза русских дворян во Франции, членом родового Союза князей Оболенских, Содружества паломников в Святую Землю, где бывал не раз, и еще – вице-председателем Объединения христианско-иудейской дружбы.

30 ноября 1978 года о. Николай потерял своего старого друга и соратницу Вики – Софью Носович, скончавшуюся на 81-м году жизни. Жаклин Рамей, ее подруга по Сопротивлению, вместе с ней прошедшая сквозь нацистские тюрьмы и лагеря, поделилась своими воспоминаниями о Софке в *La Voix de la Résistance*. Возвращение Софки живой из немецких лагерей смерти она считала чудом. Вспоминая их отправку из Равенсбрюка в Маутхаузен, Жаклин Рамей описала, как она пришла за ней с другой Жаклин (Рише-Сушер) в изолятор, куда Софку поместили из-за открывшегося у нее туберкулеза.

Они помогли ей подняться с сенника. Горячая от жара, Софка собрала свои лохмотья, и они повели ее к поезду. Затем – четверо суток в битком набитом товарном вагоне. Сидя, тесно прижавшись к подругам, деля на троих последний ломоть хлеба, она выдержала этот изнурительный этап. А потом, под страхом быть добитой в упор из писто-

лета, если оступится и упадет, пешком проделала подъем в лагерь Маутхаузен по обледеневшей дороге, вдоль которой лежали трупы тех, кто этого пути не осилил. Затем – шестнадцать часов ожидания неизвестно чего под открытым небом в снегу. «Бедная Софка, – писала Рамей, – в том состоянии, в котором она находилась, она должна была умереть. Но она всё претерпела, и мы, в конце концов, привезли ее во Францию.» Рамей поражалась тому, как в этой женщине железная воля сочеталась с «восточным» фатализмом и полным отсутствием практичности. «Если бы мы не украли для нее шерстяные чулки, вату для подкладки пальто и вермахтовский флаг, из которого смастерили ей варежки, – писала Жаклин, – она бы насмерть замерзла, не пошевелив пальцем.» В своем некрологе Жаклин Рамей отдала должное «безошибочному нравственному компасу» Софьи Носович, ее бескомпромиссности и лояльности. Зинаида Шаховская, редактор уважаемой парижской газеты «Русская Мысль», посвятила памяти Софьи Носович пространный некролог, озаглавленный «Тихое геройство». Напоминая о зарождении Сопротивления, Шаховская писала, что в 1940 году «единственно хорошо организованной [силой] для какой-либо подрывной работы в то время были коммунисты с их долголетней для этого практикой, но до вторжения Гитлера в СССР в 1941 г. и Советский Союз, и все коммунистические партии западной Европы были его союзниками. Первые сопротивленцы были не коммунисты, и начиная с 1940 года Сопротивление было делом нескольких сот человек, между собой не связанных, совершенно не подготовленных к конспиративной деятельности; просто каждый из них считал своим долгом, долгом чести и совести что-то предпринять для борьбы с той неправдой, которую олицетворял нацизм». В этой горстке людей оказалась и ранее далекая от политики Софья Носович, последовавшая примеру своей подруги Вики Оболенской»²³.

А племянница Софьи Носович, С. М. Дурново, в частном письме писала: «Софочка обожала приютившую ее Францию. Когда ее подруга Вики Оболенская предложила ей войти в тайную организацию, которая боролась против немецкой оккупации, она без колебания согласилась, хотя знала, чем рискует. <...> Софинька, мир праху твоему». Отпевал Софью Носович отец Николай Оболенский, а все заботы о похоронах взял на себя Мишель Пасто. Он же и ухаживал за ее могилой до самой своей смерти.

Отец Николай Оболенский ненадолго пережил своего друга и Викину сподвижницу. Он скончался 5 июля 1979 года. В некрологе для «Русской мысли» Зинаида Шаховская, духовником которой он был, вспоминала, как однажды во время большого приема, устроенного в честь выхода ее книги, он услышал чье-то антисемитское замечание и взорвался: «Вы подлец! Моя жена за евреев жизнь положила...» Его трудно было успокоить.

Но при всей его запальчивости он быстро отходил, легко прощал и учил прощению других. «Я знаю, – писала Шаховская, – какое

значение он придавал именно прощению врагов. Ему и в голову не приходило искать убийц своей жены или тех, кто его мучил в Бухенвальде.» Вспоминала она и другой случай: на банкете в честь награждения Оболенского Орденом Почетного Легиона сидевший с ней католический священник рассказал, как их доставили в Бухенвальд и погнали под душ: «Было холодно, одиноко и страшно. Вдруг рядом раздался голос: 'Вы отец такой-то! Подождите, я переброшу вам мой пуловер'. Этот сильно поношенный пуловер запомнился ему навсегда: 'Когда нищий отнимает от себя последнее, чтобы дать брату, — эта забота обо мне и голос участия в черном мире лагеря были чудом'»²⁴.

Влиятельная французская газета *Le Mond* посвятила отцу Николаю некролог, в котором автор Габриель Мацнёф писал: «Этот человек, принадлежавший к высшим сферам русской аристократии, принял решение стать священнослужителем после того, как вышел живым из Бухенвальда и узнал о потере своей жены, княгини Веры Оболенской. <...> Огромный наплыв молящихся, пришедших на заупокойную литургию в Александро-Невский собор, свидетельствовал о том, как высоко ценили отца Николая его паства и его друзья»²⁵. В том же номере газеты *Le Mond* было помещено и траурное объявление Объединения христианско-иудейской дружбы о кончине своего вице-председателя, протопресвитера Николая Оболенского²⁶. Не менее влиятельная газета «Фигаро» также посвятила ему некролог за подписью *Michel Riquet (Мишель Рике)*. Отмечая, что собор Александра Невского не смог вместить в себя всех пришедших проститься с Оболенским, автор некролога писал: «Его любили за его доброту и щедрость. Но не все знали о его блистательном прошлом кадета Императорской гвардии. Впоследствии, будучи эмигрантом, он состоял в счастливом браке с княгиней (Верой) Оболенской до тех пор, пока оба не вошли в Гражданскую и Военную организацию, чтобы оказать сопротивление нацистам. Они заплатили за это дорогой ценой, она была обезглавлена эсэсовцами, а он депортирован в Бухенвальд. Вернувшись из лагеря смерти, потрясенный потерей своей героической жены, Николай Оболенский уверовал, что Бог сохранил ему жизнь ради служения духовным нуждам русской общины в Париже». Похоронен протопресвитер Николай Оболенский на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа вблизи символической могилы его любимой Вики.

* * *

В миру и в священстве Николай Оболенский пронес горячую любовь к своей жене. Всё связанное с Вики было для него драгоценно; память о ней он всячески оберегал от любых покушений ее искazać. В 1966 году в журнале «Советский экран» появилось интервью Л. Пажитнова с киносценаристом Алексеем Каплером, в котором тот рассказал о работе над сценарием фильма про Веру Оболенскую, где

роль героини должна была исполнить Марина Влади²⁷. Николай Оболенский был категорически против игрового фильма о Вики. Он выступил об этом в печати и даже пригрозил судом. В результате французская сторона отказалась от сотрудничества с советскими кинематографистами, и фильм остался нереализованным. Сегодня невольно задаешься вопросом, что бы о. Николай подумал о фильме Кончаловского «Рай»?..

Дело тогда было не только в том, что ни Марина Влади, ни любая другая актриса не могли бы дать правильного изображения той Вики, которую многие знали и помнили. Фальшь могла носить и политический характер. Ведь сказал же Каплер в интервью, что когда началась война, русские во Франции, которые «тянулись к национальной культуре, ко всему отечественному, сделали всё, чтобы быть полезными своей Родине», добавив: «Вики Оболенская из их числа, лучшая из них». Но если бы Вики вступила в Сопротивление, чтобы быть «полезной своей Родине», она сделала бы это в 1941 году, а не в 1940-м, то есть почти за год до того, как, нарушив пакт Молотова-Риббентропа, Гитлер двинул свои войска на Советский Союз.

К сожалению, несмотря на все старания сберечь неискаженную память о Вики, ее имя даже сегодня обрастает мифами. Если версия о расстреле, основанная на изначальном умолчании об использовании во времена Гитлера гильотины, имеет свое объяснение, то совершенно непонятно, откуда берутся такие утверждения:

– *Вики родилась в Баку*. Отец Вики действительно был бакинским вице-губернатором, но достоверно известно и заверено бумагами, что Вера Макарова родилась в Москве;

– *у нее был сын* (даже имя приводится – Аполлон!). У Вики не только не было сына, у нее вообще не было детей, о чем супруги очень сожалели, их близкие друзья об этом знали;

– *Вики в тюрьме пытали*. Нет, она физической пытке не подвергалась, как бы об этом ни хотели писать авторы нынешних очерков о ней. Пытке подверглась Софья Носович, Вики этой доли избежала. Почему? На этот счет можно только строить предположения: может быть, из-за княжеского титула; может быть, ничего не выбив из Софки, гестаповцы решили, что они таким образом ничего не получат и от Вики, а может быть – просто случайность;

– *тело ее «покоится» на кладбище Сент-Женевьев*. Как уже говорилось, там, возле памятника русским воинам, павшим за Францию, всего лишь эпитафия, на которой сказано (правда, по-французски) «без места упокоения»;

– *муж ее, Николай Оболенский, был поэтом*. Тут можно только посмеяться и развести руками.

В русскоязычной прессе нередко приписывают Вики «желание вернуться на родину». Об этом она, будто бы, сказала своей сокамернице, русской докторше «Елене». Но тут есть ряд неувязок. Имя этой

женщины на самом деле было не Елена, а Галина; в камере Вики была не она, а немка из Голландии; встречаться с этой «Еленой» Вики могла только в бомбоубежище. Но кто был свидетелем этого разговора? Жаклин Рамей, которая не говорила по-русски, или Софка, которой гестаповцы выбили барабанные перепонки? Да и вообще, какие планы могла строить Вики, зная, что ей уготована смерть? Правда, она могла это сказать, чтобы придать бодрости себе и этой молоденькой русской женщине²⁸. Версия о желании Вики вернуться вызывала у мужа возмущение: «При всем том, что СССР во время войны был союзником Запада, — говорил он, — Вики никогда не хотела возвращаться в Россию. Никогда».

Как известно, в ранний послевоенный период многие русские эмигранты во Франции, поверив пропаганде, игравшей на их патриотических чувствах, взяли советские паспорта и репатриировались на родину, которая оказалась им мачехой. Вернулось бы и большее число людей, но ранее уехавшие стали предупреждать оставшихся, что их ожидает тяжелая участь. Николай Оболенский и другие члены семьи этой волне не поддались. Такие ветераны Сопротивления, как он, как князь Макинский, Зинаида Шаховская, Софка и другие, не питали иллюзий насчет возможных изменений сущности коммунистического строя. При всей ностальгии по утраченной родине они оставались такими же противниками советской власти, какими были и до войны. Однажды Оболенскому удалось воспользоваться экскурсией, организованной журналом «Пари-матч». Он коротко побывал в Москве, где сфотографировался в Оболенском переулке, но общее впечатление вынес невеселое. А когда по случаю десятилетия окончания войны Вики был присужден посмертно орден Отечественной войны, то он, если память не изменяет, так и не явился в советское посольство, чтобы его принять.

Передав во Дворец Инвалидов как свои собственные награды, так и посмертные ордена Вики, он бережно хранил в своем архиве все грамоты, отмечавшие ее заслуги в качестве члена-основателя Военной и Гражданской Организации, сыгравшей свою роль в деле победы над нацистской Германией. После смерти о. Николая Оболенского архив попал к его младшему брату в Чили, откуда после смерти Александра Александровича Оболенского его вдова всё переслала мне. Среди ряда декретов о награждении самое первое постановление принадлежит Фельдмаршалу Б. Л. Монтгомери, Главнокомандующему 21-й Армии, от 6 мая 1946 года. Оно гласит:

Данной Служебной Грамотой я выражаю свою признательность той помощи, которую Оболенская Вера в добровольном служении оказала силам Объединенных Наций, отдав свою жизнь, чтобы Европа стала свободной.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. «A Timeline of Attack». *The Daytona Beach Journal*, 2019, May 26. P. 5.
2. Ibid.
3. Perrault, Gilles. *La grande traque*. Paris. 1975. P. 339-376.
4. Auszug aus einer Effectenliste des Konzentrationslager Buchenwald. ITS Archives, Bad Arolsen.
5. 1.1.5/3/6734168 in conformity with the ITS digital Arolsen Archives. – Effectenkarte KZ Buchenwald.
6. Brunet, Elisabeth. In: *Vicky. Souvenirs et Témoignages* (Воспоминания и свидетельства; частная публикация) Paris. 1950. P. 51-95.
7. Жаклин Рамей ослышалась; на самом деле молодую женщину звали Галина Романова. Об этом свидетельствуют тюремные документы.
8. De Gaulle Anthonioz, Genevieve. *The Dawn of Hope*. NY: Arcade Publishing. 1999. P. 8-9.
9. Helm, Sarah. *A life in Secrets*. NY: Anchor Books, 2005. P. 481.
10. Переписка была обнаружена уже после выхода в свет моей первой книги о Вики, а потому в ней не упомянута.
11. Александров, Е. А. *Русские в Северной Америке*. Биографический словарь. Под редакцией К.М. Александрова, А.В. Терещука. Хэмден (Коннектикут, США) – Сан-Франциско (США) – Санкт-Петербург (Россия), 2005. С. 48-49.
12. Как старейшина рода, он пользовался только фамилией.
13. Инициал «Н» принадлежит мужу, князю Николаю Оболенскому.
14. Blocq-Mascart, Maxime. In: *Vicky*. P. 8-9.
15. Семейный архив.
16. Там же.
17. Там же.
18. Иногда переводится как «Красный оркестр».
19. Tuchel, Johannes. *Heinrichtungen im Strafsgefängnis Berlin-Plötzensee, 1933 bis 1944, und der Anatom Hermann Stieve*. Далее *Tuchel*. Berlin, 2019.
20. Фотография из архива Плётцензее. Опубликовано в книге Oleshinsky, Brigitte. *Gedengstaette Plötzensee*. Berlin, 1994.
21. Tuchel. P. 37.
22. «Кончина Эдмонда Мишле». «Русская Мысль», 22 октября 1970.
23. Шаховская, Зинаида. «Тихое геройство». «Русская Мысль», декабрь 1978.
24. Шаховская, Зинаида. «Памяти отца Николая Оболенского. Время рождаться и время умирать». «Русская Мысль», 12.7.1979.
25. Matzneff, Gabriel. «Pere Nicolas». *Le Monde*, 22-23 juillet, 1979.
26. Ibid.
27. Пажитнов, Л. «Советский экран», 1966, № 8. С. 13.
28. Как свидетельствует список лиц русского происхождения, которые были казнены в Плётцензее между июлем 1942-го и началом 1945-го, Галина Романова, родившаяся 25.12.1918, была обезглавлена 3.11.1944, спустя четыре месяца после Вики.



Книгу Л. Оболенской-Флам

A RUSSIAN PRINCESS IN THE FRENCH RESISTANCE
(New York: The New Review Publishing, 2022, на англ.)
можно приобрести в редакции «Нового Журнала»

ОЧЕРКИ. ЭССЕ

Владимир Торчилин

О некоторых автографах из моей библиотеки

Заметки bibliофила

Когда я тридцать пять лет назад перебрался жить и работать в Америку, это, естественно, вызвало множество перемен в моей и профессиональной, и повседневной жизни. Обо всех говорить не собираюсь, но вот понимание того, что на книгособирательстве, которому я отдал к тому времени тридцать лет жизни, придется поставить крест, огорчало меня очень сильно. Мы оказались в новой стране практически ни с чем, и быт надо было начинать заново с самых мелочей – тут уж было не до книг. Профессиональную жизнь мне тоже надо было начинать заново и, стало быть, больше не до походов по книжным. А вся моя библиотека осталась в Москве под присмотром дочери и, казалось, увидеть ее (библиотеку) мне уже не придется. И, увы, я не чувствовал в себе потенциала Стефана Цвейга, который трижды в своей жизни (эмиграция!) начинал собирать библиотеку с нуля и каждый раз ее воссоздавал.

А в Москве оставалось около восьми тысяч томов... Были у меня свои пристрастия, особенно среди издательств и издателей – думаю, что у меня была одна из лучших подборок (практически полная!) «Academia», большинство из литературных и гуманитарных изданий Сабашниковых (включая полные и в отличном виде памятники мировой литературы), почти все (и снова – в коллекционном виде) книжки «Аквилона» и много чего еще хорошего. Но времена менялись. Распался Союз, появилась возможность снова бывать в Москве и даже перевезти значительную часть книг к себе в Бостон, и, что важно, разобрался я в американской торговле букинистикой и напал на целый ряд книжных аукционов, и даже появился в моем книгособирательстве новый интерес – русскоязычные издания Зарубежья. Ведь русскоязычная диаспора издавала везде – Берлин, Париж, Мадрид, Нью-Йорк, Шанхай, Харбин, Буэнос-Айрес, Иерусалим, Лондон, Белград и еще десяток городов с меньшей книгоиздательской активностью. И издательств было полно – только из хорошо известных можно назвать УМСА-Press, «Ардис», «Посев», Камкина, «Эрмитаж» и еще дюжину поменьше. И эта активность продолжалась (и продолжается), начиная с первой, послереволюционной, эмиграции. Так что за годы в

Америке в моей библиотеке образовался вполне серьезный раздел книг и периодики, изданных на русском языке вне России.

Специально автографами я никогда не интересовался, хотя в моей библиотеке есть некоторое количество книг с авторскими инскриптами, но это просто потому, что так попадалось. Но с другой стороны, когда мое собрание русскоязычных зарубежных изданий перевалило за пару тысяч и я стал наводить в нем порядок, то выяснилось, что купленных по случаю книг с автографами у меня набралось столько, что, во-первых, для них надо заводить специальный отдел, а во-вторых, в этих автографах надо было разобраться и заслуживающие интереса, может быть, стоило даже опубликовать, поскольку, как я почти сразу убедился, они служат свидетельствами очень интересных контактов, связей и переплетений в эмигрантской литературной среде. Вот потихоньку я и начал, опубликовав уже две статьи на эту тему (автографы русскоязычных поэтов и русскоязычных писателей Зарубежья*), но, безусловно, эти две статьи всех интересных автографов из моей библиотеки не исчерпали. И описание автографов естественным образом влечет за собой хотя бы краткие сведения как об авторах, так и об адресатах этих автографов. И какие это были интересные и замечательные люди!

Конечно, как я уже сказал, в первую очередь, интерес представляют автографы, оставленные значительными фигурами на книгах, подаренных другим заметным личностям. Поэтому выбор для описания первых автографов для этой статьи особых трудностей не вызвал.

Архиепископ Иоанн (в миру князь **Дмитрий Алексеевич Шаховской**; 1902, Москва – 1989, Санта-Барбара, Калифорния) – епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Сан-Францисский и Западно-Американский. Проповедник, писатель, поэт. Автор многочисленных религиозных трудов, часть которых издана в переводах на английском, немецком, сербском, итальянском и японском языках. Представитель тульской ветви рода Шаховских. Мать Анна Леонидовна – правнучка архитектора Карла Росси. Сестра – Зинаида (1906–2001) – писательница, мемуаристка, известный журналист. Сам Шаховской прожил очень бурную жизнь, которой, как принято говорить, хватило бы на несколько. Он учился в Императорском Александровском лицее, но в 1917-м едет к матери в деревню, где его вместе с матерью заключают в тюрьму. Таких арестов и заключений ему и его матери довелось пережить несколько, и ему даже пришлось добиваться освобождения матери из Бутырки непосредственно у Дзержинского с Менжинским. С лета 1918 года был добровольцем

* Торчилин, В. «Некоторые автографы русскоязычных поэтов-эмигрантов в моей библиотеке». Москва: «Про книги», 2015, № 4, С. 48-59; Торчилин, В. «Некоторые автографы русскоязычных писателей-эмигрантов в моей библиотеке». Москва: «Про книги», 2017, № 3. С. 44-61.

в Белой армии генерала Деникина, в 1919 году поступил в Севастопольскую морскую телеграфную школу, по окончании которой был зачислен на Черноморский флот – радистом на крейсер «Алмаз». Эмигрировал в Константинополь, затем во Францию. Учился в Свободной школе политических наук в Париже. В 1922 году переселился в Бельгию, где в 1926 году окончил историко-филологический факультет Лувенского университета. В 1922 году начал публиковать стихи сначала под своим именем, а потом под псевдонимом «Странник» (кстати, известно, что он хотел взять псевдоним «Скиталец», но в русской литературе он уже использовался (писатель Степан Гаврилович Петров (1869–1941), друг М. Горького), а псевдоним «Странник» ему подсказал другой замечательный поэт русской эмиграции, Дмитрий Кленовский, с которым у Дмитрия Шаховского была интереснейшая – частично опубликованная – переписка). В 1926 году в Пантелеимоновом монастыре на Афоне молодой человек был пострижен в монашество с именем Иоанн в честь апостола Иоанна Богослова. После многих церковных служений по обе стороны океана он стал архиепископом Иоанном Сан-Францисским. У меня оказалось несколько книг с автографами Странника. Два из них адресованы Ларисе Андреевне Гатовой. На книге Странника «Поэма о русской любви» (Париж, 1977) инскрипт:

*Ларисе Андреевне
Гатовой
переводчице поэзии
на еще большую
поэзию.
Мир дому ее!
Странник
1982*

На другой книге – Странник. *Избранная лирика*. 1974 – надпись:

*Ларисе Гатовой
в признательность за
ее статью о Вл. Ходасевиче,
наилучшую из прочитанных
мною, знавшим его.
Странник
Февраль 1976
SF Calif.*

Если имя поэта Странника – равно как и Иоанна Сан-Францисского, в общем-то, достаточно известно, то о Гатовой в наши дни помнят немногие. А человек она была интересный. **Лариса Андреевна Гатова** (1892, Харьков – 1987, Амхерст) была известной актрисой и литератором. Училась в Школе сценического искусства А. П. Петровского и А. А. Санина, у В. Э. Мейерхольда, играла в

театрах Самары, Екатеринодара, Петербурга, Москвы, гастролировала в Италии и Франции. В России снималась в кино, играла в театре В. Комиссаржевской, в Московском Художественном театре. В ее фильмографии такие картины, как «Семнадцатилетние», «Антон Кречет», «Хромой барин», «Олеся», «Хамка» и др. В 1922 году она эмигрировала через Прибалтику в Париж. С конца 1920-х выступала в концертах, читала с эстрады произведения русских писателей. Повидимому, именно к её декламационному искусству и относится первый автограф Странника. Гатова играла в Русском драматическом театре и Русском театре под руководством А.Н. Богданова. После Второй мировой войны продолжила выступать. В 1947-м уехала в США, в 1957-м вернулась на время во Францию. Сотрудничала с газетой «Новое русское слово», писала воспоминания и статьи о поэзии и поэтах.

О том, с какой симпатией принимали поэты чтение их стихов Гатовой, свидетельствует письмо Кленовского Страннику, где он, в частности, пишет: «Вам будет, вероятно, интересно прочесть, Владыка, что мне написали из Нью-Йорка по поводу моего ‘Всевышнему’. Там был вечер художественного чтения, на котором очень известная исполнительница стихов Лариса Гатова прочла это стихотворение. В газете ‘Новое русское слово’ об этом написано так: ‘Лариса Гатова прекрасно продекламировала два стихотворения Максимилиана Володина и ряд философских стихотворений из мировой литературы. Следует отметить глубокую по содержанию ‘Молитву’ (‘Всевышнему’) Д. Кленовского». Второй из автографов Странника свидетельствует, как высоко он оценил статью Гатовой о Ходасевиче.

Вот такой интересный адресат у инскриптов Странника. Кстати, насколько мне известно, все упомянутые в этой статье автографы публикуются впервые.

Еще один автограф Владыки Иоанна (на этот раз уже не Странника) адресован другой очень интересной представительнице русской культурной эмиграции. На книге Архиепископа Иоанна Шаховского «Биография юности» (YMCA Press, Paris, 1975) написано:

*Нонне Сергеевне
Белавиной
и её дому,
с лучшими чувствами
Архуен. Иоанн
Santa Barbara, Calif. 1981*

Нонна Сергеевна Белавина (в замужестве Миклашевская, 1915–2004) – очень известная русская зарубежная поэтесса и общественная деятельница первой эмиграции, активно печаталась на страницах «Нового Журнала». После 1920 года Белавина с семьей жила сначала в Константинополе, а потом в Югославии, где получила юридическое образование. С 1949 года жила в США, работала чертежницей. При этом активно писала, занималась благотворительностью. В

1980 году была избрана в римскую Академию имени Леонардо да Винчи. Автор нескольких сборников стихов, участник многих поэтических антологий. Пользовалась авторитетом и уважением в течение многих лет, что подтверждается посвящением ей на титульном листе альманаха «Перекрестки», издаваемого с 1977-го по 1982-й видными представителями творческой диаспоры – эмигрантами второй волны поэтами Валентиной Синкевич, Ираидой Легкой и Иваном Буркиным, художниками Сергеем Голлербахом и Владимиром Шаталовым, историком Борисом Пушкаревым.

*Дорогой Нонне Белавиной
с искренним приветом
Валентина Синкевич
Филадельфия 1977 г.*

Валентина Алексеевна Синкевич (1926, Киев – 2018, Нью-Джерси) хорошо известна читателям «Нового Журнала», много лет она была членом редакционной коллегии журнала, его автором. Русская поэтесса, эссеист, переводчик и автор многих критических статей, она прожила долгую и трудную жизнь и могла с полным правом сказать о себе *self-made woman*. Подростком Валентина в 1942 году была депортирована в Германию в качестве «остарбайтера» и после войны до 1950-го находилась в дикийских лагерях. С 1950 года жила в США, в Филадельфии, работала библиографом. Она активно публиковалась как поэтесса, была организатором и главным редактором альманахов «Встречи» (1983–2007), преемника «Перекрестков»; была составителем очень интересной антологии русских поэтов второй волны «Берега» (Филадельфия, 1992). Похоронена на православном Св.-Владимирском кладбище в Нью-Джерси.

Еще одну группу автографов объединяет имя того, кому они адресованы. И снова мы имеем дело с выдающейся личностью, представителем русской эмиграции первой волны. Речь идет о Владимире Козьмиче Зворыкине. У меня оказалось несколько книг из его библиотеки с его экслибрисом и интересными посвящениями дарителей. Но сначала о самом Зворыкине. (НЖ среди первых писал о нем и впервые опубликовал его мемуары в переводе с английского, записанные его другом и биографом Фредериком Олесси (№ 254, 2009), что положило начало «возвращению» Зворыкина и созданию фильмов о нем.)

Владимир Козьмич Зворыкин (1888, Муром, Россия – 1982, Принстон, США) – российский и американский инженер и изобретатель в области телевизионной техники. Рожден в семье купца первой гильдии Козьмы Алексеевича Зворыкина, который торговал зерном и владел паровой компанией на Оке. В 1906 году Зворыкин поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, а в 1912–1914 гг. продолжил образование в Париже у Поля Ланжевена. Во время Первой мировой войны в 1915 году служил в войсках связи и работал в офи-

церской радиошколе в Петрограде. В 1917 году чудом избежал расстрела по решению революционного трибунала, когда за него заступился служащий радиороты. В июле 1918-го бежал в Омск, где у белых занимался оборудованием радиостанций. Затем Зворыкин уезжает в Москву, где его мобилизывают... в Красную армию. В 1919 году он через Сибирь, пройдя тяжелейшие испытания, добирается до США. Он становится сотрудником американской компании «Вестингауз», где занялся передачей изображения на расстояние. Позднее В.К. продолжил разработки самостоятельно. Его изобретения и разработки значительны и бесчисленны – он изобрел приемники радиодетектирования, звуковую катодную трубку, катодную трубку для кинескопа, высоковакуумную телевизионную приемную трубку – кинескоп, иконоскоп, электронный микроскоп, первый цветной телевизор. Именно Зворыкин в качестве американского специалиста ввел в действие в 1938 году первую передающую станцию электронного ТВ в Москве и его разработки легли в основу первого советского телевизора ТК-1 (Тогда же, в московской командировке, он встретил на спектакле в Большом театре чекиста из Сибири, который приговорил Владимира Козьмича к расстрелу в 1919-м. Больше в СССР Зворыкин не ездил). Он был избран в Национальный зал славы изобретателей США.

После развода с первой женой (приехавшей к нему в США в 1919 году) и многих лет холостяцкой жизни в 1951 году он вступил во второй брак – с эмигранткой Екатериной Андреевной Полевицкой, профессором микробиологии университета Пенсильвании, вдовой бывшего муромского градоначальника Бориса Полевицкого, в которую был влюблен многие годы, но разбивать ее брак не хотел. Под старость Зворыкин, шутя, жалел, что создал телевизор, и говорил, что в нем только одна удачная деталь – выключатель.

Естественно, что такого выдающегося человека окружали столь же (или почти столь же) именитые знакомые. На экземпляре из моей коллекции книги воспоминаний Владимира Николаевича Ипатьева «Жизнь одного химика» (Нью Йорк, 1945; кстати, этот двухтомник очень редок) – дарственная надпись:

*Глубокоуважаемому
Владимиру Космичу
Зворыкину
на
добрую память
В. Ипатьев*

Владимир Николаевич Ипатьев (1867, Москва – 1952, Чикаго) – выдающийся русско-американский химик, генерал-лейтенант Русской Императорской армии, доктор химических наук, профессор, академик Санкт-Петербургской; Российской и Академии наук СССР; Национальной академии наук США. Окончил Михайловское артиллерийское училище и затем Михайловскую артиллерийскую академию. Работал в

Санкт-Петербургском университете. С 1893 года преподавал химию в Михайловском артиллерийском училище и академии и защитил диссертацию «О действии брома на третичные спирты и бромистого водорода на ацетиленовые и алленовые углеводороды», получив за неё малую премию имени А. М. Бутлерова. В 1896–1897 годах Ипатьев работал в Мюнхене у профессора Байера и в Париже у Вьеля по пороху и взрывчатым веществам. К 1914 году он был генерал-майором, член-корреспондентом Императорской Академии наук, одним из ведущих специалистов по нефтепереработке и гетерогенному катализу в органической химии. Был организатором химического производства, исследования и производства химического оружия. Перед Октябрьским переворотом Ипатьев был уже генерал-лейтенантом, академиком и председателем Химического комитета при Главном Артиллерийском Управлении. В 1921 году Ипатьев становится членом Президиума ВСНХ, членом Госплана, руководителем Главхима (впоследствии – Министерство химической промышленности), организатором учебных заведений. В 1927 году Ипатьеву исполнилось 60 лет и к юбилею его наградили премией Ленина и званием заслуженного деятеля науки. В 1929 ученый стал директором Института высоких давлений.

В конце 1920-х начались чистки в промышленности, были арестованы и казнены многие из его коллег и учеников. Воспользовавшись поездкой на Международный энергетический конгресс в Германии в 1930 году, Ипатьев решил не возвращаться в СССР; позднее он переехал в США. В результате академик был исключен из Академии Наук СССР и лишен советского гражданства. Он стал профессором Северо-Западного университета в Чикаго и по праву считается одним из основателей нефтехимии в США. В 1936 году открыл каталитический крекинг, ставший основой нефтехимической промышленности, изобрел высокооктановый бензин, позволивший самолётам США добиться решающего перевеса в скорости во время Второй мировой войны. Получил в США более 200 патентов, стал членом Национальной академии наук США и лауреатом золотой медали Гиббса. Похоронен на Свято-Владимирском православном кладбище в городе Джексон, штат Нью-Джерси. Надпись на могильной плите: «In Memory of Russian Genius Vladimir Nikolaevich Ipatieff. The Inventor of Octane Gasoline». Вот такой замечательный человек подарил свою книгу Зворыкину (подробнее о проф. В.Н. Ипатьеве см.: НЖ, № 315, 2024). Так что одна обложка объединила два великих имени.

Еще одна очень интересная дарственная Зворыкину оставлена на книге В.В. Парина «Роль легочных сосудов в рефлекторной регуляции кровообращения» (с экслибрисом Зворыкина; Медгиз, 1946):

*В.К.Зворыкину
в знак искренних дружеских чувств
и глубокого уважения
В.Парин
Принстон, 11 янв. 1947*

Для людей, причастных к медицине, имя Парина говорит о многом. **Василий Васильевич Парин** (1903, Казань – 1971, Москва) – советский физиолог, академик АН СССР и АМН СССР. Автор классических исследований легочного кровообращения, открыватель одного из механизмов кровоснабжения сердца («рефлекс Парина»). Его нормальная биография врача и ученого (окончил медицинский факультет Пермского госуниверситета; стал профессором, заведующим кафедрой физиологии и деканом биологического факультета в Пермском индустриально-педагогическом институте; потом заведующим кафедрой физиологии, деканом лечебного факультета, директором Свердловского медицинского института; доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой нормальной физиологии и директором 1-го Московского медицинского института им. И. М. Сеченова; и даже стал заместителем наркома здравоохранения СССР и одним из учредителей Академии медицинских наук СССР и её первым учёным секретарем) была прервана в 1947-м, когда после возвращения из четырехмесячной командировки в США (очевидно, что именно во время этой командировки он и встречался со Зворыкиным и подарил ему свою недавнюю на тот момент книгу) он был арестован по обвинению в шпионаже в пользу США. Его, в частности, обвинили в передаче на Запад медицинских технологий, включая метод противораковой терапии, разработанный сотрудниками АМН СССР Н. Г. Ключевой и Г. И. Роскиным.

Из закрытого письма ЦК ВКП(б): «...профессора Ключева и Роскин, при попустительстве бывшего министра здравоохранения Митерева и при активной помощи американского шпиона – бывшего секретаря Академии медицинских наук Парина, передали американцам важное открытие советской науки – препарат для лечения рака. Будучи сомнительными гражданами СССР, руководствуясь соображениями личной славы и дешевой популярности за границей, они не устояли перед домогательствами американских разведчиков и передали американцам научное открытие, являющееся собственностью советского государства, советского народа. Пренебрегая насущными интересами государства и народа, забыв о своем долге перед Родиной, окружившей их работы заботой и вниманием, Ключева и Роскин лишили советскую науку приоритета (первенства) в этом открытии и нанесли серьезный ущерб государственным интересам Советского Союза».

Ключева и Роскин (супруги) опубликовали свою книгу на Западе, но отделались общественной травлей (оправданы в 1955 г.), тогда как Парин получил 10 лет (по некоторым сведениям, 25 лет) по статье «Об ответственности за разглашение государственной тайны и за утрату документов, содержащих государственную тайну». По некоторым воспоминаниям, сам Сталин заявил ему: «За сколько сребреников вы продали Родину?» Тут уж на мягкий приговор рассчитывать не приходилось. Отсидел Парин до 1953 года, а в 1955-м был полностью реабилитирован. Интересно, что творческий порыв ученого не угас даже

в заключении, хотя принял несколько иное направление: во Владимирской тюрьме, вместе с двумя другими известными заключенными, Д. Л. Андреевым и Л. Л. Раковым, им написан пародийный словарь вымышленных знаменитостей «Новейший Плутарх. Иллюстрированный биографический словарь воображаемых знаменитых деятелей всех стран и времён» (издан в России в 1991 г.).

После освобождения В.В. Парин заведовал лабораторией Института терапии АМН СССР, был профессором Центрального института усовершенствования врачей, академиком-секретарем и вице-президентом Академии медицинских наук СССР, директором Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР, а затем директором Института медико-биологических проблем Минздрава СССР. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Вот такая интересная и бурная жизнь за короткой дарственной надписью.

Со Зворыкиным дружили и дарили ему свои книги не только представители ученого круга, но и писатели. Так, на имеющемся у меня экземпляре книги Анатолия Дарова «Блокада» (в отличном виде, без зворыкинского экслибриса, НЙ, 1964) есть следующее посвящение:

*Моему знаменитому
земляку Владимиру Кузмичу
Зворыкину
и его жене Екатерине
Андреевне, – от
автора. А. Даров
Ост. 1978
New York*

Анатолий Андреевич Даров (1920–1997), русский писатель. Учился в Ленинградском институте журналистики, в войну пережил начало Ленинградской блокады. Эвакуирован в 1942 году в Пятигорск, где оказался под немцами. Покинул Россию в 1944 году. Жил сначала в Германии, прошел через лагеря Ди-Пи, затем в Париже и, наконец, в США, где был профессором Сиракузского университета. Его автобиографический роман «Блокада» был написан по горячим следам и публиковался в газете «Новая мысль» в Николаеве уже в 1943 году. Следующий вариант автор издал после войны, в 1945 г. в Мюнхене, малым тиражом на ротаторе. Части этой книги печатались в журнале «Грани» в 1954–1955 годах. Во Франции роман выдержал семь изданий, а окончательный вариант на русском вышел в Нью-Йорке в 1964 году (у меня экземпляр именно этого издания). Это первая книга о Ленинградской блокаде, написанная глазами очевидца. Чтение захватывающее, честное и жуткое.

К этой же подборке «зворыкинских посвящений» я бы отнес и книгу, подаренную его жене Екатерине Полевицкой (о ней несколько слов уже было сказано, и, очевидно, даже в тени Зворыкина она обладала, так сказать, своей собственной уникальностью). На книге

С.И.Гусева-Оренбургского «Курычанские прихожане» (С.-Петербург, 1914, переиздано в Нью-Йорке в 1948 году) стоит следующая дарственная надпись (изысканным почерком с завитушками и росчерком):

*Доброму другу-читателю
Екатерине А.
Полевицкой
с душевным
приветом
приношу книгу свою!*

С. Гусев-Оренбургский

1949

XII

25

N.Y.C.

Сергей Иванович Гусев-Оренбургский (1867, Оренбург – 1963, Нью-Йорк) – замечательный, но, к сожалению, почти забытый русский писатель. Родился в казачьей семье. После учебы в духовной семинарии принял сан священника. В 1904 году написал знаменитую когда-то повесть «В стране отцов». Через шесть лет отказался от сана и посвятил свою жизнь писательству. Был одним из популярных авторов дореволюционной России, входил в литературную группу «Среда». Был близок к М. Горькому и даже приезжал к нему на Капри. Вот что он сам писал о себе: «В течение трех лет я скитался по пределам России в вихрях Гражданской войны, жил на Украине, при немцах, Скоропадском, голодал и холодал год в Москве, ездил по польскому фронту, передвигался по Украине с Деникинской армией, пережил ее расцвет и развал, пережил погромы, обстрелы Киева и Ростова, жил в Крыму после Врангеля и снова в Москве, незадолго до перехода к новой экономической политике». В 1921 году он эмигрировал в Харбин, а через два года, в 1923 году, переселился в США. Жил в Нью-Йорке и редактировал журнал «Жизнь». Среди его книг стоит упомянуть «Книгу о еврейских погромах на Украине в 1919 г. Пг., 1923) и «Багровую книгу. Погромы 1919-20 гг. на Украине. Нью-Йорк, Ладога, 1983).

Огромную роль в жизни, в том числе и литературной, русской эмиграции играл **Роман Борисович Гуль** (1896, Пенза – 1986, Нью-Йорк), писатель, журналист, публицист, историк, критик, мемуарист, общественный деятель, участник Гражданской войны в составе Белого движения, участник Первого Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии. В эмиграции жил сначала в Германии (где отсидел в концлагере за свой роман о террористах), затем во Франции. В 1950 году он переехал на жительство в США, поселился в Нью-Йорке. С 1951-го работал в «Новом Журнале», а в 1959 году, после смерти главного редактора Михаила Карповича, возглавил это издание и оставался его главным редактором до самой своей смерти. На посту редактора «Нового Журнала» сумел привлечь к сотрудничеству лучших эмигрантских (а с середины 1960-х годов и неподцензурных советских)

литераторов. Гуль становится в российской эмиграции одной из самых общественно значимых фигур, приобретает всё большую известность как редактор, литературный критик и писатель. Его мемуарная трилогия «Я унес Россию. Апология эмиграции» (НЙ: «Мост», 1984) охватывает историю русской политической и творческой эмиграции 1920–1970 гг. в Германии, Франции и США. Пожалуй, именно эта книга по-настоящему показывает, какие выдающиеся интеллектуальные силы были вытеснены после революции за пределы России. На имеющемся у меня втором томе его трилогии дарственная надпись:

*Дорогому
Ивану Венедиктовичу
Елагину
очень дружески
Роман Гуль
1984, сент. N.Y.*

Адресат этой надписи – **Иван Елагин** (Иван Венедиктович Матвеев, 1918, Владивосток –1987, Питтсбург), выдающийся поэт второй волны русской эмиграции. Он был сыном известного поэта-футуриста Венедикта Марта (тоже псевдоним) и внуком дальневосточного поэта, япониста и краеведа Николая Матвеева (опять же известного под псевдонимом – Николай Амурский). Его матерью была Сима Лесохина, дочь раввина и врач по специальности. Интересно, двоюродной сестрой Елагина была известная советская поэтесса Новелла Матвеева, дочь Николая Матвеева. Кстати, и имя Иван – тоже своеобразный псевдоним поэта, поскольку при рождении он был назван Зангвильдом. В 1919 году семья уехала в Харбин, но в 1923-м вернулась в СССР, где Венедикт Март был в 1937 году расстрелян, мать попала в психиатрическую лечебницу, там и умерла, а сам поэт стал беспризорником. Позднее ему помог друг отца Максим Рыльский (и первой публикацией Елагина был как раз перевод из Рыльского), Елагин окончил школу и поступил в Киеве в мединститут. Вместе с женой (поэтессой Ольгой Анстей) он оказался в Киеве, откуда они бежали от наступающей Красной армии. С 1945 года вместе с Анстей прошел весь путь дикийца и в 1950 году осел в США. Он работал на Радио «Свобода», защитил диссертацию по филологии и стал профессором русской литературы в Питтсбургском университете. После смерти Георгия Иванова место первого поэта русскоязычной эмиграции отдавали нескольким поэтам, но чаще других называли как раз Ивана Елагина и Игоря Чиннова (первая волна эмиграции). Стихи Елагина с дикийских лагерей и до самой его смерти регулярно публиковал «Новый Журнал», в свет вышло несколько его поэтических книг (писал он и стихотворные фельетоны и мемуарную прозу).

Интересен развернутый инскрипт **Бориса Филиппова** (Борис Андреевич Филистинский, 1905–1991), эмигранта второй волны, писа-

теля, поэта, редактора, издателя и преподавателя, на его книге избранных стихов «Влекущие дали дорог» (Вашингтон, 1987). Филиппов родился в семье погибшего в Первую мировую войну офицера. Окончил Ленинградский Восточный институт, специализируясь по монголоведению, буддизму и индуизму (пошел по стопам дяди, знаменитого монголоведа С.А. Козина). Был арестован на два месяца за участие в религиозно-философском кружке «Братство св. Серафима Саровского», после освобождения поступил в Ленинградский институт инженеров промышленного строительства, который успешно окончил. Повторно арестован и осужден на пять лет в 1936 году. После освобождения поселился в Новгороде. Во время Великой Отечественной войны был служащим городской управы, публиковал статьи в псковской коллаборационистской газете «За Родину» – писал о «поэтах-жертвах большевизма», о репрессированных деятелях русской культуры и т.п. В 1944 году ушел на Запад. В 1950 году переселился из Западной Германии в США. Жил в Нью-Йорке, потом в Вашингтоне. Преподавал в различных американских университетах. Вместе с Г.А. Струве подготовил и издал собрания сочинений Пастернака, Ахматовой, Гумилева, Мандельштама, Клюева – задолго до того, как подобные издания появились в России. В созданном им и Струве издательстве «Международное литературное содружество» было издано около шести десятков томов запрещенных в СССР писателей.

Инскрипт адресован Валентине Булюбаш, дочери Евгения Булюбаша (о котором ниже). Посвящение звучит так:

*Дорогой, милой
Валентине Евгеньевне
Булюбаш
от автора с любовью и дружеством.
Все мы, все мы – хотя бы и не одинокие
физически – одиноки на Земле... –
Господь да будет с Вами!
Ваш
Борис Филиппов
февраль 1988*

Вот такое философское посвящение Валентине Булюбаш. Ее отец, **Евгений Григорьевич Булюбаш** (1873–1967) – генерал-майор, участник Первой мировой войны и Белого движения, первопоходник (участник знаменитого Ледяного похода Добровольческой армии в 1918-м). Он родился в Полтаве, окончил Владимирский Киевский кадетский корпус, Полтавское военное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Доблестно воевал, во время Ледяного похода командовал офицерским батальоном Корниловского полка. В 1920 г. эвакуирован вместе с частями русской армии из Крыма в Галлиполи. С 1950 года жил в США и оставил интересные воспоминания о своей воинской жизни. Очевидно, Филиппов был хорошо зна-

ком с ним и его семьей, что и отразилось в этом довольно личном посвящении.

Ближе к сегодняшним дням, у меня в библиотеке оказалось несколько книг с интересными посвящениями Галине и Юлию Китаевичам. Мне удалось найти лишь немного информации об этой семье. **Юлий Иосифович Китаевич** (г.р. 1936) окончил Институт механизации и электрификации сельского хозяйства, работал главным специалистом лифтовой службы Останкинской телебашни, эмигрировал в США в 1974 г., работал в госпитале, разрабатывал медицинскую аппаратуру, автор пяти патентов в области гемофильтрации, был организатором американской кампании в защиту Игоря Губермана после его ареста и заключения. Автор мемуарной книги «Почти жизнь» (New York, 2003). Но совершенно очевидно, что семья Китаевичей пользовалась симпатией и уважением в эмигрантской среде, что подтверждается адресованными им автографами. Первый, который я хочу привести, от Э.Штейна на книге «Мнемозина и Каисса», НЙ, 1973:

*Ю. Китаевичу –
любителю шахмат
от автора этой кни-
жонки с самыми теп-
лыми чувствами*

31.VII – 78. Штейн

Эммануил Алексеевич Штейн (1934–1999) – человек судьбы совершенно необыкновенной: он и известный шахматист, и библиофил, и библиограф, и даже издатель. Интересно, кстати, что он нередко использовал имя Эдуард, чтобы среди шахматистов его не путали с Эммануилом Ласкером. Штейн родился в семье польских евреев-актеров, семья эта умудрилась в 1940 году бежать из Варшавского гетто в СССР, выбравшись оттуда по канализационным трубам. В СССР их приняли достаточно хорошо, и Штейн-старший стал художественным руководителем еврейского тетра в Минске. Эммануил в начале 1960-х годов вернулся в Польшу, где стал быстро приобретать известность как шахматист, но за откровенные разговоры о Катынской трагедии угодили в польскую тюрьму. В 1968 году Штейн сумел сбежать на Запад и стал преподавателем факультета славистики Йельского университета в США. Как могут еще помнить любители шахмат, Штейн был к тому же и пресс-атташе Виктора Корчного. Все годы он собирал эмигрантские книги и документы, в частности, относящиеся к Русскому Китаю. Рассказывать о личных, культурных и библиофильских связях Штейна можно долго, но достаточно упомянуть: именно к нему попали архивные материалы Г.Д. Гребенщикова, относящиеся к русской колонии «Чураевка» (шт. Коннектикут) и материалы по довлатовскому «Новому американцу». Как говорят знавшие его, в его

книжной коллекции было 1600 сборников поэтов Русского Зарубежья и почти двести книг ДиПи. Кстати, ни о каком серьезном собирательстве русскоязычной эмигрантской поэзии нельзя и говорить, не имея в руках книги Эммануила Штейна «Поэзия русского рассеяния 1920–1977». В 1973 году в нью-йоркском издательстве «Ладья» вышла первая антология стихов на шахматную тему «Мнемозина и Каисса», составил которую и написал к ней вступительную статью Штейн. В 1984 году в Оранже (шт. Коннектикут) Э.А. Штейн создал издательство «Antiquary», выпустившее более пятидесяти книг. Часто это были репринты редких эмигрантских изданий, выходили они тиражом 200–300 экземпляров и теперь сами стали раритетами. Штейн издал также справочник «Русская печать лагерей Ди-Пи», а уже после его смерти вдова Ольга Штейн выпустила в 2000 году библиографический указатель «Поэзия Русского Зарубежья в библиотеке Эммануила Штейна».

Еще одно посвящение Китаевичам – на книге Марка Поповского «Третий лишний. Он, она и советский режим» (Overseas Publications Interchange Ltd. London 1985):

*Дорогим друзьям
моим –
Галочке и Юлику
Китаевич
для обогащения опыта,
как социального так и личного
– сердечно и с
пожеланием счастья
Марк Поповский
New York City
11/IX – 85*

Марк Александрович Поповский (1922, Одесса – 2004, США) – писатель, журналист, правозащитник. Учился в Военно-медицинской академии и прошел медиком всю войну. После войны окончил филологический факультет МГУ. До эмиграции издал немало книг, в перкую очередь биографии деятелей науки (Вавилова, Хавкина, Войно-Ясенецкого). Был членом Союза писателей и Союза журналистов СССР. В 1970-е гг. стал диссидентом, собирал библиотеку самиздата. Эмигрировал в 1977 г., позднее обосновавшись в США. Жил в Нью-Йорке. Сотрудничал с «Новым Журналом», радиостанцией «Свобода», с «Новым русским словом» и др. Поповский – один из основателей Клуба русских писателей Нью-Йорка. Был также вице-президентом организации «Писатели в изгнании» американского отделения ПЕН-клуба.

И еще одно посвящение Китаевичам на книге Григория Свирицкого «Заложники» (Les Editeurs Reunis, Paris, 1974):

*Гале и
Юлию Китаевичу,*

*в память о наших
встречах в разных
странах*

12.8.83

Торонто

Григорий Свирский

Григорий Цезаревич Свирский (1921–2016) – советский, израильский и канадский писатель, журналист, военный корреспондент, автор мемуаров. Участник Великой Отечественной войны. Во время войны служил в авиации, потом стал военным корреспондентом. После войны учился на филологическом факультете МГУ и в Литературном институте. Член Союза писателей СССР, откуда был позднее исключен. Был вынужден эмигрировать в Израиль, затем жил в Канаде. Свирский открыто критиковал цензуру еще будучи в СССР, и все его произведения были запрещены и уничтожены. Он выступал в поддержку «Пражской весны»; на партийном собрании писателей Москвы 16 января 1968 года выступил не только против цензуры, но и против антисемитизма, царившего во всей системе СССР. В результате был исключен из рядов СП и фактически принужден к эмиграции.

Кстати, есть в моей коллекции еще один интересный автограф Свирского – на его книге «Полярная трагедия» («Посев»):

*Борису и Лиде
Словин,
которые толкнули
с горы первый
камень.
Тогда-то и начался
«еврейский отвал».
С глубоким
уважением*

Григорий Свирский

Барух (Борис) Словин (1933, Рига – 2014, Израиль) и его жена Лея (Лида) были заметными активистами подпольного сионистского движения в Риге пятидесятых-шестидесятых годов XX века. В феврале 1969 г. их в числе первых выпустили в Израиль. По воспоминаниям свидетелей, их отъезд превратился в демонстрацию – на вокзале их провожали с пением «Хевейну шалом алейхем». В Израиле Словины были активистами движения, требовавшего от правительства Израиля открытых действий в поддержку борьбы за алию из СССР. Так что посвящение Свирского вполне понятно.

На этом заканчиваю – и смотрю на остальные книжные полки моей библиотеки...

Бостон

БИБЛИОГРАФИЯ

Книжная полка Юлии Баландиной

Владимир Гандельсман. «В небе царит звезда». Избранные эссе. М.: Делаландия, 2024. – 191 с.

«Писать предисловие к книге, состоящей из предисловий...» – предвещает Владимир Гандельсман свою новую книгу. «Писать рецензию к сборнику рецензий...» – ответу ему в тон. Представили? Представляю и я: Владимир Гандельсман – поэт, эссеист, переводчик (переводчик-любитель, как скромно уточняет он сам) – собрал под одной обложкой свои тексты, посвященные «высказываниям» современных авторов. Под «высказываниями» следует понимать не отдельные цитаты, а цельные произведения – стихи, поэмы, сборники рассказов, повести – от истоков замысла до его воплощения в конкретной форме. В книге собраны не только рецензии, но и преди- и послесловия, аннотации, записи радиопередач, отрывки из писем. Впрочем, «рецензия» – слово чрезмерно строгое для теплых, уютных посланий Гандельсмана, это, скорее, отзывы, отраженные звуки прочитанных строк. Написанные в разное время, но собранные воедино, они в неменьшей степени описывают Гандельсмана-поэта, чем поэтов, которых описывает он.

Названием для сборника послужили строки из стихотворения рано ушедшего близкого друга автора книги, петербуржца Льва Дановского; ему и Валерию Черешне отведены первые страницы. «Удивительное свойство дружеского союза, отличающее его от всех прочих, – свобода каждого не умалется, но умножается. В данном случае – на три. Равносторонний треугольник без единого угла», – пишет Гандельсман о долгой, сквозь всю жизнь, дружбе, начавшейся в далекие шестидесятые. Неудивительно, что, анализируя тексты друзей-поэтов, Гандельсман связывает их схожими метафорами. Сравните: «Поэт, сей наученный горьким опытом ребенок, идет в обратном направлении, подчиняя время себе: он создает часовой механизм стихотворения, и в прозрачном его корпусе мы видим все ассоциативные зацепления, все возвратно-поступательные и круговые движения памяти... Поэт – устроитель времени, а значит – устранитель его поступательного убожества» – это о Дановском. И далее: «С каждым бывало: идешь по улице и мимоходом в какой-нибудь витрине или на рекламе видишь нарисованные часы и с удивлением замечаешь, что они показывают время, которое на ваших, ‘живых’», – это уже про Черешню, и ниже – о нем же: «В каждом стихотворении В. Черешня возвращается к пустоте пустыря. К миру, в котором нет ни Замысла, ни даже замыслов. К миру предельно безнадежному и чистому». Часовой механизм стихотворения и синхронизированные часы в витрине, апелляция к детству – времени чистому, «пустому», и пустырю – нулевому меридиану, точке отсчета и точке развития потенциала; совпадение ритмов, частот, чувств, смыслов – синергетический эффект этой дружбы заметен и сегодня.

В юбилейном очерке Геннадия Кацова, посвященном В. Гандельсману, есть такие слова: «Вся взлетно-посадочная конструкция современной русской поэзии так основательно выстраивалась на протяжении последних лет тридцати, что без Владимира Гандельсмана ей не обойтись».

Уточню: не обойтись без обеих его ипостасей – поэта и эссеиста, пишущего о поэзии.

Тексты Гандельсмана абсолютно свободны от соблюдения каких бы то ни было канонов, приличествующих жанру; всякий раз это плавание вольным стилем. Иногда отправной точкой может послужить заглавие представляемой книги, расшифровка и толкование слов, его составляющих, а иногда – музыка, звучащая в стихах. Прямые музыкальные ассоциации у автора вызывает поэзия Игоря Кураса – с акцентом на четкость и прозрачность композиции; Ирины Машинской – с выделением ее камерной, доверительной интонации; Льва Дановского – с его чистотой звука; Алексея Кудрякова – с его детской пронзительностью открывателя мира. «Чтение книги, особенно поэтической, – пишет Гандельсман, – сравнимо с посещением музыкального концерта. С той разницей, в пользу книги, что ноты у нас под рукой, и мы всегда можем вернуться к непонятной или полюбившейся фразе и более того, забежать вперед и без ущерба для цельности полноты впечатления услышать, скажем, завершающий аккорд». Относящаяся к миру музыки терминология присутствует почти в каждом эссе: тональность, аккорд, мелодия, акустика, гармония. И если ассоциативный ряд, соединяющий поэзию и музыку, не удивителен – оба вида искусства ритмичны, образны, эмоциональны, – то признание абсолютного слуха Каринэ Арутюновой в послесловии к сборнику ее рассказов «Патараг» – особого рода. Она «пишет музыку словами на протяжении всей своей прозы и не берет ни одной фальшивой ноты; в произведение вплетаются мелодии и голоса любимых авторов, местечковая речь и мощные пассажи в ветхозаветном духе, когда возникает еврейская тема», – определяет Владимир Гандельсман особенности ее стиля.

Порой он запросто, без витиеватых преамбул заявляет: «Екатерина Преображенская – преобразает», и предлагает считать это не каламбуром, а стихотворным выражением ее стихов, ведь несочетаемые в обыденной логике слова поэтесса преобразует в новые смыслы. Или: придумывает шутивную аналогию, где замечательная энергетика стихотворений Марии Степановой обыгрывается ее инициалами в формуле $E=MC/\text{квадрат}$, добавляя при этом: «в ней столько жизни и счастливого здоровья, что я обозначил бы его термином, обратным медицинскому: сердечная избыточность».

Иногда структура эссе опирается на образы, использованные поэтом, – например, у Татьяны Вольтской бабочка, влетающая в книгу на первой странице, свидетельствует о приверженности традициям, от них и выстраивается анализ текстов. Для книги Кати Капович «Веселый дисциплинарий» предисловие преподносится в виде тезисных характеристик, единым предложением, – не предложением даже, а списком отличительных черт поэзии, без единого упоминания имени – лишь цитаты, подтверждающие мысль рецензента. Отзыв о книге А. Цветкова «Ровный ветер» написан в полшутливой манере множественных начал и окончаний, отражая, тем самым, многогранность стихотворений, а для Владимира Жука и вовсе сложен дифирамб.

Владимир Гандельсман относится к числу людей, что слышат шепот звезд и переводят их разговор с небесного на земной, всякий раз находя удивительно ясные, осязаемые метафоры, и это в равной мере касается как его собственных стихов, так и отзывов о творчестве собратьев по перу. Вот, например, что он пишет про «Ялтинскую фильму» Янислава Вольфсона: «...поэма движется, как кинолента, кадр за кадром, имитируя стилистику

первых фильмов... каждая главка поэмы подобна виноградине – прозрачна и освещена изнутри розоватым светом приморья». Или вот, о книге Хельги Ольшванг: «Ее стихи похожи на деревья, растущие диким, неподстриженным образом – строки-ветки растут прихотливо: то удлиняясь, то укорачиваясь, повинуюсь пульсу поэта». У Владимира Ханана поэзия подобна градостроительству, где слова ложатся кирпичной кладкой, а заглавная *Н* в начале куплета символизирует прозрачность проспекта. Похожая, «архитектурная» аналогия – в рецензии на книгу Феликса Чечика «Муравейник»: «Буквы совершают свой насекомый труд и сбегаются в слова, муравьиная тропа слов вытягивается в предложение, предложения строят книгу». У Даны Гурской стихи «как нашатырный спирт», как «дуговая сварочная вспышка» – у Константина Кравцова, Андрей Бауман «хочет, чтобы в каждом атоме стихотворения заключался весь мир», Владимир Эфроймсон – москвич по Цельсию, американец по Фаренгейту... Образы Гандельсмана удивительно точны и, одновременно с этим, лиричны, запас их неисчерпаем.

Эссеистика Владимира Гандельсмана не только образна, но и насыщена аллюзиями: в творчестве рецензируемых поэтов всегда «проступают» голоса предшественников. Но эти аллюзии не заслоняют автора, не затемяют его самобытность, они лишь намечают пунктирную линию преемственности: «Первое, что я всегда замечаю, читая стихи Андрея [Грицмана] – это их неумолимая самостоятельность. Ассоциации, аллюзии на Блока, Мандельштама или Есенина и вообще переключки со множеством поэтов – да, но ни малейшего сходства. Я всегда узнаю этот голос, пробивающийся то сквозь неровный нервный ритм, то сквозь плавный – скреплённый прочной рифмой, иногда – полурифмой, иногда – неким подобием ее, пришедшим, вероятно, из английского». В поэзии Андрея Баумана Гандельсман усматривает и торжественную интонацию русских религиозных текстов, и традиции греческого эпоса с его сложносоставными «гомеровскими эпитетами», и юмористические нотки Благынского, и наследие Хлебникова, но ценит его за содержательное новаторство, за плотность слова, гражданскую позицию, за то, что сердце бьется всякий раз сильнее, когда слушает его. О Марии Степановой Гандельсман говорит, что клавиатура ее упоминаний столь широка, что «хватит пожить и воробьям, и репортерам», затем, играючи, в подтверждение своих слов, выдает десяток примеров, где Пушкин и Лермонтов причудливым, но органичным образом соседствуют в ее стихотворениях с Маяковским, Ходасевичем и Пастернаком.

Любовью к родному городу наполнены комментарии о стихотворениях поэтов-петербуржцев. «Тому, кто хочет стать поэтом, надлежит родиться в Петербурге – больше шансов, что предприятие удастся. Речь, конечно, о втором рождении, не биологическом», – считает Гандельсман. Он чувствует город на уровне колебаний звука, отраженного береговым гранитом. «Эти стихи сделаны по образу и подобию города и его имени, стоящему на гранитном фундаменте двух ‘р’» – характеризует Гандельсман поэзию Т. Вольтской и тут же добавляет к этому определению множество оттенков-интерпретаций: город в обратном прочтении звучит как «дорог», Город – Град (Небесный) побуждает видеть «город» в Богородице, рифма Город/Голод напоминает о блокадной судьбе, а Нева, ни много ни мало, впадает не только в Финский залив, но и в культуру и историю разных времен, в которых переплетаются и Гефсиманский сад, и Бородино, и Аушвиц, и Косово.

Владимир Гандельсман пристрастен в своих текстах: «Кто сказал, что

мне не позволены прямые эмоции? Выражаю: блестяще!» Или вот: «Ослепительные стихи. Сияющие». Эмоциональный отклик всегда подкреплен доказательной базой, автор приглашает читателя лично убедиться в обоснованности восторгов. Так, цитируя К. Кравцова («Но так светло, так голо в этом сквере – / безмолвном, отрешенном, предстоящем...»), он пишет: «В слове 'сквер' есть и *скверна* и *вера* – оно словно бы утверждает своим составом ту парадоксальность, о которой я упомянул выше. Всё просто: вырваться из скверны и обрести веру. Не зря и сквер не только безмолвный и отрешенный, но и предстоящий (в будущем)». Фонетические ассоциации обращаются смысловой наполненностью, а способность поэта в двух строках обрисовать бэкграунд, зафиксировать настоящее и утвердить обязательное в будущем очищение действительно вызывают восхищение. Рецензию на сборник стихотворений Анны Гальберштадт «Пасмурное солнце» Владимир Гандельсман начинает словами: «В этой книге есть всё, что я люблю: ясность высказывания и четкость изображения, выразительно выписанная сиюминутная деталь и боль памяти, которая, оплакивая и воскрешая утраченное, откликается в сердце читателя той же болью. И всё это сделано спокойно, без нажима, тем более – без надрыва». Аргументы рецензента принимаются безоговорочно: говорить про боль памяти спокойно, без нажима, но так, чтобы эта боль откликнулась, – ценное качество.

Отдельно хотелось бы отметить небольшое эссе, посвященное книге стихов Александры Хольновой «Здесь обернешься». Отмечая «интуитивность» поэтического стиля молодого автора, Гандельсман выбирает для анализа одно стихотворение («Скорбь твоя, Пенелопа, скорбь твоя, Одиссей») – если не программное, то поворотное в сознании поэтессы. Уделяя особое внимание ассоциативно-звуковому ряду скорбь/скарб-скарабей-корабль-карабкаться, его вибрирующей тяжести последовательных движений – ползти, плыть, с трудом взбираться с тяжелой ношей скорби-скараба, – он далее переходит к трансформации ситуационных акцентов в смысловые. Сдвиг в ключевой фразе – теперь она звучит со смещением: «Скорбь – *твоя* Οδυσεάς, скорбь – *твоя*, Πηνελόπη» – свидетельствует об отказе наследования культу античности; греческое написание закрепляет акт отторжения, поясняет Гандельсман: «[Скорбь] не моя. Я оставляю вас в античности. Я больше не молюсь на вас и вашу скорбь. Она сделала свое дело: раскрыла мои глаза, и глаза высохли на солнце иудейской пустыни. Я обратилась в другую веру». Драматический накал борьбы идентичностей усиливается в финале: героиня не может оторвать взгляда от рук Пенелопы, распускающих пряжу, она сомневается: действительно ли глаза ее сухи от всматривания в иудейскую пустыню или всё же дело в завороченности Пенелопой, в прошитости сознания прежними культурными кодами. «Беспощадный в своей честности поворот», – отмечает Гандельсман, прекрасно чувствующий вибрации души нового поколения: не эмигрантов еще – релокантов, их неготовность к мгновенному отречению от прошлого.

Остались не упомянутыми яркие и глубокие рецензии на стихи Александра Самарцева и Григория Стариковского, замечательные предисловия к книгам Владимира Строчкова и Славы Полищука, заметки и отзывы о книгах других писателей. Но право, лучше взять в руки сборник и, вдохновившись восторженными и вдумчивыми текстами Владимира Гандельсмана, перечитать любимых авторов, открыть для себя новых, обнаружить неожиданное в уже знакомом. Лучшего проводника вам не найти.

* * *

Эмиль Дрейцер. *Чехов на Брайтон-Бич. Бостон, M-Graphics Publishing, 2025. – 329 с.*

Более полувека отделяют нас от начала массовой эмиграции, запущенной принятием поправки Джексона-Вэника в 1974 году. Среди покинувших страну в «третью волну» – множество представителей творческой интеллигенции, деятелей науки и культуры. Обманутые ложными надеждами хрущевской оттепели, они задыхались в мертвом воздухе брежневского застоя, а потому хлынули мощным потоком, именно что настоящей волной, сквозь открывшиеся границы. «Отщепенцы», «предатели родины», они уезжали навсегда, уповая на свои силы, способности, таланты, без надежды и желания когда-нибудь вернуться. В числе уехавших в этот период и писатель Эмиль Дрейцер.

Литературная карьера уроженца Одессы Эмиля Дрейцера началась в середине шестидесятых годов, когда он под псевдонимом «Эмиль Абрамов» начал активно сотрудничать с ведущими юмористическими изданиями советской печати. Его фельетоны публиковались в «Крокодиле», «Литературной газете», «Юности», «Известиях», «Неделе», звучали на радио и служили скетчами для сатирического журнала «Фитиль». Вскоре после переезда в Америку Эмиль Дрейцер поступил в Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где получил докторскую степень в области русской литературы. С 1986 года Дрейцер – профессор русской кафедры Hunter College в Нью-Йорке; одно из направлений его научных работ посвящено исследованию сатиры и юмора в русской литературе и советском фольклоре. К настоящему моменту за плечами у писателя более десятка книг на русском, польском и английском языках. Автор трижды становился лауреатом литературной премии «Совета по делам искусств» штата Нью-Джерси, а в 2023 году его короткая повесть «Свист абрикосовой косточки» была отмечена Литературной премией имени Марка Алданова.

Новая книга автора – сборник, состоящий из трех тематических блоков: в первом содержатся рассказы-воспоминания о военном детстве, эвакуации из Одессы, воссоединении семьи после войны; второй посвящен юности, поступлению в институт, жизни в Советском Союзе; третья представляет обобщенный эмигрантский опыт «третьей волны». Часть рассказов вошли составными главами в более крупные произведения, а именно в книгу воспоминаний «Кто ты такой» (*Shush! Growing up Jewish under Stalin*) и в роман об эмиграции «На кудыкину гору». Отдельным приложением, формально выбивающимся из общей тематики сборника, опубликован рассказ «Дама с собачкой: апокриф», в котором, как легко догадаться из названия, Эмиль Дрейцер «дописывает продолжение» чеховской истории.

Смысловые акценты первого блока определяют рассказы «Соленая вода» и «Облака», они же задают эмоциональный фон всего раздела. Соленая Вода – по-таджикски «Шураб» – это название населенного пункта, куда после эвакуации попадает четырехлетний мальчик Фима. Раньше здесь было море, как в их родной Одессе. А у Фимы раньше было: солнечная квартира, букет придорожных ромашек, сорванных отцом по дороге домой, раскрасневшаяся от радости мама, скатерть на столе, старый коптящийся грец (нагревательный прибор – *прим. Ю.Б.*) в коридоре. Они были счастливой семьей.

На момент начала повествования Фиме восемь. Голосом Левитана радио объявляет о капитуляции гитлеровской Германии, в поселке радость и ликование, вместе с ними приходит и надежда, что мужчины скоро вернутся домой. Желая поскорее увидеть отца, Фима отправляется ему навстречу, спрятавшись в курджуме одного из проходящих караваном верблюдов. Сюжетная линия выстроена ретроспективно: мальчик вспоминает события тех лет, что провел в разлуке с отцом, взвешивает их значимость, оценивает итоговый вектор. Ему хочется, чтобы отец гордился им, повзрослевшим, научившимся быть бесстрашным и сильным. Караван медленно тянется в горы, Фима засыпает, убаюканный мерной качкой, и снится ему, как скоро на одном из холмов он увидит папу Эли, грудь которого будет сверкать орденами и медалями.

Писательский почерк Эмиля Дрейцера проявляется уже в начальных строках. Первая фраза бьет точно в цель, по-чеховски, определяя тематику и стиль рассказа, задавая тональность: «Крик женщин, пронзительный, будто при родах, пронесся по всему кишлаку, приткнувшемуся к склону Туркестанского хребта: ‘Дети!... Где дети... Боже мой, куда девались дети!’». Следующее предложение, в котором ясно чувствуется одесская подача, мгновенно превращает универсальное, казалось бы, «боже мой» в бабелевское: «Это было уж слишком. Пережить огромную радость и вслед за этим такое несчастье, как пропажа детей...» Таким образом, весь фрагмент в целом выпукло обрисовывает завязку: «боже мой» – речь идет о евреях-одесситах, кишлак – они в эвакуации, пережить огромную радость – вероятно, война закончилась.

Повествование ведется от лица рассказчика и подается в двух временных проекциях: взгляд взрослого – в нем мы узнаем автора, отображающего историю семьи, хаос войны, будни военного времени в тылу – и перспективу ребенка, переживавшего эти события в раннем детстве. Изложение событий сквозь призму детского восприятия порой кажется преувеличенно наивным: «Из самолёта выпала какая-то круглая банка, со свистом ринулась вниз и, не долетев до палубы, пшикнула». Или: «...Фима увидел старика с закрытыми глазами. На его всках лежали медные пятаки. Наверное, старик никак не мог заснуть, вот и положил на глаза монетки, чтобы лучше спалось». Но Эмиль Дрейцер рассказывает о своем времени, и подчеркиваемая им наивность лишь увеличивает дистанцию между той войной и этой. Вместе с тем, текст, оживая, словно в дурном сне, в кадрах новостных лент, эту дистанцию сокращает. «Что же, они не видят, что дети...» – возмущается дядя Пиня. Видят, потому и бомбят, отвечают им сегодняшние мариупольцы, одесситы, киевляне, харьковчане.

На протяжении всего рассказа Эмиль Дрейцер соблюдает баланс эмоций и, когда драматизм повествования достигает эмоционального пика, автор переключает регистр в светлую перспективу или сбрасывает напряжение шуткой. Проиллюстрирую мысль фрагментарными цитатами одного из эпизодов эвакуации: «Той ночью... он проснулся от страшного крика. Визжали дети, выли женщины, охали старики... те, кто лежал на угольных хребтах, скатывались вниз, переваливались за борт и летели под откос... снова стало тихо, только громко стучали колеса... и какая-то женщина испуганно кричала хрипящим голосом в темноту: ‘Фира! Фирочка! Где ты! Фир-р-а!’, а потом долго рыдала». Далее автор «перебивает» повествование более поздним, лирическим фрагментом: Фима едет навстречу отцу, покачиваясь в такт движениям верблюда, он подглядывает из маленького

отверстия в курджуме за свободно парящим высоко в небе орлом, способным едва уловимым движением крыла изменить направление своего полета. Чуть ниже – после описания долгих эвакуационных перипетий – распределяющий эвакуированных начальник бросает жителям аула: «Вот, принимайте выковырянных...» И тут же: «Одна старая женщина в яркой фуфайке... захотела пощупать мамину голову... кто-то сказал ей, что у евреев на голове растут рога...»

Прием «сравливания пара», понижение градуса трагедийного накала может показаться спорным, ирония неуместной, комфортизация читателя – безнравственной. В связи с этим вспоминается фильм Роберто Бенини «Жизнь прекрасна!» (1997) о мальчике, попавшем в концлагерь, но усилиями отца верящим, что оказался в игре, с танком в качестве главного приза в финале. Критики до сих пор спорят, о чем этот фильм: о любви и человечности в трудные времена или о непристойном, искаженном видении Катастрофы. Мне же в момент написания рецензии попалась заметка в одной из социальных сетей: в бомбоубежище, в котором киевляне спасались от очередного обстрела ракетами, залетел шмель. «Ну очень маленький ‘шахед’», – прокомментировала одна из женщин. Обострение чувств в моменты высокого риска – явление известное как в биологии, так и в психологии, в этом отношении чувство юмора – не исключение.

Но вернемся к рассказам. Отец самого писателя всю войну прошел в составе Второй Воздушной Армии; правда, в руках у него был не обычный пистолет, а малый: истребители тоже нуждались в покраске. «Неприметность», «неочевидность» героизма такой профессии во время войны, «непочетность» ее в мирное время казалась Эмилю Дрейцеру несправедливой, потому в рассказе «Облака» посвящение отцу – отдельной строкой. Сцена прощания с отцом настолько сильно врезалась в память ребенка, что автор возвращается к ней из рассказа в рассказ. Ключачка шинель, колючая шека, суровый взгляд, невнятное бормотание – счастливое детство, в одночасье разрушенное войной. Теперь на месте домов – воронки, парки завалены развороченными от взрывов деревьями, а по темным переулкам рыскают сверстники, зараженные злобой от взрослых: жиденок, чего вернулся?

Возвращение в родной город после войны омрачается не только волной антисемитизма и неприятия уехавших от войны оставшимися (о, эти горькие повторы истории!), но и семейной драмой. Родители не стремятся увидеть друг друга: отец сомневается в верности жены, мать оскорблена его подозрениями. Но ребенку непонятны взрослые игры в прятки. Он, как и все мальчишки военного времени, мечтает поскорее встретиться с отцом, вернувшимся с фронта живым и непременно героем. Мальчик просит мать написать записку с новым адресом на развалинах их бывшего дома, придумывает импровизированную булавку, чтобы приколоть записку к стене, бегает каждый день проверять, на месте ли, а если нет, сомневается – сорвало ли ветром или забрал адресат... потом вдруг вспоминает, что записка была написана чернильным карандашом, а значит, все буквы размылись недавно прогремевшей грозой и стали неразличимы...

Автор не спешит с развязкой. Он дает возможность читателю прожить, прочувствовать эмоции, наполнявшие участников тех событий: ходившая из угла в угол нервно курящая тетка; мать, забившаяся в угол дивана со скрещенными на груди руками, ее губы окаменели; скатерть из солнечной квартиры – та самая, с голубыми разводами, – выстиранная,

высушенная на солнце, выглаженная раскаленным утюгом; наконец, долгожданный гость. Вошедший мужчина с рассеянным взглядом не похож на отца, он пониже ростом и голос его глуховат. Мальчонке невдомек, что это груз войны: сам он, рано повзрослевший, и отец, с утратившим звонкость голосом. Мамина рука всё разглаживает скатерть, напряженное молчание, отцовские слова обрывками фраз – упреками – и внятные, законченные предложения матери в ответ. «Да что же в самом деле происходит! – недоумевает малёк, – Это же мы, твои родные!»

Эмиль Дрейцер пишет от лица ребенка и во многом для ребенка, имея в виду так называемый эффект третьего поколения эмигрантов – именно они начинают проявлять интерес к корням и родословной. Для них, для внуков он пишет о родных, отправившихся на фронт («Отцы на войне», «Элеонора Рузвельт тут ни при чем»), им рассказывает об изуверской системе немецких трудовых лагерей («Стрела»), с ними делится секретами изготовления самодельных игрушек. Подробное описание одной из них столь фактурно, что позволяет себе привести его ниже: «Котя вышел через кладовку во дворик за магазином и занялся игрой, которую смастерил, подсмотрев у сверстников. На швейную катушку намотал метра полтора суровой нитки. Вогнал в торец две патефонные иглы и на пробитые гвоздем отверстия насадил небольшой, с бабочку-капустницу, пропеллер. С превеликим трудом, мамиными портняжными ножницами, он вырезал его из желтой консервной банки из-под американской свиной тушенки. Оставалось продеть внутрь катушки прутик покрепче и, подняв всё устройство как можно выше над головой, что есть силы дернуть за нить. Пропеллер взвивался волчком и, соскочив с иглока, вспархивал. С приятным шуршащим звуком воробьиных крыльев устремлялся вверх. Поднявшись над крышами домов, вспыхивал в лучах солнца и, теряя высоту, дугой опускался на землю. Ничего красивей этого полёта на свете не было». Небольшой, но какой емкий эпизод: в нем и множество характерных деталей послевоенного быта, и гордость за свое вынужденное преждевременное взросление, и искренний, неподдельный восторг, возможный только в детстве.

Лейтмотивом второго блока рассказов можно назвать становление и кристаллизацию этнической самоидентификации. Дети той поры жили в двух параллельных мирах: были евреями в семье и советскими пионерами вне его; в последнем, несмотря на процветающий бытовой антисемитизм, они чувствовали себя комфортнее. Воодушевленные победой над фашизмом и вовлеченные в пропагандистко-воспитательные процессы в школе, они принимали официальный нарратив об интернационализме советского человека без видимого отторжения. Родители казались им людьми, застрявшими в устаревших предрассудках.

Поворотным моментом в осознании своей принадлежности к еврейской национальности автор считает эпизод, случившийся в преддверии Пасхи, когда он вместе с матерью отправляется за мацой в полуподпольную пекарню при синагоге («Однажды на Пасху»). В свойственной ему юмористической манере Эмиль Дрейцер описывает мамины предпасхальные хлопоты: «охоту на карпа», процедуру его последующего «утихомиривания», радостное возбуждение в очереди за мацой. Всем этим «нелепым», не находящим ни малейшего отклика в душе ритуалам, юный Эмиль противопоставляет бутерброд с колбасой и битву на крашеных яйцах, тоже не поощряемую советской властью, зато веселую. Будучи «человеком новой формации», которому должны быть чужды религиозные верования, автор

вспоминает тоскливое ощущение при виде синагоги: «Неприятно поразило меня само здание синагоги. Его обшарпанный, с отбитыми углами фасад из красного кирпича казался иссеченной кнутом, со шрамами и кровоподтеками, физиономией. Главный вход, словно рот кляпом, был забит досками. Поперек двора, через который нужно было пройти, чтоб попасть внутрь синагоги, шла траншея. Под ногами хлюпала грязь. Кругом валялись обрывки ржавого кровельного железа. Каким-то образом всё это представляло для меня саму веру – убогую, отвергнутую, никак не вяжущуюся с моим юным ощущением мира, с фанфарами каждодневных побед на пути к коммунизму, с энтузиазмом маршевых песен по радио...»

Ежегодные поездки за мацой кажутся ребенку пыткой – вставать нужно в пять утра, к первому трамваю, долго ехать, трясясь от холода, везти с собой обменные мешки с мукой, стоять в длинной очереди. Но вот пекарь – молодой курчавый парень – протягивает не маме только, но и ему, двенадцатилетнему подростку, плитку еще теплой, словно простроченной на машинке мацы: *А гит йонтеф!* Добро пожаловать в семью, дескать, мы здесь одной крови, еврейство не выбирают, с ним рождаются. Смущение, внутренний протест, вежливое принятие, вначале формальное, но именно оно становится переломным в процессе самоидентификации... Потом было болезненное восприятие громко освещаемого в прессе дела врачей («Черным по белому»), подрисованные кем-то из членов комиссии ошибки в выпускном сочинении («Теперь ты знаешь»), невозможность поступить в институт на выбранную специальность («В Москву, в центральную прачечную») – осознание себя евреем приходило толчками и только спустя десятилетия скитаний в чужих мирах, автор приходит к пониманию, что, принимая мацу из рук другого еврея, он тем самым принимал свою судьбу, делал первый шаг к избавлению от навязанной идеологии и к личной свободе.

Процессу взросления, становлению самосознания посвящен и рассказ «Революционный этюд». В нем Нина-Нехана (сколько унижительной сегодня должна казаться сама необходимость адаптировать собственные имена под менталитет «интернационального» государства!) выбирает для вступительного экзамена в музыкальное училище этюд Шопена, посвященный польскому восстанию против гнета Российской империи. Языком музыки, экспрессивным ее исполнением Нехана отвечает своим обидчикам: и учительнице, что неодобрительно качает головой, – ох, нелегко тебе будет в жизни с таким именем, бедная девочка, какое несчастье! – и вихрастому, конопатому соседу Витьке, что потребовал назад букет фиалок, узнав, что она еврейка, и вообще всем на этом свете, кто относится к ней снисходительно или, того хуже, с презрением. Занятия музыкой, бывшие поначалу неприятной повинностью, навязанной родителями, становятся средством освобождения, способом обретения личностной и национальной.

Иной, советской идентичности, посвящен рассказ «Свои и чужие», где Эмиль Дрейцер воспроизводит картину всепроникающего культа ненависти, характерного для эпохи Холодной войны. «Кончилась война, но меня ещё долгие годы учат ненавидеть», – вспоминает автор. Царское самодержавие, эксплуататоры, попы, тунеядцы, поджигатели войны, вредители, расхищители, ревизионисты, капиталисты, империалисты, продажные женщины – перечень врагов, явных и затаившихся, был бесконечен. «Похоже, что меня исподволь готовят к сдаче аттестата не на зрелость, а на ненависть», – пишет Эмиль Дрейцер. Сюжетная композиция ведет к фельетонной развязке: выросший в атмосфере враждебности и шпиономании, подросток принима-

ет незадачливого прохожего, ищущего укромную подворотню для справления малой нужды, за диверсанта. Юмористическая подача материала как бы смягчает реальность, в которой рос автор и миллионы его сограждан. Отчасти – это дань художественной форме и стилю, отчасти – личная перцепция, неунывающая жизнелюбивая природа писателя-одессита. «Ненависть – сильное чувство, требующее большого запаса душевных сил. На такую огромную ненависть у меня их явно не хватает. По большей части я остаюсь равнодушным», – поясняет писатель. Но, с другой стороны, на фоне сбывающихся в реальной жизни антиутопий, ироничная тональность текста не кажется соответствующей обстоятельствам времени, скорее наоборот, она вызывает тревогу. Останутся ли равнодушными те, кто сегодня растет в новом витке ненависти? Пройден ли для них порог восприятия, за которым – равнодушие? Что будет потом, после осознания, что на ненависти трудно построить что-то стоящее, что-то, ради чего хочется жить? И куда бежать сегодняшним эмигрантам, не опасаясь столкнуться с неприятием инакомыслия?

Заключительный блок можно без преувеличения назвать энциклопедией третьей волны эмиграции. Эмиль Дрейцер обобщает опыт аккомодации «среднего» эмигранта, не имевшего ко времени отъезда ни «громкого» имени, ни накоплений, ни родственных или дружеских связей, позволявших облегчить первые этапы жизни на новой земле. Автор создает рельефную панораму, сотканную из осколков надежд, разочарований и абсурдных ситуаций, в которых герои пытаются обрести себя на чужбине. Для героев – тех самых представителей творческой и научно-технической интеллигенции – эмиграция становится *стартером* напряженных душевных процессов, заставляющих переосмыслить свою жизнь и свое предназначение («Дар матери», «Пророк», «Чехов на Брайтон-Бич», «Дворкин», «Свист абрикосовой косточки»).

В «Дворкине», написанном в жанре развернутого фельетона, автор представляет собирательный образ «маленького человека», уехавшего в эмиграцию в позднем пенсионном возрасте. Всю жизнь Дворкин проработал кассиром некоего управления, работал добросовестно и честно, но карьеры не сделал и ни о какой другой профессии не помышлял. «По сути два дня каждого месяца – День Аванса и День Получки – составляли смысл и оправдание его жизни, в перерыве между выплатными днями он скучал, не находил себе места, был пасмурен», – характеризует Дрейцер своего персонажа. Такому человеку эмиграция приносит двойное опустошение и даже кажущееся обретение новых смыслов – постижение своей идентичности через чтение еврейских молитв – оборачивается фарсом. Герой, как будто-то бы уже нащупавший путь к вновь обретенному Богу, на пороге смерти встречает своего бывшего начальника: место Бога занято божком, именно ему в прошлой жизни поклонялся герой. Но и у бывшего начальника нет ответов на мучившие Дворкина вопросы, ведь его жизнь была так же бессмысленна, как и жизнь главного героя.

На противоположном полюсе – «Свист абрикосовой косточки». Средних лет, благодаря настоянию родителей получивший надежную профессию инженера, Семен смог успешно интегрироваться в новую жизнь в Америке. Вот только счастье – не сытость и благополучие, оно не приходит с достатком и обустроенностью быта. В детстве герой мечтал стать художником и даже имел способности. Да, он рисует сейчас в свободное время, но это совсем не то, что *зарабатывать на жизнь* тем, к чему лежит душа.

Эмиграцию не зря называют дорогой к себе – настоящему. У Семена этот путь пролегает через сны-видения, пробудившие воспоминания о далеком детстве. Возвращение к себе – ребенку – помогает герою освободиться от «шелухи жизни», от навязанного скепсиса жены, от сомнений в собственном таланте и Семен начинает писать, «вылущивать себя из скорлупы, которая давным-давно незаметно выросла на нем». Глава, посвященная детским воспоминаниям, в полной мере раскрывает писательский дар Эмиля Дрейцера, способного словесными образами создавать живые и выразительные картины. Приведу лишь небольшой отрывок: «Тот далекий самаркандский абрикос не кончался съеденной мякотью, – пишет он. – Оставалась еще пузатая косточка. Подобно другим мальчишкам, он стачивал на кирпиче ее подбрюшную грань, пока не появлялось небольшое продолговатое отверстие. Раздробив концом проволоки скорлупу, он выковыривал по кусочкам полосатое ядро и, подобрав на садовой дорожке кременёк покруглее, проталкивал его внутрь косточки. Теперь, зажав ее краем губ, он дул в нее. Если он делал это неуверенно и слабо, косточка свистела тихо и жалобно. Когда же он отваживался дунуть что есть силы, кременёк весело прыгал, и, закладывая уши, по всему саду разносились рулады чудесной трели, от которой веером разлетались невидные в траве воробыи».

Затрагивает Эмиль Дрейцер и другие традиционные эмигрантские темы. Устойчивости культурных паттернов, не подлежащих автоматической замене при пересечении океана посвящен рассказ «Свадьба в маленькой Одессе». За обычаем организации пышных застолий (красочные описания всевозможных яств вызывают произвольное слюноотделение) стоит не только демонстрация успеха переселенцев на новой земле, но и невероятное жизнелюбие, искренность, щедрость выходцев из удивительного южного города – характер, который не под силу переломить ни проносящимся время от времени ураганам, ни языковым преградам, ни менталитету привыкших считать потраченные деньги и потребленные калории американцам.

Философским размышлениям о психологической и ментальной трансформации эмигрантов посвящено «Неотправленное письмо»; в нем речь не столько о понятных трудностях освоения языка и культуры, ностальгии по утраченному, но и о более важном, концептуальном: об испытании достатком, об убаюкивании сознания, о неспособности сформулировать новые, более значимые цели в условиях, когда первичные потребности легко закрываются изобилием товаров и услуг. Стоит упомянуть и рассказ «Пассовер», в котором автор говорит о постепенном отдалении родственников друг от друга, расхождении ценностных ориентиров, постепенном размывании генетической однородности в условиях мультикультурализма и свободомыслия.

Вошедшие в сборник рассказы формируют – отражая индивидуальный опыт и восприятие автора – картину жизни того поколения, что родилось незадолго до или вскоре после войны. Но было бы неправильно утверждать, что ценность книги ограничивается хроникальными зарисовками. Наследуя традициям русской литературы, Эмиль Дрейцер демонстрирует яркое мастерство рассказчика: его прозу отличает неторопливость, глубокая проработка деталей, композиционная завершенность и легкая ироничность, как правило, сатирического толка. Словесные образы, создаваемые им, наполнены поэтикой и лиризмом, а психологические портреты героев объемны, колоритны, узнаваемы. И если стилистически разножанровые эмигрантские рассказы Дрейцера зачастую имеют налет грусти, то детская оптика его рассказов-воспоминаний – несмотря на тяжелые испытания

военного времени — ностальгически-светлая. Быть может потому, что в ускользающих очертаниях прошлого мы видим мальчишку, способного мастерить свистульки из абрикосовых косточек и радоваться запущенному в небо пропеллеру.

Юлия Баландина

Яков Клоц. Тамиздат. Контрабандная русская литература в эпоху холодной войны. М: НЛО, 2024, — 375 с.

Такую книгу многие ждали давно — шутка ли сказать, русскоязычная иммиграция отметила свое столетие. За век она не только выжила и адаптировалась в контексте стран рассеяния, но и создала мощную собственную культуру. Ее вклад в мировое культурное наследие трудно переоценить. Литература иммиграции (сегодня говорят: диаспоры) стала бесценной частью литературы мировой. Но — парадоксально — феномен этот практически не изучен и существует и в читательских головах, и в исследовательской практике как некое необязательное приложение к так называемой русской литературе СССР/Российской Федерации. Почему «так называемой»? — Во все не от пренебрежения, а от неясности абриса самого предмета и законно возникающего вопроса: так ли уж близки русская литература иммиграции и российская, чтобы не различать их лиц необщее выражение? Еще менее повезло издательскому делу диаспоры: целая сеть несоветских/нероссийских издательств, специализирующихся на выпуске книг на русском языке, оставалась до сих пор вне поля изучения. В последние годы, кажется, ситуация меняется — скажем, к пятидесятилетию «Ардиса» (2021) вышла книга об этом знаменитом издательстве, публиковавшем Иосифа Бродского, Сашу Соколова, Юза Алешковского, русскую классику (Н. Усков. «Ardis. Американская мечта о русской литературе», 2021). Остальным повезло меньше: кто-то удостоился статейных обзоров, большинство — лишь молчания. И бессмысленно здесь перечислять эти достойные имена издателей-русофилов и русолобов; за столетнюю историю этот список насчитывает десятки имен и названий, а книжная продукция их, собственно, и есть то, что сегодня называется *современная русская литература XX века*.

И вот в этом пустынном пространстве появляется книга американского слависта Якова Клоца. Тема автору близка по рождению: он принадлежит к последнему поколению, рожденному в СССР, — пусть и не на личном опыте, но на опыте кровном, родительском, знающем, что такое цензура, репрессии, нонконформизм, самиздат. И вот — тамиздат. Тамиздат как литературная практика и как политический институт борьбы с советской тиранией.

Условно книгу можно разделить на две части: собственно история тамиздата и литературоведческий разбор отдельных текстов. (О последнем мы не станем говорить в этой рецензии — заметив лишь: повезло тому американскому студенту, кто посещает классы педагога, обладающего столь точным аналитическим аппаратом.)

Остановимся на собственно историях тамиздата. Автор уделяет внимание лишь некоторым книгам — и да, в своем исследовании Клоц идет от книги, рассказывая ее судьбу. «Один день Ивана Денисовича» А. Солженицына, «Реквием» А. Ахматовой, «Софья Петровна» и «Спуск под воду» Л. Чуковской и «Колымские рассказы» В. Шаламова, а в качестве эпилога —

«Тамиздат-проект Абрама Терца», – как видим, довольно объемный материал и, безусловно, знаковый для русской литературы. Каждой из книг посвящена отдельная глава, в каждой главе – обязательная подглавка: «Как читают на Западе».

Книга открывается необычным введением – своеобразным расширенным до нескольких страниц Acknowledgment, «Благодарностями». Об этом стоило упомянуть уже потому, что – признаем сей горький и малоприятный факт: российский писатель оказался сдержан в словах благодарности к своему зарубежному издателю. Клоц словно пытается восполнить этот досадный пробел, изучив всю кухню, с ее пылом и жаром, издательского производства тех немногих энтузиастов, что взялись за гиблое дело борьбы за свободную русскую литературу. И в этом отношении к издателям – большая внутренняя правота, ибо «специфика русской истории сделала издателя не менее важной фигурой, чем писателя; она привела к значительному сокращению этого различия – при неблагоприятных условиях с различиями такое случается», – цитирует автор Карла Проффера, легендарного энтузиаста-издателя «Ardis». Клоц продолжает: «Именно издатели ‘контрабандной’ русской литературы вдохновили меня написать эту книгу» – исследование социально-политического контекста и передвижений самиздатского текста за границами СССР; историй первых публикаций и восприятия тамиздатских книг. Это важно уточнить и для понимания самой анализируемой книги: автор не рассматривает произведения, написанные эмигрантами; эмигрантская литература – особого рода: литература свободная, органично развивающаяся в контексте мировой культуры и (уже на мой взгляд) представляющая естественное продолжение традиций русской дореволюционной литературы как явления *европейской культуры*. Проводит автор деление между самиздатом и тамиздатом и по границе читательской: слишком разные были читательские аудитории у этих книг – не совпадающие в социальном опыте, культурных стереотипах и границами эстетически допустимого. Отсюда и разные читательские потребности и реакции.

Со свойственным любому академическому исследователю педантизмом Клоц дает свое определение «тамиздата»: текст «со всеми формальными атрибутами печатного издания, опубликованный за рубежом после того, как он... пересек границу страны происхождения»; тамиздат сочетал в себе элементы официального и неофициального издания, «поскольку наделял легальным статусом [запрещенную] рукопись». Отличительным признаком тамиздата автор называет *географический*, а не политический: грань же между политическим и художественным в период Холодной войны объективно стиралась, критерий художественной ценности нередко задвигался на второй план.

Вообще, обаять всю тему тамиздата в одной книге не представляется возможным – автор справедливо ограничивает себя историями лишь некоторых знаковых текстов – хорошо известных, в том числе, российскому читателю (книга Клоца издана в Российской Федерации и, хочется верить, она будет распространяться там). Но и среди «знаковых» делается отбор – очевидно, по каким-то субъективным приметам, что не умаляет достоинства книги. Хотя, конечно, жаль отсутствующего «Доктора Живаго» – пробившего брешь в Железном занавесе уже в 1957 году (на итальянском, в 1958/59-м – по-русски) – *прецедента*, говоря юридическим языком, открывшего горизонты тамиздату (автор ссылается на подробнейшие исследования Л. Флейшмана по этой теме – отошлем и мы читателя к нему:

«Борис Пастернак и холодная война», 2009; переиздано в 2013-м под названием «Пастернак и Нобелевская премия»). Короткий экскурс в историю самиздата («Жития» прот. Аввакума, Герцен и пр.), который предлагает автор, любопытен, но, на мой взгляд, далек от темы: всё это – явления иного порядка; да, публикации за границей Империи можно, при желании, отнести к нашей теме, но опасно, ибо ведет к размыванию самого понятия, уж очень различны были издательские ситуации в Империи и при Советах (вспомним различия между автократиями и диктатурами, о чем писал гарвардский проф. Михаил Карпович, русский эмигрант). И как верно отмечает сам Клоц, уже в 1921 году Советская Россия монополизировала книгоиздание – всё двигалось к тотальной идеологизации книжного рынка.

В подглавке «Тамиздат от оттепели до застоя» Клоц коротко описывает ситуацию, сложившуюся в СССР после процесса Синявского–Даниэля, то есть когда «самиздат... превратился в инструмент политической оппозиции», когда проявляет себя диссидентское движение. Здесь тоже хочется частично возразить: самиздат всегда был оппозиционен – даже и в те времена, когда, к примеру, Даниил Андреев читал в узком кругу в 1947 году свой неоконченный роман «Странники ночи», за который по доносу получил 25 лет, лишь случайно избежав расстрела. Нелегальная, неподцензурная литература всегда стоит по другую сторону от литературы залитованной и тем уже противостоит идеологическому государству. Более точной кажется другая веха, также обозначенная автором: самиздат становится частью открытого диссидентского *политического движения*, а не чистым фактом литературы.

Логично, что в этой главе, собственно, и начинается разговор уже о тамиздате – конечно же, о Профферах и их «Ардисе». В связи с «Ардисом» упоминает автор и сборник «Метрополь» – тем самым заложив тему и определив персонажей для нового исследования.

Итак, Глава I посвящена А. Солженицыну. «Под знаком Солженицына» – так справедливо определяет автор начальные 1960-е. Подробнейшим образом он рассказывает все перипетии издания «Ивана Денисовича» в «Новом мире» – предлагая помимо социокультурного анализа эпохи еще и литературоведческий качественный анализ текста, оказавшегося не только в СССР, но и за рубежом («мерилом художественного достоинства контрбандных рукописей» (отзывы критиков Клоц обильно цитирует). Впрочем, автор обращает внимание на то, что не всё так просто в этом шумном мире – и приводит высказывание критически четкого Г. Адамовича, отнесшегося к «Ивану Денисовичу» как к «событию не столько литературному, сколько общественному и политическому».

В связи с сюжетом о Солженицыне Клоц обращается к известной концепции *единой русской литературы*, которую разделяло (и разделяет) большинство лучших умов эмиграции, диаспоры, исследователи-слависты и российские литературоведы (похоже, и сам автор книги). Но давайте задумаемся, так ли уж един и неделим «Русский текст»? Для снятия остроты вопроса, перейдем в нейтральное поле: скажем, великий поэт Томас Венцлова – можно ли назвать его чисто литовским поэтом? – Ровно полжизни он провел в иммиграции. Литовская литература видоизменилась за те годы советской диктатуры, проживая собственную судьбу влияний и протеста; на ней, как на любой другой литературе «соцреализма», отразились полвека цензуры и приспособления к тирании – как и сопротивления этой системе. А на поэтику Венцловы влияло иное окружение – межкуль-

турное свободное пространство. Безусловно, у «советских – собственная гордость», как заметил поэт, и «наш Бунин», «наш Поплавский» имеют глубокие основания, однако «наш» – это чей?..

Надо сказать, что сложность ответа на этот вопрос определена далеки-ми от литературы причинами, периодом Холодной войны, когда славистика выстраивалась в контексте программы борьбы с коммунизмом и советской диктатурой, и основной акцент – даже в литературе – парадоксально ставился на *советскую* литературу как проявление враждебной идеологии. В том – политический флёр тамиздата. А в то же время развивалась подлинная свободная русская литература – как органичная часть западного культурного гипертекста. Ее знали, конечно, ибо представители ее были включены в культуру стран рассеяния, однако изучали *советскую* литературу. В результате произошла аберрация зрения; деление на «метрополию» и «диаспору» автоматически распространилось и на культурное поле: литература «метрополии» – СССР – заняла всю авансцену русской культуры, а творчество диаспоры стало определяться как «локальное», «национальное» и даже «провинциальное». Тема в академическом мире не самая важная. Тогда как в реальности, признаем сей факт, наследницей – *реальной наследницей* – русской классической литературы была именно она – литература диаспоры, а советская литература (включая и оппозиционную, антисоветскую, маргинальную) была порождением эксперимента – от модернизма к соцреализму, идеологизированной эстетической модификации всё того же модернизма. И удивительно, как вообще что-то выжило и поднялось с колен в СССР. Словом, если в иных литературах – скажем, ирланской, испанской, скандинавской – мы имеем все основания говорить о единстве творческой метрополии и диаспоры, то в нашем случае не было того пресловутого «единого контекста»: независимо развивались две литературы, объединенные лишь меняющимся языком (стремительно деградирующим в СССР в направлении обценного) и культурным прошлым (из которого в СССР был выстроен симулякр).

Этот момент очень важен в оценке восприятия – и притяия – самиздата Западом, в том числе – и диаспорой, в его высокой оценке – *политической* скорее, чем *художественной*. Приветствовалась каждая оппозиционная антисоветская весточка; этот идеологический энтузиазм и поддерживал тамиздат долгие годы его жизни; культура свободная противостоит культуре рабства. Случайно ли, что именно самиздат и тамиздат подарили нам лучшие книги XX века на русском языке? – Нет, не случайно. Ответы здесь следует искать в области человеческого духа и метафизики свободы – что выше и сильнее любых идеологий.

Глава 2 посвящена Анне Ахматовой, «Реквиему». Клоц подробнейшим образом описывает историю проникновения текста на Запад и его издания. В начале 1962 года проф. Мартин Малия (замечу, кстати, – ученик проф. Михаила Карповича, гл. редактора НЖ. См. о проф. Малии: НЖ, № 318, 2025) отправился на стажировку в СССР. Там он знакомится с Лидией Чуковской, Анной Ахматовой и Юлианом Оксманом – и связывает последнего с американским издателем Глебом Струве, готовящим совместно с Борисом Филипповым в их изд-ве «Международное литературное сотрудничество» первое тамиздатовское собрание сочинений Анны Ахматовой. Малия пишет Струве о «цикле стихов», «сочиненном в 37-38 гг. <...> я слышал, как она читала некоторые из этих стихов», – добавляет он (допущенный в близкий круг друзей, которым Ахматова только и читала поэму). Оксман,

как и Струве с Филипповым, ставит перед собой задачу преодолеть «барьер между русской зарубежной и советской культурной жизнью»; он и передает текст за Запад...

Вообще, надо отметить почти детективный характер всех историй передачи самиздата на Запад: десятки малознакомых людей по цепочке – от друга к другу – передавали запрещенные рукописи в свободный мир; трудно переоценить благородство, как и риски, всего западного академического содружества, профессуры и молоденьких аспиранток, движимых идеалистической идеей братства людей культуры; не разумом лишь, но душой верящих в экстерриториальный характер гипертекста «Культура». Клоц подробнейшим образом описывает всех участников этих историй, все детали (вплоть до цены за первое издание) – дань людям и великому проекту по спасению русской неподцензурной литературы.

Целая глава посвящена Лидии Чуковской, ее «Софье Петровне» и «Спуску под воду». Клоц описывает попытки издать рукописи в СССР, дает основательный литературоведческий анализ текста; все перипетии издания и переводов этих произведений на Западе. Эта история напрямую связана с «Новым Журналом»: «Софья Перовна» в свободном мире появилась впервые на страницах журнала. И первые отклики были именно на новожурнальную публикацию – хотя для переводов позднее использовался текст книги.

Надо отдать должное гл. редактору НЖ Роману Борисовичу Гулю, поставившему перед новожурналами особую – и сложную задачу – и сложную задачу поддержки неподцензурной литературы из СССР. Он же придумал и оставшуюся в истории формулировку: печатается «без согласия и ведома автора». В этом была и правда, и заботливое лукавство: авторы произведений хотели быть опубликованными на Западе, хотя зачастую и не знали адресов изданий, но – как верно полагал Гуть – такая публикация служила еще и гарантом их свободы в СССР: посадить еще раз зека Шаламова – легко; сгноить известного писателя, автора «Колымских рассказов», – скандал на мировой политической сцене...

«Колымским рассказам» посвящен отдельный раздел книги – с двумя подглавками, в том числе, «‘К.Р.’ в ‘Новом Журнале’». Уделим и мы этой истории некоторое внимание. Свою прозу Шаламов определял: «выстраданная как документ». В самом начале главы Клоц замечает, что метод описания лагерной жизни Шаламовым был «непостижимым для русских эмигрантов старшего поколения, <...> не прошедших через лагерный опыт, наложивший заметный отпечаток на этот язык и советскую культуру в целом». Согласившись с «заметным отпечатком» пенитенциарной системы на советской культуре, возразим тому, что лагерный опыт был, якобы, неизвестен эмигрантам. Не только знаком, но и блестяще описан – и задолго даже до Солженицына (о том, что представители второй волны сидели не только в советских, но и в нацистских лагерях, говорить здесь не будем). Как один из примеров, назову Сергея Максимова (Пасхина), известнейшего прозаика второй волны эмиграции, ярко воспроизведшего лагерный опыт в своих произведениях (его жизни и творчеству – включая историю ареста и заключения в ГУЛАГ двадцатилетнего студента Пасхина – посвящено несколько номеров НЖ, в том числе и републикация лагерных рассказов сборника «Тайга»). Максимов был практически сразу же переведен на английский язык, сыскал популярность и пережил вполне голливудскую историю славы. И это лишь один пример из десятков подобных.

Неточна и мысль автора о том, что публикация «Колымских расска-

зов» в журнале «пришлась на рубеж, разделяющий два разных поколения писателей, критиков и издателей русской эмиграции». Шаламовские рассказы появились в НЖ, как известно, в 1966 году, – к тому времени первые две волны иммиграции успешно сосуществовали, работая над общей задачей сохранения свободной русской литературы, а третья волна еще не захлестнула американский берег. «Стилистические и идеологические противоречия», «кардинальные различия языковой и социокультурной среды» между прежней иммиграцией и новой, советской третьей, еще не заявили о себе ввиду отсутствия последней. Но – да, Клоц прав совершенно: эти противоречия заявят о себе на протяжении 1970-х и разведут старую диаспору с третьей волной до самого появления т.н. четвертой, перестроечной, волны мигрантов 1990-х годов, облагороженных налетом свободной литературы эмиграции (что начинает издаваться в РФ) – и массово вышедшего из подполья самиздата.

Возвращаясь же в 1960-е, отметим верную мысль автора о том, что «К.Р.» стали «сенсацией, правда, не литературной», для всего западного мира. Причиной тому был не столько необычный, жесткий стиль Шаламова («распад языка и тела»), сколько тема – поднятая из недр ГУЛАГа, из страны-диктатуры. Однако эстетические требования все-таки имели место быть: антиязык шаламовской прозы оказалась чужд классической традиции русской литературы, и стиль Солженицына (замечу: тоже из недр ГУЛАГа), с его позитивным дискурсом, был ближе эмиграции в ее миссии сохранения русской культуры до победы над Советами и возрождения свободной России (такая попытка возвращения в 1990-е годы и стала последним этапом выполнения миссии). Здесь мы расходимся с автором в оценках: на наш взгляд, сформировавшийся советский русский язык – это именно распад языка, а не его обогащение. Эта «разложимость» происходила в тюремных застенках, и его невозможно оценивать как естественное языковое расширение, – скорее, как подмену свободного языка на «сермяжный» под давлением пенитенциарной государственной системы, когда сидело полстраны – а вторая половина стояла в очереди у «Крестов». Русский язык пал жертвой тирании – как и его носитель, советский человек (которого идеологи и определяли как «новую общность» – избави Бог нас от такого обновления...). Речь идет о деструкции культурного «Русского текста», о его распаде на территории «одной шестой», о создании в советской культуре симулякра гипертекста «Русская культура».

Автор замечает, что с появлением третьей волны (1970-е) речь в иммиграции пошла о разделении на «языковые и стилистические различия между мейнстримом и нефонформистской русской культурой по обе стороны железного занавеса». Хорошо бы здесь уточнить, что европейско-американский мейнстрим тех лет давно уже отошел от литературных эстетик психологического реализма и модернизма и пребывал в неге *постмодернизма* – стиль, который заимствовал и развил советский самиздат. Постмодернизм был хорошо знаком и диаспоре; литература ее исторически складывалась в мировом гипертексте «Культура», представлявшем разные эстетики.

Клоц подробно исследует историю публикации рассказов Шаламова – их путешествие до редакции НЖ, обсуждение текстов, реакцию редакторов и издателей – вся эта почти детективная история увлекат. Однако явная критика «старшего поколения» эмиграции, что присутствует в этой главе, – удивляет. Я далека от мысли идеализировать первые две волны, но свои задачи они очень точно формулировали, предельно концептуально прораба-

тывали и выполняли – вопреки истории, хочется сказать. И да, они определяли как одну из задач тамиздата (коим они и были, публикуя самиздат) «служить оружием на фронтах Холодной войны», в контексте общей миссии сохранения и развития свободной русской литературы. Да, «старика» критиковали издание «К.Р.» Геллера в 1978 году – «увесистый бульжник» в 896 страниц. Замечательное было издание – но, признаем: лишь для специалистов-литературоведов, – в нем было всё с точки зрения академической, но для широкого читателя книга такого объема – это издательская неудача.

Впрочем, критика издателя – ученым, что присутствует в книге и не только в этом эпизоде, – имеет обширную предысторию. Достается здесь и НЖ – парадоксально, но именно в связи с публикацией «К.Р.», хотя, казалось бы, – именно журнал и ввел имя Шаламова в контекст мировой культуры. Критика высказана по двум пунктам: во-первых, журнальная редакция манускрипта, во-вторых, публикация рассказов из номера в номер, а не всех сразу и не по очередности, определенной Шаламовым. Если отвечать коротко, то в этой критике сказывается элементарное незнание специфики издательского дела. Сколько ни размышляй о *духовности*, печатное производство останется *бизнесом*. И да – здесь приходится решать вопросы не только текста. Так что восемь сотен страниц рукописи журнальной практикой неизбежно отвергаются... Подача «из номера в номер» – это будни любого журнала, если он делается профессионалами (а Гуль был непревзойденным редактором, посвятив этому делу всю свою жизнь еще с 1920-х годов.). Вот ведь и «Темные аллеи» Ивана Бунина – заложившие традиции прозаической тетрадки НЖ – Алданов публиковал выборочно. Обвинять ли ближайшего друга Бунина в том, что рассказы цикла шли из номера в номер да еще и со стонами в личной переписке: *уберем-ка некоторые скользкие моменты – в Америке к такому не привыкли, старушки на демонстрацию выйдут...* Да не за что обвинять!

Что же мешало Гулю публиковать рассказы именно в той последовательности, как они шли в рукописи, – задается вопросом Клоц – согласно шаламовскому «общему сюжету и сквозной композиции», чтобы «издали и прочитали как книгу»? Да то, что у журнала – любого – нет задачи текст «издать как книгу»: об издании *книги* Шаламова Гуль отдельно беспокоился, писал и предлагал известным ему издателям (о чем, кстати, Клоц пишет довольно подробно). Реальность журнального пространства и журнальной издательской практики отрицается – а миф об «испорченном» колымском тексте восстанавливается (во многом опирающийся и на вынужденное «защитное» письмо в советскую «Литературную газету» самого Шаламова, и на несложившиеся отношения между «стариками» (Р. Гуль и А. Седых) и третьей волной – вспомним хотя бы ее «операцию инфаркт» по очернению Андрея Седыха...). Есть определенная журнальная практика – и нельзя отрицать ее и смешивать с практикой книжного издания и своими желаниями. Давайте, наконец, спустя шесть десятков лет, откажемся от странного смешения реальности и мифа, от мифа о «плохой старой эмиграции» и скажем «старикам» спасибо за всё, что сохранили для нас.

О деструктивном же советском русском языке я уже говорила. Что Шаламов! – Еще в 1950-х эмигранты первой волны обрушились на писательницу-«невозвращенку» за слово «раскладушка» в ее весьма неплохой повести! А все эти «Маньки» да «Ваньки», хлынувшие на кургузный в те времена американский берег вместе с второй волной русской литературной эмиграции! (Заметим, что вторая волна – это в том числе первое советское

поколение, выросшее при сталинской системе ГУЛАГа; уже на них сказался «распад языка». И несчастная писательница всю свою советскую жизнь именно это и слышала, именно так и говорила – как и все советские люди: согласно пенитенциарной и простонародной языковым нормам). Так и языковая деструкция шаламовского слова не может быть *общей языковой нормой*, она – его, индивидуальная, – в том была своя правота Гуля-редактора. Ну, а согласовать с автором правку, увы, история не дала возможности.

Есть и «в третьих»: в паре Солженицын-Шаламов иммигранты отдали предпочтение Солженицыну, именно в нем видя «оплот антисоветского движения» и «воплощение неконформистской литературы». А разве история не доказала, что это именно так? Кто как не Солженицын в иммиграции продолжил антисоветские выступления и борьбу за освобождение России. Он был активен и *реален* на политической сцене; Шаламов же молчал за Железным занавесом. Разные судьбы, ничего личного.

Не очень прописана (в очередной главе книги) идея о том, что с появлением Абрама Терца «вся экосистема тамиздата» изменилась: «До начала 1970-х тамиздат оставался продуктом географического разрыва между авторами в России и их ‘сбежавшими’ на Запад рукописями», а новые иммигранты (как Синявский) «сами стали издателями». Если мы обратимся к реальной издательской истории иммиграции, то увидим, что, собственно, ничего в *экосистеме тамиздата* не изменилось с появлением третьей волны: прибывали иммигранты – и затевали издательства, и так было всегда, примеров – сотни (в Берлине в 1920-е русских издательств и журналов было больше, чем немецких; эмигрант Солоневич в межвоенный период издавал свои самиздатовские труды в Болгарии, Иван Елагин – стихи киевского периода в США...). Иммигрировал Синявский – и повторил прежнюю издательскую практику. Соперничество, о котором также упоминает автор книги, тоже всегда присутствует в бизнесе, в том нет ничего нового. Однако это не помешало сотрудничеству с Коржавиным, Поповским, Неизвестным и иже с ними. А конфликт старой эмиграции с тем же Терцем и его «Прогулками с Пушкиным» априори должен был состояться: столкнулись две *эстетики*, два русских языка. И всколыхнули океан претензий с обеих сторон. Но Текст всегда конфликтен – иначе он просто скучен и неталантлив. Спор с *эстетикой постмодернизма* был здоровой борьбой на культурном пространстве. И лишь в контексте реальной русскоязычной диаспоры эта борьба увела спорщиков с обеих сторон в область идеологии. Тут автор справедлив: к тому времени существовали *разные две России*. Вот только делить это пространство на «метрополию» и «эмиграцию», читай: «провинцию» (как это делается), – не имеет оснований именно в ситуации с русскоязычной многонациональной диаспорой. В отличие от иных диаспор, в нашей не было «русской метрополии»: российские иммигранты были всегда *refugees* – уносившие «Россию с собою», как верно заметил еще Гуль в своей «Апологии эмиграции». Метрополией для российских иммигрантов становились страны, принявшие их, – внутри культуры которых диаспора и создавала свой культурный «Русский текст». Поэтому все иные «наши тексты» неизбежно вступали в конфликт с ним. И так – до самых 1990-х...

Но собственный иммигрантский нарратив не только не изучен (по указанным уже причинам идеологической борьбы в XX веке), но и покрыт советскими мифами – благополучно прижившимися на свободном Западе. К сожалению, и в этой книге мы находим их. Дело даже не в том, что, активно, столь сложный и нетронутый исследователями материал неизбежно

приводит к неточностям, вроде того, что известного писателя, литературоведа, проф. НИ Университета Леонида Ржевского в книге назвали «критиком» – что ну совсем не по заслугам его. Скажем, описывая раздражение Струве от публикации «Реквиема» в «Гранях», автор замечает, что причиной тому были не только неточности в тексте (а кажется, что для педантичного Струве это перекрывало все иные положительные доводы), но и, якобы, «из-за отчетливо антисоветской позиции журнала и его связей с Народно-Трудовым Союзом российских солидаристов (НТС) – самой злобнейшей в глазах советских властей эмигрантской организацией», что НТС была связана с нацистским режимом, в частности, «с печально известной Русской освободительной армией генерала Власова». Трудно комментировать данный пассаж, ибо далее ни о РОВСе, ни о НТС автор не пишет и позиции своей не проясняет. И непонятно, почему, скажем, РОВС – «печально известен», почему злобнейший для Советского Союза НТС столь же негативно воспринимается автором и, в его интерпретации, Глебом Струве, – ведь именно своей антисоветской деятельностью, в том числе и на поле культуры, была известна и почитаема семья Струве во всех ее поколениях... Отвергнем и сотрудничество с нацизмом, совсем уж из учебника Мединского: НТС – молодежная организация второго поколения эмиграции первой волны работала на антикоммунистической ниве (включая не только антисоветскую литературу, но и терроризм на территории СССР); десятки ее членов погибли в *нацистских* лагерях – как представители независимого националистического русского движения... Деятельность этой организации в чем-то предредишила падение СССР, – отчего же вдруг столь неожиданная критика в книге об оппозиционной культуре?! Достается в книге и конкретно Филиппову – антикоммунисту, дипийцу, человеку, издавшему более 60 томов русских писателей (по статистике П.Нерлера, исследователя творчества О. Мандельштама) – в их числе, первые послереволюционные собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Мандельштама. И как бы узнал советский российский читатель, как бы попал Гумилев да Мандельштам, Цветаева с Ахматовой (список длинный) в самиздат, не будь столь самоотверженных, преданных русской культуре людей, как Борис Филиппов-Филистинский, – и всех тех, кого автор книги не упоминает, но труд которых лег в фундамент свободной русской литературы? Это в СССР, а нынче – в РФ, говорили и говорят о второй волне как о «предателях родины», а о третьей – как об «отщепенцах»... ну так там – иной язык и свои «понятия».

Как видим, книга Якова Клоца затрагивает самые серьезные, *принципиальные* темы существования и неконформистской литературы, и культуры иммиграции, и самого «Русского текста», и диаспоры в мировом пространстве. Некоторая пунктирность в описании всего этого корпуса вызвана общей неисследованностью материала: Архипелаг русской иммиграции XX века покрыт глыбами ледяного равнодушия – и ледники эти не тают, не исчезают в нашем холодном мире. Поэтому появление исследования Клоца – это попытка альпиниста-энтузиаста через глыбы мифов и незнания ледорубом пробиться-подняться к истине, к истоку, к земле. К обетованной земле русской свободной литературы. О, если бы таких книг было больше, если чаще оборачивались бы мы к своей истории – истории диаспоры, а не далекой туманной «метрополии», – симулякра, созданного идеологами мира сего...

«Мы – уходящая натура, уходим мы из объектива». Литература и время: памяти Игоря Виноградова. Под редакцией Анастасии де ля Фортель. Москва: ОГИ, 2023.

«Основную проблему времени я сформулировал бы так: что нужно сделать, какую правду сказать, какие идеалы утвердить, чтобы перестроить этот мир, чтобы перестроить то общество, в котором мы живем. На этой ноте гражданственной веры в то, что можно что-то сделать, выросла вся литературы 60-х.» (С. 16) Эти слова литературного критика, мыслителя и редактора Игоря Виноградова могли бы стать эпиграфом к книге о нем. Точнее, не только о нем – прежде всего о невероятном времени, в котором рождалась новая эпоха и мировоззрение, о поколении шестидесятников, которое стало символом-мифом, о котором написано и спето очень много, и всё равно остается немало непонятого и неотрефлексированного. О судьбе русской интеллигенции, о движении литературы и философской мысли... О том, как мы вообще воспринимаем (или нет?) наше недавнее прошлое, настоящее, будущее, и нас самих.

Меньше всего книга похожа на сборник мемуаров, или академических текстов памяти выдающегося современника; это живой и напряженный разговор самых разных авторов с Игорем Виноградовым – коллегой, наставником, оппонентом...

Редактор сборника Анастасия де ля Фортель в своем вступительном эссе точно определяет замысел: «Подлинная современность шестидесятников, их эпоха как история в целом высвечивается в предлагаемом вниманию читателя сборнике через призму частности и особенности отдельной жизни и судеб, когда различные векторы микроистории обретают свое истинное значение не только как воплощение индивидуально-конкретного человеческого опыта, но и как свидетельства общих этических и эстетических тенденций и установок, характерных для определенного исторического контекста». (С. 7)

Важнейшая составляющая книги – концептуальное эссе самого Виноградова «Апология шестидесятничества», тщательно составленное из заметок и его выступлений разных лет Ириной Виноградовой-Дугиной. Рассказ о семье и становлении, о поиске смыслов, о том, как советский мальчик, сын функционеров средней руки, шел к пониманию себя в этом мире, в истории страны, в истории культуры... Напряженное размышление о жизни и судьбе поколения, о движении литературы и трансформации идей... О литературной жизни, бурной и драматичной, от «Нового мира» до российского «Континента»...

«Наши 60-е годы в целом – это время оптимизма. Оттепель породила в обществе надежды на обновление, иллюзии, что тоталитаризм уходит в прошлое. Это было время, когда пахло чем-то свежим, открылись какие-то щели, появилась возможность что-то высказать. Жажда переделать действительность, добиться лучшего и было главной темой для людей того времени, на ней и возникли новая литература и поэзия, новое кино» (С. 18). Дети XX съезда партии, романтики, энтузиасты... Разоблачение сталинизма – отправная точка поколения.

Шестидесятники, конечно, не были неким монолитом, как кажется сегодня многим; Виноградов напоминает о возрастной, эстетической, мировоззренческой многоголосице тех, кто поверил в возможность обнов-

ления, о разнонаправленности поиска отдельного и общего существования, поиска художественного и личного. Перед нами – виноградовская версия истории и драмы «Нового мира», символа эпохи, главного крупного литературного журнала Оттепели, поистине бесценная, восполняющая картину эпохи.

Еще один важнейший сюжет – обретение веры. «Это был долгий путь достаточно мучительных размышлений... Оттепельные и послеоттепельные политические ‘заморозки’ много способствовали этому... Особенно – тот духовный кризис, в котором вдруг оказалась значительная часть общественно активной интеллигенции, еще вчера верившей в социализм с человеческим лицом, а сегодня убедившаяся в утопичности своих упований» (С. 100) Разочарование – это 1968 год, вторжение в Чехословакию. За отказ Виноградова поддержать вторжение – длительная опала, фактический запрет на активную редакторскую работу. Вера стала опорой, давала силы, открывала новые перспективы. Российский «Континент», который он возглавил в 1990-е, из рук в руки от Владимира Максимова получив эмигрантский журнал, по его мысли «продолжил дело ‘Нового мира’, разговора о литературе и времени, об основных смыслах и поиске истины»...

Второй раздел книги содержит несколько принципиальных текстов, каждый из которых заслуживает отдельного подробного разговора. Статья Марины Адамович «О далеком, близком» с первых же строк погружает читателя в атмосферу удивительных для своего времени свободных дискуссий на семинарах под эгидой кафедры литературной критики и публицистики журфака МГУ. Именно там, в недрах главной «кузницы идеологических кадров страны», под руководством легендарного Анатолия Георгиевича Бочарова (и при несомненном одобрении его друга, многолетнего декана Ясена Николаевича Засурского) происходило энергичное освоение и осмысление литературы 20 века, от бурных 1920-х до самого последнего времени. То было время самого глухого брежневского «застоя»; Бочаров собрал на кафедре уникальных исследователей и преподавателей, среди которых – Галина Белая, Валентин Оскоцкий, Владимир Новиков, – и рядом с ними Игорь Виноградов, которому, как и многим другим, был заказан путь на «официальный» филфак. Школа вольнодумства, гражданского и творческого, – так можно было бы охарактеризовать это уникальное место, где утверждались несвойственные советскому времени ценности и смыслы, где воспитывались будущие лидеры независимого литературного и медийного пространства, создавшие российские 1990-е...

Впрочем, тогда, во время нашего счастливого ученичества, так никто не думал, просто спешили на семинар к любимому преподавателю – обсудить только что прочитанное, спросить, посоветоваться, услышать его суждение. Новая интеллектуальная Россия оформлялась как раз на этих семинарах. Евгений Ермолин продолжает принципиальный анализ Марины Адамович, его эссе «Памяти Игоря Виноградова» посвящено обзору виноградовских специальных курсов по истории русской религиозной философии, филологического и духовного поиска самого педагога. Важная статья Натальи Ивановой «Игорь Виноградов: сюжет судьбы и мысли» – квинтэссенция многолетних размышлений литературного критика о природе и значении шестидесятилетия как фактора культуры и общественной жизни. Эссе Ирины Роднянской и Жоржа Нива завершают раздел, посвященный непосредственно жизни и творческому пути Игоря Виноградова.

Раздел «Сюжеты мысли», в котором собраны тексты, развивающие

темы, волнующие самого Виноградова и продолжающие будить многочисленные споры в культуроведении, свидетельствует о непреходящей важности не только эстетической, но и философской оценки таких явлений, как нигилизм, народничество, марксистское понимание роли искусства, и многого другого. Анастасия де ля Фортель, Александр Дмитриев, Владимир Холкин, Ришард Медлингер, Николай Шабуров продолжают разговор, начатый много десятилетий назад.

Книга об Игоре Виноградове – это книга об эпохе поиска и сопротивления, о ее скрытых пружинах и источниках силы, об искусстве достоинства в любых обстоятельствах – и о торжестве духа над тленом и деструкцией самого разного рода, в конце концов. Она заряжает читателя не только подробным знанием, но удивительным образом наполняет оптимизмом, верой в победу чистого слова и чистой мысли, в которые верил главный ее герой и его ученики. Продолжает утверждать их победу. И это самое главное.

Надежда Ажгихина

The New Review / Novyi Zhurnal is the oldest continuously published Russian-language literary quarterly

The New Review Inc. gratefully acknowledges the support of our loyal friends:

Patrons: Russian Nobility Association in America;

Benefactors: Mrs. Larisa Vulfina & Mr. Yan Vulf; Eli & Ludmila Flam Living Trust;

Sponsors: Mr. Vitaliy Pavlyuk; Mr. Alexandr Neratoff; The Tcherepnine Foundation Inc.; American-Russian Aid Association "Otrada";

Fellows: Mr. G.Mesniaeff; Mr. A.Nemirovsky; Mr. V.Torchilin;

Friends: Mr.&Mrs. G. Cheron; Ms. R. Nuzhdenko.

The complete list of Fellows&Friends see at: <http://newreviewinc.com/fundraising-2022>

It requires the support of loyal friends for year 2025:

Patron – \$ 5,000 and up

Benefactor – \$ 2,000 and up

Sponsor – \$ 1,000 and up

Fellow – \$ 500 and up

Friend – \$ 100 and up

The Internal Revenue Service has determined that The NEW REVIEW, Inc. is a tax-exempt organization and a «public charity». Contributions to The NEW REVIEW, Inc. are tax-deductible.

Checks must be made payable to

THE NEW REVIEW
1216 Broadway, 2nd floor
New York, NY 10001

Additional information: https://newreviewinc.com/podpiska_subscription

НАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Москва, Россия: Андрей Красильников – 111024 Москва, а/я 61

Санкт-Петербург, Россия: Евгений Голлербах – тел.: 7-921-940-0421

Израиль: Марина Кособок-Полонски: Polonskybooks@gmail.com

«НОВЫЙ ЖУРНАЛ» в 2025 году можно купить:

Polonsky Books: Haifa, Huri Street, 2, Migdal ha Nevi'im, Israel;
+972 55 968 24 16

На сайте журнала через PayPal (страница: Подписка)

Вы можете оформить подписку на журнал, в том числе электронную.

Подробности на сайте: www.newreviewinc.com (Подписка)

Вся информация об авторах НЖ на сайте The New Review Inc.

<https://newreviewinc.com>

e-mail: newreview@msn.com newreviewinc@gmail.com

Новый Журнал THE NEW REVIEW

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ - 2025

Подписная цена (4 книги, включая пересылку):

для университетов и организаций

в США – \$ 160.00, за границу – \$ 220.00

(10% скидка для подписных агентств)

Индивидуальная подписка

(4 книги, включая пересылку):

в США – \$ 85.00, за границу – \$ 130.00

Цена отдельного номера – \$ 16.00

дополнительно за пересылку:

в США – \$ 7.00, за границу – \$ 37.00

E-access на год – \$ 185.00

Комбинированная подписка на год

(E-access и 4 журнала)

в США – \$ 320.00

за границу – \$ 360.00

(10% скидка для подписных агентств)

Все подробности о подписке на сайте

www.newreviewinc.com (Подписка)

ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В РЕДАКЦИЮ:

The New Review

1216 Broadway, 2nd floor, New York, NY 10001

Телефон и факс редакции: (212) 353-1478

www.newreviewinc.com

newreview@msn.com
